



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*Ф. Я. Прийма (главный редактор),
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,
А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,
Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,
М. К. Луконин, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов,
В. А. Рождественский, С. А. Рустам, А. А. Сурков,
Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-заде*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

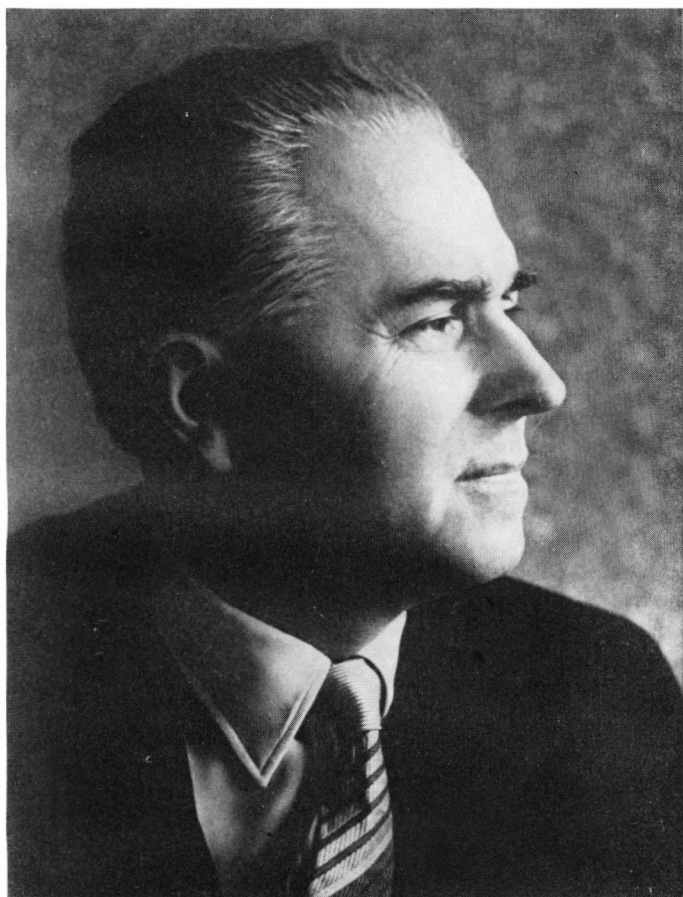
ПАВЛО ТЫЧИНА

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья Л. Н. Новиченко
Составление Л. П. Тычины и Б. Л. Корсунской
Примечания Б. Л. Корсунской
Редакция поэтических переводов
Н. Л. Брауна и П. В. Жура

Павло Тычина (1891—1967) — один из крупнейших, популярнейших мастеров украинской и всей многонациональной советской поэзии. Органически связанный в истоках своего творчества с украинским фольклором, Тычина вместе с тем был поэтом неустанных творческих исканий, наложивших на все его стихотворное наследие печать резко выраженного индивидуального своеобразия. Богатая художественными красками, ритмическим разнообразием, поэзия Тычины широка и своим тематическим диапазоном. Это и сокровенная жизнь чувства, и отзвуки битв на фронтах гражданской и Отечественной войн, и картины мирного труда народа — строителя социализма. Настоящий сборник — самое полное из существующих на русском языке изданий стихотворений П. Тычины.

© Издательство «Советский писатель», 1975 г.



ПОЭЗИЯ ПАВЛО ТЫЧИНЫ

Вспоминаются дни ранней осени 1943 года, когда развернулось невиданное по масштабам наступление Советской Армии, изгонявшей фашистов с советской земли. В эти дни в газете «Радянська Україна», вышедшей в недавно освобожденном Харькове, было напечатано стихотворение Павло Тычины «Я утверждаюсь»:

Я есмь народ, — народной Правды сила
покорена вовеки не была.
Меня беда, чума меня косила,
а сила снова расцвела.

Строки поэта были такими своевременными, а пафос, вложенный в них, таким выстраданным и глубоким, что невольно казалось — именно этих гордых слов от лица самого народа, народа побеждающего и карающего своих врагов, мы ждали два долгих предшествующих года. . .

Поэзия Тычины тем и вписалась в полувековую историю Советской страны, что она умела оригинально и вдохновенно выражать самое важное, поистине всенародное в чувствах и мыслях своих современников.

В стихах этого удивительно музыкального лирика, ставшего по-этом «трубного», гражданского звучания, неповторимо запечатлены многие этапы народной истории в советскую эпоху — от героики революции до могучих взлетов коммунистического строительства. Отсюда — общественная влияние этой поэзии, ее активная роль в духовной жизни народа.

Поэзия Тычины всегда стремилась ответить на самые главные, самые насущные вопросы своего времени. Не следует, однако, видеть

в ней лишь своеобразную летопись общей истории эпохи, лишь чеканные, образные формулы «того, что Сутью все зовут», хоть многие из этих поэтических формул поистине замечательны. Как во всяком настоящем искусстве, в поэзии П. Тычины ярко отразилась и личность самого художника — личность оригинальная, многогранная, сочетавшая в себе острое чувство времени с лирической экспрессией, тонким артистизмом и почти постоянной жаждой поиска — духовного и эстетического. В историю украинской и всей советской многонациональной поэзии Тычина вошел как поэт-новатор, много сделавший для революционного обновления содержания и формы стиховой речи — при удержании ее яркого национального своеобразия и глубокой связи с народно-поэтической и литературной традицией.

1

Павел (Павло) Григорьевич Тычина родился 27 (15) января 1891 года в селе Пески Черниговской губернии (теперь — Бобровицкий район этой же области).¹ Его отец, Григорий Тимофеевич Тычина, был деревенским дьяком и одновременно учителем «школы грамоты» — нижней ступени в тогдашней системе народного просвещения.

Семья, в которой было девять детей, жила в неприкрытой бедности, не отличаясь в этом отношении от большинства крестьянских семейств. Когда хлопцу, обладавшему прекрасным голосом и слухом, исполнилось десять лет, его отдали в один из монастырских хоров Чернигова. Иных возможностей для образования детей отец Тычины попросту не имел.

Детей, певших в хоре, обучали в бурсе при монастыре. После бурсы последовал шестилетний курс семинарии. Все это время, помимо школьных занятий, Тычина пел, а затем и дирижировал в местных хорах, сначала только в церковных, а затем и в светских. Всего в стенах духовной школы будущий поэт провел двенадцать лет. О своем пребывании здесь он всю жизнь будет вспоминать с тоской и отвращением. «Вавилонским пленением» назовет он эти годы в одном из ранних рассказов.

Единственное, что дала ему «для души» семинария, — превосходное певческое и музыкальное образование. Церковная музыка (ее классиков — Бортнянского, Березовского, Веделя — он хорошо знал и ценил) стала мостом к Глинке, Даргомыжскому, Гайдну, Бетховену, Шопену, Вагнеру, Чайковскому, Римскому-Корсакову, Танееву,

¹ Подробнее о детстве и юношеских годах П. Тычины см. его автобиографию, с. 58—78.

Скрябину, Лысенко, Леонтовичу — композиторам, любимым им особенно глубоко и нежно. Что же касается украинской народной песни, то в ее мелосе он жил с первых детских лет. Были у Тычины и собственные занятия на фортепиано, игра на кларнете, гобое, позже — на бандуре, было и увлечение рисованием, живописью. «...Как раз все то делал, что могло б меня спасти от тех сухо-семинарских преподаваний»,¹ — заметил он в одном из позднейших писем.

Однако и в стенах духовного училища были люди, которые вывели его в мир иных — широких и вольных — мыслей. Позднее поэт не раз тепло вспомнил одного из репетиторов бursы, одарившего его своим вниманием и заботой, — им был Н. И. Подвойский, впоследствии видный деятель ленинской партии. В старших классах семинарии П. Тычина прошел основательную художественную школу у преподавателя рисования М. Жука, одаренного живописца и поэта, который ввел его в круг черниговской интеллигенции.

В Чернигове жил большой украинский писатель М. Коцюбинский, друг Горького, автор знаменитой повести «*Fata morgana*», посвященной событиям первой русской революции. В его доме на зеленой Северянской улице кроме прогрессивно настроенной интеллигенции старшего поколения собиралась и молодежь, уже связывавшая свои судьбы с грядущей революцией: дети писателя Юрий и Оксана, ставшие большевиками еще в предоктябрьские годы, будущий командир красного казачества В. Примаков, видный впоследствии работник партии А. Стецкий и другие. Сюда же в 1910 году, вместе с М. Жуком и своими ближайшими товарищами по семинарии, впервые пришел П. Тычина. На одной из литературных «суббот», которые устраивались в этом доме, он прочитал свое стихотворение «Расскажи, расскажи ты мне, поле...», удостоившись теплой похвалы Коцюбинского. «Среди нас — настоящий поэт», — сказал Михаил Михайлович и с той поры не оставлял Тычину вниманием и заботой до последних дней своей жизни.

Когда Коцюбинский в 1912 году уехал (уже не впервые) лечиться на Капри, Тычина с друзьями писал ему, делаясь новостями и литературными замыслами. Писатель отвечал, советуя, между прочим, заняться переводами из русской литературы (вероятно, под влиянием этих советов Тычина еще в годы своей юности перевел стихотворение М. Горького «Баллада о графине Эллен де Курси»).

На Капри знали о талантливом «подопечном» Коцюбинского. В 1927 году Горький писал П. Тычине, благодаря его за присланную

¹ Письмо к Н. К. Зерову от 26 ноября 1924 г. — «Радянське літературознавство», Київ, 1971, № 11, с. 74.

книжку стихов: «Знаю я Вас давно, мне много и нежно — как он изумительно умел говорить о людях — рассказывал о Вас М. М. Кобилинский, читал некоторые Ваши стихи». ¹

С 1912 года Тычина печатается в тогдашних украинских журналах. В 1918 году выходит первая книжка его стихов — «Солнечные кларнеты». К тому времени он несколько лет проучился в киевском Коммерческом институте, работал техническим секретарем редакции в журнале «Світло» («Свет»), помощником хормейстера в театре Н. Садовского. После выхода «Солнечных кларнетов» он сразу становится одной из самых заметных фигур в украинской поэзии, к нему приходит признание, его пытаются склонить на свою сторону националистические литературные круги («поэт, пой вместе с нами в тон», — скажет он об этом несколько позже), «обслуживавшие» в 1917—1918 годах контрреволюционную Центральную раду и такую же «Директорию». Но тихий, скромный, не очень заметный в шумном обществе Тычина, с его постоянной музыкальной сосредоточенностью на каких-то слышных только ему мелодиях, шел своим, самостоятельным путем, проделав за небольшое время поистине колоссальную внутреннюю работу, — вот уж кто подтвердил слова А. Блока об умении «слушать революцию»! В политическом, идейном развитии Тычины в те месяцы и годы были и сложные, кризисные моменты, но побеждала — и победила — честность перед правдой творимой истории, чуткость к идеалам и устремлениям трудового народа.

С февраля 1919 года, когда Красная Армия освободила Киев от петлюровцев, начинается широкая общественная деятельность и активное сотрудничество П. Тычины в советской печати, открывается, по существу, новая страница его биографии. В том же месяце киевская печать публикует его стихотворения «На площади» и «Ой, упал боец с коня...», за короткое время ставшие знаменитыми.

Поэт работает в Госиздате Украины, в редакции первого советского литературно-художественного журнала на Украине — «Мистецтво» («Искусство»), пишет текст «Революционного гимна» УССР, который долгое время считался утраченным и лишь недавно найден и опубликован в посмертном сборнике стихотворений поэта.

Новая книга его стихов «Плуг», вышедшая в 1920 году, вместе с «Красной зимой» В. Сосюры, стихами В. Чумака, В. Эллана-Блакитного, И. Кулика, М. Терещенко, обозначила целый этап в станов-

¹ М. Горький, Письмо к П. Г. Тычине от 10 августа 1927 г. — Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, М., 1955, с. 31.

лени украинской советской поэзии. Вслед за ней появляются полные революционной страсти поэмы и стихотворения «В космическом оркестре», «Живем, работаем коммуной», «Ветер с Украины». Моральную силу поэзии Тычины, убежденно ставшей под знамена Октября, хорошо ощущают не только друзья, но и враги, резонанс его политических стихов в разных кругах тогдашней украинской интеллигенции напоминает резонанс «Двенадцати» А. Блока. «Его, — писал поэт и критик Д. Загул после выхода сборника Тычины «Ветер с Украины» (1924), — наша общественность знает больше, чем кого-либо другого, он пользуется уважением и там, где еще колеблются и не знают, принять ли Октябрь или остаться с Февралем. . . Ни о ком из наших поэтов эмиграция не пишет столько, сколько о нем. Его. . . осуждают или хвалят, но молчать не могут». ¹

Во враждебном лагере — среди украинских буржуазных националистов — едва ли не каждое новое стихотворение автора «Псалма железу» и «В космическом оркестре» вызывало приступы бессильной ярости. В прессе националистической эмиграции против поэта ведется злобная кампания, целью которой было доказать, что, став на сторону рабочего класса и партии коммунистов, он будто бы погубил свой талант. Отповедь Тычины на эти нападки — его стихотворение «Ответ землякам» — прозвучала с такой силой, что была услышана, действительно, всюду.

В 1923 году Тычина переезжает из Киева в Харьков — тогдашнюю столицу Советской Украины. О том, как принимали его выступления в рабочих и студенческих клубах, можно судить по строкам тогдашней журнальной хроники: «Поэта, которого харьковская аудитория слушала впервые, встретили с восторгом, особенно молодежь. Отдельные стихотворения пришлось перечитывать по нескольку раз». ²

В Харькове П. Тычина одним из первых среди украинских писателей избирается в органы Советской власти — членом горсовета, кандидатом в члены ЦИКа республики.

«Еще вовек так сердце не мужало», — скажет он в стихотворении, датированном 1922 годом. И чем пристальнее поэт вглядывается в лицо создаваемого нового мира, тем более осознает возвышающую, окрыляющую силу идей пролетарского интернационализма. В годы, когда только начиналось взаимное «узнавание» и общение братских национальных культур СССР, он с необычайной зоркостью видит

¹ І. Майдан (Д. Загул), Зріст і сила творчості Павла Тычини. — «Червоний шлях», 1925, № 10, с. 45.

² «Червоний шлях», 1923, № 2, с. 257—258.

перспективу их теснейшего братского единения. Уже тогда у него начинает складываться идея «семьи единой» как глубокая культурно-философская концепция. Увлеченный широкими планами ознакомления с культурами братских народов, он основательно изучает армянский язык, принимается за грузинский, турецкий, вместе с филологами И. Риттером и А. Ковалевским создает кружок востоковедов, из которого в скором времени вырастает Украинская научная ассоциация востоковедения, где он руководит секцией литературы.

М. Шагинян, вспоминая о своем знакомстве в начале 20-х годов с П. Тычиной, оставившем ей автограф на армянском и грузинском языках, отметила как самое примечательное в нем именно это: ревнивую внимательность, жадное любопытство «к становлению нового мира на земле, к языкам и культурам братских народов...».¹

Тем временем страна вступала в полосу великих социалистических преобразований. Поэзия Тычины мужает в эти годы как поэзия прямого политического разговора с читателем. Книги поэта, изданные в 30-х годах — «Партия ведет», «Чувство семьи единой», и более поздняя «Сталь и нежность» становятся известными далеко за пределами республики. Несомненный тычининский дар — «слышать время», поэтически запечатлеть важнейшие грани нового общественного самосознания — проявился в них в полную силу. Многие строки его стихов, а порой и их названия становятся крылатыми словами, образными формулами, входящими в широкий общественный обиход.

Еще в стихах 1920 года («Письма поэту») он писал, что мыслит себя в будущем коммунистом, большевиком («...Вы — сила, увижу коммунистом вас», — предрекала ему одна из его героинь, работница-большевичка).

Весь последующий путь Тычины убедительно подтвердил эти слова. Уже давно будучи коммунистом по идейным убеждениям, поэт вступил в партию в разгар войны с фашизмом (в 1944 году).

В предвоенные и послевоенные годы широко разворачивается его общественная и государственная деятельность. Начиная с 1938 года он неизменно избирался депутатом Верховного Совета УССР, а с 1946-го — депутатом Верховного Совета СССР ряда созывов. Советские люди видели Тычину на высоких постах председателя Верховного Совета республики и заместителя председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В течение ряда лет он был членом ЦК Компартии Украины, а с 1943 по 1948 год занимал пост

¹ М. Шагинян, Золотые лучи дружбы. — «Литературная газета», 1948, 24 января.

министра просвещения УССР. Приходилось ему возглавлять и научные учреждения, — действительный член Академии наук Советской Украины с 1929 года, он был в 1936—1938 годах директором киевского Института литературы, а в годы войны, в Уфе, руководил эвакуированным туда объединенным Институтом литературы и языка украинской Академии наук.

Обилие таких разнообразных и ответственных обязанностей, поездки по стране и за границу, обширная переписка (особенно с литературной молодежью) не помешали, однако, Тычине всю жизнь оставаться человеком глубоких и неотступных интеллектуальных интересов — не только литературных, но и философских, научных. Поэт и общественный деятель были в нем неотделимы от ученого-гуманитария, в котором проглядывало что-то от старинного мудреца. На его рабочем столе всегда можно было видеть наряду со свежими газетами и журналами (газеты он выписывал на разных языках со всех концов страны) раскрытый том философского сочинения, книгу античного автора или сборник старинных фольклорных записей. Его многочисленные статьи и доклады на литературные и историко-культурные темы не раз удивляли смелыми, неожиданными ассоциативными «выходами» в самые разные сферы мировой поэзии, музыки, живописи, научной мысли.

«Чувство семьи единой» — знаменитая тычининская формула, которая стала ныне международным крылатым выражением, — в ежедневной работе самого поэта воплощалась полно и страстно. Приехав, скажем, осенью 1941 года в Уфу, он почти сразу же начинает изучать башкирский язык и литературу. Через год выходит на трех языках — русском, башкирском и украинском — его исследование «Патриотизм в творчестве Мажита Гафури», которое и сейчас считается одной из самых глубоких и ценных работ о классике башкирской и татарской литературы.¹ Ценности любой из братских литератур Советского Союза были для Тычины своими, *нашими* — отсюда его постоянная жажда познания и творческого к ним приобщения.

Этими стимулами питалась и его обширная переводческая деятельность. Переводил он главным образом произведения литератур народов СССР и братских славянских стран: русской — И. Крылов, А. Пушкин, Е. Баратынский, И. Бунин, А. Блок, Н. Тихонов, Н. Ушаков; белорусской — Ф. Богушевич, Я. Купала, Я. Колас, М. Танк; армянской — эпос «Давид Сасунский», О. Ованесян, О. Туманян,

¹ См., например: Б а я з и т Б и к б а й, О человеке и поэте. — Сб. «Павлові Тычинні», Київ, 1961, с. 176.

Г. Сундукян, А. Акопян; грузинской — Д. Гурамишвили, И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Пшавела, Г. Табидзе; литовской — К. Донелайтис, С. Нерис, А. Венцлова; в послевоенные годы его особенно увлекла болгарская литература — И. Вазов (стихи и роман «Под иггом»), Х. Ботев, Л. Стоянов, О. Василев (пьеса «Земной рай») и многое другое. Широта интернационального кругозора поэта нашла наглядное выражение и в его статьях, посвященных классикам отечественной и мировой литературы (оригинальность построения и стиля дала основание академику А. И. Белецкому отнести некоторые из них к своеобразным «поэмам в прозе»).

За выдающиеся заслуги в литературе и общественной деятельности П. Г. Тычина был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

Скончался поэт после продолжительной болезни 16 сентября 1967 года. Его имя ныне носит педагогический институт в г. Умани и большой проспект в новом районе Киева, выходящий прямо к Днепру — реке, которую так любил поэт.

2

Уже говорилось, что появление в 1918 году (точнее, вопреки титульной дате, весной 1919 года) первой книжки стихов П. Тычины «Солнечные кларнеты» стало событием в тогдашней украинской поэзии. Перед читателями и критикой предстал поэт, который словно и не был учеником, начинающим стихотворцем.

Но период ученичества был, и немалый. Полное представление о нем мы получили уже из посмертного сборника неопубликованных и забытых стихов П. Тычины «В сердце моем» (Киев, 1970). Первое стихотворение в нем датировано 1906 годом. Сквозь незрелость, подражательность в этих ранних пробах пера пробивается искренний голос молодой души, стремящейся найти свой путь в мире, который то восхищает своей красотой, «кротостью трав», раздольем лугов и полей, то тяжко удручает жестокостью, бездушием, социальной несправедливостью. Неустанно звучавшая в украинской поэзии со времен Шевченко тема сиротства человека, сиротства честной и чистой молодости, не находящей привета и ласки в чуждом, холодном мире, нашла живой, вполне естественный отклик и в стихах Тычины. Оформились эти чувства и переживания в довольно характерный для ряда молодых поэтов тех лет комплекс настроений одинокого мечтателя, то посылающего радостный привет вселенной, жаждущего настроиться на «геронческий лад», то грустящего и тоскующего, задающего

бесконечные вопросы людям — «сестрам и братьям» по духу: «Что вам в жизни застит свет? Чем бы мог ваш дух поднять я?» В интонациях, лирических «сюжетах», внешних формах стиха угадывается ориентация то на А. Кольцова, Б. Гринченко, И. Манжуру, то на новейших украинских поэтов того времени — А. Олеся и Н. Вороного, проявлявших особую заботу о музыкальности, эмоциональной выразительности слова.

Но постепенно у молодого Тычины вызревает своя, индивидуальная художественная концепция: мир, воспринятый через музыку, мир, который в сложном борении контрастирующих мотивов рождает — должен родить! — какую-то новую, необыкновенную гармонию. В 1914 году было написано «Арфами, арфами. . .» — стихотворение, редкостное по мелодичности, по звучности внутренних распевов, по нежному сочетанию светлых и вместе с тем тревожных предчувствий («Будет бой огневой! Смех будет, плач будет перламутровый»); такого виртуозного стиха, словно вобравшего в себя звон бесчисленных фольклорных «веснянок», «гаивок», «гагилок», украинская поэзия еще не знала. Шире становится и взгляд поэта на современность: бедствия мировой войны вызывают у него все крепнущий гуманистический протест («Из дальнего похода. . .», «По степи голубой. . .»), а в стихотворении 1915 года — «Дух народов горит. . .» — уже прорываются мотивы, как бы предвещающие пафосную поэзию «Плуга»: «Пусть придут же, придут Маккавея мечи! И зажгутся огни Леонардо да Винчи!» Однако главная мысль молодого Тычины сосредоточивается на ином — на «внутреннем» в человеке, на поисках — пока в сфере чисто идеальной — его гармонии с миром, путей его освобождения от ига всяческих «божков».

Идейно-философские первоисточки «Солнечных кларнетов» довольно наглядно раскрываются в диптихе «В собор». «Место действия» в первом стихотворении — паперть собора, где «беседуют с богом»; тут все говорит об угнетении и принижении человека («Гнутся, гнутся, гнутся вербы, Гнутся нищие к земле»), о бесплодности ожидания и веры («Жду я, ждут все люди, — Только нет его»). А совсем рядом — дорожка на огород. И здесь — тот подлинный гимн, который поэт не мог услышать в христианском храме («За частоколом — зеленый гимн. Оставляйтесь, люди, со своими божками»). В самоценном объективном бытии природы, в ее здоровой, свободной красоте поэту видится естественная антитеза хмурой лжи религии: человек, вслушивающийся в органную музыку земли и солнца, — это человек, который приобщается к могучей всемирной гармонии, гармонии живой, беспредельной жизни. Что же считать истинным «собором» — церковь или мир природы? Даже если согласиться, что заглавие

«В собор» — всего лишь заостренная полемическая формула (пантеистическую окрашенность некоторых мотивов раннего Тычины отрицать не приходится), достаточно указать хотя бы на открывающее книгу стихотворение «Не Зевс, не Пан, не Голубь-дух...». Но это, разумеется, не устоявшееся убеждение, не «система», — перед нами, скорее, тот стихийный, устремленный к живой природе пантеизм, который Ф. Энгельс, говоря о Карлейле, назвал «преддверием свободного, человеческого воззрения на мир».¹ Для молодого поэта, который рвал с опостылевшей ложью официальной религиозной догматики, подобная замена божьего храма «храмом» живой, вольной природы действительно была своего рода ступенькой к новому, свободному взгляду на мир.

Пафос духовного освобождения, «распряжения» личности ясно ощущается и в своеобразной философской декларации — стихах, которыми открывается сборник. Для Тычины умерли старые боги человечества — в мире есть лишь «бессмертный рух» (бессмертное движение) и «солнечные кларнеты» как символ вселенской музыки, символ доброго, светлого начала, противопоставляемого всякому божественному гневу, всякому гнету и насилию. Своеобразный романтический, даже «космический» гуманизм здесь предстал в ярком и своеобразном поэтическом воплощении. А если говорить точнее, то его следовало бы назвать, используя термин Г. Недошивина, «эстетическим гуманизмом», свойственным ряду художников на рубеже XIX—XX столетий, нередко лишенным отчетливой политической тенденции, не чуждым своеобразному «художественному утопизму», но искренним в своей «защите человека, его прав, его свободы, раскрытии в нем лучших, прекраснейших качеств...».²

Гуманистический пафос тычининских стихов о природе и любви (они составляют в книге основной массив, хронологическим пределом которого стала осень 1917 года) и придали им ту удивительную силу образно-эмоционального воздействия, которую они сохраняют и поныне.

Социалистической революции, новому строю жизни, который она утвердила, оказалось очень созвучным убежденное «солнцепоклонничество» молодого поэта, пусть в ту пору еще и далекого от политики, от прямого выражения социальных устремлений и чаяний народа.

¹ Ф. Энгельс, Положение в Англии. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 594.

² Г. Недошивин, Теоретические проблемы современного изобразительного искусства, М., 1972, с. 51.

Не много можно назвать стихов, где было бы разлито столько света — и физического, и душевного, — сколько в пейзажной лирике «Солнечных кларнетов». До сих пор испытываешь ощущение этой особенной полноты света, скажем, в строках о том, как под вечерним небом, которое «что золото. Что золото расколото, Горит-дрожит река — вся музыка»; или в изысканной фольклорной метафоре, передающей предрассветное ожидание солнца: «Где-то там клюют жар-птицы Зелено вино»; или в неожиданном эпитете в устах влюбленной девушки: «Не смотри же так приветно, Яблоневоцветно». На востоке небо пахнет — значит, близок восход солнца, «колышется флейтами» где-то на западной стороне — значит, солнце только что зашло. Но солнце у Тычины может быть и гневным, с мечами, как в лирической миниатюре «Туман». Здесь нет прямых социальных аллегорий, но невольно вспоминаются строки старшего друга и наставника поэта — М. Коцюбинского. В его новелле «Intermezzo» есть такое обращение к солнцу: «Ты бросаешь в мою душу золотой посев — кто знает, что взойдет из этих семян? может быть, огни?» Настроение, символика, ассоциации, понятные всем передовым людям эпохи, по-своему откликнулись и в «Солнечных кларнетах».

Можно сказать — и не без серьезных оснований, — что лирический герой этих стихов был мечтателем, далеким от социальных, политических тревожений и едва ли не полностью погруженным в улавливание музыкальных ритмов природы и переменчивых собственных настроений. Однако мечтательный лиризм «Солнечных кларнетов» явно чужд спокойствию и умиротворенности, он с первых же строк вводит читателя в атмосферу глубинных предчувствий и тревог, ожидания — пусть неясного — чего-то нового, большого и небывалого. Эти настроения через край бьют в весенне-радостном «Арфами, арфами...», очень ясно ощутимы они в картине предгрозя, на которую взволнованно откликается «тревожное и чуткое» сердце поэта («Тополя над полями»), в символических образах капель крови, которые вдруг падают на землю с нависших туч. . .

При всей эмоциональности лирики Тычины, при исключительном внимании поэта к передаче «музыки» настроения, душевного состояния, она всегда была лирикой философского склада. Даже в самых скромных пейзажных миниатюрах и набросках у него неизменно присутствует чувство общего, чувство мира как целого; недаром уже в связи с «Солнечными кларнетами» в критике говорилось о «космическом» мироощущении поэта. Музыкальность образного мышления поэта здесь играет особую роль. Мир, воспринятый через музыку, предстал перед ним целостным и сущностным в каждом своем проявлении. Через приобщение к могучему вселенскому ритму, через

музыкальное постижение единства природного, матерьяльного мира, такого богатого и прекрасного в своих бесконечных переливах, он как бы размыкал горький круг «сиротства», потерянности и разорванности личности в обществе, где царят угнетение и ложь. Да, это была яркая вспышка — в самый канун величайшей из революций — той романтической лирики, которая своими подчас весьма сложными путями приходила к глубокому ощущению того, что впереди — небывалый перелом, необыкновенно ясный источник света, радикальное обновление жизни.

Народно-песенный мелос, звонко откликнувшийся в ритмике и фонике стиха Тычины, фольклорная символика, неповторимое национальное своеобразие поэтической экспрессии — все это связывает образный мир «Солнечных кларнетов» с глубинной темой народа, его грядущего подъема и возрождения.

Тычина использовал, будучи далек от символизма в философско-эстетическом смысле, элементы символистской поэтики, порой шел даже дальше — к чисто ассоциативным «пучкам значений» позднейшей поэзии, но под его оригинальными, подчас довольно сложными образными построениями почти неизменно — далекие от всякой «трансцендентности» народно-поэтические представления. Как, скажем, в миниатюре «Туман» из цикла «Энгармоническое», где «сизый ворон» — конечно же, предрассветный туман, «черный ворон» — ночь:

Над болотом прядет молоком. . .
Черный ворон задумчив,
Сизый ворон печален.
Очи выклевал. Бог весть кому.

И, несомненно, он мог соревноваться с Верленом, строя строфу по законам музыкального голосоведения, где как бы параллельно идущие темы потом сливаются в единый полнозвучный аккорд:

Посмотрела ясно — вдруг запели скрипки!
Обняла, прощаясь в глубине души.
Лес молчал в печали, в траурном аккорде.
Вдруг запели скрипки в глубине души!

(«Посмотрела ясно. . .»)

На последних страницах «Солнечных кларнетов» звучат мотивы, навеянные событиями уже совершающейся революции. Хронологически это отрезок с весны до конца 1917 — начала 1918 года. В своей совокупности произведения этих месяцев противоречивы по настроению и конечным выводам: хорошо известная из истории Октября

сложность восприятия великих социальных катаклизмов определенной частью демократической интеллигенции отразилась в них со всей очевидностью.

Одно можно утверждать вполне определенно: с недавней лирической отстраненностью от прямых социально-политических интересов было покончено удивительно быстро — и навсегда. Революционная действительность, можно сказать, одним ударом превратила для Тычины в «присноблагенный бред» всякое «искусство для искусства», поэзию всяческих декадентов и христианнейших мистиков: «С проклятем вас сметем долой! Багряный! Молодой! Бой!» («Ходят по травам. . .»).

Но наряду с этим создается известное, такое же лаконичное стихотворение о том, как ожидали неизреченно прекрасную невесту — «синеву, лазурь», а явилась — грозовая ночь:

Распахнулись двери —
Грозная ночь!
Распахнулись двери —
Все пути в крови!

(«Распахните двери. . .»)

Столкновение мечтательного, поэтического гуманизма с реальной действительностью революции, с «доведением классово-борьбы до крайнего обострения, ее превращения в гражданскую войну»¹ оказалось поначалу ошеломляющим для поэта и отозвалось в некоторых его стихах глубоким смятением и болью.

Разумеется, в историческом смысле эта коллизия отнюдь не была личной коллизией одного лишь автора «Солнечных кларнетов», — достаточно вспомнить сомнения и колебания, испытывавшиеся в этот период целыми слоями старой интеллигенции; это о них так понимающе и в то же время так беспощадно писал тогда В. Брюсов в своей стихотворной инвективе «Товарищам интеллигентам».

У поэта украинского, выросшего в мучительном чаянии элементарной свободы для своего языка и культуры, жестоко угнетавшихся царизмом, был еще один сложный вопрос — вопрос национальный. Для его правильного понимания требовался определенный политический, социальный опыт, а этим опытом Тычина 1917 года еще не обладал. Отсюда и дань иллюзиям о якобы уже свершившемся национальном освобождении в написанной ранним летом 1917 года

¹ В. И. Ленин, Запуганные крахом старого и борющиеся за порок. — Полн. собр. соч., т. 35, с. 192.

поэме «Звон золотой», где дана, пусть и нарушаемая резкими диссонансами, почти идиллическая картина праздничного, экстатического «единства нации»:

И все смеются, как вино. . .
Проходят: молодые, богатые, бедные, гордые,
в облака влюбленные, в музыку, —

и почти безысходный трагизм цикла «Мать скорбящая», который создавался в то время, когда борьба за действительно свободную Украину — за Украину советскую, верную сестру революционной России, — достигла крайней степени остроты.

Сходные настроения и прежде всего болезненно переживаемый крах иллюзий и предрассудков абстрактного, «надклассового» гуманизма сказались и в вышедшей в 1920 году тоненькой книжечке «Взамен сонетов и октав». По форме это фрагменты из лирического дневника, хронологически относящегося, очевидно, к 1918 году, — одиннадцать «строф» и столько же «антистроф», написанных ритмической прозой. «Проклятье всем, кто опустил, зверем став! Взамен сонетов и октав» — читаем на первой странице книжки. Энергичные эти слова адресованы *всем*, без различия цвета флага, участникам ожесточенной гражданской войны.

Характернейший для Тычины того периода афоризм: «Социализм без музыки никакими пушками не установить» («музыка» здесь — все подлинно человеческое, возвышенное, прекрасное) — сегодня лишен для нас той парадоксальности, с которой он провозглашался: социализм действительно дал миру великую человеческую «музыку», но ведь говорилось это в то время, когда именно пушками решался спор рождающегося социализма с его заклятыми врагами.

О Тычине можно с полным основанием сказать, что в 1917—1918 годах, отмеченных чрезвычайно сложным разворотом политических и военных событий на Украине, он буквально *выстрадал* свое революционное мировоззрение, и, в частности, классовый, интернациональный подход к проблеме национального. Очень важную роль сыграла душевная, сердечная чуткость поэта к трудовому человеку, к его надеждам и чаяниям. Наиболее показательна в этом смысле «Дума о трех ветрах», написанная в самый канун Октября. М. Рыльский сравнивал ее с «Невольником» Т. Г. Шевченко по степени проникновения «в стиль эпико-героического творчества»¹ народа. Но этот

¹ Максим Рыльський, Співець Радянської України. — Твори в десяти томах, т. 9, Київ, 1962, с. 311—312.

стиль здесь отвечает и сущности — органической близости к народным представлениям о социальной справедливости, о праве пахарей за «бедными оконцами» на землю и свободный труд. Благодаря этому несложная «сказочная» аллегория о трех ветрах стала своеобразным поэтическим предвещанием народности социалистической революции, а проникнутый горячей симпатией образ «третьего Ветра молодого, Легковей-Теплокрыла удалого», — символическим, «угадывающим» образом той революционной силы, которая несла трудовому крестьянству осуществление его вековых надежд.

3

Социальный и духовный опыт, обретенный П. Тычиной в бурные месяцы после Октября, был таким глубоким и содержательным, что дал возможность поэту заговорить новым, поистине необыкновенным голосом уже с первых месяцев 1919 года, когда на Украине, освобожденной от буржуазной националистической контрреволюции, началось строительство новой, советской жизни. Именно в это время было написано большинство стихотворений, составивших книгу «Плуг» (1920) — одну из самых славных «начальных книг» украинской советской поэзии.

У каждого из больших поэтов был свой, индивидуальный путь к восприятию правды Октября. Тычина пришел к ней главным образом через осознание творческого, созидательного содержания социалистической революции:

Сейте с папевом веселым
спелые зерна. . .
Солнце над лугом-долом —
глыбою горной!

.

Будь же безумным — не зимним.
Новые взвей марсельезы!
Направо, налево мечи —
ставьте диезы в ключи!

(«Сейте. . .»)

Совсем недавно стала известна незавершенная драматическая поэма Тычины «Раскол поэтов», написанная предположительно в 1919—1920 годах. Эволюцию политических и эстетических взглядов

автора со времени «Звона золотого» или «Матери скорбящей» она характеризует чрезвычайно паглядно.

Устами Коммуниста — единственного человека на собрании эстетской «студии поэтов», хорошо знающего, куда идти и что делать, — автор разоблачает ложь националистов о революции и о русском народе, в частности о том, что идею социализма на Украину, дескать, несет на своих штыках «северный сосед»:

Зачем твердить: «несет» сосед, —
всё брезжит и у нас под боком!
Лишь мы сверхшовинистским оком
не склонны видеть этот свет!

«Жизнь — идеолог самый лучший» — вот простая и ясная мудрость, противопоставляемая никчемной суете книжников и фарисеев от «барского» искусства, которые и сейчас остаются «при старопрежних „сладких звуках“... как будто жизнь — балет иль пир».

По-новому смотрит поэт на искусство, на себя и на своих товарищей. Осуждение «господской», то есть декадентской, оторванной от жизни, претенциозно-подражательной поэзии сочетается в его стихах со страстным призывом: искусство должно слиться с борьбой революционного народа!

Так хватит спать! Вставайте и — в дорогу!
Гимн Человеку пойте, а не богу!
Грядущему — все звуки ваших лп!

(«Я знаю...»)

Знаменательно в этом смысле и соотнесение Тычиной себя с поэтами Советской России («И Белый, и Блок...»). Там уже рассвело («Везде уже — солнце»), а здесь — «стократ распинаемый Киев и двести растерзанный — я». Но в огромных трудностях борьбы за новую, советскую Украину рождалось чувство нового, революционного патриотизма, неотделимое от чувства общности со всем трудовым человечеством. В этом истинном, глубоком чувстве утверждал Тычину и опыт братской русской поэзии, опыт Блока и Есенина: «Поэт, полюбить не преступно отчизну, но только — для всех!»●

Для него, поэта философского настроения, существенно важно понять революцию как явление эпохального, всемирного значения. Так возникают романтические, планетарного масштаба образы, образы-символы, передающие небывалый размах совершающегося переворота. Ветер? Кто же не писал в то время о нем, всесветном ветре, начиная с Блока и Брюсова! И у Тычины:

Ветер.

Не ветер — буря!

Дробит, ломает, с землей вырывает. . .

(«Ветер. . .»)

Но за ветром, за тучами — несожиданно — плуг, гигантский, невиданный, движимый «миллионм миллионов мускулистых рук. . .». Происходит великая перепашка всех слежавшихся пластов исторического бытия человечества с его культурой, идеологией, моралью, «алтарями и богами». И это историческая необходимость, которую надо понять и принять, которой надо прямо смотреть в глаза.

Едва ли не в каждом стихотворении «Плуга» чувствуешь лирическую позицию автора — убежденность в величии и справедливости революции, стремление найти для нее собственный духовный масштаб, возвыситься до ее грандиозности. Именно в этой честности поэта перед своим днем, перед его непреложной сутью («Зачем плоты пускали вместо флота, страшась того, что Сутью все зовут», — гневно спросит он «убегающих» от нее в стихотворении «Я знаю. . .») — один из источников морального обаяния революционной поэзии Тычины, чутко воспринятого современниками.

Планетарная символика характерна и для ряда других стихотворений, вошедших в книгу («Сотворение мира», «Межпланетные интервалы», «Мессия» и др.). Она была в духе времени и в какой-то степени выражала революционно-романтический пафос поэта. И все же главные свои победы он одержал в произведениях иного художественного плана. Создавая неповторимый образец нового песенного эпоса — сжатый до четырех строф рассказ о том, «как на площади у церкви революция идет», — он, по его признанию, думал о родных Песках и о сельском пастухе, деде Ремезе, ушедшем в красные партизаны («Пусть чабан, — все закричали, — нас на пана поведет!»). Но дело, конечно, не в наличии прототипов и конкретных жизненных поводов, а в умении автора дать высокий поэтический синтез действительности без отвлечения от ее реальных форм, то есть дать его реалистически.

В стихотворении, о котором идет речь («На площади»), это достигнуто, казалось бы, простейшими и вместе с тем необычайно тонкими средствами. Вполне как будто бы традиционный фольклорный «распев» получился удивительно преображенным, искрящимся небывалыми смысловыми сопряжениями (как, скажем, это — привычная площадь у церкви и — «революция») и в итоге дающим классически ясный образ народной силы, которая поднялась на справедливую борьбу. В украинской поэзии того времени, пожалуй, нет другого

такого произведения, которое с такой музыкальной завершенностью воплощало бы новую, революционную народность поэтического содержания и поэтической формы.

На величие и естественную сложность происходящих событий поэт отвечал строгостью и честностью высокой, ищущей, обобщающей мысли.

Как итог пережитого и передуманного в годы ожесточенной борьбы между силами революции и контрреволюции на Украине звучит цикл (его можно назвать и поэмой) «Псалом железу» с его лаконичным, твердым, предметным, подчас и впрямь «металлическим» языком.

В четырех стихотворениях цикла — сжатые до предельной выразительности картины жизни большого города в разные моменты гражданской войны; вместе с тем это изломы определенной психологической кривой, этапы становления нового сознания, нового строя чувств лирического героя — лица в известном смысле типического. От смятения, растерянности, порой даже отчаяния, вызываемых драматическими перипетиями гражданской войны и всеобщей разрухи, — до гордого чувства бодрости и надежды, вселяемых уверенной поступью «железных батальонов пролетариата»:

А там с повстанцами поют,
шагают коммунары.

Постой, товарищ, подожди,
еще мы попируем,
Когда поможете вы нам
расправиться с буржуем!

(«Псалом железу», 4)

Так рождается новый, радостный «псалом железу» — силе вначале непонятной и чуждой. А «железо» в образном контексте этих стихов было исполнено действительно поэтического значения: это и образ нового, индустриального века, и синоним непреклонной революционной воли рабочего класса, и символ душевной, психологической закалки, обретаемой в борьбе, — тот самый надежный металл, который позже войдет в тычининскую формулу социалистического гуманизма: «сталь и нежность...».

Обострение исторического слуха поэта, стремление вглядеться в движущие силы революции и духовно слиться с ними, напряженное внимание к тому, как происходит великий переворот в жизни народной массы, — все это внесло в его лирику ощутимый эпический

элемент, раньше ей не свойственный. «...Целыми эпосами, сжатыми до пределов поэтической миниатюры», «сгустками народной эпической песни»¹ назвал один из исследователей Тычины его стихотворения типа «На площади». Вместе с тем — таково уж общее свойство настоящей лирической поэзии, — рассказывая о времени, Тычина рассказывал и о себе. Книга «Плуг» в этом смысле — книга большой искренности и одновременно исключительной типической емкости.

Цикл «Мадонна моя...» — прощание с прошлым и одновременно попытка разглядеть новый эстетический идеал, пока еще довольно смутный; цикл «Письма поэту» — раздумья об отношении поэзии к обществу, к революционному народу; стихотворения «Я знаю...», «Тому — любовь, другому — мистика...», «Плоским пророкам» — гневная полемика с «барской», декадентской, а также с наспех пережившейся псевдореволюционной поэзией, — все это вехи и личных, «человеческих» поисков и обретений поэта.

Внутренний, богатый индивидуальными красками, а подчас и сложными идейными перипетиями путь честного, демократически настроенного интеллигента к социалистической революции, путь идейного слияния с ней эти стихи отражают с редкой силой исторической типичности и психологической полноты.

Глубина художественного преображения поэзии Тычины по сравнению с «Солнечными кларнетами» здесь необычайна. «Поэтика предчувствий», нежно-тревожной мечтательности уступила место поэтике взволнованных призывов и прямого разговора с широкой народной аудиторией. Чисто эмоциональная основа лирического переживания сменяется натиском взволнованной мысли, ищущей и находящей прямые, как сама жизнь, решения; вместо трепета переменчиво-зыбких настроений — бурные столкновения идей, требующие твердого разрешения, ясного синтеза. Все это преобразило язык, формы, образный строй стиха.

Мог ли он еще два года назад писать вот такими весомыми, точными и строгими до аскетичности понятийно-«матерными» словами:

Прошел как сон блаженный час
и готик, и барокко.
Идет чугуцный Ренессанс,
спокойно шурит око.

(«Псалом железу», 3)

¹ А. И. Белецкий, Павло Тычина. — В кн.: Павло Тычина, Избранное, М., 1946, с. 17.

С огромной пастойчивостью и, думается, с неведомой ему до сих пор художественной радостью Тычина пробивается к реалистической конкретности образа, постигая и ее высшую сущность — историческую, социальную конкретность. Впервые в его стихах так прямо и значительно прозвучали «ведущие слова» эпохи — рабочий класс, пролетариат, революционеры, коммунисты, причем с такой искренностью и серьезностью, которые вовсе не оставляли места для риторики. Иное дело, что и здесь, в этой конкретно-реалистической поэзии, мысль Тычины масштабна, предельно концентрирована, романтически окрылена и вовсе не чурается емкой символики, необычных ассоциативных скрещений, — во всем этом поэт остался и останется верным себе.

4

Вышедший в 1924 году сборник «Ветер с Украины» — одна из самых романтических и в то же время вполне «земных» книг поэта. Если искать близкие аналогии в советской поэзии тех лет (анalogии по главенствующему настроению, а не по конкретным темам и стилю), то могут быть названы и славящие «синий май, вольный край» стихи И. Асеева, и «Юго-Запад» Э. Багрицкого, и поэзия Г. Табидзе, Э. Чаренца, и «фанфарная» заключительная часть поэмы «Хорошо!» В. Маяковского.

Новая, революционно-патриотическая гордость слышится украинскому поэту в победных кличах «ветра с Украины» — ветра со всей советской земли, который громово хохочет и над «шпенглеровским» пессимизмом буржуазного Запада, и над традиционной философией «восточной неподвижности», и над «напрасной игрой» вышибленных из страны господ, мечтающих о возврате старых порядков. . . Все это сочетается с радостным ощущением собственной готовности к наивысшим свершениям, собственной слитности с временем:

Я дорос, моя сила дозрела,
я увидел далекий рассвет

(«За всех скажу. . .»)

Одно из генеральных свойств искусства социалистического реализма — умение видеть в сегодняшнем отсвет завтрашнего — зримо проявляется в стихах Тычины, изображающих пеструю мозаику будничных явлений и впечатлений. Вот цикл «Улица Кузнецкая» — сложный и напряженный драматический контрапункт: разноречивые голоса тогданней действительности, повсюдные столкновения нового и ста-

рого, боли и радости. Но над всем этим господствует лейтмотив, говорящий о неминуемом «торжестве обновления». Или первое стихотворение из цикла «Харьков»: лицо старого губернского города, ставшего столицей советской Украины, дано без какой-либо ретуши («Увяз в междуречьях, как в глине, канув во тьму»), но зато какое ощущение силы и широты, какое предчувствие завтрашнего промышленного размаха охватывает поэта на его заводских окраинах:

Вот здесь твое, Харьков, обличье,
здесь центр твой.

*(«Харьков, Харьков, что в твоём
обличье? . . .»)*

Мы снова возвращаемся к понятию предчувствия, поэтического «предвозвещения», играющего такую значительную роль в художественном мышлении Тычины — поэта музыкального склада и, следовательно, особенно «зорких» духовных эмоций. Разумеется, теперь это уже не те почти интуитивные предощущения, о которых шла речь применительно к «Солнечным кларнетам», — эмоциональная чуткость здесь сочетается с ясным пониманием жизни, которое дает художнику марксистско-ленинское мировоззрение. Все же способность, так сказать, музыкально улавливать главные тоны, ведущие голоса эпохи останется и в дальнейшем неотъемлемой чертой поэтического метода Тычины, одним из источников его удивительных образных откровений, как и в только что приведенном примере: ведь четкое, «деловое», оголенно дефинитивное заключение «здесь центр твой» для автора было бы невозможно без чисто музыкального образа, как бы предвещающего грандиозность будущих созидательных деяний:

И вот тебе ветер да ветер —
раздолье, бтгул и разгон! . .
Эх! чертова сына!
И где на тебя угомон!

Вдохновенность и сложность первых шагов на ниве созидательного труда стали темой ярко романтического произведения — написанного в 1920 году цикла «Живем, работаем коммуной». Трудностям начавшегося мирного строительства в условиях 1920 года, когда город задыхался в тисках разрухи и голода, а в окрестных селах надо было пробуждать к восприятию нового людей, «как терновник диких»,¹ — поэт противопоставлял революционную волю сознательного авангарда

¹ В оригинале: «дикі, як шипшина» — т. е. как шиповник, прародитель «королевы цветов» — розы.

И твердую уверенность в осуществимости поставленных им задач. И пусть еще чаемой «музыки» мало в реальной жизни, пусть многим еще «трудно выйти на тропу» — цикл пронизывает радость, радость вдохновенного созидания, которая по-новому освещает и постоянно присутствующую в раздумьях поэта проблему гуманизма:

Ну что с того, что кровь течет по свету? Придут иные
поколенья — слиянье тел и душ.

Мы строим то, что строим, и новый мир — он будет наш!

(«Живем, работаем коммуной», 10)

Приступ к строительству нового мира для него также и начало основательного революционно-критического пересмотра всего духовного наследия прошлого, пересмотра и одновременно переключки со всем, что было в нем великого и светлого. В кипящую, клокочущую современность он вдвигает «вечные» образы, смело переосмысливая их в духе запросов дня.

В одних случаях это прямая, довольно прозрачная социально-политическая притча, выполненная, однако, в фантастически-гротескном ключе, приближающем нас к остранинной сказке, легенде, преданию: летописный киевский Никита Кожемяка наглядно учит земляков и сограждан, как поступать со своими богатеями, а также с пришлыми злодеями-захватчиками в годину общепародной беды («Кожемяка»).

В другом случае поэт обращается к средствам саркастического памфлета, заставляя встретиться на раздорожьях современной, послевоенной Европы Фауста и Прометея («Ходит Фауст»). Ясно, что речь идет о новоявленном Фаусте: перед нами деловитый и скептический буржуазный интеллигент, который из искателя истины и бунтаря, каким он был в далекой исторической молодости, давно уже превратился в жалкого «ученого приказчика» правящего класса. Холодному скепсису и расчетливому прагматизму этого бывшего «носителя тайны и веры» противостоит у Тычины святая революционная страсть современного Прометея — человека с рабочим молотом в руке.

Значительно сложнее трактовка образа Ярославны — героини «Слова о полку Игореве» — в стихотворении «Плач Ярославны». Это символ, причем с неожиданным значением: образ тоскующей древнерусской княгини стал воплощением красоты уходящей, красоты, кровно связанной с патриархальной стариной. Понять метаморфозу этого образа у Тычины можно, вспомнив настойчивые обличения поэтом — в таких стихотворениях, как «Великим лжецам», «Три сына», в цикле «Улица Кузнечная» — всяческого пассензма и фальши-

вой национальной романтики, возводящих в идеал старую, хуторскую Украину и тоскливо вздыхающих по идиллической социальной «гармонии»:

О, как гармонию, гармонию мы любим!
Мы видеть мир хотим прозрачным, а не грубым.
Для нас вся жизнь — лишь звук, лишь сонный,
тонный транс,
и в ней рабочий класс — как вечный диссонанс.

(«*Великим лжецам*»)

И в страстной устремленности Тычины к новой красоте («Дивный флот»), и в его очевидных теперь полемических перехлестах по отношению к красоте «старой» отразился сам дух времени — времени резких, психологических разрывов с прошлым, с его инерциями, «сдвигающими в сторону сердца». ¹

Никого из читателей не оставляли равнодушным и новые стихи Тычины, направленные против буржуазных националистов, озаренные светом идей пролетарского интернационализма.

Через все преграды стен
я увидел вас.
О благословен
час! —

(«*Запад II*»)

писал он, обращаясь к Р. Роллану и А. Барбюсу и радуясь тому, что сумел увидеть их — друзей, духовных союзников — не только через проволочные заграждения недавней блокады, но и через барьеры «нации», «рода». Для Тычины такая ясность интернационального зренья была одним из самых знаменательных, глубоко волнующих завоеваний революции. И чем яснее ему видится великая цель — «Интер-республика», грядущее братство свободных народов, — тем глубже осознается классовая пропасть между сторонниками и врагами этой цели. Гиперболический, почти библейский образ разделенного надвое Днепра, встающий на страницах поэмы «В космическом оркестре», достаточно ясно говорит о том, как относится теперешний Тычина к любым мифам о национальном единстве и пресловутой «гармонии» в развороченном революцией мире.

Личное и общее в этих мотивах было неотделимо друг от друга. Тычина глубоко чувствовал, как политика, великое классовое противоборство пропахивают все человеческие взгляды и отношения. Ней-

¹ Выражение М. Бажана из его поэмы «Разговор сердец» (1927).

тральных нет и не может быть, — никто из украинских поэтов 20-х годов не выражал этой идеи с такой силой личной страсти, личного переживания.

Неудивителен громкий резонанс, который получил его «Ответ землякам» (под «земляками» имелись в виду и украинские националисты за рубежом, и разные шептуны того же толка из кругов «внутренней эмиграции») — произведение незабываемое по чувству высокого гражданского достоинства, идейной твердости и презрения к врагам Советской страны:

О, будьте прокляты вы все — я вас не знаю!

.
Души моей не подкупить вам
ни лавровыми венками,
ни золотом, ни хлебом, ни орлом.

Стою — скалой непоколебимой.

Сборник «Ветер с Украины» (по тематике и настроению к нему примыкают и стихи ближайших последующих лет — «Из крымского цикла», «Славься», «И от царей, и от вельмож. . .») — одно из самых ярких явлений украинской и всей советской поэзии середины 20-х годов. Высокий душевный подъем, ощущение полноты собственных сил, вдохновляющая ясность цели, предчувствие небывалой творческой широты завтрашнего дня — все это определило глубинный пафос новых стихов поэта, их лирическую тональность. Перед нами романтически окрыленная поэзия больших ожиданий и радостных надежд.

Идею созидания нового мира можно без преувеличения назвать и ее главенствующей *художественной* идеей. Радуюсь началу реального строительства новых форм жизни, Тычина как бы заново пересоздавал и свой поэтический мир, начиная с его глубоких духовных основ. Все должно быть обновлено и критически пересмотрено, все в человеке и его мыслях должно быть соразмерным грандиозности социалистического завтра! И поэт стремится создать новую картину мироздания, дышащую, так сказать, радостью постижения его материальности, его вечного, «огненного» движения:

Благословенны:
пространство и материя, число и мера!
Благословенны все цвета, и тембры, и огонь,
огонь, тональность всего мира, движение и огонь,
движение и огонь.

(«В космическом оркестре»)

С такой же взволнованностью постигались новые законы во взаимоотношениях личности и общества — законы коллективизма («Живем, работаем коммуной»), законы сознательной гармонии между единичным и общим, которые поэт романтически просцирует и на свой насквозь очеловеченный «космос»:

Там жизнь без грусти ядовитой
и эгонзма тоже нет.
У каждого своя орбита,
один закон у всех планет.

(«В космическом оркестре»)

Тычина действительно имел право сказать: «Я дорос, моя сила дозрела», — его стихи 20-х годов говорят об удивительной творческой щедрости, многообразии форм, уверенном и смелом мастерстве, ставящем перед собой все новые и новые задачи. Он как бы опробывал на современность и «грузоподъемность» разные ритмические формы — от ямба до верлибра, от старинной народной тоники до гекзаметра; разные жанровые разновидности — от песенки до небольшой монологической поэмы, от прямой политической публицистики до поэтического иносказания в форме былины, сказки, легенды; разные художественные планы и масштабы — от интимного лирического признания и непосредственной пейзажной зарисовки до грандиозных космических картин... Все это испытывается на разнообразном современном материале, все смело претворяется в соответствии с оригинальными замыслами. Поэзия растущего нового мира должна быть, по идее Тычины, оснащена всем богатством форм и приемов, должна неутомимо искать, изобретать, стать действительно новой не только по содержанию, но и по арсеналу своих изобразительных средств. Легко видеть, как близок Тычина по этим эстетическим принципам к Маяковскому и другим крупнейшим поэтам эпохи; однако он и резко индивидуален, своеобразен — хотя бы уже потому, что стремится сочетать новые формы с «омоложенным», освеженным наследием прежних эпох, в том числе с неисчерпаемым образным фондом фольклора.

Критики отмечали, что иные метафоры и сравнения у Тычины, передающие новизну, масштабность и динамизм событий революционной эпохи, под стать неукротимым гиперболам Маяковского. Солнце у него ходит «по берегам вечности в шляях»; вокруг Земли рысцой — лысый, беззубый Месяц, который «смотрит сквозь монокль»; новая эпоха должна родить богатырей, «кудрявых сердцем»; предчувствие радостного творческого Завтра передается через образ титани-

ческого воздушного флота: «Чей это флот с незавоеванных высот все шибче скорость пабирает?»

В то же время он по-прежнему внимателен к поэтическому микромиру, особенно в восприятии природы. Только он может вот так схватить предосеннее «настроение» августовского полдня:

И лето еще за полным столом,
и день с открытым воротом,
а все-таки в природе что-то всхлипывает.

(«Шумы, эпоха наша»)

В стихотворении «Уж скоро лето...», изображающем новое, советское село, — такая ясность и чистота тонов, которая вызывает в памяти шевченковское «Вишневый садик возле хаты...». Исполненный нежности, Тычина не боится передать девичью песенку Форнарины («La bella Fornarina»), взволновавшую Рафаэля, почти одними «чистыми» созвучиями: «о синь, о сон лелею ли, лю-лю, люблю, люблю ли». И может запросто переходить от «грандиозы», от космических масштабов к беседе «на равных» с каким-нибудь жучком, обнаруженным в шалаше во время отдыха:

Кто ж его погладит,
сказкой развлечет,
если на ухо присядет,
ужин свой жует?
.
Ах ты моя прелесть!
Усы на носу!
Борщ ты, может, любишь?
Завтра принесу.

(«Шалаш»)

В этом разнообразии проявляется стремление Тычины к полнокровному синтезу всемирного и личного, общего и частного, сурового и ласкового, который позже будет выражен лаконичной формулой: «сталь и нежность».

5

Начало 30-х годов — время больших индустриальных строек и массовой коллективизации, время ударных бригад и всенародной борьбы за темпы — ознаменовалось весьма ощутимой перестройкой всего фронта советской поэзии. Заметно изменяется общий ее ритм

и тон, усиливается публицистический волевой пафос. Стихи активно включаются в социалистическое «наступление по всему фронту», нередко вместе с газетными жанрами выходят на переднюю линию там, где надо убеждать, агитировать, спланировать людей, повышать, по выражению М. Горького, температуру их трудовой энергии. Это были годы, когда В. Луговской писал «Большевикам пустыни и весны», А. Безыменский — «Трагедийную ночь» и «Стихи делают сталь», И. Сельвинский — «Электрозаводскую газету», М. Рылский — «Декларацию обязанностей поэта и гражданина», М. Бажан — поэму «Число», Л. Первомайский — «Героические баллады».

Потребность в этой новой мере публицистичности, в особо «деловой», отчасти даже прозаической конкретности ощутил — как всегда, очень по-своему — и Тычина. Небольшая книжечка его стихов 1931 года «Чернигов» была построена как репортаж из хорошо знакомого автору древнего города, где сейчас идет повсеместное строительство, происходят разительные жизненные перемены. Стилистически стихи этой книжки изощренно экспериментальны: поэтическая ткань насыщена массой «прозаизмов», неологизмов, порой автор переходит на язык чистых философских абстракций (стихотворение «Насыщаясь новым содержанием»), порой пытается передать «музыку эпохи» путем чисто звуковой аранжировки актуальных лозунгов, терминных, понятий:

О ні, ми ясно кажемо:
з заводом школу зв'яжемо,
у всі знання узуємось,
врізаємось, шлюзуємось,
політехнізуємось.¹

(«О ні, ми ясно кажемо...»)

Ясно заявленная цель — максимально сблизить стихотворное слово с жизненной реальностью, сделать поэтическим то, что обычно считалось «непоэтическим», — практически достигалась далеко не везде, однако в целом эти эксперименты не остались бесплодными, если иметь в виду последующее творчество поэта.

Основной пафос книги был хорошо выражен в стихотворении «Ленин» (по признанию автора, оно набросано было еще в 1924 году и окончательно завершено уже позднее). Над гробом вождя поэт клялся быть по-ленински непримиримым ко всем врагам социализ-

¹ В прозаическом переводе: «О, нет, мы ясно говорим: с заводом школу свяжем, во все знания обуемся, врезаемся, шлюзуемся, политехнизирujemyся».

ма и своими образными средствами, своей словесной «инженерией» передавал ощущение гигантской мобилизующей энергии, заключенной в ленинском наследии:

Л е н и н!

Одно только слово,
а мы уж как буря:

готово!

Паляжем всей грудью, усилим нажим,
и сразу глушим, и крошим, и крушим!

Несколько позже Тычина напишет, что эпоха обязывает поэта говорить «реалистическим языком, материальными нескрытыми словами»¹ (обратим внимание, в частности, на последние два эпитета). В статье 1940 года о Маяковском он укажет, что в поэте его особенно привлекало умение «говорить с народом откровенно», умение будить массы «к восприятию будущего», чему способствовала и форма трибунного стиха — «взрывная, дерзкая, антитрадиционная...».² Потребность в такой поэзии бурного агитационного натиска, поэзии, жаждущей слова «материального» и «нескрытого», Тычина с особой силой ощутил в годы первых пятилеток.

Так родились его оригинальные «песни, пеаны, гимны» — жанр, занимающий центральное место в тогдашнем творчестве поэта и отнюдь не забываемый им и в последующие времена.

В архиве поэта сохранился интересный набросок, говорящий о широте и значительности его замыслов. Самым органичным и характерным для своей поэзии начала 30-х годов (запись относится к 1934 году) он считает переход от «утонченных звуков» к массовой песне, песне «революционной, политической». Не будет ли это снижением, упрощением творческих задач, даже ломкой таланта? Нет, отвечает Тычина, «не по линии упрощения иду я сейчас. Я враг всякого упрощения». И развертывает собственную программу, действительно широкую и увлекательную.

«Величественную песню создать, песню, которая бы переливалась всеми красками эпохи! У нас имеется теперь возможность создать такую песню. Нам есть у кого поучиться (я беру не только поэтов, но и политиков, музыкантов, живописцев). Вспомним, как высоко ставил политическую песню Энгельс, как он восхищался ею, как сам перевел стародатскую песню «Барин Тидман» и напечатал ее в бер-

¹ Павло Тычина, *Магістралями життя*, Київ, 1941, с. 146.

² Там же, с. 113, 114.

линском «Социал-демократе». А завет Бетховена — «к миллионам!» А художественные полотна Франциско Гойи! А полотна Питера Брейгеля Старшего Мужижкого! Эжен Потье, Фрейлиграт, Беранже, Некрасов, Шевченко — как поэт и как художник-офортист, Маяковский, Демьян Бедный, может, в некоторой степени Георг Гросс, а также Густав Малер в его «Песне о земле», Малер — этот тончайший симфонист Европы бетховенской традиции, — и особенно наш великий пролетарский писатель Максим Горький, не только в его художественных творениях, но и в памфлетах, обращенных к миллионам. Я говорю не только о песне, а о создании больших социальных полотен, ибо песня только переход к этому». ¹

Речь шла, по существу, об идеях общезстетического характера — о глубоко осознанной потребности в демократизации образно-языкового строя поэзии, о насыщении ее всеми реалиями, всей «материальностью» живой жизни, о выходе за пределы «чистой» лирической монотонии. Поэт думал о большом искусстве, а не просто об откликах на злобу дня. Чтобы в стихах жили и возвышенный пафос, и лирическая проникновенность, и могучая гипербола, и сатирический гротеск — как в живописи Питера Брейгеля Мужижкого или поэзии Маяковского!

Знаменитое стихотворение «Партия ведет» стало одной из примечательных удач поэта на путях, которые он так настойчиво прокладывал. По форме это действительно массовая песня на большую политическую, гражданскую тему. Напечатав ее 21 декабря 1933 года в номере, посвященном успехам трудящихся УССР, газета «Правда» писала в передовой статье: «Большой поэт сегодняшней советской Украины Павло Тычина, человек беспартийный, правильно подметил основное условие одержанных побед. «Партия ведет» — так называется его стихотворение, напечатанное сегодня в «Правде». Так, партия ведет».

Резонанс этого стихотворения был всенародным: его стремительные, летящие строфы точно и сильно выразили главную идею эпохи — идею неразрывного единения партии и народа. Ощущение небывалой широты возможностей, несокрушимой силы, неисчерпаемых творческих потенций — все, что высоко вознесла в народном сознании победа социализма, одержанная под руководством ленинской партии, — пронизывает ликующую музыку стиха.

«Песня Красной Армии», «Песня молодости», «Зелен-золот» — все это образцы оригинальной тычининской публицистики, осуще-

¹ Текст выступления П. Тычины по радио (из архива поэта).

ствленной в формах песни. Это не тексты для музыки, а именно литературная песня, использующая свойственные данному жанру средства — прежде всего музыкально-суггестивный лиризм — для пропаганды идей и понятий, выражающих новое, социалистическое отношение к жизни. Песня, особенно народная, обладает неоценимым свойством конденсировать, сгущать (в значительной степени при помощи ритма, музыкальных созвучий, повторов и т. п.) словесно-образное выражение, и Тычина, прекрасный знаток народно-песенной фразеологии, показал себя в этом отношении подлинным виртуозом. Если даже в критико-публицистической прозе он порой грибегал к чисто песенным афористическим рефренам (скажем, в статье о Пушкине: «...Пушкин там, де світ увесь, де правда, де люди. Дуб корінням не ростиме, як води не буде»¹), то его песни нередко поражают этим лаконичным народным красноречием, этой густотой особой, песенной афористичности. Знаменитое начало стихотворения «Партия ведет»: «Так пускай себе как знают, сумасшествуют, слышают, — нам свое творить»; или: «Знамя красное — оно нашей партией дано! Раз мы вместе, значит, вместе, все мы сходимся в одно» («Песня про Кирова»); или: «Не тот теперь Миргород, Хорол-речка не та» («Песня трактористки») — все эти афористические сгустки, песенные «формулы» прочно запомнились читателями Тычины, потому что обладали, подобно народным поговоркам, пословицам, загадкам, удивительной мнемонической «магией».

Бывало, впрочем, что в некоторых случаях Тычине изменяло чувство меры и такта: допускались риторические крайности, элементы натуралистических излишеств, особенно в «батальных» моментах, в трактовке врага (к примеру, в «Комсомолки»). Не всегда органичным, художественно оправданным было и излюбленное поэтом соединение публицистических и научных «прозаизмов» с традиционной фольклорной образностью.

Другим интересным ответвлением этого же стихотворного жанра стали у Тычины песни сюжетного и портретного характера: две «Песни трактористки», «Песня про Джона Болла», «Песня под гармонию», «Песня про Кирова», «Песня про Котовского». В известном смысле это тоже песни *политические*, массовые (точность, прямота, «ударность» обобщающего вывода для автора всегда предмет первостепенной заботы); вместе с тем приобщение к «цвету» и «запаху» событий, к живой характерности человеческих типов сделало их более изобразительными, внесло в них сюжетное, повествовательное начало.

¹ Павло Тычина, Магістралями життя, с. 46.

Песенный рассказ о том, как Олеся Кулик (имя подлинное) вопреки запретам богобоязненной матери убежала на курсы трактористов и стала первой в селе девушкой, оседлавшей «железного коня», почти сразу же после своего появления в печати (в 1933 году) вошел в поэтические антологии и школьные учебники. Вместе со «Смертью пионерки» Э. Багрицкого, «Алесей» и «Льном» Я. Купалы, со многими стихами М. Исаковского, А. Прокофьева, Н. Ушакова, М. Рыльского, Л. Первомайского это стихотворение отметило приход в нашу поэзию полноценного лирического образа нового человека, выросшего в ходе борьбы за победу социализма. Бурное время не отменило в героине ни сердечности, ни душевной чуткости, ни традиционной девичьей мечтательности, но пробудило тягу к знаниям, культуре, технике, вооружило волей, настойчивостью, страстью к борьбе за коллективное дело. Перед нами убедительное поэтическое воплощение новых качеств народного характера, о них, без сомнения, думал автор, рассказывая об Олесе Кулик. А в стихотворении «Песня под гармонь», написанном двумя годами позже, та же типичная фигура колхозного села — девушка-трактористка — дана на фоне удивительно светлого, красочного пейзажа, говорящего о расцветающем богатстве жизни:

Что за лето — да медоцветом
переполнены все поля.
Дождик бором да перебором
переструнивал тополя.

Предвоенные книги поэта — «Чувство семьи единой» и «Сталь и нежность» — наполнены солнечным светом социалистической нови и одновременно чувством внутренней мобилизованности, готовности к любым историческим испытаниям. Тычина недаром десятилетиями воспитывал в себе обостренный социальный слух:

Расстановка сил на свете
так неслыханно сложна,
что Европа в ближнем лете
всколыхнется вся до дна, —

писал он в стихотворении 1939 года «На вручении ордена» и тут же, от лица народа, отвечал на вопрос о том, каким должен быть художник этого времени:

Сталь и нежность, мой совет,
сочетай в себе, поэт!

«Сталь и нежность» — проблема, всегда стоявшая в центре его поэтических раздумий о современном человеке... Сама жизнь, «построенный в боях социализм» помогли поэту прийти к полнокровному гуманистическому синтезу, и на этом синтезе, на творческой «золотой полноте», не совместимой ни с аскетичной бедностью, ни с урезанностью чувств, ни с размягченной идилличностью, он убежденно настаивал. Поэт требовал от себя и от современников искусства, способного передать и расцветающую красоту советской жизни, и грозный накал мировых классовых конфликтов:

Нам надо голоса Тараса. Громко
чтоб он прославил наш могучий день.
Пусть чувствуют враги — мы из железа!

(«Во имя людей»)

Тычина принадлежал к тем художникам, которые брали на себя смелость — и умели — поэтически выразить глубинные сдвиги в общественном самосознании, одними из первых откликаясь на новые социально-психологические явления и давая им художественное «наименование».

Уже говорилось о том, как упорно, начиная с первых лет революционной эпохи, вырабатывал он в себе новое, интернационалистское сознание, как эмоционально ярко переживалось им это приобщение к законам братства народов. 30-е годы знаменовали собой новый этап в развитии взаимопознания и взаимосближения советских социалистических наций. «Чувство семьи единой» предстало как живая реальность, все глубже входившая в духовную атмосферу советской жизни. В советской многонациональной поэзии того времени оно породило многие памятные произведения — «Стихи о Кахетии» и «Юргу» Н. Тихонова, «Привет Москве» Я. Коласа, грузинский и узбекстанский циклы стихов М. Бажана, стихи о Бухаре и Таджикистане В. Мысика... Тычина дал этому чувству своеобразное поэтическое обоснование с внутренней — философско-психологической — стороны.

Непосредственный повод к написанию известного стихотворения «Чувство семьи единой» — переживания или, лучше сказать, ощущения человека, изучающего иной, чужой язык, — казалось бы, тема сугубо специальная и «научная». У Тычины она оказалась исполненной и поэтической прелести, и философской значимости: «в глубинах языка чужого» поэт открывает «первородство» — общие для разных народов смысловые значения, представления, эмоции, жизненные реалии. «Хоть слово сказано иначе, но суть в нем наша остается».

ся», — вот прозрение и открытие, которое поэт считает бесценным обретением своей эпохи, эпохи утверждения социалистических отношений между народами! Не унификация, не отбрасывание всего национального, а выявление и укрепление в нем общего, интернационального, сближающего народы в единую социалистическую семью, ибо:

То не язык, не просто звуки,
не слов блуждающие льдины,
в них слышен труд, и пот, и муки —
живой союз семьи единой.

Чувство семьи единой широко отразилось и в тематике, и в мотивах новых стихов поэта. Интересна стихотворная новелла Тычины «Давид Гурамишвили читает Григорию Сковороде „Витязя в тигровой шкуре“». Это картина гипотетической встречи украинского мыслителя с грузинским поэтом, жившим тогда на Полтавщине под Миргородом. Стихотворение мастерски выдержано в размере и тембре руставелиевского «шапри», в украинскую речь вкраплены грузинские выражения («Настежь в мир открыл я двери — ме гаваге кари!»). Такой же пример проникновения в инонациональный художественно-бытовой мир — стихотворение об армянском поэте О. Туманяне «Детство Ованеса», кстати, с тем же приемом дружественной, интимизирующей ассимиляции иноязычного элемента.

В стихах Тычины по-прежнему отражается кипучий, напряженный день страны и всего мира. Мы видим поэта и в юрте Джамбула, где украинского гостя застает телеграмма о выдвижении его кандидатом в депутаты Верховного Совета («Моим избирателям»), и в полтавском селе, на юбилее народного певца-кобзаря («Едем из Большой Богачки»), и в залах Парижа, где он принимает участие в антифашистском Конгрессе защиты культуры, и «в украинском славном Львове», который вернулся в лоно советской отчизны. Поэзия его, как всегда, богата откликами на политические, общественные события своего времени. Вместе с тем он ощущает погребность глубже всмотреться в лицо конкретного человека, — так возникает целый цикл его портретных зарисовок и сцен.

Конечно, мера индивидуализации портрета (в лирических жанрах вообще достаточно относительная) здесь очень и очень разная. Некоторые стихотворения (об О. Кобылянской, Н. Леонтовиче; О. Петрусенко) не выходили за рамки обычных стихов «по поводу», вызванных потребностью сказать доброе слово о замечательном человеке, о его творческих делах и гражданских заслугах. Бывало и так, что социально-типическое у Тычины как бы растворяло в себе

индивидуальное, откровенный дидактизм плохо уживался с живой конкретностью образа, психологического переживания, отсюда известная рассудочность и суховатость, свойственные некоторым его произведениям. Но этого не скажешь ни о стихах, посвященных М. Горькому, М. Рылскому, Ю. Федыковичу и А. Бучме, ни, особенно, о мемуарных стихотворных повеллах, в центре которых образ М. Коцюбинского («На „субботах“ у М. Коцюбинского», «Первое знакомство», «Как мы писали письмо М. Коцюбинскому»). Выразительная передача общей атмосферы времени — царского гнета, «палочного права», тяжелой идейной духоты — сочетается с обилием художественных подробностей, относящихся к изображению обстановки, событий, людей. Не часто употребляемые в современной поэзии терцины оказались в руках автора гибкой и очень живой формой, позволившей расковать интонацию стиха, приблизить ее к живому течению обычной повествовательной речи.

6.

Начавшаяся Великая Отечественная война поставила поэзию Тичины лицом к лицу с самыми суровыми вопросами народного бытия. Поэту было уже за пятьдесят, жизнь в эвакуации (до лета 1943 года) не могла дать ему того «первоматериала» о войне, которым в избытке располагали писатели-фронтовики; главным оружием его стала публицистическая и лирико-философская поэзия, с первого до последнего дня служившая делу победы над врагом. Патриотические призывы, обличение фашистского человеконенавистничества, письма бойцам на фронт, обращение к товарищам и соратникам — все это было связано в его стихах с темой народа, его судеб, его прошлого и будущего.

О народе, об отчизне он думал в свои тревожные уфимские ночи, когда перед его мысленным взором вставали кровавые зверства врага на захваченной советской земле и слышался вещий голос, призывавший к твердости, мужеству и беспощадной ненависти («Голос матери», «В бессонную ночь»).

В драматической, предельно искренней «Весне» (1942) он исповедуется в своих тревогах и болях, в таком напряженном переживании народной беды, когда страшно глядеть даже на колышание березовых срезек: они напоминают повешенных, распятых фашизмом. Но весь революционный опыт предшествующих лет научил его: самая святая боль за человека — еще не помощь ему, если она не рождает действия, а действие требует суровой сосредоточенности и

железной выдержки. Что же — решительно изъять эту боль из своего сердца, закрыть перед ней зор и слух? На какой-то момент поэт готов оступиться в эту рационалистическую односторонность («...смотри же не на жертвы и могилы, смотри на *поколения* в борьбе»), но нет: побеждает диалектика истинного гуманизма, умеющего вобрать в себя все человеческие чувства, в том числе боль и скорбь, чтобы переплавить их в ненависть, в боевую, страсть:

Пуškai тот крик в твоей душе несые
пробудит струны: мщенье и гнев
пускай звучат! Не плачь Иеремии,
а богатырской ярости напев!

(«Весна»)

Да, этот поэт действительно умел «за всех сказать» в самые ответственные исторические моменты!

В поэме «Похороны друга», написанной в тяжелейшие дни битвы за Сталинград, — та же тема, только безмерно углубленная, реализованная одновременно и в конкретно-событийном (порой можно даже сказать — бытовом), и в грандиозном философском плане. Идейное средоточие произведения — в его центральной части, реквиеме, где, переходя от сюжетного повествования к философскому монологу, поэт утверждает единство «законов материнства и борьбы»:

Законы материнства и борьбы — священны,
ни смерть, ни горе их не победит.

«Такой поэмы-думы, поэмы-реквиема еще не было в нашей советской поэзии, — писал вскоре после опубликования «Похорон друга» К. Зелинский. — ...Павло Тычина, возможно, один из самых обыкновенных лириков нашего времени. Лирика Тычины вобрала в себя огромный диапазон чувств и душевных состояний, и потому так разнообразен ее словарь, так многообразны ее приемы и жанры... Тычина не только поэт всего нежного и тонкого в человеке. Тычина начал с того, на чем закончил Блок. Он пошел дальше Блока потому, что показал (и показал в поэзии языком таких тонких чувств, что их трудно передать), как нежное в человеке переходит в сильное».¹

В «Похоронах друга» Тычина нашел очень оригинальную, самобытную форму лирико-философской поэмы. Кроме смелого сочетания

¹ Цит. по сб.: «Павлові Тичині», с. 210, 212—213.

далеких друг от друга лексических элементов и целых стилистических пластов (многокрасочная пейзажная живопись, сложные музыкальные вариации, бытовые зарисовки, прямая публицистика, философские медитации и т. д.), здесь обращает на себя внимание интереснейшая композиция произведения. Видный украинский композитор Ф. Е. Козицкий, посвятивший поэме специальную статью, показал, как мастерски развивает поэт свою главную тему по законам музыкальным — законам сонатно-симфонической формы.¹ М. Рыльский еще до появления этой статьи также подробно проследил в своей рецензии, как первая тема этой своеобразной симфонии:

Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь тревожно бьет,
песком заносится и пылью обдается,
земле сырой всего себя передает —

«вскоре модулируется так:

Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь тревожно бьет,
песком заносится и пылью обдается,
и зелеными из земли опять встает,

чтобы затем перейти в незамутненно-светлую тональность:

Всё поднимается, встает, растет, смеется,

раскрыться с предельной моцартовской прозрачностью:

Всё в новые на свете формы переходит,
и мертвому тебе — живых нас — не убить».²

Яркая и сильная индивидуальность поэта снова сказалась во всем — в оригинальности и масштабности замысла, в смелом выходе на сложнейшую диалектику идей и чувств, в такой разительной необычности построения и формы, которая сама по себе стала художественным открытием. Как произведение новаторское, поэма сегодня едва ли не более современна, чем в годы своего создания.

¹ «Україна», 1943, № 5, с. 25—26.

² Сб.: «Павлові Тичині», с. 371—372.

Как у каждого поэта, у Тычины бывали стихи разного качественного уровня, в том числе и вещи, не очень удавшиеся, — скажем, памфлет «Тебя мы истребим — и черт с тобой»); но сколько раз именно ему, поэту особой гражданской зоркости, выпадало счастье по-своему, неповторимым самоцветным словом обозначить незабываемые вехи на дорогах народной истории!

Так целому поколению запомнилось стихотворение «Я утверждаюсь». Так воссияла звезда его поэмы «Похороны друга».

И для достойной жизни в нашей поэзии остались такие его стихи военных лет, проникнутые дружеским чувством к братским народам, к трудящимся других стран, как «Саратов», «Сайфи Кудашу», «Гроза», «Ирландскому писателю Шон О'Кейси». На последнее стихотворение, между прочим, его адресат откликнулся теплым письмом к Тычине, повторив, как своеобразный пароль, две строки украинского поэта: «Разве мы друг другу чужды? Всюду — руки трудовые».

А в самом конце войны Тычина нашел высокие, праздничные слова, чтобы воспеть победу советского народа, его новое место в мире, океанские глубины его патриотического духа («Наша слава», «Океан полон»). Сын Советской Украины, он всегда помнит о дружеском плече народов-братьев: «Вместе с братским российским народом мы бессмертны в веках». Поэзия Тычины снова настраивалась на героический лад — впереди была новая и по-своему трудная историческая полоса.

7

Строим снова! Труд перерастает
в красоту, —

мы часто повторяли эти емкие и точные слова Тычины из стихотворения 1945 года «Жить, трудиться и расти...». Они были и заповедом к сложной поре послевоенных восстановительных работ и выражением издавна близкой поэту идеи: труд — сфера прекрасного.

В послевоенные годы одна за другой выходят новые книги поэта: «Жить, трудиться и расти» (1949), «Могущество дано нам» (1953), «Мы совесть человечества» (1957), «К вам, юные, мой чистый голос» (1959), «Расти, наш мир светоносный» (1960), «Коммунизма дали видно» (1961), «В серебряную ночь» (1964), сборник публицистических и критических работ «В армии великого стратега» (1952) и другие. Уже после смерти Тычины увидели свет многие его неоконченные (или оставшиеся ненапечатанными) произведения.

Политическая, гражданская тематика, как и раньше, продолжает главенствовать в его стихах. Поэта искренне волновало все, что происходило в Советской стране и за ее рубежами, — от восстановления Крещатика до египетско-израильской войны 1956 года, от полета Гагарина до событий во Вьетнаме. Да и в любых житейских, лирических темах он почти неизменно находит общественно-поучительное начало — будь то разговор с морем на летнем пляже («Море повествует») или рассказ о прогулке с юной Христинкой по Киеву («Ранней весной»).

Поэтическая публицистика прямого, монологического типа, повествовательно-очерковые фрагменты (чаще всего мемуарного характера), стихотворные портреты выдающихся современников, обращения и послания к разным адресатам — эти формы постоянно были под рукой у поэта для выражения «горячего», злободневного содержания. И многие из его удач свидетельствовали о том, что продолжают обогащаться, открываться новыми гранями и давно выработанные принципы его поэтики.

Удивительно пластичное изображение старинного шотландского танца на мече, увиденного во время поездки в Англию («Танцы на мече»), перерастает у него в оригинальный реалистический символ: так поджигатели войны пытаются втянуть свои народы в опасную игру с огнем. Но символ именно реалистический: переносное значение как бы само собой возникает из точного, доказательного жизненного образа:

Прыжок — и ленты отлетали,
отход — и ленты на плече.
Шотландки танец танцевали,
народный танец на мече.

Шелка подрагивали в пляске,
шелка как бы струились с плеч...
Смотрели девушки с опаской:
не наступить бы им на меч!

Другая примета искусства позднего Тычины — усиление конкретно-описательной реалистической повествовательности, превращавшей иные его произведения в своеобразные лиро-эпические очерки, новеллы или даже фрагменты повестей («Серафима Морачевская», «Мое детство», «В Чернобыле», «Алла Тарасова „Анну Каренину“ читает», «Встреча с Мариной» и др.).

Таковыми стихотворными мемуарами о памятных встречах с современниками, стихами-фрагментами из собственной биографии Ты-

чина на склоне лет как бы дополнял ту историческую панораму народной жизни, которая создана его поэзией в целом. С новой силой он ощутил тягу к исторической конкретности, к «документальному» воспроизведению действительных фактов — вот так это было со мной, с моими товарищами и спутниками в жизни, со всей страной, — в чем можно видеть одну из характерных тенденций всей нашей поэзии 50—60-х годов. Но в какие бы личные подробности ни углублялся Тычина, в его стихах это всегда рассказ «о времени и о себе». Даже если нам просто рассказано про шум работающего ночью трактора или о прогулке молодого поэта со своими спутницами вокруг киевской Софии в пасхальную ночь 1919 или 1920 года. . .

Тяготение к конкретной сюжетности сказывается и в решении поэтом многих других тем. В стихотворении «Ленин идет на Шевченковский вечер» использовано краткое сообщение из письма Владимира Ильича к родным: в 1914 году, находясь в Кракове, он был на украинском вечере в честь Шевченко. По новеллистическому принципу построены «Вазов в Одессе», «Тамара Абакелия работает над памятником Лесе Украинке». Впрочем, и здесь в центре не события, а идеи, раздумья, а то и споры героев со своими противниками. Так же как и в «портретных» стихах о Пушкине, Гоголе, Франко, Леонардо да Винчи, Тагоре, Ковпаке, Шовкуненко, Паторжжиском, широкий круг историко-культурных интересов всегда сочетался у Тычины с любовным вглядыванием в лица своих современников.

Не часто позволяя себе говорить в печати о сокровенно-интимном (некоторые, скажем, любовные стихи поэта, написанные в 30—40-х годах, были опубликованы лишь в посмертных изданиях), Тычина в позднюю свою пору приоткрывал завесу и над этими уголками своего поэтического сердца. В «Илее», в его продолжении — «Мне не раз еще придется. . .» — стихах о бремене лет, о зимнем «быстротечном возрасте» — с одинаковой силой звучат и неизбежная печаль, и стойкое, умудренное жизнью мужество, и вера в классическое «нет, весь я не умру. . .».

Небольшая лирическая поэма «В серебряную ночь», посвященная памяти А. И. Белецкого, как бы подытожила раздумья поэта о жизни и смерти, о преходящем и вечном. Энергия передовых идей, подвижнических дел борца, гуманиста, труженика, отдавшего свою жизнь людям, не исчезает в вечном течении жизни, она неистребима, по образной мысли Тычины, как сама материя:

.. и в новом пламени идей
ты возвратишься в круг людей.

Мысли — из тех, что вынашивались поэтом в течение всей его жизни. «Шумы, шуми, эпоха наша», «Похороны друга», «В серебряную ночь» — все это произведения, утверждающие философию исторического оптимизма в глубоко личной сфере и приводящие читателя к ясным выводам через драматические столкновения идей, чувств, настроений, — так всегда было в большом, правдивом искусстве.

В лучших своих произведениях послевоенного времени Тычина сохранил то своеобразие поэтического воплощения масштабной, гражданской мысли, которое сделало его крупнейшим мастером советской литературы. Это не позволяет, однако, закрыть глаза на художественные слабости, довольно ощутимо давшие себя знать в некоторых его произведениях поздних лет. Поэту неустанно ищущему, ему и раньше приходилось в иных своих стихах сознательно рисковать цельностью художественного эффекта во имя смелого «рывка» к новому звучанию стиха, новому, современному образному строю. «...Подчас побаиваешься за остроту его грани», — мимоходом заметил Н. Асеев, влюбленно писавший о нем в статье «Мой Тычина». ¹ Усложненность приема порой оборачивалась упрощенностью содержания, — в поэзии, тяготеющей к художественному эксперименту, это не новость. И вот эта упрощенность со временем стала заметной помехой таланту поэта, рождая излишнее «популярничанье», описательность, мышление голыми тезисами, подчас просто расслабляя сам стих, его язык и интонацию. . .

И все же Тычина всегда оставался Тычиной — порой неровным, порой причудливым и вместе с тем умеющим взлететь к властному и неповторимому слову, блистательному поэтическому афоризму, необычному, смелому образу. Строки, написанные им о своем друге, выдающемся украинском художнике А. А. Шовкуненко, вполне применимы и к нему самому:

Шовкуненко... Все задачи,
может, он легко решает?
Где там! В трудной передаче —
он пастель крошит, ломает. . .

Не рисует — что бесстрастно,
гонит прочь — что безмотивно.
Верит в солнце, в то, что ясно
людям светит в жизни дивной.

*(«Перед картинами
Олексы Шовкуненко»)*

Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, М., 1964, с. 604.

Остается сказать о Тычине — поэте эпическом и эпико-драматическом. На первом месте здесь, без сомнения, стоят поэмы «Сабля Котовского» и «Сковорода» (обе незаконченные), а также драматическая поэма «Шевченко и Чернышевский».

Глубокий, философски окрашенный историзм художественного мышления поэта обусловил наличие весомого эпического ядра во многих образцах его лирики. Иногда у Тычины почти неуловимы жанровые различия между лирическим циклом и поэмой, между поэмой и развернутым фабульным стихотворением («Псалом железу», «В космическом оркестре», «В серебряную почву»), и лишь значительность замысла и сложность внутренней архитектоники таких небольших, как правило, произведений позволяют отнести их к лирическим поэмам.

Совсем не такова, скажем, «Сабля Котовского». Поэма известна только по четырем законченным главам, но и они дают представление о широте ее эпического содержания. Как эпизоды единого целого здесь предстают и богатырские бои с интервентами, которые ведет бригада Котовского, и борьба с националистическими бандами в украинском селе 1920 года, и политико-философские диспуты между представителями противоположных лагерей, и трудные смысловые разломы; перед нами попытка создать развернутую, многосложную картину классовых битв, в которых рождалась новая, светлая доля украинского народа.

Многое в поэме необычно — и все же оправдано внутренней логикой. Гекзаметр, например. У другого автора он наверняка выглядел бы странной экзотикой или архаикой, признаком явного стилизаторства. У Тычины — в сочетании с лаконичной прозой отдельных диалогов и ремарок, а также с песенными вставками — он оказался формой, естественно и крепко сближающей речь традиционно поэтическую с речью добротной художественной прозы. Ассоциации с гомеровским эпосом, разумеется, входили в расчет автора, но смысл их тонок и неоднозначен: это одновременно и некоторое сближение — эпическая героика современности как бы вписывается в контекст высокой мировой классики — и отталкивание (без всякого, конечно, пародирования или перелицовки), потому что старая форма вся «переозвучивалась» новым, современным содержанием.

Но наряду с масштабом эпохальным, общенсторическим в этих картинах последовательно выдержан и особый микромасштаб. В его пределах Тычина выступает мастером изощренной конкретно-реалистической изобразительности. Пейзажи, интерьеры, бытовые сцены,

портреты, описания поступков и жестов персонажей даны в поэме как бы замедленной съемкой, с обстоятельностью все видящего, все замечающего рассказчика. Здесь снова обнаруживается прекрасное жизнелюбие поэта, его жадность к реальному, предметному миру, его простота и человечность (исключением в этом смысле могут быть разве что жестокие до натуралистичности описания сабельной рубки в четвертой главе поэмы). Совмещение большого и малого — когда на широком историческом полотне мы видим и вихри осеннего листопада, медленно кружащегося над полем боя, и «смертельную, раннюю жилку» на виске слабенькой девочки, и какую-нибудь белку, держащую в лапках подсолнух, «словно книжечку», — придает этим фрагментам из неоконченной поэмы редкостное, подлинно тычининское своеобразие.

Опубликованная в 1940 году драматическая поэма «Шевченко и Чернышевский» (после войны автор дополнил ее новой заключительной главой) стала для Тычины произведением принципиального значения, — речь шла о традициях вековой дружбы и братства между украинской и русской культурами. Традиции эти утверждались в идейной борьбе с теми, кто боялся единения народов, потому что боялся революции.

Царь —
палач жестокий, ненасытный, лютый —
разъединил народы, чтоб душисть.
Его манеру ты перенимаешь?
Ты не хотел бы, чтобы братом звал
Шевченко Чернышевского? —

с гневом говорит в поэме автор «Кобзаря» Мордовцеву. И так же как великий украинский поэт-революционер нашел друга и единомышленника в Чернышевском, так в нем, в Шевченко, находит пророка правды артистка Изольда, представительница передовой русской молодежи. В поэме много света от этой дружбы, этого единения самых смелых борцов — и вместе с тем ясно показаны половничатость, робость, лицемерие либеральных «заступников народных».

Для каждой из своих крупных вещей Тычина ищет особую, оригинальную форму, в частности неповторимый ритмико-интонационный рисунок. Примечательна в этом смысле и последняя поэма автора «Путешествие в Ихтиман». В основе ее лежит путевой дневник — впечатления от поездки по Болгарии в качестве посланца советского Общества дружбы. Давно уже в своих крупных вещах Тычина не был так интимно доверителен перед читателем, как в этой поэме, с ее свободными переходами от изображений и рассуждений

к передаче пунктирных, «мгновенных», по таким понятных лирических импульсов:

- Сердце в груди
- мучается
- бесконечностью
- мировую.
- Сколько неизведанного впереди!
- И ведь так хочется жить!
- С сердечностью...
- С живою...

И наряду с внешним, описательно-изобразительным элементом, Болгария увидена здесь глазами доброго, влюбленного в нее друга — в поэме живо предстает сам «внутренний» Тычина, с его трепетной чуткостью к миру, со стремлением как можно крепче «ухватить» и удержать его в себе, с его постоянной, порой почти бессознательной работой образной мысли, обостренной до некоего музыкального ощущения:

«Странно, эти краски, эта ранняя прохлада... И перестук каблучков... Цок, цок! — и исчезло навеки... Только ритм... Только цвет... Только музыка...»

Думы о тревогах мира, о борьбе с силами угнетения и зла («И не может быть на земле покоя, пока честь и совесть держат на мушке») — и вечная тоска художника по ускользающим, не поддающимся слову жизненным мгновениям. И над всем — хорошо знакомый нам тычининский порыв к «вечнозеленому» состоянию духа, к деянию, к движению вровень с веком:

...До последнего дыханья
будь в движении — в этом суть!

Повествовательный хорей, прикрепленный к основной сюжетной канве поэмы, прихотливо чередуется с другими размерами, а также с импульсивным верлибром, с народно-песенной тоникой и краткими прозаическими вставками. Все это создает ощущение многоголосья, илтонационной свободы и богатства.

Самое фундаментальное и самое сложное из эпических (в данном случае — эпико-драматических) произведений Тычины — поэма-симфония «Сковорода» увидела свет уже после его смерти. Поэма, над которой автор работал двадцать лет (1920—1940), осталась незаконченной, и публикаторам ее пришлось «на ощупь» компоновать в единое целое отдельные главы, следуя скупым и не всегда ясным

наброскам общего плана, оставшегося в архиве поэта. И все же, будучи явно незавершенной, «симфония» производит мощное впечатление.

Поэма многослойна и разностильна, замысел ее на протяжении двадцати лет подвергался различным изменениям; наверное, она была бы нелегким чтением, даже если бы автор успел придать ей законченный вид. Так же трудно подобрать для нее и жанрово-структурные аналогии в современной поэзии. Некоторые черты громадной «симфонии» Тычины вызывают в памяти «Середину века» В. Луговского, «Всеобщую песнь» П. Неруды, с одной стороны, «Мистерию-Буфф» В. Маяковского и пьесы Б. Брехта — с другой (драматическая форма изложения в поэме даже преобладает над эпической, поэствозательной). Однако эти сближения неизбежно остаются внешними и частичными: слишком уж много своеобразного, неожиданного — то мудрого, то наивного — в оригинальном создании украинского советского поэта.

Подробный разбор этого большого и сложного произведения занял бы слишком много места, остановимся лишь на самом важном и характерном.

Григория Сковороду — украинского философа и поэта XVIII века — автор представил как фигуру высокодраматическую в его духовных исканиях, непосредственно включенную в накаленную идейную жизнь эпохи, — еще не отпылала Колнившина 1768 года на Правобережной Украине, близка крестьянская война под водительством Пугачева, идут мощные духовные токи от философских провозвестников французской буржуазной революции... Для Тычины XVIII век, вернее вторая его половина на Украине и в России (а никто из украинских писателей не занимался им так много и пристально, как автор «Сковороды»), — это особый поэтический мир, главным содержанием которого являются невиданные до тех пор классовые катаклизмы — предвестие будущей революции трудящихся. И в центре этого мира — мыслитель и поэт, поставленный лицом к лицу с народным освободительным движением. Всячески расширяя и укрупняя свою тему идеологически, прибегая к символическим и даже фантастическим приемам, поэт не заботится о сохранении фактической достоверности изображенного (отсюда невероятные со строго исторической точки зрения сцены встреч Сковороды с повстанцами-гайдамаками, участие в их боевых акциях и т. п.); он смело идет на эти нарушения фактической правды, потому что верит в понимание читателем своей главной темы: «сковородианство» и освободительная борьба народа, а еще шире — гуманизм и революция. И здесь идейные коллизии XVIII века сознательно (а иной раз и вызывающе плакатно) сближаются с коллизиями века двадцатого, а эпизоды духовной биографии Сковороды —

с некоторыми типическими «случаями» из жизни художников и мыслителей в эпоху социалистической революции. Элемент личный, автобиографический (пусть и сложно опосредованный), даже автокритический — по отношению к некоторым этапам собственного идейного развития — также не вызывает сомнения. Но и этого мало для автора — его влечет к себе тип поэмы-панорамы, на широком пространстве которой изображены целый век и целое общество в самых разных художественных плоскостях: реалистической, острогротескной, фантастической. . .

В «симфонии» «Сковорода» поэт показал себя мастером, способным поразить даже искушенного читателя необычайной широтой своего художественно-стилевого диапазона и смелостью творческих экспериментов. И пусть не все автору удалось, пусть иные его трактовки и приемы не убеждают — поэма в лучших своих частях, несомненно, останется памятником неистощимой щедрости и смелости, пронизанным идеей революционного новаторства в содержании и в форме искусства.

Психологический реализм и живописная изобразительность первых (то есть написанных в начале 20-х годов) глав «симфонии» сменяются в дальнейшем разнообразными и в целом необычными для украинской поэзии XIX—XX столетий условными формами. Аллегория, символика, гротеск, фантастика, используемые в разных целях стилевые элементы барокко и рококо — все это дано в причудливых сцеплениях и с высшей мерой внутренней напряженности, в преувеличенных, гиперболических масштабах. Невольно вспоминается «Фауст» Гете как один из возможных художественных ориентиров для поэта (кстати, образ Фауста часто упоминается в поэме, а сам Гете стал действующим лицом одной из ее сцен), и не только он. Изображая многосложную панораму XVIII века, Тычина сознательно обращался и к его художественным, стилистическим фундаментам, включающим, разумеется, и наследие ближайших эпох. Вот где, между прочим, близки к исполнению его замыслы — ввести в свою поэзию дух Питера Брейгеля Мужичского и Гойи, других художников, поэтов, музыкантов, резко и оригинально сочетавших духовное и вполне земное, светлое и страшное, комическое и трагическое. Добавим к этому уже замеченные исследователями театральность и маскарадность отдельных глав «симфонии» (преимущественно «помещичьих» по объектам изображения), заставляющих вспомнить известное уподобление Сковороды: мир есть театр. В данном случае — театр злобных, пустых, кривляющихся масок.

Все это порой выглядит нелегко сочетаемым, даже избыточным, но несет, однако, в себе принципиальную, важную для поэта идею,

близкую по своему эстетическому содержанию к тычининской идее массовой песни, о которой уже была речь. От тончайшей кларнетной мелодики своей юности Тычина упорно пробивался к многосложной художественной полифонии. Овладеть и сложным языком научного, философского монолога, и заостренными до крайнего гротеска формами сатиры, и драматическим действием едва ли не в форме старинного вертепа, и всей разнообразной музыкой жизненных шумов (а не только чистых тонов) означало для него широкую *демократизацию* поэзии, самой ее стилиевой ткани, приближение стихового слова к глубинной материи современности. В этом направлении и шли поиски в «симфонии».

Привлекают к себе внимание и чрезвычайно гибкие, многоцветные верлибры поэмы, часто имеющие в своей основе вольный ямб, и ее постоянные поэтические лейтмотивы, сквозные символы, и образы, на которые в украинской поэзии мог отважиться лишь Тычина. Скажем, дворянское общество собралось посмотреть постановку мистерины в крепостном театре, идут злобные разговоры о Сковороде, и вдруг подлинно мистериальная авторская ремарка: «Тут как раз на экране вселенной пролетают улыбающиеся птицы. Куда — кто их знает. Улыбающиеся птицы».

Разумется, в стиле «симфонии», отразившем напряженные и не всегда ясные для нас искания поэта, есть и такие элементы, которые вряд ли могут быть приняты сегодняшним читателем. Можно обнаружить в поэме и просто неясные, невнятные места, особенно там, где автор чрезмерно увлекался словотворческими экспериментами и мощной музыкальной энергией стиха.

Эпические и эпико-драматические произведения — интересная и ценная часть поэтического наследия П. Тычины. Несмотря на незавершенность некоторых из них («Сковорода», «Сабля Котовского»), они ярко подтверждают мощь его таланта, широту синтезирующей образной мысли, всегда обращенной к самым насущным вопросам своего времени.

9

Поэтика Тычины не поддается каким-либо кратким, суммарным определениям, — она, во-первых, очень многообразна и, во-вторых, она почти непрерывно обогащалась и видоизменялась.

Большие идейные задачи, которые ставил перед своим творчеством поэт, всегда связывались в его сознании с поисками соответствующих им оригинальных форм выражения. Именно оригинальных, своеобразных, новых — без этого для него не существовало полноты

художественного «такта действительности». К этому надо присоединить его музыкальный и живописный дар, перенесенный в поэзию: в искусстве слова он, как музыкант, мыслил мелодиями и тембрами и, как художник, — колоритом, цветом и светом. Отсюда резкая индивидуальность его формальных поисков, целью которых было сказать о современности наиболее органичным для нее и в то же время неповторным, максимально конденсированным образным языком. Тут появлялся свой риск — риск «сорваться» на каком-нибудь необычном, небывалом приеме (что и случалось в тех или иных стихах поэта), но его оправдывала и возвышала благородная цель: быть созвучным своему времени в самой музыке, самой поступи стиха.

Любопытно, что М. Горький в уже упоминавшемся письме от 10 августа 1927 года, ознакомившись со стихами Тычины, отметил, пусть в косвенной форме, именно их новаторский характер: «Не думаете ли писать прозу? Мне кажется, что вы и тут явились бы новатором!»¹

В индивидуальном «модусе» поэзии Тычины бросается в глаза прежде всего оригинальный синтез достижений литературной поэтической культуры и фольклорного, народного начала. Один из крупнейших писателей-эрудитов, знаток старой и новой поэзии многих народов мира, усердный читатель философской литературы, Тычина вместе с тем всегда испытывал глубокую близость к простой, «земляной» стихии народно-поэтического творчества во всех его видах и проявлениях. Это отметил еще в 1922 году первый польский рецензент книг украинского поэта — Я. Ивашкевич, неточно, впрочем, ограничивая влияние новейшей поэзии на Тычину одними лишь символистами. «Характерной чертой Тычины, — писал он, — является сочетание элементов, взятых непосредственно из языкового и духовного уклада украинского народа, и элементов очень сильной литературной культуры, которая основывается на знакомстве с французскими и русскими символистами. Оба эти фактора, соединяясь, дают произведения исключительной силы и свежести...»² В этом отношении Тычина — тонкий, самобытный продолжатель традиции Тараса Шевченко и одновременно один из первых выразителей довольно широкого поэтического движения XX века, идущего под знаком такого же синтеза новейших литературных форм с образными и музыкально-ритмическими ресурсами старого и нового фольклора (в качестве примера можно назвать столь разные имена, как А. Блок, автор

¹ М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, М., 1955, с. 31.

² Журнал «Skamander», 1922, т. 3, с. 384.

«Двенадцати», С. Есенин, М. Цветаева — у нас, Ю. Тувим, Н. Гильен, Ж. Превр — за рубежом).

Это сочетание — точнее его можно назвать слиянием — чрезвычайно органично для Тычины и по-разному отразилось во множестве его произведений — от «Солнечных кларнетов» до стихов последних лет.

Словно бы вдохновленный примером своего любимого композитора Н. Леонтовича, в обработках которого самые простенькие народные напевы становились маленькими многоголосыми шедеврами, Тычина показал, какие неожиданные и сильные художественные эффекты может извлечь современный поэт из образного и ритмического «зерна» простой народной песенки, загадки, пословицы, сказки (немало подтверждений тому — в первой и последующих его книгах). В новый фольклор, фольклор советского времени, он вслушивался не менее внимательно, чем в старый, пришедший из глубины веков. И дело не только в том, что его строфа подчас приобретала совсем натуральное звучание современной народной песни или частушки («Ой, артель моя «Троянда», маркизет, мадаполам! Вышивала я узоры с тревогою пополам»), а и в том, что, сблизая свою поэзию с современным фольклором, Тычина стремился придать ей принципиально новое идейно-эстетическое качество. Его «массовые политические песни» 30-х годов, о которых говорилось выше, не стали песнями для пения, но создали в нашей поэзии интересный жанр, как будто бы прямо предназначенный для реализации ленинской мысли о *пропаганде посредством песни*.¹ Слияние утонченно-литературного и фольклорного элементов в этих стихах совершенно очевидно.

О редкостной музыкальности поэзии — точнее, всего мировосприятия — Тычины много писалось (наиболее подробно во вступительной статье Л. Озерова к русскому двухтомному изданию избранных произведений поэта, вышедшему в 1971 году). Стихи Тычины, особенно ранние, богаты взятыми из музыкальной сферы уподоблениями типа: «Колыхалось флейтами там, где солнце зашло», или: «Зеленя пошли тянуться к солнечным триолям», или: «Звучит земля, как орган». Едва ли не на каждом шагу встречаем здесь и замечательные образцы «поющего», «звучащего» слова:

Я стою на круче —
Звоны за рекою:

¹ См.: В. И. Ленин, Евгений Потье. — Полн. собр. соч., т. 22, с. 274.

Жду твою ветрила —
Тень там тонет, где-то там...

(«Я стою на круче...»)

Или:

И небо в сотни линий
расчерчено кругом,
а гром всё улетает,
всё улетает гром —

— тает гром.

(«Воздушный флот»)

Однако музыкальная стихия в этой поэзии, взятой как целое, не сводится ни к звукописи, ни к напевности, ни к характеру тропики, ни к другим внешним приметам.

Поэтом музыкального мироощущения Тычина оставался и в самых «немузыкальных» своих вещах (как в том же «Чернигов» — прежде всего по острейшему чувству гармонии и ритма как всеобщих бытийных категорий). Еще в начале 20-х годов украинский советский поэт и критик М. Доленго заметил, что и социальную неправду Тычина ощущает как музыкальную фальшь. «Ритм — это здоровье. Аритмия — болезнь»,¹ — определяет в той же связи внутренний «канон» поэта Л. Озеров. Самое слово в этой поэзии часто многозначно, обладает не только предметно-логическим, но и музыкальным значением, воздействует на воспринимающего и «внутренней формой», и звуковым «смыслом», и тончайшими эмоциональными оттенками (что нередко бывает бессильным передать любой перевод). Когда Тычина пишет: «Тень, светель в солнечном саду», то это не только зрительный образ, но и звуковое, музыкальное соответствие ритму солнечных бликов; когда в стихотворении «Балетная студия» читаем: «І вітер майний, і синій день», то в слове «майний» сливаются представления и о майской поре, и о ветре, развевающем одежды, колышущем листья деревьев (по-украински *маяння* — развевание, реянье, колыханье).

Музыкальность, кстати, почти всегда слита у него с удивительно красочным и предметным видением мира, того мира, где вторая из главных тычининских «стихий» — свет — безуданно переливается и движется, творит бесконечные чудеса с цветом и формами вещей, предметов, постоянно взаимодействует с самим психическим состоянием человека.

¹ Павло Тычина, Избр. произв. в двух томах, т. 1, М., 1971, с. 13.

..И, повою мыслью осиянный,
быстро Скворода к столу присядет,
писать начнет он снова.
Но в этот миг
в саду орешник багрянцем вспыхнет как пламенем
и в келье неожиданно
огнистый знак окна на стенке отпечатается
и весело задрожит, заиграет,
как золотыми рыбками аквариум.

(«Скворода и Бесноватый»)

По этой светоносности — точнее, мелодической светоносности — безошибочно узнаёшь поэзию Тычины, узнаёшь и там, где ее световые переливы несут в себе идею трагического: «Угрюмый вечер в тишине окрестной багряный тон на сизый тон менял» («Похороны друга»). За всем этим, конечно, необычайная жажда жизни, однако не обыденная, не приземленная, а просветленная философски, духовно, нравственно. . .

Творческая эволюция Тычины вписала много нового и в характер его музыкальности, и в самое соотношение мысли и эмоции в его поэзии. На смену тонкой и нежной мелодичности (не отрицая ее, конечно, полностью) приходили симфонические построения с бурно-конфликтным развитием темы, с языком суровым и резким, не лишенным нарочитых диссонансов, даже «грубостей», — во всем этом Тычина искал новую гармонию, гармонию реальной жизни, с ее борьбой, строительством, трудностями, радостями побед и глобальным антагонизмом двух миров. . .

С бурями революции, писал давний друг украинского поэта Н. Асеев, в его поэзию все больше входит «органичное многоголосье», лиричная напевность сочетается с «грозым взмахом запесенного острого клинка». Отметив также использование поэтом «широких возможностей повествовательного стиха», Н. Асеев приходит к выводу, что украинский язык в поэзии П. Тычины показал, «как способен он сочетать в себе и певучесть итальянского, и силу славянского стиха, в первую очередь русского». ¹

Отношением к языку, к слову Тычина всегда заметно выделялся среди современных ему украинских поэтов. Уже первой книгой стихов, с ее необычными, хотя пока еще довольно одноплановыми лексическими повообразованиями («аккордились планеты», «не смотри же

¹ Николай Асеев, Мой Тычина. — Сб. «Павлові Тичині», с. 170.

так приветно, *яблоневоцветно*, «верю *ясновзоро*»), он как бы заявлял, что вовсе не намерен ограничиться привычным использованием ресурсов родного языка. Подобно Маяковскому, он охотно прибегал в своей поэтической речи к неожиданному, экстраординарному — к вызывающим неологизмам, к резким изменениям обычной формы слова. Как часто бывает, здесь не обходилось без крайностей — без слишком субъективных неологизмов, не совсем понятных даже в общем контексте, без таких же технологических экспериментов — например, с расщеплением и соединением слов по звучанию (так, в стихотворении «Шуми, шуми, эпоха наша» строка: «Ветер, ветер ве» продолжалась другой: «терзает липы, клены» и т. д.). И все же многие лексические «тычинизмы» типа: «вітра вітровиння», «далекая літана», «сучасний дії» — прочно вошли в читательское сознание именно благодаря яркой индивидуальности, особой, «цветовой» интенсивности своих образных значений.

Но за лексическим своеобразием Тычины часто не видят того, что, пожалуй, является главным в его языковом мастерстве — его идущей от народной речи и песни фразеологической силы и выразительности. Сколько крылатых слов, афористических речений, властно входящих в память словесно-интонационных слитков дал он украинскому поэтическому и даже обиходному языку! По переводам судить об этом трудно, однако достаточно вспомнить хотя бы: «Ветер. Не ветер — буря», или: «Стою скалой неколебимой», или: «За всех скажу, за всех переболею», или: «Ленин — одно только слово, а мы уж как буря — готово», или: «Я утверждаюсь, подтверждая, что я живу» (в оригинале: «Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу!»), чтобы понять, как глубоко усвоены этой поэзией законы «стреляющего» афористического лаконизма, причем не столько книжно-литературного, сколько народного — песенного и говорного. Интонационное и образно-смысловое своеобразие песенных оборотов и пословиц, их синтаксический «чертеж», их аромат, их ядреная крепость угадываются во многих подобных образцах.

Много сделано поэтом-новатором и для обогащения, совершенствования форм украинского стиха. Обостренная музыкальная чуткость как бы диктовала ему для каждой темы особый «тембр», особый ритмико-интонационный язык. Творческая щедрость Тычины в этом отношении способна удивить: наряду с классическими метрами украинского и русского стиха он свободно, уверенно и, пожалуй, наиболее удачно из всех украинских поэтов 20—30-х годов пользовался верлибром. Свежий, естественно современный облик под его пером получали такие старинные формы, как рондели, терцины, даже гекзаметры; и вряд ли кто может сравниться с автором

«Думы о трех ветрах» и «Плача Ярославны» по мастерскому владению самыми разнообразными ритмами и строфическими формами фольклорной поэзии. А главное — все это получало у Тычины неизгладимую печать его индивидуальности; ничего и нигде он не брал готовым, каждую форму или прием властно по-своему преобразовал, недаром «силу преобразователя»¹ он еще в свои молодые годы признал самым необходимым и всеобъемлющим качеством художника нового, революционного типа.

Поэзия Павло Тычины — прекрасный образец органического единства национального и интернационального, того единства, которое подсказывается искусству социалистического реализма самой жизнью советского общества, его идеологией, его духом и характером.

Поэт украинский не только по языку, но и по глубочайшим истокам и корням, ведущий свою духовно-художественную родословную от Шевченко и Коцюбинского, Сковороды и народной песни, Тычина одновременно является поэтом общесоветским по всему складу своего художественного сознания, и, в частности, по замечательному «перевисанию к народам» (так в буквальном переводе звучит известная строка из его стихотворения «Чувство семьи единой»). С идеями интернационализма и дружбы народов у него всегда соединялась мысль о подлинной широте кругозора художника, его духовном здоровье, его честности перед своим временем. Национальная ограниченность, косное и тупое хуторянство, всякий национализм были для него «великой ложью», не только враждебной в идейном смысле, но и отвратной эстетически, нравственно — «как нос у чертовой ведьмы», по выражению поэта в одном из фрагментов к «Сковороде».

Творчество Павло Тычины принадлежит к крупнейшим явлениям советской многонациональной поэзии. Выдающийся украинский поэт, подобно В. Маяковскому, С. Есенину, Э. Багрицкому, Н. Тихонову, Я. Купале, Г. Табидзе, Е. Чаренцу, стоит в ряду виднейших первоначинателей, творцов и основателей ее замечательных революционно-новаторских традиций. Многие в художественных достижениях Тычины заставляют вспомнить и творчество больших мастеров зарубежной революционной поэзии XX века — Пабло Неруды и П. Элюара, Л. Арагона и И. Бехера, Х. Смирненского и В. Броневского, А. Пожефа и В. Незвала.

¹ Павло Тычина, З минулого — майбутнє. Статті, спогоди, нотатки, начерки, інтерв'ю, Київ, 1973, с. 251—252.

Поэзия Тычины известна далеко за рубежами Советской страны, — уже с середины 20-х годов его стихи начинают переводить почти во всех славянских странах, а также в тогдашней Германии, во Франции, Англии, Японии. Ныне основные произведения украинского поэта дошли (отдельными изданиями или публикациями в антологиях и сборниках) до широкого читателя социалистических стран — от ГДР и Болгарии до Кубы и Вьетнама.

Поэтическое слово, сказанное автором «Ветра с Украины», «Партия ведет», «Чувство семьи единой», — из тех, которым суждена долгая, славная жизнь в сознании современников и потомков.

Леонид Новиченко

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 27 января 1891 года в селе Песках¹ Ново-Басапского района Черниговской области. Родители мои — из духовных. Помню себя в детстве очень рано: меня еще на руках носили. День. Теплынь. Светло-зеленые ветки откуда-то свисают надо мной. Блестит вода. Вот тут она, внизу, и где-то там, подальше. Очевидно, это была весенняя пора. Как я наблюдал уже позже, будучи подростком, весной в нашем селе, на Подоле, вода по пояс заливала прибрежный тонкий, без ветра гнущийся верболоз, перекатывала через насыпь над рвами и устремлялась на наши и наших соседей огороды. Подознательно чувствую: что-то вокруг меня происходит, но что именно и как — еще не мог я своим понятием схватить. Что-то движется, колыхается, звучит — и отзвуком своим вдали откликается... Были ли это веселые игры девчат на Подоле, пелись ли там песни-веснянки — не мог я еще осознать. Только одно улавливал: движение и звук, радостные лица и цвет ветвей, блеск и пахнущую свежестью воду...

Снее уже себя помню в те годы, когда я пробовал становиться на ноги и ходить понемногу — сначала под столом, придерживаясь за ножки его, а потом и навстречу матери — с захлебывающимся от радости смехом — в широко раскрытые, ласковые, родные материнские руки...

Помню, как-то отец привез мне из Чернигова топорик. Топорик был маленький, деревянный и на месте лезвия побронзированный. Мне же казалось, что он большой, увесистый и что я так же пра-

¹ Ударение как в украинском произношении слова Піски, так и в русском — Пески — на первом слоге.

вильно подтесываю им с обеих сторон пожки стола, как подтесывали плотники стропила во дворе — стропила для сарая. А я ведь все подмечал в работе плотников, когда меня сажали к окну на лавку: и поплеывание на руку перед тем, как взять топор, и в минутной передышке утирание пота с чела, и отодвигание ногой упавших щепок... Вот плотники со двора входят в хату — на обед, и я уже прошусь ссадить меня с лавки: хочу показать, как я умею работать топориком. Поплеываю на руку, беру топорик и начинаю «цюкать» подпорку лавки.

— Так это же настоящий мастер! — умывая руки, восклицает один из плотников. — Смотрите-ка, смотрите, как он действует! Ах ты хороший мой такой! — И он берет меня на руки, усаживает рядом с собой за столом и гладит по голове. Я знаю: это давний знакомый нашей семьи — Данило Коцюр. А моя мать, подавая борщ на стол, с еле скрываемой радостью говорит:

— Вот так все время он — работу любит! А может быть, и выйдет что-нибудь из него путное? Как вы думаете, Данило Филонович?

Не донеся до рта ложку с дымящимся борщом, Данило Филонович поворачивает голову к моей матери и отвечает:

— Гарна це дытына¹ у вас, Мария Васильевна. Об этом сказал бы я и Григорию Тимофеевичу, да жаль, что его нет дома. Одним словом — гарна дытына!

Отец мой — из низшего духовенства, он был сельским дьячком и одновременно учителем школы грамоты. В нашей хате, в первой комнате с земляным полом (а еще была и вторая комната, с полом дощатым), стояли две длинные парты. На каждой парте сидело душ по десять или же по двенадцать учеников. Не знаю, сколько мне тогда вышло лет, когда я в одну из зим уже подсаживался то к одному, то к другому ученику и как-то быстро, незаметно для самого себя научился читать.

У отца много было нас, детей. Чтобы обучить всех в губернских школах, не хватало средств. Жалованье свое (шестьдесят рублей в год) надо было делить пополам с другим дьячком, присланным из Курской епархии. (Такая практика назначения двух дьяков на одну должность — неизвестно по каким причинам — была введена по всем нашим окружным селам.) Неудивительно, что самая старшая сестра моя, Евфросинья, осталась без учения. Она нанялась служить у каких-то панов в Киеве. Старшего брата Михаила отцу удалось определить в Троицкий хор города Чернигова, и он уже учился в бурсе. Любимая моя сестра Поля только еще кончала песковскую

¹ Хороший это ребенок. — *Ред.*

земскую школу, и отец с матерью не знали, как быть с ней: определять ли ее в одно из учебных заведений Чернигова (у Поли была склонность к математике) или же попытаться пристроить в модистки в Киев — учиться шить. За учение другого старшего брата моего, Ивана, приходилось платить в бурсу, а тут еще и я подрастаю. Что делать? Куда кинуться? И надо сказать: часто в нашей семье из-за нехватки денег между отцом и матерью возникали нелады, споры, а иногда и перебранки, что очень тяжело отражалось на мне.

Любил я мать! Сильно любил. Добрую, хорошую... Она учила нас прежде всего быть честными в жизни и правдивыми. Но и отец был чудесным, хотя и строгим человеком. Он терпеть не мог, когда мы, дети, сидели без дела. Летом всегда приучал нас работать на огороде, в поле, а зимой расчищать снег во дворе, нарубленных дров принести, слушать чтение в голос. Он объединял всех нас — чем? Рассказами о своей трудной молодости. В одну из поездок своих в Киев он купил себе малого формата гармоню. И вот, когда мы пели песни, он подыгрывал на ней. Он научил нас петь украинские песни: «Ой, за гаєм, гаєм»; «Тече, річка невеличка», «У сусіда хата біла», «Сонце низенько»,¹ а из русских — «Хуторок» («За рекою на горі лес зелений стоїт...»), а также «По синим волнам океана...» — «запрещенную» песню, как он говорил нам таинственным голосом.

Часто отец мечтал вслух о том, чтобы через Пески прошла железная дорога, чтобы была построена в нашем селе больница и почта. Построена ведь почта и больница в Новой Басани? А пожарная в той же Новой Басани по почину Полонского! Вот если бы и в нашем селе...

Я чувствую, что в этом месте некоторые читатели могут усмехнуться и сказать: мечтать — это еще не значит делать. Правда, конечно, сущая правда. Но изобразить своего отца начинателем и осуществителем какого-то героического дела я, право, не могу. Фальши не нужно допускать здесь. Отец мой о многом хорошем думал, о многом беседовал с песковской учительницей Серафимой Николаевной Морачевской (а с ней можно было откровенно говорить), но сам-то он был слишком маленьким винтиком в большущей, дьявольски хитрой машине империи, в машине, смазанной во всех своих скрепах, коленцах и передачах елейным маслом «деятельности» тогдашнего обер-прокурора синода, мракобеса Победоносцева.

¹ «Ой, за лесом, лесом», «Течет речка небольшая», «У соседа изба бела», «Солнце низко». — *Ред.*

Отец мой принадлежал к духовному сословию, чуждому рабочим и крестьянам. Тут уж ничего не поправишь. Но душой своей он любил народ, чувствовал его и уважал как только можно. Эту любовь к народу он передал и нам, своим детям. О, если бы ему образование, знания! Слишком тяжела была молодость отца. Сколько раз в теплую, летнюю погоду, вечером, сидя на завалинке, он рассказывал нам о себе. Отец его, а мой дед Тимофей, никак не хотел учить маленького Григория. В школу ходил, мол, год-два — ну и хватит. Этим воспользовались два дальних родственника моего отца. Один из них, священник села Лётки над Десной, сманил Григория к себе, пообещав отдать его учиться в бурсу. Григорий два года чистил у него конюшню, да так и не дождался обещанного. Тогда перехватил Григория к себе другой родственник — священник из села Семиполки. Здесь на подростка помимо чистки конюшни и присмотра за лошадьми в поле еще больше навалили работы. Священник со своими подручными живописцами исполнял заказы киево-подольской иконописной мастерской. Часто Григория срочно посылали верхом на лошади в Киев через глухой Броварской лес, с тем чтобы к ночи он уже возвратился оттуда с ответом. Григорий мыл кисти, счищал палитры, растирал краски. Но годы шли. Как переростка, его уже не принимали ни в какое училище. Оставалось одно: самому готовиться к экзамену на дьячка, готовиться урывками, около лошадей, на лугу. Он выдержал экзамен, и его сразу назначили в село Пески.

На некоторых моментах из жизни отца я остановился подольше для того, чтобы показать, что пристрастие мое к краскам, к рисованию, к художеству перешло ко мне по наследству именно от него. Отец мой был настойчивым и упорным в достижении намеченной им цели. Но он никогда не подлаживался к вышестоящим, сильно не любил неправды и несправедливости.

Как я уже сказал раньше, отцу трудно было продвинуть всех нас в средние учебные заведения, но он все делал для того, чтобы каждого из нас «поставить на ноги». В этом помогла ему своим советом наша сельская учительница Серафима Николаевна Морачевская. Заметив мой голос и слух, она взяла меня в свой хор, и я с младшей сестрой Оксаной ходил после уроков на спевки в школу. Какие это были прекрасные для меня минуты! Мы пели песни — украинские и русские. Серафима Николаевна показывала нам ноты, учила по ним петь, и я, еще не понимая содержания этих значков, с гордостью держал ноты в руках и прислушивался к пояснениям любимой своей учительницы.

— Вы непременно, — сказала отцу моему Серафима Николаевна, — непременно повезите Павлуся в Чернигов и там постарайтесь

устроить его в один из архиерейских хоров: в Елецкий или же в Троицкий.

Когда я походил еще одну зиму в земскую школу, отец в конце лета 1900 года повез меня в Чернигов — определять в Троицкий хор, где уже пел альтом старший мой брат Михайло.

И вот я уже в Чернигове. Пока мы с отцом, выйдя из вагона поезда, дошли до монастыря, расположенного далеко за городом, упали предосенние сумерки; решено было заночевать и завтра утречком пойти к регенту архиерейского хора на пробу.

Михайло довел нас до близлежащего странноприимного дома, а сам ушел в свое певческое общежитие. Мы вошли в ночлежную. Полумрак. Стены со вздутыми, а местами оборванными обоями. Воздух спертый, кислый. На столе, в конце ночлежной, коптила лампа. Около стола на табуретке в исподнем белье сидел какой-то странник (волосы до плеч) и читал, растягивая по слогам еще не известные мне церковнославянские слова: «И аз рекох... рекох... И аз...» На нарах — нижних и верхних — с гоном копошились ночлежники; были среди них и косматые, и стриженные, седобородые и с тощими бородами, подвязанными платком — только усы торчали.

Многие из ночлежников, приподнявшись на локте, внимательно смотрели по направлению к черному аналою, стоявшему в углу под образами, и порой с изумлением восклицали: «Ну ты подумай! Да это же подвиг какой! Он, несомненно, святой человек, несомненно...» Странник в исподнем белье взглянул на нас и тоже перевел свой взор к аналою. «Да давай же я помогу тебе! — уговаривающим тоном сказал он кому-то. — Ну что ты корежишься, нужно ли это?..» Странник встал и хотел уже было пойти на помощь тому, к кому обращался, но тут с верхних и нижних нар послышались голоса: «Не подходи в исподнем белье к аналою! На нем крест святой, не подходи!..» И только теперь мы с отцом заметили, что в углу (свет от лампы мало достигал туда) на дощатом полу, подобрав под себя ноги, лицом к аналою сидел лысый, с жиденькими близ шеи косичками человек. Верхняя часть его туловища была вся обнажена. Со спины своей и плеч снимал он тяжелые вериги — гремящие цепи с перемежающимися между кольцами кусками железа — и глухо стонал при этом: «Ох, господь бох (он так и выговаривал: «бох»), услыши мене, услыши!..» И голос у него был надорванный, резкий, неприятный. На спине веригоносца крестообразно (накрест от плеч к бедрам) темнели бурые подтеки... Странник в белье снова было двинулся с места: «Чудак ты, давай же помогу!..» И снова предостерегающие голоса: «Не подходи!» — остановили его...

Мы с отцом потихонечку прошли к свободным местам на парах, и я сразу же лег. уж слишком устал за весь день... Засыпая, я слышал, как на соседних парах кто-то отрывисто засмеялся и сказал: «Вот еще святого нашли! Да какой же он подвижник? Он просто шаромыжник...» Смысла этих слов я не мог понять. Кто это сказал? И для чего? Помню только одно, что мне вдруг — да так сильно! — захотелось и самому совершить подвиг, чтобы все люди заговорили обо мне!..

Наутро я проснулся от невообразимого шума. Не хотелось открывать глаза. Ведь снилось мне что-то такое светлое, уповательно-прекрасное! Снилось... будто бы я совершил великий подвиг. И вот я иду среди людей, выше всех, семимильными шагами, над всем городом. И слышно мне, как внизу шумит народ, какими он меня словами встречает-величает, как ласково меня называет: «Хороший наш! Будь благословен! Живи вечно, дорогой!..» И мне несказанно хотелось, чтоб и далее продолжался мой сон!.. Но вдруг я слышу: «Да будь ты проклят навеки! Так вот поступить со мной, а?» Я быстро вскочил и протер глаза. Уже рассветало, но лампа еще коп-тила...

Странник в исподнем белье шарил руками на верхних парах, а потом перевел глаза свои и в сторону нижних. «А что такое, челове-вече божий?» — спросил лысый с жиденькими косичками (он снова на полу, где, наверно, и спал целую ночь). Кривясь от боли, лысый надевал на голое тело свои вериги. «Да вот собачий сын меня оби-дел!» — сказал странник в исподнем белье. (В это время ударил колокол на раннюю обедню, и часть ночлежников закрестилась.) «А ты не ругайся. Ты слышишь: викарный нас зовет к молитве?» — «Какой викарный? Не понимаю!» — с раздражением ответил странник в исподнем. «Что-о? — грозно обернувшись к нему, надорванно взревел беригоносец. — Значит, ты не знаешь, что викарным называется колокол, в который звонят на раннюю? А кто же ты сам: стран-ник? послушник? или же... босяк, голяк какой-то?» — «Да, да! — зашумели и некоторые другие ночлежники (одни из них поспешно одевались в потертые подрясники и кафтаны, а другие, одевшись, стояли уже у рукомоинника). — Пусть скажет нам, кто он такой!..» — «Как „кто такой“? — чуть не подскочил от возмущения названный „голяком“. — Я человек — чего еще вам надо? У меня ночью мои штаны и пиджак с деньгами украли — здесь, в ночлежке, — люстри-новый пиджак! В чем же я теперь выйду отсюда? Помогите мне, по-могите!»

И вдруг тихо-тихо стало в ночлежной, только размеренные уда-ры «викарного» доносились уныло с колокольни. Чувствовалось (а

я видел это, ясно видел): некоторым ночлежникам, несомненно, жаль было странника в исподнем белье, но все они выжидательно смотрели на веригоносца — что он скажет?.. Звонить на колокольне перестали. Один из ночлежников в изорванном пальто с досадой задул лампу, открыл окно («Проветрить надо!») и, нахмурившись, укоризненно бросил веригоносцу: «Эх ты! Отче святой!..» — «Ну, люди божьи, помогите мне встать теперь, пора и в церковь...» — сказал веригоносец. Тут несколько ночлежников кинулись к нему, взяли под руки и начали поднимать. Ноги веригоносца подкашивались, скользили и не хотели стоять на месте. Скуфия, которую надели на него, то на-двигалась ему на лицо, закрывая глаза, то вдруг заламывалась на-бекрень, словно у лихого, залихватского парня. Полупудовые вериги все время пригибали веригоносца к земле. Наконец он встал на ноги, взял посох в одну руку, а в другую четки, и, оборотившись к иконе в углу, перекрестился, а потом с ехидной усмешкой бросил ночлежнику в белье: «Штаны ты, значит, так и не укараулил? А еще послушник, волоса-то длинные, как у Христа...» — «Да чего вы меня в послушники тянете? — вскричал ночлежник в исподнем. — Волоса у меня длинные? Так это потому, что я служу дрессировщиком в цирке. По истинной правде я признаюсь вам: я нечаянно отстал от труппы, которая вчера уехала из Чернигова. На одну ночь зашел переночевать сюда — и вот...» — «Ах вот оно что-о! — протянул веригоносец. — Значит, цирк? Скакаше-плясаше? — Он поднял посох и закричал: — Уходи отсюда, сатана, и не искушай нас: тебе не место здесь!..»

Странники, что держали его под руки, захихикали было, но сразу же и осеклись. Все они, бросив веригоносца, начали медленно отступать к дверям, ибо видели: ночлежник в изорванном пальто, тяжело дыша, грозно двигался на веригоносца. Вот он подошел к нему почти вплотную и отчетливо, тихо, но твердо, задыхающимся от гнева голосом сказал: «Ты лучше сам, старик, уходи отсюда и не учи злобе нас. Понял?» Тяжело повернувшись, веригоносец вышел. А за ним вышли и некоторые подхалюзники.

Хотелось спросить: а что такое цирк? Мне не понятно, что такое цирк, но в это время мой отец в жестяном чайнике принес кипятку. «А ну вставай, Павлусь, чаю выпьем, а потом и к Мише пойдем...» Тут к нам подошел ночлежник в изорванном пальто, который взялся собирать денежную и всякую другую помощь пострадавшему от кражи. Отцу долго не надо было рассказывать, и он сразу же дал ему денег по своей возможности. «Но ты, Павлусь, не пьешь чая, а только сидишь и что-то думаешь над чашкой. Может быть, голова болит?..» Я молча отрицательно покачал головой. В самом деле,

подумалось мне, ну как сказать отцу о том, что я сегодня впервые в жизни своей получил отвлечение к монастырю.

Когда мы втроем — отец, Михайло и я — двинулись к дому регента, меня на некоторое время обуял страх. Думалось: регент будет в присутствии всего хора пробовать мой голос, будет пикировать на скрипке то одну, то другую ноту, да еще и ногой притопывать сердито, да еще, может быть, и кричать. Все то, что я видел утром в странноприимном доме, вконец испортило мне настроение, и я шел молча.

Но вот и дом регента. Отец несмело потянул за проволоку. Звонок за дверью еле-еле отозвался. Никто не вышел. Тогда Михайло дернул за проволоку смелее, и вскоре послышались шаги; горничная открыла дверь и, услышав от Михайла, что сам регент разрешил нам привести к нему мальчика попробовать голос (он показал на меня), узким коридорчиком с многорабочным в ширину окном повела нас в приемную. Никого еще не было там. В комнате стоял какой-то низенький, широкий, наглухо со всех сторон закрытый шкафчик («Это фисгармония!» — шепнул Михайло); на подставках под окнами, в вазах, — комнатные блеклые цветы, а в кадке близ стола, заваленного нотами, высокое, сухое с виду растение, напоминающее папоротник («Пальма!» — шепнул мне Михайло); на стенах же фотографии, в красках исполненные портреты и в большой раме картина: «Явление Христа Марии Магдалине». Автора картины я тогда еще не знал, да и смысл ее мне был непонятен. Для чего эта Мария Магдалина опустила на колени? О чем она просит, простирая руки? А главное: страшно не понравилось мне лицо Христа. Хотя я и сильно боялся бога и всячески прогонял грешные мысли о нем, но эти мысли сами мне лезли в голову. Лицо Христа напоминало мне бездушное лицо нашего песковского священника, с которым отец мой очень часто после окончания обедни спорил в опустевшей церкви. Поп прикидывался святошей: подражал архиерею, держал крестьян в церкви в воскресенье от восьми часов утра до двух-трех часов дня. К отцу поп придирался по всякому поводу, и я помню, как отец однажды такой меткой украинской пословицей ответил попу, что тот сразу онемел, а потом, обращаясь к старосте, который с ключами от церкви стоял и ждал нас, выкрикнул: «Ну, ты слышишь, как меня здесь не ценят? Ты слышишь? . . .» Староста же, вынув из кармана своей свитки широкий фиолетовый с белыми горошками платок, стал усердно и долго сморкаться. «Ну вот то-то же», — вывел из этого заключение в свою пользу поп и быстро, сердито постукивая своими сапогами, пошел к выходу.

Послышались шаги в другой комнате, и вскоре вышел регент. Он был в светлом домашнем подряснике, да и лицо у него светилось чем-то светлым и добрым. «Ну так как? — весело спросил он нас (мы поздоровались с ним, а отец ему поклонился). — Кого будем пробовать? А-а! — протянул он, будто бы только сейчас догадавшись. — Это тебя? — и взял меня за локоть. — Ну подойдем теперь сюда, мальчик... — и сам уселся на стул около фисгармонии. — Как же тебя звать?» — «Павло! — быстро за меня ответил Михайло и сразу же поправился: — То есть его зовут Пáвлом, он Павел». — «Ну хорошо, пусть будет и Павло́ и Пáвел. Но только что же это он у вас, — регент посмотрел на отца, — худенький такой — только одни глаза...»

Отец хотел было что-то сказать, но регент открыл тут крышку фисгармонии — заблестели клавиши! — и полились протяжные серебряные звуки. Я весь превратился в слух и внимание. В мелодии, которая заполнила всего меня, столько звучало вопросов к кому-то и обращений, столько было ласковой печали, что я вот-вот готов был зарыдать. Только впоследствии узнал я, что в день пробы моего голоса регент играл одну из частей концерта Бортнянского «Вскую прискорбна еси, душе моя...». Перестав играть, он сказал задумчиво: «Ну, значит, будем пробовать, а? Возьми вот эту ноту». Серебряный голос из фисгармонии всего меня наполнил. Я взял. «А теперь вот эту». Я тоже взял... «О! Это хорошо. Дискант, настоящий дискант. Ну давай еще и эти две подряд...» И пошла, и пошла радостная проба моего голоса...

Однако — какое разочарование! — меня не приняли в хор. «Нет вакансий». Регент сказал отцу: «Слишком уж слабенький ваш мальчик. Привезите его на следующий год, и я приму, непременно приму».

Осенью 1901 года мне удалось поступить в хор Елецкого монастыря г. Чернигова. Но весной 1902 года новоназначенный архиерей разогнал наш хор (архиерей признавал только старинное гнусавое пение) и меня вместе с другими хористами перевели в Троицкий хор Чернигова. Я пел в хоре, жил в общежитии, а учиться ходил за четыре километра в бурсу.

Наш архиерейский хор пел в соборе в субботу, в воскресенье да еще в праздники, которых тогда насчитывалось по календарю очень много. В понедельник, среду и пятницу из города к нам, в общежитие мальчиков, приходили «большие» — теноры и басы — на спевки. Чаще всего вечером, если это было зимой, так как все мы (дисканты и альты) с самого утра шли на уроки, каждый в свое учебное заве-

дение: одни в гимназию или же в реальное училище, другие в городское училище, а большинство, к которому принадлежал и я, ходило в бурсу. Бурса — низшее учебное заведение: четыре класса с подготовительным, откуда без экзаменов потом переходили в первый класс среднего учебного заведения — духовной семинарии (всего в семинарии шесть классов).

Били нас в монастыре и попрекали хлебом все, кому только было не лень: и суровый с длинной седой бородой наместник монастыря (второе лицо после архиерея); и трапезник Макар, подающий обед: суп, по-украински — юшку, и потому прозванный нами Макар-Макар-юшечка; и рыжий звонарь Иван, жестокий-жесточайший человек, возмнивший себя почему-то тоже начальником над нами (звонарь всегда неприязненно смотрел на нас, когда мы летом кувыркались во дворе. Он никогда не пропускал случая показать свою ученость перед нами. «Ах вы ж, проклятые цирковики-аристократы!» — бросал он сквозь зубы в нашу сторону, вытрясая самовар наместника. Это вместо: циркачи-акробаты); и малограмотный иеромонах Варсонофий, которого заглазно называли мы Святой отец Болсе-Менсе (бывало, спросим его: «А в каком училище учились вы, отец Варсонофий?») И он, важно пятерней разгребая свою бороду, отвечает нам: «А меня и так господь бог наградил своей мудростью болсе-менсе»).

Но хуже всех относились к нам воспитатели-семинаристы. При общежитии нашем была отдельная крохотная комнатка, где помещался воспитатель, или, как называли его в то время, репетитор. Репетитора к нам, мальчикам, подыскивали из воспитанников последних классов семинарии, чтобы он мог пробывать в этой должности в монастыре не меньше года. Репетитор должен был иметь голос (тенор или бас) и сам петь с нами в хоре, а по характеру представлять собой настоящего зверя — строгого, глухого к слезам и просьбам детей и подростков.

За шестилетнее мое пребывание в монастыре в качестве хориста не одного такого зверя-репетитора пришлось мне видеть. Кроме отвращения к ним и ненависти, никакого следа они не оставили в душе моей. Действовали эти псевдовоспитатели по отношению к нам жестоко, сухо.

«Это ты, прикладываясь к чудотворной иконе, головой задел лампаду с маслом? Держи руку — вот тебе за это, получай!» И пять раз подряд наотмашь по ладони так тебя ошпарит дубовой линейкой, что ты, стараясь не кривиться от боли, одно только просишь: «Разрешите другую руку подставить!» — «Подставляй! — крикнет репетитор. — Да иди ко всем чертям. Теперь следующий подход!»

И снова грозный окрик уже другому провинившемуся мальчику: «Это ты отца Макария, за то что не оставил тебе супу, дразнил «Макар-Макар-юшечка?» Держи руку — не рассуждай! А еще и на колени в угол стань, дурак! Стой целый час, пока я встать тебе не разрешу...» С трудом вынося такую жизнь, мы и сами учились хитрить, кривить душой и старшим говорить неправду. Казалось нам: никакого просвета уже не будет, терпи, молчи и изворачивайся как только можешь...

И вот в одно хмурое утро, после скудного нашего чаепития с хлебом (самовар еще шумел на столе), мы вдруг увидели, как из комнатки репетитора вышел к нам высокий, в форменной серой ту-журке, русский, с добрыми глазами незнакомый семинарист.

«Здравствуйте, мальчики!» — сказал он. Мы молчали. «А надо отвечать, дети, если с вами здороваются, да еще и встать перед старшим полагалось бы...» Мы встали нехотя и под нос себе пробормотали: «Здравствуйте». Семинарист прошелся вокруг длинного стола, что стоял посреди комнаты, заглянул в один из ящиков и покачал головой: «Хм... Хлебные корки, чернильница и недозревшие орехи в зеленой кожуре? Ай-ай-яй... И это называется чистота? порядок?» (Самовар то зашумит, то тонко, жалобно запоет и запыхтит порывисто. Мы молчали.)

Потом семинарист обошел все наши койки и, обратившись к нам не то с сожалением, не то с укором, сказал: «А грязное белье, что ж это — под подушки надо класть? И в тюфяках клопов видимо-невидимо. Ну, скажите: можно ли так жить?» Мы по-прежнему молчали. Наверно, каждый из нас думал одно и то же: «Кто знает, кто ты такой! Гость репетитора нашего или же нарочно подосланный к нам? Вишь ты! Добрым голосом хочет выспросить у нас, чтобы мы всю правду выложили, а тем временем выскочит с дубовой липейкой наш изувер-репетитор и начнет нас бить направо и налево...» «Так вот что, мальчики, скажу я вам... Да вы садитесь. (Мы сели.) И я давайте присяду около вас... вот здесь... Да чего вы шарахаетесь, словно я зверь какой?» И он сел на краешек скамьи вместе с нами. (Две длинные скамьи стояли в нашей комнате по обе стороны стола, и никакой другой мебели нам больше не полагалось.) «Нам бы следовало поговорить с вами сообща. Среди вас есть и девятилетние мальчики, а есть и пятнадцатилетние, и я думаю — все вы меня поймете. Сейчас я не буду задерживать вас, потому что (он вынул карманные часы и посмотрел на них) через полчаса ведь надо идти вам на уроки? А до города от нас, что ни говори, а таки далековато?.. Значит, поговорим мы с вами уже тогда, когда вы возвратитесь со своих занятий. О чем я буду говорить с вами? Прежде всего о том,

что вам надо лучше учиться. Регент мне сказал, что среди вас много двоечников. («Регент? — мы переглянулись между собой. — Значит, этот семинарист имеет какое-то отношение к нам?») Потом нам надо завести порядок и чистоту. Виновны в том, что вы в грязи живете, не только вы, а и те, что за вами наблюдали. Но и вам, конечно, надо будет подтянуться. Я уже с первого раза заметил: ногти у всех вас грязные. Вот и белье, я вижу (и он слегка отвернул ворот на шее у близидящего мальчика) ... слишком уж занасиживаете долго. Паразитов не оберетесь потом. А сапоги — почему они у вас рыжие да желтые, словно горчицей все помазаны?» — «А нам ваксы не дают», — сказал один из нас. «Не дают? А мы сделаем так, чтобы вакса была — и непременно! А кроме того, надо всем вам купить галоши, и рукавицы, и башлыки на зиму. Как же иначе? Зачем вам грязь месить? Да и зимой, в глубокий снег, не будут мерзнуть ноги. А если придется вам отпевать покойника, следовать за гробом и петь с непокрытой головой, без галош — до кладбища пять с половиной верст да назад пять с половиной, — этак вы совсем пропадете». — «Галоши и башлыки — да мы и понятия о них никакого не имели! — вырвалось у одного из старших мальчиков. — Вот хорошо, если б это было!» (И мы все радостно оживились.) «Ну, я же вам говорю, что это все будет у вас, — подтвердил семинарист, — я постараюсь и регента уговорю. Лишь бы вы своими успехами доказали, что все вы хорошие, серьезные и примерные ученики. Хорошо?» — спросил он нас весело и, снова глянув на карманные часы, встал со скамьи. «Хорошо!» — все мы разноголосым хором ответили ему и тоже поднялись со своих мест. «Ну, смотрите же, — произнес семинарист, — помните наш уговор! Меня зовут Николаем Ильичом. Вчера вечером, когда вы пели в соборе, ваш репетитор уехал от вас. На месте его теперь я. Поняли?» — «Да, да, Николай Ильич, все мы поняли! — словно обезумев от неожиданной радости, закричали мы со всех сторон. — Поняли! Но только хотим мы знать еще и фамилию вашу». — «А фамилия моя Подвойский. . .»

Николай Ильич уже направился было идти в свою комнатку, но в это самое время раскрылась с шумом входная дверь и послышался насмешливый оклик: «Эй вы, лопари-голодальщики! Маршируйте скорее в школу, а то я щеткою вас вымету из хаты!» При этом половая щетка от двери полетела к столу — хорошо еще, что никого не задела.

Николай Ильич остановился и, грозно сдвинув брови, спросил вошедшего: «Это что еще? Вы кто такой? Служитель?» — «Так точно!» — ответил вошедший. «А как вас звать? Максимом? Вы только что с военной службы возвратились?» — «Так точно!» — «А кто же

вас научил, Максим, с такой насмешкой обращаться к мальчикам?» — «Простите, извините! — съежился Максим. — Это у меня шуточно, да я и не знал, что вы уже перебрались к ним: вчера вечером я в свое село Киянку — здесь поблизости — отлучался. . . — И Максим, подобрав щетку с полу, пробормотал: — Я потом приду», — и быстро исчез за дверью.

«А вы знаете, мальчики, — сказал Николай Ильич, с досадой махнув рукой, — шутка эта совсем мне не понравилась. Да и что, собственно, означают эти слова: лопари, да еще и голодальщики?» — «А это так вот надо понимать, — мы все наперебой взялись объяснять Николаю Ильичу, — лопарями нас называют потому, что мы лопаем буквально все, что нам дадут, вернее сказать, все то, что остается от стола монахов, а голодальщиками — потому что у нас очень часто бывают такие дни, как, например, вот и сегодня». — «Вы говорите „сегодня“? — насторожился Николай Ильич. — А что же именно? Что же вы недоговариваете?» — «Да вот, Николай Ильич, — все мы заговорили вдруг. — Сегодня нас без хлеба оставили». — «Как без хлеба? Совсем? Чего же вы мне раньше не сказали об этом? Вот уж безобразие так безобразие! Ах ты ж. . .» — и он метнулся к себе в комнатку и вынес оттуда нам свой хлеб, две булки и сахару кускового. «Самовар еще горячий? — спросил он. — Ну хоть понемногу быстренько выпейте чаю. Кто же это заставляет голодать вас?» — «Да это все эконом монастырский, — пожаловались мы, — все это отец Мисаил делает да его помощник отец Досифей». — «Ох эти мне отцы святые! — с презрением проговорил Николай Ильич. — Ох же и отцы, чтоб их. . .» — и он быстро ушел в свою комнатку. Очевидно, еще какое-то словцо в конце прозвучало у него, но мы его не расслышали. . .

Самые светлые воспоминания храню я в своем сердце о Николае Ильиче Подвойском! Моего воспитателя (я его только так и могу назвать) встретил я на самом раннем пути своего детства, когда еще только-только начинало формироваться мое отношение к людям, мое уразумение труда. Все свое детство — без остатка! — провел я в монастырской обстановке. Сколько противоречивых дум вызывала во мне обстановка эта! Тебе не по силам терпеть всяческие посягательства на твою волю со стороны малограмотных монахов? Но ты должен терпеть. Ты должен знать, что пребывание твое в архиерейском хоре сопряжено с тяжелым для тебя трудом. Тебе за твой труд не платят? Зато тебе дают возможность ходить в училище — учиться. И ты учишься, не слишком балуйся. Но мы дети, как же нам не побаловаться? Живем мы впроголодь, думали мы, а монахи обжираются, почему бы нам и не полезть на рассвете в архи-

ерейский сад да не нарвать орехов? Если поймают — ну что ж, сторожа в подрысниках сильно избыют нас, да и все тут. А нет! Это не все: сторожа еще и к извергу-репетитору приведут, а тот уже постарается все внутренности кулаками отбить тебе.

Когда же на смену прежним репетиторам пришел к нам Николай Ильич Подвойский — все в нашем общежитии изменилось. Понемногу изменились и мы сами, мальчишки-хористы. Николай Ильич всячески старался нам смягчить угрюмый быт монастыря. Однажды он повел нас в цирк, где мы видели еще самого первого из семьи Дуровых — Анатолия. Два раза ходили мы с ним в театр: на представление «Ревизора» Гоголя, а потом на какую-то пьесу (не помню названия), где выведен был на сцене Кутузов со своими генералами.

Когда после представления опустили на сцене занавес — я в первый раз в жизни увидел, какое восхищение вызывают у зрителей артисты. Все повскакивали с мест и начали бить в ладоши, чтобы еще раз вышли артисты и поклонились. Но больше всех, как мне казалось, восхищен был игрою артистов Николай Ильич. «Помпадурский! — кричал он. — Помпадурский!» (Какая именно труппа играла тогда в Чернигове — не могу вспомнить.)

Николай Ильич открыл у нас кассу взаимопомощи, а в городской библиотеке некоторых из нас записал на свой абонемент. Какая это радость была для нас — самому выбрать по каталогу книгу и принести ее домой, в общежитие! Как я уже сказал раньше, я многим обязан Николаю Ильичу, и, в частности, тем, что он, заметив мою склонность к рисованию, подарил мне ящик с красками, а также запас холста и научил смешивать краски на палитре. Только значительно позже я узнал, что Н. И. Подвойский с 1901 года состоял членом Коммунистической партии.

После окончания бурсы, когда у меня спал голос и мне нельзя уже было жить в общежитии хора, я поступил (там же в Чернигове) в 1907 году в духовную семинарию, которую и окончил в 1913 году. Летом этого года по моему прошению я был зачислен студентом Киевского коммерческого института. Учиться в царское время надо было только на собственные средства, поэтому, начиная с 1913 и кончая 1917 годом, я все время работал. Сначала исполнял обязанности технического секретаря редакции художественно-педагогического журнала «Світло» (1913—1914, Киев), а после того, когда в империалистическую войну генерал-губернатор Юго-Западного края закрыл все украинские редакции и издательства, я летом 1914 года поехал в Чернигов, так как там нашлась было для меня работа в статистическом бюро губернского земства. В 1916—1917 годы я снова

в Киеве — работаю в должности помощника хормейстера в украинском театре Микола Садовского. Там же в Киеве встретил я Октябрьскую революцию.

Печататься я начал в 1911 году (точнее: ранние мои стихотворения, посланные в редакцию одного из журналов еще в 1910 году, по не зависящим от редактора обстоятельствам, пролежали там больше года). В Чернигове в то время жил известный украинский писатель Михайло Михайлович Коцюбинский. Для передовой части черниговцев, в особенности для молодежи, он устраивал у себя дома так называемые «субботы».

Тайно от семинарского начальства ходил на эти нелегальные подпольные «субботы» и я. Ходили мы вместе с учителем рисования семинарии художником Михайлом Жуком, а также моим младшим товарищем по семинарии Василием Элланским, который после Октябрьской революции как поэт прославился под именем Василя Эллана (Блакитного). В 1910—1911 годах Коцюбинский ездил из Чернигова лечиться в Италию на остров Капри, где жил Максим Горький. Однажды мы вместе с Василием да еще с другими верными товарищами, запершись в рисовальном классе семинарии, где я был заведующим, написали письмо Коцюбинскому. В письме мы рассказали о том, что у нас в семинарии вспыхнул бунт. Семинаристы подали петицию на имя ректора семинарии с требованиями: допускать семинаристов без экзаменов в университет; расширить в семинарии преподавание общеобразовательных дисциплин; вернуть в семинарскую библиотеку выброшенные книги Максима Горького. . .

Конечно, мы писали о бунте так, чтобы царская цензура не имела повода задержать письмо на самой границе империи. А этот 1911 год, год черной реакции, как раз всю жандармерию, всех царских приспешников, мракобесов, да и самого царя потряс тем, что громадная волна студенческих и семинарских бунтов прокатилась по всей России. Дойдет ли наше письмо до Михайла Коцюбинского на остров Капри? — с тревогой спрашивали мы друг у друга. Прочтает ли это письмо Коцюбинский Максиму Горькому? К великой нашей радости, вышло так, что письмо все же дошло до двух великих писателей.

Я забыл сказать о том, что Коцюбинский, выезжая из Чернигова в Италию, повез с собой и мои юношеские стихотворения, чтобы прочесть их Горькому. Алексей Максимович прослушал стихотворения в чтении Михайла Михайловича, а потом еще и сам их прочел — по-украински. Когда Коцюбинский по возвращении своем в Чернигов рассказал мне, с каким вниманием отнесся Алексей Максимович к

моим юношеским писаниям, это сильно подбодрило меня. Ведь в 1911 году меня за связь с Горьким и Коцюбинским и за то, что я, будучи семинаристом, печатался в украинских журналах под собственным именем, хотели уволить из семинарии, поставив мне «три» по поведению. Впоследствии в письме своем ко мне из Италии Алексей Максимович сам говорил о том, что он давно уже меня знает — и именно благодаря Михайлу Коцюбинскому.

Вот что писал мне Алексей Максимович:

«Сердечно благодарю Вас, Павел Григорьевич, за присланную книгу, очень тронут любезностью Вашей. Знаю я Вас давно, мне много и нежно — как он изумительно умел говорить о людях — рассказывал о Вас М. М. Коцюбинский, читал некоторые Ваши стихи. Затем я читал — по-украински — «Вместо сонетов», — забыл великорусский титул книги. . .

Крепко жму руку Вашу. Желаю Вам душевной бодрости, здоровья. Не думаете ли писать прозу? Мне кажется, что и тут Вы явились бы новатором.

Еще раз — спасибо!

А. Пешков

10.VIII.27».

Это письмо А. М. Горького опубликовано в 30-м томе Собрания его сочинений.

Выше я упомянул о том, что за связь с Горьким и Коцюбинским мне угрожало увольнение из семинарии. От увольнения защитил меня ректор семинарии Баженов — потомок великого архитектора Баженова, автора реконструкции московского Кремля. Ректор Баженов благоволил ко мне как к регенту семинарского хора. По его совету (а он сам в прошлом был регентом хора Киевской духовной академии) через семинарскую библиотеку я выписал самые последние нотные новинки, и наш хор вместо устаревших песнопений исполнял произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Ипполитова-Иванова, Гречанинова, Кастаньского, Чеснокова.

Таким образом, я удержался в семинарии, а на «субботы» к Коцюбинскому ходил по-прежнему, но, конечно, с предосторожностью. «Субботы» очень много дали мне, особенно в творческом отношении.

От М. М. Коцюбинского, по-отечески относившегося ко мне, я получил в Чернигове (в 1911—1912 гг.) три письма: из Австро-Венгрии, из Киева и из Италии. Хочу здесь целиком привести в русском пере-

воде письмо Михайла Михайловича, гостившего в 1912 году на острове Капри у Максима Горького:

«Очень Вам благодарен за Ваше сердечное письмо и прошу извинить, что ответил не сразу. Так у меня складываются дела, что все почему-то нет времени. Да мне казалось, и не следовало было писать Вам на масленицу, потому что, наверно, Вы куда-нибудь выезжали на то время.

Я тоже частенько вспоминаю Вас и тех товарищей Ваших, с которыми мне привелось познакомиться. Передайте им всем привет, а тем, что подписали письмо ко мне, и благодарность.

Живется здесь мне хорошо, чувствую себя лучше, а все же рвусь домой, и как только станет у нас (на Украине) теплее, сразу же выеду отсюда. Думаю, что на Пасху буду уже дома.

На Капри все время чудесно, зелено, тепло. Самая низкая температура зимой, и то ночью, была 8° Р тепла, а днем доходила и до плюс 22° Р, словно бы летом. Сейчас настоящая весна, расцветшие деревья, полно цветов (хотя они цвели целехонькую зиму).

Вот бы где Вы могли рисовать и писать стихи!

А я, хотя стихов не пишу, все-таки работаю понемногу и много читаю, потому что под руками большая библиотека и много газет и журналов на разных языках.

Вы пишете про переводы рассказов украинских авторов на русский язык. А мне кажется, что полезней было бы переводить с русского на украинский, потому что таким образом переводчик лучше познакомился бы с украинским языком и такие переводыгодились бы нам. У нас, например, очень слабая литература для детей, и если бы кто-нибудь сделал перевод лучших русских произведений для детской литературы, можно было бы даже издать.

Бывайте здоровы. Сердечно желаю Вам всего наилучшего.

Ваш М. Коцюбинский.

9.11.1912».

В Киеве я жил почти безвыездно с 1916 по 1923 год, если не считать моей поездки с капеллой К. Стеценко по Украине. В 1917—1919 годах, при советской власти, я служил попеременно то в редакции журнала «Мистецтво революції» («Искусство революции»), то в Государственном издательстве («Всевидат»). В 1920 году я заведовал художественно-кооперативным музеем Днепросоюза, а позже Губсоюза. В том же 1920 году я в качестве летописца хорового дела поехал вместе с капеллой известного украинского композитора Ки-

рилла Стеценко по Правобережной Украине. Пребывание в новых для меня местах, знакомство с другим известным украинским композитором, Миколой Леоптовичем, в Тульчине, посещение мест, связанных с деятельностью декабристов, — все это хорошим, золотым грузом осело в душе моей.

С 1920 по 1923 год заведовал литчастью в Киевском государственном театре им. Т. Шевченко, где познакомился с Александром Довженко — политическим комиссаром театра. С 1921 года был дирижером хоровой капеллы при библиотеке им. Гоголя в Киеве, а в 1922 году вместе с известным украинским композитором Григорием Гурьевичем Веревкой принимал участие в основании Украинской музыкальной школы, утвержденной потом Главполитпросветом.

В Киеве же издал (в 1918 году) и первую свою книгу «Солнечные кларнеты», а в 1920 году — «Плуг» и «Вместо сонетов и октав».

С 1923 по 1934 год работал в Харькове в редакции журнала «Червоный шлях». Вел широкую переписку с молодыми начинающими авторами. В Харькове вышли мои книги: «Ветер с Украины» (1924), «Чернигов» (1931), «Партия ведет» (1934).

Никогда не забуду той великой, пережитой мною радости, когда я получил номер газеты «Правда» за 21 ноября 1933 года и в нем, в номере этом, увидел свое стихотворение «Партия ведет», напечатанное в оригинале на украинском языке. В этом же номере «Правды», в передовой статье, несколько слов было сказано и обо мне. Это много и много помогло мне в работе, да и во всей дальнейшей моей жизни.

Через две недели после напечатания стихотворения «Партия ведет» я уже вместе с писателем П. Лисовым из Харькова поехал в Миргородскую МТС, чтобы написать песни и очерки о трактористах. Каждый день поутру во дворе МТС мы присоединялись к группе изучающих трактор. Потом сразу же (тоже каждый день) выезжали к знатным трактористам — в Кибинцы, Шахворостивку, Гаркушильцы — изучали их жизнь и работу. В Миргороде я написал «Песню трактористки», посвященную Олесе Кулик, работавшей в то время в Миргородской МТС.

В 1941 году за книгу «Чувство семьи единой» получил Государственную премию 1-й степени.¹ В этом же году вышли книга стихов «Сталь и нежность» и сборник статей «Магистральями жизни».

¹ В 1962 г. П. Г. Тычине за эту книгу присвоено звание Лауреата Шевченковской премии. — *Ред.*

В период Великой Отечественной войны в Уфе были напечатаны мои книги: «Тебя мы уничтожим — и черт с тобой», «Побеждать и жить», «День настанет», «Патриотизм в творчестве Мажита Гафури», «Творческая сила народа», «Прочь грязные руки от Украины» (против украинско-немецких националистов в Канаде) и поэма «Похороны друга». А по возвращении в Киев: «Жить, трудиться и расти», «В Армии великого стратега», «Теплоход „Мичурин“ в Индии» и др.

По общественной линии начал я работать еще в Харькове, где дважды избирался депутатом горсовета, а также был избран кандидатом в члены Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИКа). В 1938 году был избран депутатом Верховного Совета УССР, которым являюсь и по настоящее время (всех созывов). С 1953 по 1959 год был Председателем Верховного Совета УССР. С 1946 года и по настоящее время являюсь депутатом Верховного Совета Союза ССР (II, III, IV, V созывов), а с 1954 года — заместителем председателя Совета Национальностей.

В 1929 году меня избрали действительным членом Академии наук Украинской ССР. С 1936 и по 1938 год был директором Института литературы АН УССР, а в период Отечественной войны — директором Института литературы и языка АН УССР в городе Уфе, а потом в Москве. В 1943 году был назначен наркомом (впоследствии — министром) просвещения УССР. Проработал на этом посту до августа 1948 года.

В период Отечественной войны несколько раз выступал на антифашистских митингах в Москве, Саратове, Уфе; несколько раз выезжал в прифронтовую полосу. В 1943 году под Харьковом, недалеко от фронта, поздно ночью, как нарком просвещения, вместе с членами правописной комиссии, выступал перед членами правительства с докладом о ходе работы над «Українським правописом», который и получил там одобрение.

В 1944 году в мае я был принят в члены Коммунистической партии. В 1954 году на XVIII съезде КП Украины, а также в 1956 году на XIX съезде КП Украины избирался членом Центрального Комитета Коммунистической партии Украины.

Много раз выезжал за рубежи нашей родины: в 1924 году был в Праге (Чехословакия); в 1929 году в составе делегации ученых-востоковедов в Стамбуле и Анкаре (Турция); участвовал в работе Международного антифашистского конгресса в Паряже в 1935 году (конгресс созывал Анри Барбюс), Всеславянского конгресса в Софии (Болгария) в 1945 году; был в составе делегации писателей в

Варшаве (1947), а также на первом съезде польских писателей в Штеттине (1949); в том же году сопровождал тело Георгия Димитрова в Болгарию, а осенью посетил Англию и Шотландию в связи с празднованием 25-летия Английского общества культурной связи с СССР; был также в Венгрии, Финляндии и второй раз в Чехословакии.

Награжден орденами: трижды орденом Ленина,¹ дважды орденом Трудового Красного Знамени, а также медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

На общем собрании Академии наук Болгарии в 1947 году меня избрали членом-корреспондентом Болгарской Академии наук (София). Работаю заместителем председателя Республиканского комитета защиты мира. Сейчас состою членом редколлегии журнала «Славяне» (Москва) и журнала «Вітчизна» (Киев). Состою членом двух ученых советов Академии наук УССР: при Институте литературы и в ученом совете Отделения общественных наук.

В последнее время вышли мои книги: «Могутність нам дана», «І рости і діяти...», «Ми свідомість людства», «Зростає, пречудовний світе», «Комунізму далі видні»,² шеститомник, «Срібної ночі».³ На русском языке вышли мои книги «Солнце дружбы», двухтомник «Избранное».

Под моей редакцией и частично в переводах вышли на украинском языке произведения болгарских классиков Христо Ботева и Ивана Вазова, сборник «Світло над Болгарією», также басни Крылова, сборник «Поэты-декабристы», «Стихи» Николая Тихонова, произведения белорусских писателей: Францишка Богушевича, Кузьмы Черного, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка; стихотворения Ованеса Туманяна (с армянского), Косты Хетагурова (с осетинского), Антанаса Венцлова (с литовского), пьесы: Сундукияна «Пепо» (с армянского), Орлина Василева «Земной рай» (с болгарского), Янки Купалы «Павлинка» (совместно с Т. Масенко); перевел комедию Квитки-Осповьянепко «Шельменко-денщик».

В настоящее время изучаю творчество татарского поэта Абдуллы Тукая и творчество болгарского революционного поэта Христо

¹ П. Г. Тычина был награжден пятью орденами Ленина, в 1967 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. — *Ред.*

² «Могущество дано нам», «И расти и трудиться», «Мы совесть человечества», «Расти, чудесный мир», «Коммунизма дали видно». — *Ред.*

³ «В серебряную ночь». — *Ред.*

Смирненского, принимаю участие в редактировании многотомного издания произведений украинского композитора Кирилла Стеценко, готовлю новый сборник стихотворений.

Заданием своим ставлю — в песнях и стихах прославить родную партию, прокладывающую путь в светлое будущее; воспеть героический труд советских людей, строителей коммунизма, мечту трудящихся земного шара — жить в дружбе и отстаивать мир между народами!

Киев. 1959 г.

I

СОЛНЕЧНЫЕ КЛАРНЕТЫ

(1918)

1

Не Зевс, не Пан, не Голубь-дух, —
лишь звонких солнц кларнеты.
Я в танце мчусь, ритмичный круг,
в бессмертном — все планеты.

Я был не Я. Лишь греза, сон.
Повсюду звоны, звуки,
животворящей тьмы хитон
и благовестий руки.

Проснулся я — и я стал Ты.
За мной и надо мною
бегут миры из темноты
песучью рекою.

И я стерег и пламенел:
аккордились планеты.
Навек узнал, что Ты не гнев —
лишь звонких солнц кларнеты.

1918

2. КУРЧАВЯСЬ, ПРОБЕГАЮТ ТУЧИ...

Курчавясь, пробегают тучи. Синь в глубину легла...
О друг мой милый, гаснут силы!
Любимый брат мой, вновь распято
Большое сердце мое, сердце кричит, как лебедь... Мгла.
Курчавясь, пробегают тучи...

Как буйны туры, мчатся ветры! Гнут арфы
тополей...

В душе — белее, чем лилеи, —
Растут прекрасно — ясно, ясно, —
Как цветики, — печали, скорби растут в душе моей.
Как буйны туры, мчатся ветры!

Рассыпалось в озерах солнце. Летит былого дым...
Всегда и всюду — как забуду? —
Хочу я ласки черноглазки!
Хочу я быть несокрушимым и вечно молодым!
Рассыпалюсь в озерах солнце.

И смех, и звон, и радость. Мысли — как радуги.
И пусть
Грусть в сердце, если — солнце! Песни!
В душе я ставлю — вас я славлю! —
В душе я ставлю светлый парус, ведь веет в сердце
грусть.

И смех, и звон, и радость мысли.

1917

3. ЛЕСА ШУМЯТ

Леса шумят —
Я слушаю.
Дымки летят —
Любуюсь я.
Любуюсь я, дивуюсь я —
Чего ж душе моей
так весело?

Вон звон плывет —
Далекий звон.
Мечты прядет
Над нивами.
Над нивами-приливами,
Купая сердце мне,
как ласточку.

И я иду —
 Взволнованный.
 Кого-то жду —
 Ликующий.
И всё пою любовь мою
 Под тихий лепет трав,
 ласкающий.

Мечтает лес
 Над речкою.
А неба край
 Что золото.
Что золото — расколото,
 Горит-дрожит река,
 вся — музыка.

1914

4. АРФАМИ, АРФАМИ...

Арфами, арфами —
золотыми, разливными отозвались леса,
самозвонными:

Ах, весна,
ах, красна,
цветом да жемчугом
разукрашена.

Думами, думами, —
будто море кораблями, переполнилась лазурь
нежнотонными:

Будет бой
огневой!
Смех будет, плач будет
перламутровый...

Стану я, гляну я, —
все поточки — как звоночки, жаворонок — золотой
с переливами:

Ах, весна,
ах, красна,
цветом да жемчугом
разукрашена.

Светлая, милая,
то ли грустная ты ходишь, то ли счастье через край.
Там, за нивами:

Взор открой
заревой!
Смех будет, плач будет
перламутровый...

1914

5. ГДЕ-ТО В ДАЛЯХ ШЛА ВЕСНА...

Где-то в далях шла весна. Я сказал ей: «Ты весна!»
Сизокрылыми голубками
В уголочках на устах
У нее вдруг что-то вспыхнуло —
И легло на дно души.

Наливался злак полей. «Золотая!» — молвил ей.
Гневно бровоньки нахмурила.
Отвернулась и пошла.
И глядела долго издали,
Будто кликала: «Иди!»

На поля туман упал. «Ты не любишь!» — я сказал.
Встала. Глянула. Промолвила:
«Вот и осень подошла!»
— «Так любить? Скажи. Скорее же!»
Смех ее сверкнул клинком...

Лес под снегом стал грустней. «Что ж, прощай!» —
я молвил ей.

Вдруг сияньем теплым, ласковым
Что-то брызнуло из глаз...
Сизокрылою голубкою
На моих она устах!

1917

6. ЦВЕТ ТЫ В МОЕМ СЕРДЦЕ...

Цвет ты в моем сердце,
Ясный цвет весенний.
Ты и цвет, и друг мой,
Первоцвет весенний.
Ах, опять, Светлана,
Где звучала рана,
Цвет зацвел весенний!

Слушаю звучанье
Туч, степей и ветра.
Я звеню, как струны
Туч, степей и ветра.
Каждый сердцем звонок,
Пьян вином весенним —
Солнца, туч и ветра!

В незакатном крае
Звездные вершины.
Далеки дороги
Да на те вершины!
Ходят-светят звезды,
Плещут волны в море —
И горят вершины!

Свет ты в моем сердце,
Сон рассветный ранний!
Ты и свет, и друг мой,
Зорь светáнок ранний.
Свет-очей ресницы,
Зори-заряницы
Славлю в час мой ранний!

1917

7. НЕ СМОТРИ ЖЕ ТАК ПРИВЕТНО...

Не смотри же так приветно,
Яблоневоцветно.
Зреют звезды, как пшеница, —
Буду я томиться.

Не ласкай меня шелково,
Ясносоколово.
Рдеют розы на рассвете —
Будет день мой светел.

Поутру играют грозы —
Будут снова слезы!
Встала мать. Дымится хатка.
Где же ты, касатка?

«А я здесь в саду, в тенечке,
Где цветки-веночки. . .»
Что скажу им? Всё заметно —
Яблоневоцветно.

1918

8. ПОСМОТРЕЛА ЯСНО...

Посмотрела ясно — вдруг запели скрипки!
Обняла, прощаясь в глубине души.
Лес молчал в печали, в траурном аккорде.
Вдруг запели скрипки в глубине души!

Знал я, знал: навеки — как лучи ресницы! —
Больше не увижу солнечных очей.
Буду одинок я в траурном аккорде.
Не лучи — ресницы солнечных очей!

1918

9. Я ПЛАКАЛ ОТ ЛЮБВИ...

Я плакал от любви, рыдал.
(Над бором небо хмуро!)
Тот плач стеной меж нами стал
(Мраморной и хмурой)...

Струятся слезы с высоты.
(Вернись, рассмейся звонко!)
На пустыри летят листы
(Вьются, вьются звонко)...

Там где-то снег грозит зимой.
(Над бором небо хмуро!)
Уж мы разделены стеной
(Мраморной и хмурой)...

Мы одиноки — ты и я.
(Рассвет весенний! Вишня!)
Осыпалась душа твоя
(Утренняя вишня)...

1917

10. О РАДОСТЬ ИННА!

О радость Инна, солнце Инна!
Один я. Ночь. Снега.
Сестру я Вашу так любил
Душой своей невинной.
Любил? Давно. Цвели луга...
О радость Инна, солнце Инна!
Любви улыбка — только миг единый.
Снега, снега, снега...

Я Ваши очи вспоминаю,
Как музыку ловил.
Январский вечер. Тишь. И мы.
Я вам чужой — я знаю.
А кто ж кричит: «Ты сердцу мил!»?
И сразу — небо... лес играет...
О нет, то очи Ваши. Я рыдаю.
Сестра иль Вы? Любил...

1915

11. Я СТОЮ НА КРУЧЕ...

Я стою на круче —
Звоны за рекою:
Жду твои ветрила —
Тень там тонет, где-то там...

Выплывают тучи —
Грусть растет, как колос:
Взволновались волны —
Грустно, сам я светлый сон...

Верю ясновзоро —
За рекою звоны:
Снятся мне Стожары —
Тень там тонет, где-то там...

Жду всё, ожидаю —
Грусть растет, как колос,
С песнею о солнце!
Грустно, сам я светлый сон...

1918

12. ТОПОЛЯ НАД ПОЛЯМИ...

Тополя над полями на воле —
Луч заката еще не угас —
С буйным ветром, и вольным и диким,
Стройно рвутся в безбрежную даль.

Я иду, и тревожный и чуткий
(Гаснет день, облетает, как мак).
А в душе моей бури и грозы,
Рокотанье-рыданье бандур.

Клонит ветер хлеба у дороги
(Ой, с полудня там хмурая мгла)
И так грустно поет, так печально, —
Только перепел в колокол бьет.

Песня, ярость моя огневая
(Небо в молниях катит свой гнев),
Ах, разбейся же в светлых аккордах,
Разрыдайся и смолкни, как гром...

1916

13. ШЬЕТ ДЕВУШКА...

Шьет девушка и так рыдает —
то ли шитье?
И красным, черным вышивает
мое житье.

Колокола шлют переливы,
и плачет звон.
Идут. То мальвой, то крапивой
путь окаймлен.

Туманы кверху, кверху хлынут,
а тучи с гор.
Не буду я, тоской покинут,
любить простор.

Я розу вечером целую —
грусть без причин...
Зачем, зачем жить не могу я
без дум, один?

1914

14. ВЕСЬ ЛУГ В ЦВЕТАХ...

Весь луг в цветах, и золото дождей.
А дальше, словно акварели, —
Леса зажмурились, дома заголубели...

Ах, сердце, пей!
А воздух так пьянит, волнует.
То осень ранняя целует,
Чудесная в тоске своей.

Стою один я среди нив чужих,
Как жертва брошенная, зная,
Что слышит скорь мою природа, мне родная.

Сквозь плач. Сквозь смех.
Она — прекрасная царевна —
Исполнена печали древней,
Таит ее, таит от всех.

Стою. Гляжу. Безмолвье после гроз. . .
И безответен сумрак сонный.
Лишь над селеньями плывут, обнявшись,
звоны —

Узоры слез.
Лишь из-за туч слышны, тоскливы,
Отлетных журавлей призывы —
Как лепестки последних роз. . .

Вот верба загляделась вдаль
И ловит струны дождевые.
Всё будто шепчут ветви молодые:
«Печаль, печаль. . .
Годами без конца, без краю
Я струны Вечности перебираю,
Так одиноко глядя вдаль».

1915

15. ОЙ, НЕ КРОЙСЯ, ПРИРОДА...

Ой, не кройся, природа, не кройся,
Что в тоске ты о лете, в печали.
Вся в туманах и снах. . . И о чем так сычи
На лугу зарыдали?

Твои косы от горя, от грусти,
Ой, кровавая прозолоть кроет.
Знать, и в сердце твоём золотая печаль,
Что ты стала такую.

А была ты — как буря с громами!
А была ты — как ночь на Купала!
Вся безмолвье и грусть. Вся безмолвье и сон —
И звезда вдруг упала.

Ой, упала! Как сон пролетела!
Сердце вдруг засмеялось в печали.
Плачут снова сычи. . . О, рыдай же и ты:
Осень смотрится в дали.

1915

1

ТУМАН

Над болотом прядет молоком. . .
Черный ворон задумчив.
Сизый ворон печален.
Очи выклевал. Бог весть кому.

А с востока идет гневный бой! . .
Черный ворон помчался.
Сизый ворон метнулся.
Очи выклевал. Бог весть кому.

2

СОЛНЦЕ

Где-то там клюют жар-птицы
Зéлено вино.
Расхрусталились озера!
Тень. Давно.

На лугах блистают косы.
В пламени восток!
Перси девичьи сквозь дрему:
Сын. . . сынок. . .

8

ВЕТЕР

Луг — река — густая вика —
Ритм подсолнечника.
День бежит, звенит-смеется
Колокольчиками!

Над поляной — медом пьяный —
Ходит с братиною.
День бежит, звенит-смеется
Колокольчиками!

ДОЖДЬ

В руке, но чьей? Там, где ручьи,
Струятся змейки. . . Сон. До дна.
Взглянул, вздохнул, швырнул пшена —
И заскакали воробьи!

«Беги!» — шепнуло в берега.
«Ложись. . .» — шумят ракиты.
Спустила тучка на луга
Подол, узором шитый. . .

1918

20. ХОДЯТ ПО ТРАВАМ...

(Поэтам-упадочникам)

Ходят по травам, по росе.
Стихами тленными,
Присноблаженными
Ткут жалкий бред.
А солнца, солнца в их красе —
Нет.
Пустыня.

С песней крови — мрак и тень —
Сгас чернобровый день.
О рыцари химеры и гордыни,
С проклятьем вас сметем долой!
Багряный!
Молодой!
Бой!

1917

21—22. В СОБОР

1

Нищие и вербы
Стали в два ряда.
Гнутся, гнутся, гнутся вербы,
Гнутся нищие к земле.

Шум толпы унылой,
Тучи в блеске крыл.
. . .Аналои задымило
Синим лязганьем кадил.

Тут — беседа с богом.
Тут ему скажу
(Кто-то всхлипнул за порогом) —
С херувимами служу.

Жду я, ждут все люди,
Только нет его.
Гнутся, гнутся, гнутся люди.
Дожидаются его.

2

Поет дорожка
в огород.
Арбуз под зонтиком
о солнце думает.

За частоколом —
зеленый гимн.
Оставайтесь, люди,
со своими божками.

Подсолнухи горят. . .
струне подобны —
И мотыльков дуэты. . .
а на лапках мед.

Ромашка? «Здравствуй!»
И она тихо: «Здравствуй!»
И звучит земля
как орган.

1917

23. А Я В ЛЕСУ ГУЛЯЛА...

А я в лесу гуляла,
брала цветок к цветку.
Люли-люли опушка,
на дереве кукушка:
«ку-
ку».

Я зайку повстречала,
гулял он по леску.
Его бы я поймала —
кукушка помешала:
«ку-
ку».

1917

24. ТАМ КТО-ТО ГЛАДИЛ, ВСЁ ГЛАДИЛ НИВЫ...

Там кто-то гладил, всё гладил нивы
И сеял в гнев полей призывы:
«О, дайте грома, дождей разливы,
Чтоб золотые не сохли гривы!»
Там кто-то нивы так нежно гладил...

Пылали тучи, вдаль уплывали,
Румянцем детским вдали мерцали!
Нависли тени — долины ждали.
Промчались тени — часы печали.
Вдаль уплывали чужие тучи...

Слепящий полдень — степная воля!
Кто там заплакал в просторах поля?

Ой, злая доля, скупая доля!
Смеется тополь среди раздоля.
Слепящий полдень — цвет васильковый. . .

1915

25—28. П А С Т Е Л И

1

Мелькнул зайчик.
Смотрит —
Светает!
Сидит, забавляется,
Ромашкам глаза раскрывает.
А на востоке небо пахнет.
Петухи черный плащ ночи
Огненными нитками шивают.
Солнце —
Мелькнул зайчик.

2

Выпил доброго вина
Железный день.
Расцветайте, луга!
. . . я иду — день —
Паситесь, отары! —
. . . к своей возлюбленной — день —
Колоситесь, колоски! —
. . . день.
Выпил доброго вина
Железный день.

3

Колыхалось флейтами
Там, где солнце зашло.
На цыпочках
Подошел вечер.

Засветил звезды,
Постлал на травах туманы
И, пальцем тихо уст коснувшись,
Лег.
Колыхалось флейтами
Там, где солнце зашло.

4

Укройте меня, укройте:
я — ночь, стара,
недужная.
Велит уснуть
мой черный путь.
Положите тут мяты,
и пусть тополя шелестят.
Укройте меня, укройте:
я — ночь, стара,
недужная.

1917

29. НА ОТВЕСНЫХ СКАЛАХ...

На отвесных скалах,
Где орлы да тучи,
Над могучим морем,
В золоте лазури, —
Ой,
Там
Расцветали грозы!
Расцветали грозы...

Из долины к небу
Протянулись руки:
— Вы пошлите, грозы,
Голубого ливня! —
Вдруг
Вниз
Пали капли крови!
Пали капли крови...

На полях, на травах
Сребро-изумрудных,
Меж хлебов янтарных,
Стройноколосистых, —
Ой,
Там,
Там шумели шумы!
Там шумели шумы. . .

Кто-то пламень теплил
Страстнопреклоненно:
— Дай, земля, нам шума,
Шума-исступленья! —
Ночь.
Плач.
Смерть шумит косою!
Смерть шумит косою. . .

Август 1917

30. РАСПАХНИТЕ ДВЕРИ. . .

Распахните двери —
Нареченной ждем!
Распахните двери —
Синева, лазуры!
Очи, сердце заблестали.
Стали,
Ждут. . .

Распахнулись двери —
Грозная ночь!
Распахнулись двери —
Все пути в крови!
Только плакать, горько плакать.
Слякоть,
Дождь. . .

1918

31—34. МАТЬ СКОРБЯЩАЯ

Памяти моей матери

1

По нивам проходила
не пашнями — межами.
Печаль пронзила сердце
колючими ножами.

Взглянула — всюду тихо.
Лишь чей-то труп среди хлеба. . .
Колосья ей спросонья:
«Возрадуйся, о Дева!»

Колосья ей спросонья:
«Побудь, побудь ты с нами!»
Склонилась Матерь божья,
заплакала слезами.

Не лунно и не звездно,
и словно не светало.
Как страшно! Наше сердце
до бездны обнищало.

2

По нивам проходила —
побеги молодые. . .
Ученики навстречу:
«Возрадуйся, Мария!

Возрадуйся, Мария:
мы ищем Иисуса.
Веди путем ближайшим
ты нас до Еммауса».

Она подьмет руки,
бескровные лилен:
«Не в Иудею путь ваш,
не в землю Галилеи.

Туда, на Украину,
и там вам в каждой хате,
быть может, и покажут
хоть тень его — распятье».

8

По нивам проходила.
Могилы всё далече,
а ветер ей навстречу:
«Воскрес Сын человечесий!»

Христос воскрес? Ужели?
Не ведаю, не знаю.
Вовек не будет рая
для нив кровавых края.

Христос воскрес, Мария!
Цветами зверобоя
из крови мы гурьбою
взошли на поле боя.

Вдали молчали села.
Земля в могилах млела,
и лишь былинка пела:
«Хоть ты б нас пожалела!»

4

По нивам проходила...
«И как погибнуть краю,
где он родился снова,
где он любил без краю?»

Взглянула — всюду тихо.
Лишь злаки трепетали:
«За что тебя убили,
за что тебя распяли?»

Не выдержала скорби,
не выдержала муки —
упала на тропинку,
крестом распявши руки! . .

Колосья всё над нею
«Ой, радуйся» — шептали.
А ангелы на небе —
не слышали, не знали.

1918

35. ВДОЛЬ ПО СТЕПИ...

Вдоль по степи голубой
вороной ветер!
Вот прильнул — назад отпрянул
вороной ветер. . .

Вышла в поле жать я хлеб.
Гром гремит, туча!
Ой, не все с войны вернулись —
вороной ветер. . .

Глянет солнце, как дитя,
а в селе голод!
Ходят матери как тени —
вороной ветер. . .

На чужбине, где-то там,
без креста, ворон. . .
Будьте прокляты с войною! —
вороной ветер. . .

1918

36. ДУМА О ТРЕХ ВЕТРАХ

На ранней весне-провесне,
Гей, на рассвете гул.

Ой, за горами за высокими,
Там за морями да за глубокими,

За дорогами непроезжими
Рано-ранёхонько Ясно Солнышко восходило.
Ясно Солнышко восходило, братьев своих,
Ветров, к себе скликало,

Оно словами к ним зывало:
«Братья мои!
Ветры мои!
Братья вы мои милые!
Вольные, быстрокрылые!
А встаньте вы на ровны ноги:
На горы, доли, перелогы, на пути-дороги
Летите-пойте,
Про меня, вашего брата старшего,
Ясна Солнышка,
Правду откройте.

Что уж я да не по-зимнему грею:
Звезда с звездой перемигнуться не успеют,
Как я пламенею».
Ветры зов услышали,
На ровные ноги вставали,
На разные стороны свои могучие
крылья расправляли.
На ранней весне-провесне,
Гей, на рассвете гул.

Как первый Ветер-ветровей,
Лукавый Снеговей,
Так про себя подумал, так помыслил:
«А не лучше ли было б,
Если б ты, братец мой, Ясно Солнышко,
да по-зимнему восходило?
Эту землю ведь только пригрей —
Хватит заботы о ней».
Вот первый Ветер — Снеговей-Морозище —
Летит, гудит, свищет,
Снегом в людей швыряет,
Насмешками обижает:
«Это вас, говорит, Солнышко
весеннее встречает».

Люди об этом услышали,
И один другому они сказали:
«Ой, не быть, видно, весне, как
в декабре грому,
Если с нами говорят по-чужому».

На ранней весне-провесне,
Гей, на рассвете гул.

Как второй Ветер-верховой,
Беззаботный Буревей,
Так про себя подумал, так помыслил:
«Пускай себе Солнышко как угодно восходит —
Хоть по-зимнему,
Хоть по-весеннему,
Мне бы только пить да гулять бы,
Свою душеньку потешать бы».
Вот второй Ветер налетает,
Дома людям разоряет,
Насмешками обижает:
«Это вас, говорит, люди, весна да воля встречают».

Люди об этом услышали,
И один другому они сказали:
«Что ж это за весна, что же это за воля —
Проклятая наша доля!»

На ранней весне-провесне,
Гей, на рассвете гул.

Как третий Ветер молодой,
Легковей-Теплокрыл удалой,
Он так про себя подумал, так помыслил:
«Спасибо, что Солнышко на весну повернуло,
А то бы земля навек охладела, заснула».
Вот третий Ветер летит, напевает,
Лаской всех по-разному окрыляет,
Каждый дом на пути окликает,
В бедны оконца пальцами постучит-поиграет:
«Вставайте, говорит, люди,
Солнце вам улыбается,
Вашего плуга земля дожидается».

Тогда-то все люди услышали,
С песнями дома оставляли,
В великой радости землю целовали.

На ранней весне-провесне,
Гей, на рассвете гул.

1917

ВЗАМЕН СОНЕТОВ И ОКТАВ

(1920)

Фрагменты

Григорию Саввичу Сковороде
посвящаю

37

Уже светает, а всё же мгла...
Морщинка на небо легла.
Как взяла ж меня печаль!

А борозды-лучи врубилась в тучи-хмары.
Слышу — фанфары!
Как взяла ж меня печаль!..

Ой, не фанфары это, трубы — канонада.
Лежи, не просыпайся, мать, не надо!..

Проклятье всем, кто опустил, зверем став!
Взамен сонетов и октав.

(1920)

38. ЛЮ

Сплю — не сплю. Творю я чью-то волю. Лю.
И вдруг неожиданно полно! Люли-лю...
Петухи (окно), разливы зеленого пива
(сквозь окно) —
всё звучит на «О».

Не понимаю. «Марсель Этьен! Марсель Этьен!» —
со стягами кричали, теперь тлеют в земле. Ты скажешь —
и я умру?

И так всю мою жизнь легато пронизало (гудок
на заводе).

Хватит! Заголубей и на мою долю. Люли-лю...

И только пташка за окном — триолями, триолями!

А как же краса? Твое бессмертие? И помнится (смешно
ведь):

«Навек с тобою!» — любимая уверяла.

И, наверное, люди лишь по духу энгармоничны. Ведь
все трагедии, драмы в сущности консонансы.

Вставайте! Новая власть вступила в город.

Глаза раскрываю («консонансы»).

На стене от солнца переплеты окна — как огнистый
дизе...

(1920)

39. АНТИСТРОФА

Еще и тогда, когда над безбрежной водой паслись
табуны ветров,

еще и тогда, когда горы затряслись, потрескалась

земля, а по жесткой, острой, как меч, траве поползли

разные чудища, —
тучи, на солнце тучи играли беззаботно.

Нежные детские формы! — утонченные очертания! — кому
они были нужны?

Дикарь, наевшись сырого мяса, долго следил за ними и
непонимающе нюхал цветок, похожий на чертополох.

(1920)

40. РИТМ

Когда идут две стройных девушки — да еще и алый мак
в косах — где-то далеко! молодые планеты!
Плывут стройные, как струны, — атомы усталости —
на свет, в свет из тьмы!
Танцуют, пыль взбивают... Солнца встают в круг.
А от них трепет по всему свету.

Две девушки.

(1920)

41. АНТИСТРОФА

Налила голодным детям молока — сама села да
и задумалась...
А по кувшину, словно из глаз незрячих, слезы
покатились.
Одна быстрее, вперед. А другая,
словно нехотя,
за нею
следом...

Две девушки.

(1920)

42. ЭВОЕ!

Творцы революции — преимущественно лирики.
Революция — это трагическая лирика,
а не драма, как судачит кое-кто.
Эвое!
За плугом идти наши потомки будут
готовиться не меньше, чем теперь готовятся
в балетной студии. И на человека, который
песни спеть не сможет, будут смотреть как
на заядлого контрреволюционера.

Всё на свете от прищуренных глаз.
Эвое!

(1920)

43. КТО СКАЖЕТ

Стал накрапывать дождь, и все асфальты —
в сыпном тифе. . .
Молодой новеллист: «Не хочу, не могу
писать я! Город угнетает, жизнь раздражает».
Я молчал. Вблизи где-то бомба. . .
«Вот бы, знаете, на село махнуть. По росе
походить, искупаться».
«Бей саботажника!» — на одном из
плакатов прочитал я.

А за нами — нищенки-старухи
простертые руки.

(1920)

44. ЭКЗАМЕН

Только что начали землю любить мы, взяли
заступы в руки, штаны подвернули. . .
«Ради бога, в манжетах будьте, что-либо
скажите им: они спрашивают, есть ли у нас
культура!»
Какие-то долговязые чужестранцы в пенсне
покуривали.
А вокруг беды — как проклятье, как бич,
а вокруг земля, затоптанная, бурая. . .

Здесь ходил Сковорода.

(1920)

45. АНТИСТРОФА

Глубочайшее, величественнейшее и вместе с тем
простейшее содержание, уместившееся в двух-
трех нотах, — это и есть настоящий гимн.

Без конкурсов и без наград напишите-ка вы
современное «Христос воскрес».

(1920)

46. ПУСТОТА

Умываюсь. Вода — словно металлофоны. Занавеска —
ветер со знаменами!

Во дворе тополя и женщины.

«Ну говорю же вам: город полностью окружен».

— «Ой, боже мой! . . .»

Захлопнулось окно. Вода в кувшине дрожит — блики
на потолке. . .

«А вот вчера рабочие на заводах. . .»

(——— выразительно слышна канонада).

Будет дождь.

(1920)

П Л У Г

(1920)

Евгению Тычине

47

Ветер.
Не ветер — буря!
Дробит, ломает, с землей вырывает...
За тучей огромною
(с молнией! с громами!),
за тучей за черною мильон мильонов
мускулистых рук...

Катит. В землю врезает
(будь то город, тропа или луг),
в землю плуг.

А на земле люди, звери, сады,
а на земле боги во храме:
«О, пройди, пройди над нами,
рассуди!»

Иные в страхе бежали
в пещеры, в трущобы: «Спаси!
Что ты за сила еси?» —
взывали.

И никто из них в радости не певал
(огненного коня ветер гнал —
огненного коня —
в нóчи).

И только их раскрытые мертвые очи
узрели всю красу нового дня!
Очи.

1919

48. СЕЙТЕ...

Сейте с напевом веселым
спелые зерна. . .
Солнце над лугом-долом —
глыбою горной!

Гудит пробудившийся улей.
Земля говорит:
«От вас лишь, от вас жажду воли —
ни лжи, ни обид!»

Будь же безумным — не зимним.
Новые взвей марсельезы!
Направо, налево мечи —
ставьте дизезы в ключи!

В медь бодро бей — будет ведро!
Верьте (не лирьте!), смелей!
Фанфарами гряньте в ночи:
дизезы, дизезы в ключи!

1919

49. И БЕЛЫЙ, И БЛОК...

И Белый, и Блок, и Есенин, и Клюев.
Россия, Россия, Россия моя!
...Стократ распинаямый Киев,
и двести растерзанный — я.

Везде уже солнце! Хваленья: «Мессия!»
Туманы, долины, болота, столбы.
Родит Украина себе Моисея —
не может так быты!

Не может же быть так — я слышу, я знаю.
Под грохот восстаний, под бури и бред
всей силою нервов тебя призываю:
«Явись же, поэт!»

Глядит черноземье в глаза неотвязно
искривленным ликом сквозь кровь и сквозь смех.
Поэт, полюбить не преступно отчизну,
но только — для всех! . .

1919

50. НА ПЛОЩАДИ

Как на площади у церкви
революция идет.
«Пусть чабан, — все закричали, —
нас на пана поведет!»

«Ну, прощайте, ждите воли, —
гей по коням! . .» — И кругом
закипело, зашумело —
только флаги за селом. . .

Как на площади у церкви
голос грустных матерей:
«Так сияй же, ясный месяц,
над путями сыновей».

Как на площади всё тихо —
сна не перевозмочь. . .
Вечер.
Ночь.

1918.

51. ОЙ, УПАЛ БОЕЦ С КОНЯ. . .

Ой, упал боец с коня
и припал к снегам.
«Слава! Слава!» — докатилось
и легло к ногам.

И поднес тогда он руку
к сердцу своему.
Зиму бы еще такую
пережить ему.

Ой, рубили мы врагов
да на всех фронтах!
Сел на грудь, закаркал ворон,
черный ворон-птах.

Грянул революционер —
зашатался свет!
Умирая в чистом поле,
всем послал привет.

1918

52. А БУДЕТ ТАК...

А будет так:

С л е п о й: «Где же небо? — я незрячий».

Г л у х о й: «А мне сдается, правду различу».

К а л е к а: «Плачу,
от боли кричу!»

А будет так:

насмешкой небо кто-то вдруг расколет,
и новым станет мир, и жизнь — весенний луг.

И всюду там, где поле, —
за плугом плуг...

1919

53. ТУТ ЖЕ, ЗА СЕЛОМ...

Тут же, за селом,
всех их расстреляли,
всех пораздевали,
насмехаться стали —
били им челом.

Волю ждали вы —
что ж теперь в том слове?
Отвели вам нови,
тополь — в изголовье,
нет лишь головы.

А в ночи, впотьмах
что-то там светило,
с пением ходило,
берегло, будило
неповинный прах.

1918

54—55. НА МОГИЛЕ ШЕВЧЕНКО

1

И, поклонившись праху,
мы шли с горы к реке.
И вновь тиран. И тюрьмы полны.
Охрипший пароход дымил
сигарой вдалеке. . .
Сон. Волны.
Вдруг кто-то высек за Днепром огонь.
В столбы дождя вошел, дождем
потряс:
«Пей, пей, земля!
Восстаньем насладись!»
. . . Загудел струнный гнев.
Задвигались деревья и пристань.
И лодки в страхе, словно кони. . .
Дуга, восстав зелено-красной, сказала всем
«здравствуй»
и стала черпать воду.
А во мне
(загудел струнный гнев):
ой, быть еще потопу,
веселью и
вину.

2

Остановились мы на «Чайке» —
Васильченко — с «Кармелюком»,
я — с «Сковородою».
Запомнилось: в реке
луна мечтала. . .

А на веранде над водою
поют и карты вокруг стола:
вишь, гости прибыли к Тарасу
от Скоропадского Павла́ —
от свинопаса!
И жаловались: «Нет добра,
а мы о нем хлопочем.
Россию нам «собрать» пора!
Павлу послужим «между прочим»,
а там...»
Луна краснела по краям.
И задремал мой спутник-друг.
«...а там не выпустим из рук!»
И вдруг заплакала вода...
И не было кого спросить:
кому ж на Украине быть?
— Кармелюк.
— Скворода.

1918

56—58. (ИЗ ЦИКЛА «СОТВОРЕНИЕ МИРА»)

1

Изначала — в пустоте истоков
лишь движенье
сил.

Изначала — вместо бога
дух над бездной. Пламененье
крыл...

И воздел огонь свои ладони:
бури взыграли,
задумался туман.

Отгремели хоры в бездонье.
И скалы встали.
Зашумел океан.

день первый

И бысть: склонился вечер.
Заснула Ева — тихо.
Стада умолкли — ночь.

Адам из кущи вышел.
Пришел и стал — пещера.
Развел огонь — кует.

И вызвездились звезды.
Проснулась Ева — тихо.
Звенит железо? — ночь.

Пришла. Зовет. — Не слышит!
Стоит Адам в раздумье.
А рядом — первый плуг.

день второй

Швырнули бедноту добычей
богатым, своре ростовщицей.
На тронах сами как царьки.

«Бог — на небе, мы тут — божки.
На фабрики, на шахты, в штольни
ступайте, голяки!»

Взгремела беднота: «Довольно!
Не звон привета колокольный,
а пулю в сердце паукам!»

Вонзим, вонзим в их грудь железо!
Всем краям —
марсельеза!»

день предпоследний

1918

59—61. ПИСЬМА ПОЭТУ

1

Эллады карта, Коцюбинский,
на полке лебедь, рыбы. . .
Ну вот и вся моя каморка, —
когда-нибудь зашли бы!

Встречать Вас буду словно друга,
я Вас так ожидала!
Ах, сколько я над Вашей книжкой
смеялась и рыдала!

Ведь всё мне снится: солнце, песни,
и Вы, и синь, и дымы, —
и вот я с Вами уж знакома,
вы мой поэт любимый.

Сегодня жду вас: дома только
цветы да я. Признаюсь,
весь вечер ожидать я буду,
надеясь и смущаясь. . .

2

Вы, может, не из наших сел,
а всё ж. . . о нет, не знаю.
Читала Вас я, но не всё,
не всё я понимаю.

Когда я в поле иль в лесу —
мне всё тогда сдается:
жизнь в книге Вашей не живет,
а тут — живет, смеется. . .

Про Вас хоть критик написал:
«О, сколько жизни, красок!»
А всё ж таки у Вас не так,
не так, как у Тараса.

Всё есть у Вас: и про народ,
и о родимом крае.
А как Вас сердцем мне понять —
я все-таки не знаю.

8

Я коммунистка, я в гимнастерке,
косы моей уж нет, —
и Вам не стыдно в наше время
красу лишь воспевать и цвет?

Вот написать Вам захотелось.
Скажите мне:
кому бы нужен — рахитичный
Ваш триолет или сонет? ..

Народу, скажете? голодным?
О, как тот жалоқ, кто сейчас
лишь триолетами питает
рабочий класс!

Прощайте же, не удивляйтесь,
не о любви пишу сейчас.
Добавлю только: всё ж Вы — сила,
увидю коммунистом вас.

1920

62—65. МАДОННА МОЯ...

1

Мадонна моя, Мария пресвятая,
славнейшая в веках!
На наших безлюдных алтарях
Лишь ветер витает...

Пройди над нами с омофором,
зарыдай над селом.
Для тебя больше мы ни песнь, ни псалом
не воспоем диким хором.

Дева греховная, жена отважная
нисходит к нам,
как пышная роза чарует она —
нагая, без одежд, неприкрашенная.

Склонись, Мадонна, у самого края
последней избы на селе.
Улыбнись и иди себе мимо полей,
пули, как пчел, отгоняя. . .

2

Уж новое имя
славят края.
(Ave, Maria,
калина моя!)

Идет и смеется:
о жизнь! цветок!
Солнце — на скрипке,
тучки — в кружок.

На бедрах, как струнах,
рука лежит.
«Девушка, здравствуй, —
кто ты, скажи?»

«Скажу — не скажу я:
всех — как твоя. . .»
(Ave, Maria,
калина моя!)

3

Мадонна моя, мать пречистая,
цветок мой голубой!
Вступает в век иной
душа чистая. . .

Пусть розу вместо лилий
целуют уста.
И всё же, как Петр от Христа,
от тебя я отречься бессилен.

В часы какие, с кем от века
помолодею — молодой?
И разве не склонюсь с мольбой
за свою любовь, за человека?

Звенит железо. Молчат бетоны.
За годами года.
Звучи же в сердце, светлая мечта,
тысячезвонно...

4

Не камень и не мраморы —
простое железо...

Нежна, отважна!
О, где ж твой хитон?

Где риза златотканая,
скорбящие глаза?
Струнная осанна,
васильковый тон.

До ночи проработаем
на поле, точно в храме.
Зрей, наливайся
хлебам в унисон.

С песней, с поцелуями
встретят нас мадонны.
Звездный... железный
над персями сон...

1920

66—69. ПСАЛОМ ЖЕЛЕЗУ

1

Клянем и ненавидим медь,
бетоны и чугуны!
Ой, что там в поле, что за гул —
татары? турки? гунны?

Выходим утром, как из нор, —
метет на всю округу! . .
И не цветы — клинки, штыки
рассыпаны по лугу. . .

Ударит — вспыхнет — загремит —
затихнет за горою,
и вот опять — гудит, шумит
над самой головою.

Копнет копытом, заревет —
и дым взметнет лиловый,
и с криком в небеса встает
псалом железу новый.

2

За океаном совесть, честь.
А право — за морями.
Хотя б вокзал взревел, будя
промышленность свистками!

В чахотке город: кашель, кровь.
На труп — вороны, галки. . .
Лишь иногда, как бы сквозь сон —
оркестры, катафалки.

И ходят слухи: генерал
сбежал на зорьке ранней.
Без боя город отдадут,
когда кругом — восстанье.

Стоит завод — не ест, не пьет,
заплесневел, суровый. . .
И молча в небеса встает
псалом железу новый.

8

Прошел как сон блаженный час
и готик, и барокко.
Идет чугунный Ренессанс,
спокойно щурит око.

Нам всё едино: бог ли, черт,
ведь оба — генералы!
Соборы брови подняли,
и наутек — кварталы.

Над городом и стон и крик,
как из перины — перья. . .
Зеленое умчалось вдаль
в испуге повечерье.

Что там горит: архив, музей? —
подбавь щепы сосновой!
С проклятьем в небеса встает
псалом железу новый.

4

Нам власть на черта? Был бы хлеб,
насытить голод старый!
А там с повстанцами поют,
шагают коммунары.

Постой, товарищ, подожди,
еще мы попируем,
когда поможете вы нам
расправиться с буржуем!

Идут, идут, сомкнув ряды,
рабочие предместий.
Над ними ленты и цветы,
как будто на невесте.

Воркует солнце голубком
над кровлею тесовой. . .
Багряно в небеса встает
псалом железу новый.

1920

70—71. Р О Н Д Е Л И

1

Иду с работы я, с завода,
манифестацию встречать.
«Свобода!» — улицы кричат,
и вновь: «Да здравствует свобода!»

Смеется солнце с небосвода,
и облака, что кони, мчат...
Иду с работы я, с завода,
манифестацию встречать.

Моя весна, моя природа,
лучи в моей груди звучат...
Нам мир дано трудом венчать,
чтоб в вечной дружбе шли народы.
Иду с работы я, с завода.

2

Мобилизуются на круче
под хмурым ветром тополя...
Планету надвое деля,
к свободе мы зовем могуче.

Зовем к свободе! Прочь плакучих!
Они скулят, судьбу моля.
Мобилизуются на круче
под хмурым ветром тополя...

Наш смелый зов развеет тучи,
и нам откликнется земля:
заводы, пастбища, поля.
Вон тополя под вихрь летучий
мобилизуются на круче...

1920

72. Я ЗНАЮ...

Я знаю: вас прочтут и проклянут
певцы из голытьбы — за то, что взлета
вы не признали, возлюбив болото,
и не пошли туда, где вольный люд.

И спросят вас, призвав на правый суд:
«Вы прославляли *лень*, а где ж *работа*?
Зачем плоты пускали вместо флота,
страшась того, что Сутью все зовут?»

Так хватит спать! Вставайте и — в дорогу!
Гимн Человеку пойте, а не богу!
Грядущему — все звуки ваших лир!

Пусть прямо солнцу в очи смотрит каждый!
От «гениев» бездарных стонет мир, —
горите ж! Всё равно не жить вам дважды!

1919

73. ТОМУ — ЛЮБОВЬ, ДРУГОМУ — МИСТИКА...

Тому — любовь, другому — мистика,
а третьему — орлов страна.
И вот — пустому гимназисту
родная муза отдана.

И вот — безвольно пишут копии
с жеманных русских поэтесс.
К утопии бредут с утопией
и путь такой зовут: «Sagesse».¹

А наша муза настоящая,
на фронте брошена впотьмах,
заплеванная и пропащая,
на украинских спит шляхах.

¹ «Мудрость» (франц.). — Ред.

К чему ж вопим, слепцы бессильные:
«Кто гримирован, тот — поэт»,
окурки подбираем пыльные
и пялим на себя корсет?

Ужель устала наша нация
и недалеко до конца,
что правит нами профанация
и нет ни одного певца?

И нет в поэзии движения,
чтоб нам проснуться! Тишина.
Одни предтечи онемения,
и лишь растерянность одна.

1919

74. ПЛОСКИМ ПРОРОКАМ

Вам, казенные поэты, официантики,
вам — гнев моих горьких слов.
Не творите дешевой романтики
из алой крови бойцов!

Упивайтесь винами, славой, милыми,
зовитесь жрецами красы,
но не плачьте, не войте вы над могилами,
как псы.

Дрянная эстетика, грация
для вас даже там, где гробы.
Что вам народов федерация,
продажные скальды, рабы?

Что братство — лишь бы эротикой пахло вам!
Замолчите! От могил — назад!
Революции от вас, как от фитилечка чахлого —
лишь копоть и чад...

1920

В Е Т Е Р С У К Р А И Н Ы

(1924)

75. ВЕТЕР С УКРАИНЫ

Я никого так не люблю,
как ветра дуновенье.

Чертов ветер! Проклятый ветер!

Он замахнется раз —
рев! свист! круженье!
и в роще прошлогодний лист —
как дьявольское семя. . .

А то упрется в топкий чернозем,
поддаст вагонам воли —
ух как летят они по рельсам,
аж гнутся тополя над полем! . .

Чертов ветер! Проклятый ветер!

Сидит в Бенгалии Рабиндранат:
нет в нас бунтарства — человек из глины.
. . . Хохочет ветер с Украины,
ветер с Украины!

А Запад свой уставил взгляд:
чей там поход? людской? звериный?
. . . Хохочет ветер с Украины,
ветер с Украины!

Чертов ветер! Проклятый ветер!

Он голову вздымает из Днепра:
не ждать панам добра —
к чему игра!

Ах,
я никого так не люблю,
как ветра дуновенье,
его пути, его стремленья
и землю,
землю свою.

1923

76. ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Лиде Папарук

Снег. Снежок.
На княжий теремок.
День и ночь вокруг всё ходит,
плачет голосок:
 «Где ты, князь мой, где ты?
 то ли за Дунаем?
 то ли на Дону?
 Дай скорее весточку —
 иль умру».

Вслушивается княгиня — только снег,
только снег да снежок,
да за полем, да за лесом
голос-голосок:
 «Батька — война!
 Мать не жива!
 Кто же вспашет, кто засеет?
 А-а!»

Ой, пустыня-поле!

А княгиня вновь:
 «Послужи ты мне, ветрило,
 ветер-чернобров!

Князь мой отступает
с горсточкой княжат —
отгоняй от друга стрелы,
отсылай назад».

Снова слушает княгиня — ветра нет как нет,
только лед, только снег,
да за полем, да за лесом
голоса в ответ:

«Мы тебе отгоним!
Мы тебе пошлем!
Будешь ты лежать, как князь твой, —
валуном. . .»

Ой, пустыня-горе!

«Днепр, о Днепр мой, сон мой, дрема,
наш отец родной.

Встань хоть ты на место князя,
встань за нас горой.

Воскреси нам царство наше,
мудрый дай закон:
чтоб одни хранили землю,
а другие — трон».

Долго слушает княгиня — только смех,
только чей-то там смех.

Да шумит, шумит шумище
из-под хат, из-под стрех.

Может, князь домой вернулся?

С ним дружина пришла?

Долго слушает княгиня — звон мечей в небеса,
да всё ближе голоса:

«Мы тебе воскреснем!»

Ой, пустыня-пустошь!

1923

77. ДИВНЫЙ ФЛОТ

Дивный флот в лучах сияет,
гимном небо потрясает,
по небу крылит.
Возвращаются титаны
из чужой земли.
Из чужой земли-летаны,
там, где короли.

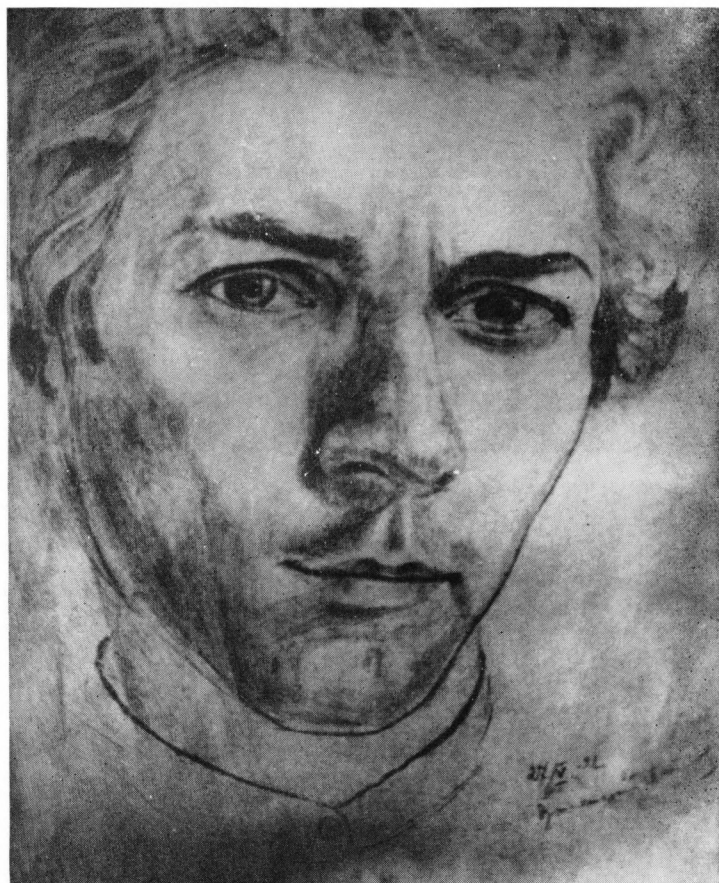
Даль — далекая летана,
ты убила злого пана,
не убила тех,
у кого железо в жилах,
у кого для всех
радость песни яснокрылой
и правдивый смех.

Что шумит-звонит верхами?
Пылью кто пылит шляхами
на заре глухой?
То цари, как прах гонимы,
мечутся толпой,
пролетарии над ними
в славе боевой.

Над горами и над степью
разлетелись грозной цепью,
реет дружный хор.
Вы не прячьтесь, паны-лисы, —
вытянем из нор!
Бьют из тучи, мечут искры,
лишь шумит мотор...

Дивный флот в лучах сияет,
гимном небо потрясает,
по небу крылит.
Возвращаются титаны
из чужой земли.
Из чужой земли-летаны,
там, где короли.





Их внизу встречают Лады,
полнолетью власти рады,
песня их звенит.
Как жена стройна, лучиста,
нива хлеб зернит.
Усом за море повисла,
свисла и шумит.

1923

78. ПОДХОДИТ ЛЕТО

Подходит лето —
слышишь ли? — подходит лето.
Млеет лес. Река звонка.
В садах повсюду цвет, повсюду цвет...
Плотнеет небо. Дни уже не те.
Полнее даль полей. И за сараями
малина вся в седых ресницах...
Полнее даль полей.

Дед на завалинке. Он стар —
как сон.
Ему ерошит брови внук.
Качает ветер мак, и яворы и мак.
Сын, в землю заступ свой воткнув,
подходит к хате. Как тепло!
Через неделю и хлеба
начнут, пожалуй, поспевать.

Вот пережили войны с их бедой,
земли добились молодой
и поделили. Еще б остатки
доделить — тогда совсем уж.
Тихо. Лишь на лугу и звяк, и стук.
Проехали по улице, и — тихо.
Через неделю и хлеба
начнут, пожалуй, поспевать.

По селам электричество зажгли.
Пора б и нам? Неторопливо
качает головою дед.

Скрипит за хатою колодец.
Вслед
дрожит журавль, вот-вот он упадет.
Артезианский будем рыть — не пропадем!
Качает головою дед.
А за селом резвун-пилот
взлет крыльев весело ведет.

Мать молодая, улыбаясь,
идет из хаты: «Где мой сын?»
Ребенок ручками, ребенок ножками — какой!
Наверно, будет комсомолец — да?
И вот ребенок на руках.
Забыл он деда, всех и всё,
закрыв глаза и грудь сосет...

Подходит лето.

1924

79. КОЖЕМЯКА

Кожи Никита мял —
пришли к нему люди,
пришли в слезах к нему люди:
«Ой, горе, Никита, если б ты знал,
горе, если б ты знал!

Король-змей
город обступил —
ну что ты ему скажешь?
„Помилую, когда крови напьюсь“, —
ну что ты ему скажешь?»

Нашел на Никиту пыл —
ничего не открыл,
двенадцать кож под его руками —
тресь! тресь!

Пришли к нему снова:
у каждого нос отрезан,

у каждого уши отрезаны
и у каждого губы.
И толпой загнусавили так:
«Ой, горе, Никита, если б ты знал,
горе, если б ты знал!»

Нашла на Никиту жалость —
дурнями их обозвал:
«Вот уж дурни так дурни,
и когда они переведутся!»

Пришли к нему в третий раз,
и каждый перед собою вел:
жену без головы,
сына без головы,
и так страшно, смешно так ступали их ноги —
будто живые. . .

Тут Никита вскочил:
«Безголовые все вы!
Что с того, что я вам помогу?
Трижды вы приходили, трижды всё те же —
как все вы бестолковы!
Где
ваши
богатеи?»

«А!» — прозвучало. И стало молчанье.
Раскрылись глаза — и стало молчанье.
«Почему уши у них не отрезаны?
Почему их сыны не порублены?»

«А!» — разорвалось. И стало молчанье.
Раскрылись глаза, и все догадались
(лилась кровь из мертвых). . .

Положили мертвых отдельно.
Живые стали отдельно.
Ударили на богатея!
Никита — на короля!

И закипела земля. . .

1924

80. ТРИ СЫНА

Приехали к матери да три сына,
три сына родные, друг другу чужие.

Один за бедных,
другой за богатых,
а третьего силы избыток томит —
просто бандит.

«Родная, — молвит старший, светлоокий, —
какой весь свет широкий!
Нужда не только дома у дверей,
не только мы тут с горем, —
народ страдает и за морем,
езде проклятый богатей».

«Маманя, — молвит средний, темноокий, —
на что нам думать про свет далекий,
всего в достатке нам дает земля:
есть хлеб, есть уголь, конопля.
Так пусть висит в петле той конопляной
пришелец чуждый, окаянный».

«Старуха, — молвит младший, низкобровый, —
ты выгони обоих их из хаты,
пускай не злят меня, не беспокоят.
Кулак здоровый —
вот счастье, братство и разгулье воли:
богатый иль бедняк — не всё равно ли».

У первого сабля блеснула!
У второго сверкнула,
и третий — за клинок. . .
«Ой, сын мой, милый мой сынок!»
Лежит бандит убитый.
А двое братьев дальше бьются —
никак их не разнять.

1923

81. ХОДИТ ФАУСТ...

Ходит Фауст по Европе
в сплетнях, басенках, смешках —
вот молитвенник в руках, —
ищет вылазок, путей,
а навстречу — Прометей.

«Здравствуй, здравствуй! Всѣ бунтуешь?
Ну, за это не хвалю.
Я бесчинства не люблю.
Или думаешь восстаньем
осчастливить бедный люд?»

Я все тайны неба знаю,
всех философов читаю,
все итоги подсчитаю
жизни, счастья и нужды —
ну, а ты? что сделал ты?

Я ношу в душе вериги,
знаю тайны всех религий,
не бунтую — только книги
всѣ пишу, пишу, пишу —
ну, а ты, а ты, что ты?

Хочешь строить мир свободный?
Почему ж ты безработный?»
— «Потому что ты не Фауст!
Самозванец! Лежебок!
Как возьму я молоток!»

«А! бунтуешь? Вижу, вижу.
Я не Фауст? Так и знал.
Разойдемся-ка! Прощай!»
Бродит Фауст по Европе,
и молитвенник в руках.

1923

82. ОТВЕТ ЗЕМЛЯКАМ

Как Дант в глубинах ада,
стою среди бандитов и злодеев,
среди пузатых, сытых и продажных,
среди мелких, мстительных и тулоумных,
на куче гноя желчного, что всасывает и влечет
на дно:
поэт, пой вместе с нами в тон!

Стою — скалой неколебимой.

А вокруг меня гнездятся
в грязи, в болоте, как гадюки,
клубком сплетаются и падают,
и грязь им глотку заливает. . .
И они,
как пьяные, бормочут,
руки ко мне простирают, хватают за одежду.
О, будьте прокляты вы все — я вас не знаю!
Не прикасайтесь, не рычите!
«Своя трясина, — вы твердили, —
вот двери в рай»,
а втайне думали: «Пускай,
лишь дайте подрасти,
еще покажем мы себя!
Пойдут поэты с нами и народы.
Не будет свар, не будет зла,
когда взамен кровавых стягов
увидит каждый над собою
знакомого клювастого орла. . .»
Пошли. Загрузли. Растерялись.
В погромах захлебнулись. Упились. . .
О, будьте прокляты еще раз!
Души моей не подкупить вам
ни лавровыми венками,
ни золотом, ни хлебом, ни орлом.

Стою — скалой неколебимой.

1922

83. ЗА ВСЕХ СКАЖУ...

За всех скажу, за всех переболею,
мне каждый час — на исповедь, на суд.
Глубинами души не обмелею,
вершинами раскрыленно расту.

Еще вовек так сердце не мужало!
Не раскалялся так мой дух в огне!
О, ясный дух, без яда и без жала —
ты был в мечтах. Уж новый день ко мне

пришел, всего наполнил, — я вдыхаю
здоровье мудрое. Увидел цель.
Я не мечтаю, глаз не закрываю —
ирония и гордость на лице,
ирония...

Эх вы люди, какое мне дело,
я поэт рядовой иль избранник?
Надевайте короны себе,
отверзайте уста...

Эх вы люди, какое мне дело,
я предтеча ли поздний иль ранний?
Что ж, играйте в пророков пока —
отверзайте уста...

Там, за мною, за мною, за мною,
столько их из родных деревень!
А навстречу железной стопою —
наступающий день.

Там, за мною, за мною, за мною,
столько их от серпа, от станков.
Предо мною счастливое море,
море голов...

Да зачем мне идти вместе с вами?
Да зачем озираться на вас,
если солнцем пронизан мой разум,
солнцем — уста?..

Я дорос, моя сила дозрела,
я увидел далекий рассвет.
Ну, скажите, какое мне дело,
первый я или нет?

1922

84. ВЕЛИКИМ ЛЖЕЦАМ

(Отповедь кое-кому)

«О, как гармонию, гармонию мы любим!
Мы видеть мир хотим прозрачным, а не грубым.
Для нас вся жизнь — лишь звук, лишь сонный,
и в ней рабочий класс — как вечный диссонанс,
тонный транс,

Мы видим там покой, где всё борьба да буря;
красу — в небытии и правду — в каламбуре.
Бренчим в свои сердца и плачем над судьбой,
над тем, что всё есть тлен и крови дым дурной».

Так как же нам ломать решетки и палаты,
когда певцы у нас лишь евнухи, кастраты?
И цепи — знаменье. Решетки — лишь аккорд.
Сиянье от осла. И мир от львиных морд.

Гармония живет не только там, где блики.
Гармонию найдешь и там, где Лжец Великий.
Но только лжец умрет, а правда будет жить,
в одном аккорде: всем трудящимся служить!

1922

85. ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ПУШКИНУ В ОДЕССЕ

Здорово, Пушкин мой, земли оргán могучий!
И ты, морская глубь, и грозные тучи!
Я тут у вас в гостях и с вами всей душой.
Не гневайтесь за смех: еще я молодой.

Заплеванный бульвар. И лужа портовая.
К ней Пушкин в грязь плывет, по цоколь утопая.
Куда ж ты, погоди! Ответа он не дал.
Внизу сирены рев и моря бурный вал.

Любезные сыны «признательной» России
поставили его. . . лопатками к стихии.
Стой боком к людям и к шумливым площадям;
господь стихи простит и ливень эпиграмм. . .

Ах, море и поэт! Да кто ж вас не боится!
Свободы ярый гнев вовеки не смирится!
Поэт всегда был прям, скончался же — так вот
к свободе боком стой, чтоб не узнал народ.

1920

86. СЛАВНАЯ ТАКАЯ, МИЛАЯ ОСЕНЬ...

(в голодный год)

Славная такая,
милая
осень.

Матери осень кушать несет:
в фартучке — грушек,
в горсточке — каши,
хлебца за пазухой,
в горшочке — борщу.

Славная такая,
милая
осень.

На поле выйдет, окликнет мать:
«Мама, что ж вы спите?»
Мать очнется: «Дочка?»
— «По лесу бежала,
дуб схватил за платье,
у меня хотел он
борщик отнять!»

Славная такая,
милая
осень.

«Мама, а что ж не кушаете вы?»
Мать каким-то быстрым
взглядом скользнула,
слабым стало тело,
повисла рука...

Славная такая,
милая
осень.

«Мама, а что ж не кушаете вы?»

1921

87. ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

...Девочка с крылечка:
«Вы, цып-цып-цып мои!..»
Собака на цепи.
Какой-то шум в степи.

А мать забыла гряды —
какой-то шум в степи.
«Ой, свет мой, это буря!»
Грохочет гром в степи.

«Нет, мама, я читала:
воздушный это флот».
Но мать дрожит от страха,
и скот в хлеву ревет...

И небо в сотни линий
расчерчено кругом,
а гром всё улетает,
всё улетает гром —

— тает гром.

1924

88. МЫ ГОВОРИМ...

Мы говорим — восходит солнце!

А это

на зорьке
маленькая девочка, Красная Шапочка,
встает, встает...
Умылась или нет —
корзинку — и в лес голубой!

А в лесу душно!..

На дождь

тучи, как собаки:

то за ухом почешутся,

а то зубами клац и клац!

В лесу так душно, а тут еще волк
(месяц).

«Куда идешь?»

— «С востока — и на запад!

Ведь там мои живут,

красношапочки ждут не дождутся».

«А что, если я тебя съем?» — «Ну что ж!»

Красная Шапочка за нож!

Попала ловко волку в головку,

а сама поскорее туда,

где ждут ее, ждут не дождутся.

Мы говорим: заходит солнце.

1922

89. LA BELLA FORNARINA¹

Гулял над Тибром Рафаэль
в июне ли, в июле.

«О синь, о сон лелею ли,
лю-лю, люблю, люблю ли».

¹ Прекрасная Форнарина (итал.). — *Ред.*

Забилось сердце. Слушать стал:
она поет в печали!
«Люблю иль нет, скажи мне, чей
челнок волна качает».

Всё ближе с песней. Вот она
в сиянье голубином.
«О кто ты, девушка, скажи!»
(несмело): «Форнарина».

И замолчала. Рафаэль
коснулся рук влюбленно.
Заплакала. А он, обняв:
«Мадонна!»

1921

90. ПОВСТАНЦЫ

(Отрывок)

«Ну, переждали? — и гайда! Пора собираться в дорогу!
Где-то там ждет Конецпольский, и нам-то, сказать,
не сидится. —

Крик атамана разнесся: — По коням, казаки, по коням!»
Крик его лес пробудил и пошел от телеги к телеге;
брызнув росой дождевой, далеко где-то громом скатился.
Двинулись, вышли повстанцы — аж лес зашумел 0
по вершинам.

Кто впереди это едет, не едет — летит, словно сокол?
Выбранный вновь атаман на коне вороном, быстроногом.
Сколько повстанцев за ним! И туда и сюда растянулись,
движутся строем сплошным, оглянуться — и краю
не видно:
один за другим — все верхами — и песни поют-распевают.
Только обоз далеко по дороге змеей изогнулся.

То поднялась голытьба за свободу, за правду, за землю.
Стали паны по квартирам — и нет от них людям проходу.
Будет страдать Украина, пока голытьба не поможет,
даст она трепку панам, расквартирит — пошлет их
на небо!

Эх и тряхнет, как потрянул их Трясило во Корсуне-
градс!

Едут повстанцы, смеются, туда и сюда растянулись,
один за другим — все верхами — и песни поют-распевают.
Вдруг атаман приподнялся: виднеется что-то над
шляхом.

Что-то растет в отдаленье, как мак полевой, колыхаясь.
«Братья! — сказал атаман. — Мы грозу переждали
в дуброве,
спрячемте трубки — да встретим грозу еще в поле
открытом.

Вы заходите им сбоку. А вы отойдите в ту балку.
Мы укрепимся вот здесь. Да телеги пусть ближе
подъедут».

Как он сказал, так и вышло, а мак всё цветет,
приближаясь,
мак приближается, ширясь, и топот копыт нарастает...
Стали. Окутали дымом — и целятся вновь по обозу.

Выстрелил сам атаман тут — и лях на коне зашатался.
Гостинец послали все вместе — за ним еще двое упало.
Ой как приступят тут ляхи, как кинутся в битву, что
звери, —
света не видно! Как будто вот-вот всё сметут,
опрокинут.

Только не спали повстанцы, зашли они сбоку внезапно,
сразу ударили те, кто в овраге таился глубоко.
«Ну-ка, держитесь, паны, забывайте обратно дорогу!»

Туча на тучу пошла, будто солнце с утра не всходило.
Тут уж и ружья замолкли: схватились рубиться,
бороться.

Горлом хрипела земля, запеклась она черною кровью.
Только всё звякают сабли, глаза всё по-волчьи
сверкают.

Вывется крик или ржанье — и снова всё в шуме
сольется.

Долго борьба продолжалась — и вот уже всех порубили.
Выпали сабли из рук. И сказал атаман: «Может,
хватит?»

Молча сходились и, вытерев сабли, все тяжело дышали.
Тихо вповалку лежало кругом многоцветное поле.

«Хватит! Как будто неплохо. Сложили на отдых
лютое панство. Не встанет. Вовек. А своих скороните»:
бесславный

Сделали так, как сказал он. Высокий курган среди поля
тут же насыпали, братьев навеки своих схоронили.
Двинулись, вышли повстанцы — виднелся курган
издалека.
Вечер над ним неутешный. Облако цвета китайки.

1924

91—100. ЖИВЕМ, РАБОТАЕМ КОММУНОЙ

1

Живем, работаем коммуной. Между горами — монастырь.
Кругом леса, а перед нами течет сам Днепр. Чудной
такой — и не узнаешь сразу. Всё спит и спит, всё думу
думает, и нет конца той думе. Живем, работаем коммуной.
Чуть рассветет — с лопатами идем на огороды.
Нас чернецы сторонятся и, истово крестясь, плюют
направо и налево. Крикливый гонг нас к завтраку
поκληчет. Навстречу солнце льет свой гимн. . . Смеемся,
верим и горим! И только Днепр насупится угрюмой. Всё
думу думает, и нет конца той думе.

2

На капусте желтый рой бабочек, а на Днепре — белый.
Ветрила дышат полной грудью, весла брызжут, светлеют
стежки за челнами — и песня по воде плывет: «Ой, скорей,
скорей, гусыньки, к пруду».

На капусте желтый рой бабочек, а на Днепре —
белый.

В челнах всё лес, лес — где чурбаки, где бревна.

Проглотит город с голоду и все-таки обмерзнет.

Тогда хотя б рабочим людям дайте! Бандиты смеются:

«Всем дадим! Пойдем зимою в атаманы — так хватит вам и на кресты!»

О нет! Не будет этого! Нет, нет!

«Ой, скорей, скорей, гусыньки, к пруду».

8

Фаланги снятся нам в ночи, хозяйства. А днем, случается, и кровь. Село натравлено — пришлось обороняться. Что ж, с кровью свыклись мы давно, хоть не возводим ее в канон. В ночи фаланги снятся нам, хозяйства.

Раненый: «Вы отняли у нас то благо, что не вернуть вовек. Вы бога сбросили, ограбили и землю — мое проклятье вам!»

За ним ходили долго мы, учили чтению и письму, от глаз отдернули завесу. И вот теперь он наш. Выходит в поле с нами он, в театре духом зреет, и знает, что не во всяких жилах кровь красна. Что ж, с кровью свыклись мы давно, хоть не возводим ее в канон.

4

Еще сердца у нас глухие. В них музыки недостает. И каждый свою лишь хату знает, и держится в сторонке. Хоть общие заботы в артель зовут любого. О, знаем, знаем мы, как трудно выйти на тропу! Пусть незлобивы христиане грехи в пещерах искупают — мы строим то, что строим, и новый мир — он будет наш! Пусть живоглот на всенародное пасть разевает, пусть подстрекает города и манит села за собою — мы строим то, что строим, и новый мир — он будет наш! О, знаем, знаем мы, как трудно выйти на тропу! Когда же на тропу ты выйдешь, Украина? И ты, мой Днепр, когда проснешься, когда встряхнешься, инвалид упрямый?

Ты поседел, мой Днепр. Широкий — обмелел. О, где ж твой дух? Где твой задор и сила? Сверкают лысынами берега: «Потеку, побегу по гладенькому дну, чудо-царства найду». Жаждешь мира, покоя? Но под чьею рукою? Ты поседел, мой Днепр. Широкий — обмелел! По-над тобою тучи — армии туч. Шальные ветры шашками кромсают ширь, кричат: «Кто не с нами, срежем, срубим на скаку!» А ты: «Я к порогам теку». Хочешь мира, покоя? Но под чьею рукою? Слушай, есть у нас уже рука — силы бесподобной! И море ждет, и море глаз не сводит. Все, все идите, все. . .

Хочешь, Днепр мой, я почитаю тебе? Бурлила порой Украина!.. От края до края, с Днепра до Дуная, туда аж до моря и до Стародуба — заносчивый пан оставался без чуба. (Багрянец — солнца — в бескрайних — степях. . .)

Хочешь, Днепр мой, я почитаю тебе? И шляхта теснилась у пап, королей, и панство державу себе воздвигало. Ой, сколько там встало! Ой, сколько легло. . . Бурлила порой Украина. А Днепр усмехнулся: читай — не читай. . . Багрянец — солнца — в бескрайних — степях.

Дохнуло с севера и с юга, с запада, с востока. Куда бежать? Где укрыться от ветра? Взвилась столбы песка, жгутами поднялись над кручей. Перед бурей неминучей Днепр, как медведь, встает. Одною лапою на берег хлюп! другою — под водою. . .

Вставай, старик, вставай, давно уж встали и Дон, и Волга, да и Днестр, и на твоих же берегах уклад установили новый. Дохнуло с севера и с юга, с запада, с востока.

А ну все за руки, гей, гей!
Взвилась столбы песка, жгутами поднялись над кручей. . .

Там распогодилось, а тут еще завеса. Блеснет — и на чугуном уронит, и с долгим гулом в бездну проскользнет. (Дождь идет...)
 Когда б еще, когда бы чаще! Пусть бурею пройдет весь край! Там распогодилось, а тут еще завеса.
 Вытряхивали деды трубки, а вы сгребаете в пирамиды.
 Дохни, могучий, разнеси, развей, чтоб и вовеки не собрали! Блеснет — по чугуно покатит и с долгим гулом в бездну проскользнет.
 Дождь идет... .

А иногда — что твой джентльмен. Весь в синем, белоснежных берегах — чулках. «Я на конгресс, я на конгресс». И думает, что он бежит, и верит, что делом занимается. Сам в синем, в белоснежных берегах — чулках.

«О, смилуйся! — кричат ему с прибрежий нивы. — Пошли туманов нам! Ведь тучи все над панскими лесами». — «Я на конгресс, я на конгресс, — бросает равнодушно Днепр. — Я всех вас, право, выручу, лишь дайте мне покоя!»
 И вдруг в обратный путь он мчится. Взбивает пену и ложится, как встарь уже лежал.
 А иногда он как джентльмен.¹

Живем, работаем коммуной. Кругом леса, глухие села, где люди, как терновник, дики. Ах, сколько радости, когда ты любишь землю, когда гармония во всем тебе нужна. Ведь всяк из нас возводит человечеству дворец,
 и каждый

¹ Здесь высмеивается Центральная рада.

провозвестник. Ах, сколько радости, когда ты любишь землю. Нет у нее ни ангелов, ни бога и ни семи небес. А есть лишь гордость, и горенье, и труд совместный, и хвала.

Ну что с того, что кровь течет по свету? Придут иные поколения — слиянье тел и душ.

Мы строим то, что строим, и новый мир — он будет наш!

1920

Межгорье

101—105. УЛИЦА КУЗНЕЧНАЯ

1

ЗАПАД I

Иду вперед.

Закат за мною где-то.

Он бледно-желтую на села головню

швырнул —

ждет. . .

И чад, и дым,

и над кладбищем воронье кружится.

Иду вперед.

Туда, где рельсы параллелятся без края,

где сонный сумрак грустно гаснет

и паутинится взгляд вечера последний

на окнах сверкающих, на башнях, на церквах.

Бельма сизых луж

багряных тополей верхушки отразили

и жмурятся под резким ветром.

А ветер пыль несет, афиши обрывает

и на базарах вывески трясет,

как обывателя бандит. . .

Город вот-вот заснет, замрет, навеки онемееет —
без хлеба, без воды, без ласки друга.

Труп повезли.

Мешки на спину взяли тротуары и разошлись.

И вмиг передо мною

всё хмурым блеском ожило.

Вскипела кровь, и на заборы брызнул мозг.

И тень моя, как тень титана,
легла вдоль улицы куда-то...
И стало страшно, точно на пожаре!
Проклятый! Это ты расцвел так сладко,
что всюду здесь лишь трупы, трупы, кровь!
Иль напоследок ты играешь?

Закат за мною где-то...

1921

2

ЗАПАД II

Не стерплю я, оглянусь —
вижу: запад как вулкан!
Оттого что там Барбюс,
оттого что там Роллан.

Оглянусь я: вся земля —
океан в огне, в бою!
Оттого что там, как я,
тень отбросили свою.

Тень простерлась на восход,
я ж расту, встаю,
сильным руку подаю
через нацию и род.

Через все преграды стен
я увидел вас.
О, благословен
час!

1921

8

СЛАБЕЕТ СОЛНЦЕ...

Слабееет солнце. Догораеет
на крышах яркий фиолет.
И луч последний, как стилет,

поранил клен. Белье снимает
с веревки женщина. Шался,
не в силах задержать порыв,
вихрь запылит под свой мотив
ей розовые ноги, шею. . .
Совсем Эллада! Ветер с моря
вздул пазуху. . . О, синь очей!
Вдруг перебранка. «Тащишь? С горя?»
Вцепились в косы. Став темней,
и ежится и жухнет клен.
Шумит, играет детвора,
и, верный патриот двора,
собака с нею. Вот и дню
конец. Невнятный гул возник.
Уже во всем сквозят морозы,
и иступленно паровозы
зовут кого-то каждый миг.
Движенья! Страсти жажду я!
Борьба пусть беспощадной будет!
Лишь этим обновятся люди
и вся основа бытия!

1920

4

ПАСХА

Иду я по Кузнечной. Солнце
еще едва-едва — как тень —
мазком. И тополь стал багряным. . .
Час разговенья, очень рано,
на всем такая лень!

Ледок. Грачи охрипли за ночь,
обсели воробьи плетень,
воркуют голуби гортанно. . .
Час разговенья, очень рано,
на всем такая лень!

А мне всё слышен шум,
и сила прибывает.

Чей это флот
с незавоеванных высот
всё шибче скорость набирает?

Откуда звон?
Откуда в грудь мою вошло волнение?
Не Пасха и не Рождество —
но обновленья торжество
и радостное приближенье.

Когда настанет, подойдет —
то многие из нас ослепнут.
Такой там свет
и мысли цвет,
что многие из нас ослепнут.

Не то чтоб были мы стары,
а просто поневоле
не в силах веры мы понять,
не в силах мы язычества принять
в такой огромной доле.

В сине-зеленом небе солнце
слепящим вспыхнуло огнем.
Уж день, а мы еще в соборах,
а после будем разговляться в норах
и все на старый лад поем.

Уж день кругом!

1921

5

ПЕРВОЕ МАЯ НА ПАСХУ

В день пасхальный дождь
тротуаром шел —
шелковой муравой
зеленела земля.

То Христос воскрес
мертвых воскресить —

тихо-туго ветер
кленоклонил день.

Как тут — раз! раз! —
врезался оркестр:
не Христос воскрес,
а рабочий класс.

Как тут — раз! раз! —
вот поход рабочих —
чей же багрянее
праздник, чем тот май?

Загремел, запел,
топотом пошел —
шелковую мураву
кленоклонил день.

1921

106—107. Х А Р Ь К О В

1

Харьков, Харьков, что в твоём обличье?
и твой клич — кому?
Увяз в междуречьях, как в глине,
канув во тьму.

Увяз ты так: меж холмами
на точке — топ-топ — на одной.
И вдруг ты прорвался мостами
и сразу — степной!

И вот тебе ветер да ветер —
раздолье, отгул и разгон! ..
Эх! чертова сына!
и где на тебя угомон!

И здесь уже (забрезжит свет едва) —
что перед этим центра гуд! —
гудишь, гудишь — аккордом даль прсрвав —
пока рабочие придут.

Гудишь, а чуть, а чуть угаснешь —
так долго отгул и отзвон. . .
И кажется: кто-то в Донбассе
тебе откликается в тон.

Заречья начнут перекличку:
топор раззвенится с пилой. . .
Вот здесь твое, Харьков, обличье,
здесь центр твой.

1923

2

Двигутся улицы, стучит в темноте тротуар.
Снег — как пар. Мартовский дождик — как пар.
И только вверху циферблат горит над тобою,
над твоею, над нашею головою.

Двигутся улицы, перебегают провалы трамвай.
Край мой степной! Ой и дикий же край!
И только вверху горит над тобою,
над твоею, над нашею головою.

Край мой степной! Как ветер дик и жесток!
Лишь ударит — телефонные струны рвет, крутит
в пучок.

И только долго шумит над тобою,
над твоею, над нашею головою.

Над твоею весною и ветер и сумрака бред!
Тут проскочишь — и выхода нет.
Там станешь — и вправду в столице:
всюду крыши аулятся, движутся улицы. . .

Двигутся улицы, стучит в темноте тротуар.
Снег — как пар. Мартовский дождик — как пар.
И только вверху циферблат горит над тобою,
над твоею, над нашею головою.

1923

108. ШУМИ, ЭПОХА НАША

(Фуга)

Иду по кладбищу.
И лето за полным столом,
и день с открытым воротом,
а что-то в природе всхлипывает.

Колыхайтесь, террасы листвы, —
сегодня такая в вас боль! . .

Ветер, ветер, ветер —
терзает липы, клены,
на тучах чахнет солнце, —
опять осенний ветер.

И лето за полным столом,
а в листве уже желчь.
Желтеет.
Спать.
То тут, то там —
по кладбищу всему.
Прекрасный сон! Террасами сон!
Но где в нем смысл? Какая цель?
Кому там? что там снится?
А-й! Ae!

А может, мертвым всё это лишь кажется?
И кровь?
И жар борьбы?
О, если б речь хоть раз услышать,
которой верит мир иной!
Нет, мир иной не отвечает.
Лишь отклик. иногда. .
неясный. . . долетает —
а-е. . . а-е. . .

От страха вскрикнет ветер,
наклонит туго клены,
на тучах чахнет солнце, —
опять осенний ветер.

Дугами холмы легли.
Выпучатся могилы, как поросята,

а над ними
кресты.
В рваных рубашках, в рабочих блузах,
не выпавшись, бегут и падают,
в листве запутываясь, как в гудках завода.
А вслед им
черные памятники зеркально источают
презрительный смех:
«Еще и тут вы заведитесь!»
— «Да, да, и тут!
Мы из ярма, тюрьмы!
Свободы ветер с нами».

Прислушиваюсь:
голос, растущий вокруг,
в себе я ношу.
Всё жившее на клетки разложилось,
а клетки — в землю, в зелень, шум.
И тот протест, и тот огонь, что был у них,
теперь он — зелень, шум. . .

Шумите же, густые кроны,
эпохи буйные ветра!
Уйди со старого погоста,
мелодия моя.

Куда ни пойду — полукруг.
Куда ни стану — овал.
Дугами: тучи оспинились.
Лист колесом по дороге —
и весь парус лазурный
круглую душу мою
на веслах в бесконечность —
мелодия моя. —

Что же ты, сердце? Что ты грустишь?
Оттого что не в силах мы мира,
не в силах и части его вместить в себе?
Так ли, любимое? Мысли река
и радиоток, как безумья рука,
раздверят космос. И не будет замка.
Не правда ли, сердце?

Да, да, канут беды и зло.
Канет наций вражда,
и границы планет раздвинутся,
и мы свой круг опишем заново
в вечном росте
к бесконечности! . . .
И всё уж навеки будет ясно:
зелень. . . шум. . .

«Шум» — а может, неясно? —
та кровь и обломки старья. . .
Дряхлеющий голос могильный
донес ветерок до меня.

Неясно, а правда, неясно?
И вижу, другой уж встает:
«Меня твое подняло сердце,
чуткое сердце твое.

О брат, брось по кладбищу клич свой!
Смотри, как черна его масть.
Ударим с тобой по востоку,
и запад нам руку подаст.

А там уж и деды помогут,
ведь ты же помещиков смёл. . .
Тогда бы мы пожили снова,
когда б это ты нас повел».

Смотрю — там снова привиденья. . .
С пригорка вниз лечу, бегу!
Передо мною солнце вянет
и ветер стружки все строгают. . .

И ветер стружки и подстружки
в глаза, и в души, в ноздри, в рот. . .
Куда ты гонишь, сумасшедший?
Стой! Черт!

Прислушиваюсь:
голос, растущий вокруг,
в себе я ношу.

Всё жившее на клетки разложилось,
а клетки — в землю, в зелень, шум.
И тот протест, и тот огонь, что был у них,
теперь он — зелень, шум. . .

Шумите же, густые кроны,
эпохи буйные ветра!
Уйди со старого погоста,
мелодия моя.

Тучи оспинились. Выгнулись холмы.
А кто кого отсвечивает — не знаю, не знаю.

Лишь всё это шумит и шепчет,
колышет зелень недоношенную, золото и кровь,
кровь. . .
А в шуме том —
дрожанье высохшей осины,
как будто камертон.

А в шуме том в просвете вдруг
березы фартучек.
И неожиданно —
птичка. . .
И всё это колышется, шумит и шепчет.

1921

109. ИВАСИК-ТЕЛЕСИК

(Сказка)

Что же, если просите,
так и быть, спою
песню про Телесика
и лютую змею. . .
Жил себе
был.

Близко ли, далеко ли,
нынче иль давно,

низко ли, высоко ли —
это всё равно...
Жил себе
был...

Ну, ребята, слушайте!
Песня началась.
У отца и матери
жил себе Ивась.
Жил себе
был...

Жили-были дед да баба. И был у них сынок Ивасик-Телесик. Вот подрос Ивасик-Телесик и стал отца с матерью просить:

«Сделайте мне золотую лодку, серебряные весла, буду я рыбу ловить, кормить вас на старости лет».

Дали ему лодку,
дали два весла,
сел Ивасик в лодку,
лодка поплыла —
хлюп себе,
хлюп!

Серебряные весла,
золотой челнок.
Ловится, ловится
рыбка на крючок —
дерг ее,
дерг!

Вот мать сварила ему ужин, вышла на берег и зовет:

«Ивасик-Телесик,
пльви, пльви домой!
Ивасик-Телесик,
поужиной со мной!»

А Телесик отвечает ей:

«Слышу, слышу, матушка,
милый голосок!

Поверну я лодочку,
выйду на песок —
вот я,
вот!»

Наелся, напился Ивасик, отдал рыбу матери — и
опять в море.

Серебряные весла,
золотой челнок.
Ловится, ловится
рыбка на крючок —
дерг ее,
дерг!

А змея лютая подслушала, как мать зовет Телесика,
вышла на берег и стала звать Ивасика толстым голосом:

«Ивасик-Телесик,
плыви, плыви домой.
Ивасик-Телесик,
поужинай со мной!»

А Ивасик слышит ее и говорит:

«То не голос матушки,
то змеиный свист.
Не вернусь я на́ берег.
Сгинь и провались!
Сгинь!
Провались!»

Видит змея, что не обмануть ей Ивасика. Пошла она
к кузнецу и говорит:

«Скуйте мне на кузнице
новый голосок.
Только самый тоненький,
точно волосок.
Вот какой,
вот!»

Кузнец и сковал. Пошла змея на берег и стала звать
Ивасика. А Ивасик думает, что это мать его зовет, и
отвечает:

«Слышу, слышу, матушка,
милый голосок!
Поверну я лодочку,
выйду на песок —
тут я,
тут!»

А змея хватъ его и понесла через горы и леса в свою хату.

Принесла Ивасика в хату и говорит своей дочке, змейке Оленушке:

— Затопи, змейка Оленушка, печку да спеки мне Телесика на ужин. А я гостей позову.

Улетела змея, а Ивасик, покуда Оленка печку растопляла, выскочил из хаты, дверь за собой запер и залез на высокий явор. Залез и сидит.

Летит мимо стая гусей. Телесик машет рукой и просит:

«Гуси! Гуси! Вы, гусята,
голосисты и крылаты,
воротитесь за мной,
отнесите домой!
Хороша отцова хата —
и просторна и богата».

А гуси ему:

«Мы бы рады воротиться,
да за нами орел.
Мы бы рады опуститься,
да за нами орел!»

Поглядел Ивасик на небо, а там и вправду орел летит.

Сверкнул из темной тучи
стальной орлиный клюв.
Проплыл орел могучий,
крылами не махнув.
Раз только,
раз!

Начал его Ивасик просить — да разве он услышит!
Снял с себя Ивасик рубашку и стал ею махать. Тут орел

увидел его и спустил на веревочке корзину. Взобрался Ивасик-Телесик на орла и думает:

«Куда же это я попал? Лучше бы меня гуси взяли».

А орел взвивается,
вверх летит и вкось,
пулей пробивает он
облака насквозь —
прямо, вверх
и вкось.

Испугался Ивасик. И вдруг кто-то взял его на руки и закутал в теплую одежду. Думает Ивасик:

«Куда же это я попал?»

А в глазах качается,
а в ушах гремит,
ветер за окошками
свежий шумит,
ветер
шумит.

Смотрел, смотрел Ивасик, и заболела у него голова.

Снится ему, чудится —
кличет его мать,
говорит Ивасику:
«Полно тебе спать!
Полно
спать!»

А потом змеинная
снится ему речь:
«Вот сейчас Ивасика
посажу я в печь,
прямо
в печь!»

Не вытерпел Ивасик да как закричит.

«Что ты, Ивасик, кричишь? Скоро мы дома будем!»

Ой, держись, Ивасик!
Близится земля.

Вон бегут за окнами
вишни,
тополя.

Где же тут удержишься?
Вот какой толчок!
По земле проехались
и свернули вбок,
по земле проехались —
скок
да скок!

Слез тут с орла Ивасик. А кругом народу! В барабаны барабанят, в трубы трубят. Тут же и лошади стоят, сено едят, головами кивают, с праздником поздравляют.

Стали тут Ивасика
люди обнимать.
«Где твои родители,
твой отец и мать?
Да как тебя
звать?»

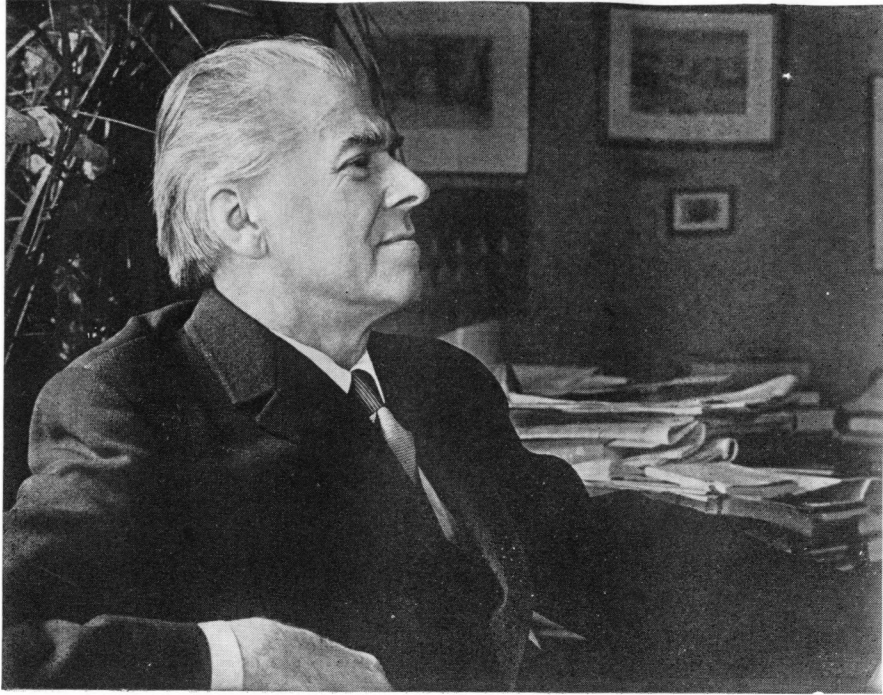
Молчит Ивасик, не знает, что ответить. Только смотрит на своего орла и удивляется: отчего у него не лапы, а колеса, не хвост, а дощечка?

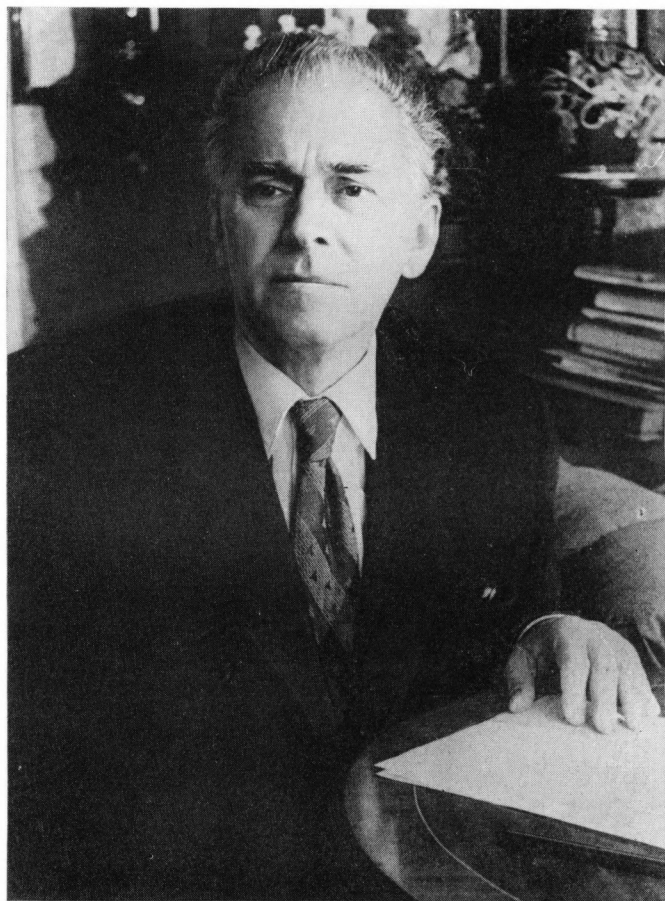
А люди опять:

«Долго ли на яворе
ты сидел вчера?
Кто твои родители,
брат твой и сестра?
Да где они живут,
да как тебя зовут?»

Молчит Ивасик, робеет. А кругом народу, народу! В барабаны барабанят, в трубы трубят. А рядом лошади стоят, сено едят, головами кивают, с праздником поздравляют.

Тут кликнули одного конька, посадили на него Теле-сика и поехали.





Улицу за улицей
пролетели вскачь.
Едут-едут по лесу,
а навстречу — мяч.

Видят — хата белая
прячется в лесу.
Топчут дети, бегая,
на траве росу,
на траве
росу.

Увидели ребята Телесика, обступили его со всех сторон. Тут он осмелел да как крикнет всем сразу:

«Телесик! Меня зовут Телесик!

У меня есть лодка,
есть и два весла,
да меня гадюка
в горы унесла.

От змеи-гадюки
убежал я в лес,
на высокий явор
живо я залез.
Вот я
какой!»

Послушали его ребята, а потом и спрашивают:

«Ты говоришь, змея тебя унесла? Может, она с рогами и крыльями была? Нет, таких на свете не бывает!»

Сказали это ребята и засмеялись. А тут подошла к ним старшенькая и позвала в хату, потому что уже стемнело.

Повела она в хату и Телесика. Умыла его, передела и посадила за стол. А сама тронула пальцем стенку у двери. Всё как осветилось разными огнями, вот здорово-то! Потом сняла со стенки не то трубку, не то дудку и стала в трубку слушать и разговаривать. Говорит и смеется, говорит и смеется.

«Ивасиком, — говорит, — зовут его, Телесиком!»

Думает Ивасик:

«Куда же это я попал?»

Наелся он, напился, встал и перекрестился.

Ребята спрашивают:

«Что это он делает? А ну, еще раз!»

А старшая говорит им:

«Что вы удивляетесь? Ведь он же неграмотный!»

На другое утро, как только проснулся Телесик, стали его грамоте учить. И теперь он уже не Ивасик-Телесик, а Читало-Летало-Поднебесник; он и вправду под небом летал, а читать-то он будет лучше нас всех.

Вот и вся сказка про Ивасика... Жил он да был...

Близко ли, далеко ли,
нынче иль давно,
низко ли, высоко ли —
это всё равно.
Жил себе
был...

на нашей ниве неоглядной
стальные Критики мечи.
Клянемся клятвой беспощадной,
что всех врагов заждем в клещи!

1931

111. МОЙ ДРУГ РАБОЧИЙ ВОДИТ МЕНЯ ПО ГОРОДУ И РАДУЕТСЯ...

Догоняем их, догоняем,
- как ветром взвитого коня.
Гляди — растем день ото дня,
Крепки, как желудь, мы, всё тот же
наш дерзновенный смех.
 Это свойство молодежи —
 быть всегда моложе всех.

Где клонилась ива в чистом поле,
там теперь паровозное депо.
Проходят рельсы через по-
летят, историю истóрят.
Вчера еще «рабы»,
 сегодня, глянь, — со старью спорят,
 подняв эпоху на дыбы.

Над рекою ленивою, блестящей,
мутной и струящейся едва
мысль поднимается, нова,
забетонирована, сжата
радугой тугой,
 перекинута стрельчатой
 моста мощного дугой.

Пробиваемся, режем, ломаем.
Не жалей, сожаления долой!
Всё — план, закон наш основной,
чтоб жизни быстрина
 дала грядущим поколениям
 вина.

Строить будем высоко и гордо,
чтоб до оглохших эхо донеслось,
чтоб еще выше оно поднялось.
Каленьем. Знаньем. Осталеньем, —
чтоб жизни быстрина
 дала грядущим поколениям
 вина.

Под землей богатства притаились,
и энергия всех рек под гнетом сна.
Черпнем до самого до дна!
А ну-ка двинем, обод сменим,
чтоб жизни быстрина
 дала грядущим поколениям
 вина, вина.

1931

112. СТАРАЯ УКРАИНА ИЗМЕНИТЬСЯ ДОЛЖНА

Насыщаясь новым содержанием
переходя из количества в качество
в единстве противоположностей
взрываясь отрицанием старого
стремимся по закону диалектики
к *неизмеримому* грядущему

Вот уж преграды все изучены
вот уж глубины все разгаданы
разрешены все недоумения
Грохнем же с разгону по истории
может обломок нам отколется
от *необычайного* грядущего

Как часто мелочами недовольные
мы изверившись шатаемся и падаем
и спотыкаемся и глохнем мы
и не слышим как двигая поршнями
ходит по вселенной двигатель
силой *неустанного* грядущего

Загорайся пылай окрыляйся ты
включайся но не вялым равнодушием
не безумием и не пьяным отчаяньем
а всей страстной силою сознания
чтобы были мы четче и непокойнее
от *непокойного* грядущего

Выделяй не повторяйся увязывай
Далеко уж отплыли мы от берега
Над пучинами ветрено непогодливо
Наш корабль содрогается поршнями
Так же ходит по вселенной двигатель
силою *нетленного* грядущего

Наполняясь новым содержанием
переходя из количества в качество
в единстве противоположностей
взрываясь отрицанием старого
стремимся по закону диалектики
к *неизмеримому* грядущему.

1931

ПАРТИЯ ВЕДЕТ

(1934)

113. ПАРТИЯ ВЕДЕТ

Так пускай себе как знают
сумасшествуют, сдыхают, —
 нам свое творить:
яму выроем большую
для буржуев — всех буржуев
 будем, будем бить!
 будем, будем бить!

Не везде ль, не всюду ль ясно,
что колонны наши властно
 на врагов идут.
Наши ладные колонны
беднякам и угнетенным
 руку подают!
 руку подают!

Оживляем горы, воды,
расширяются заводы, —
 не пойдем мы вспять!
Слава пятилеток наших
для пустынь, каналов, пашен —
 как родная мать,
 собственная мать.

Наша армия заслоном
стала по своим кордонам,
 в небе дивный флот.

Он стреляет, сеет, носит,
он республику возносит
до больших высот,
до больших высот.

Против всех преград надежен
порох нашей молодежи —
помощь нам идет:
дети большевистской эры,
пионеры, пионеры. . .
Партия ведет,
всех она ведет.

Не на Рейне, не на Марне,
а у нас всё лучезарней —
наши мастера!
Мы тревожим стратосферу,
глуби атома и сферу, —
светлая пора!
славная пора!

С чем сравнятся годы эти! . .
Кто сильнее нас на свете,
где, в каком краю?
Мы планируем и строим,
мы идем единым строем,
все в одном строю!
все в одном строю!

Так пускай себе как знают
сумасшествуют, сдыхают, —
нам свое творить:
яму выроем большую
для буржуев — всех буржуев
будем, будем бить!
будем, будем бить!

1933

114. ПЕСНЯ ТРАКТОРИСТКИ

(КАК ОЛЕСЯ КУЛИК УБЕГАЛА НА КУРСЫ В 1930 ГОДУ)

Дым-дымок от машин
как девичьи лета. . .
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Летом — вся работа в поле,
а как снег постлал постель,
я товарищей просила
записать меня в артель.

Ой, артель моя «Троянда»,
маркиzet, мадаполам!
Вышивала я узоры
с тревогою пополам.

С тревогою — ну и странно!
С тревогою — вот смешно!
Только близко загрохочет,
так и высунусь в окно.

А оно ничуть не странно:
ведь меж наших вороных
стали кони попадаться,
не похожие на них.

Не травкою их питают,
и овса такой не ест, —
они ходят, как летают,
заезжают в МТС.

Дым-дымок от машин
как девичьи лета. . .
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Тут игла моя упала,
перепутался узор. . .
Я бежала, догоняла —
поглядеть на них в упор.

В МТС их все встречают,
обступают в тесный круг,
по плечам их с лаской треплют,
называют нежно: «друг»!

К трактору я протолкалась, —
ой, хороший! светлый мой!
Как мне хочется учиться,
чтоб вести его самой!

«Отпустите меня, мама,
ну к чему такое зло?
Я ж на курсы трактористов —
я в Поповку, в то село!»

Мать с укором: «Бога бойся!»
Я в ответ ей: «Это ж стыд!
Долго ль будут меня мучить
ваши рясы да кресты? . . .»

Дым-дымок от машин
как девичьи лета. . .
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Мать упорна: «И не думай!»
А я снова: «Убегу!»
Раз я раным-рано встала —
ни следочка на снегу.

В легоньком одном пальтишке,
в старом стираном платке
подалась я на Поповку,
что дымит невдалеке.

Только мост перебежала —
не бубенчики ль звенят?
Не по звону, а по песне
узнавала я ребят.

Перевились голосами
радостно да весело!
«Что, курсантов не узнала?
Мы в Поповку, в то село!»

Я гляжу — себе не верю:
все свои, знакомые. . .
«Садись с нами, комсомолка,
и поедем, едем мы. . .»

Дым-дымок от машин
как девичьи лета. . .
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

*Миргородская МТС
7 декабря 1933*

115. ВТОРАЯ ПЕСНЯ ТРАКТОРИСТКИ
(КАК ОЛЕСЮ КУЛИК БАВЫ ЗЕМЛЕЙ ЗАБРОСАТЬ ХОТЕЛИ)

Кому шутки-прибаутки,
а вот мне не всё равно:
на Керменщине есть поле —
тридцать лет не орано!

Целых тридцать. . . Комсомольцы!
Не к лицу сейчас покой.
Мы вспахали, мы взорали
всё за Шахворостивкой.

Так скорей поедем дальше,
двинем армию свою,
вспашем брошенную пустошь —
твердую, ленивую.

Нас четыре тракториста
с бригадиром впереди —
только сели на машины,
а земля уже гудит. . .

Непонятно трактористам,
трактористам невдомек:
«Что вы, собственницы бабы,
стали делу поперек?»

А навстречу пьяный лодырь
(из каких таких сторон?),
говорит — как бьет в цимбалы,
а идет — как пляшет он:

«Эй, давайте, бабы, топать, —
быть еще на них потопу!
Обниму вас, полюблю
да в горилке потоплю».

Кому шутки-прибаутки,
а вот мне не всё равно:
на Керменщине есть поле —
тридцать лет не орано!

Ох, какую волю надо —
всё обдумай, всё осиль!
. . . Выводи свою машину
первым, Яшный Василь.

Трактор Василя выходит,
только что-то с ним не так. . .
Бабы тут затанцевали:
«Чудо бога, Христа бога,
чудо господа Христа!»

Ох, какую волю надо,
и крепка же молодежь!
. . . Джунь Андрей, свою машину
ты за Василем ведешь.

Трактор Джуня выступает,
только что-то с ним не так. . .
Бабы тут затанцевали:
«То святого Христа бога,
то Святого духа знак!»

И давай они плеваться,
бранный разговор вести.
...Комсомольцы! укрепляйте
в мир бесклассовый мосты!

И от бога и от чуда
у панов была причуда:
существует техника —
только не для бедняка...

«Стойте, думаю, устрою,
я устрою бабам пляс!»
Рычаги я отпустила,
начинаю в самый раз.

Кому шутки-прибаутки,
а вот мне не всё равно:
на Керменщине есть поле —
тридцать лет не обрано.

Бабы же: «Креститесь, люди!
Раз кончать, так уж кончать,
дергай и ломай машину,
то ж антихри-, то ж антихри-,
то ж антрихриста печать».

Трактор тут как дернет — гонит
всю ватагу со степей —
полетели, покатались
кто в крапиву, кто в репей.

Бабы тут земли набрали —
и за мною все толпой.
Сколько грязи накидали
тут и там на трактор мой!

И в лицо мне комья мечут,
и кричат мне: «Стоп да стоп!
Вам со стариной тягаться?
Ах ты, боже, Христе боже,
да пошли ж на них потоп!»

Над горилкой, над потопом,
над бессмысленным их топом
пан смеялся им в лицо,
попиваючи винцо.

А я режу, а я режу —
что там крику! что людей!
Трактор Яшного грохочет,
пашет Джунь всё веселей.

Что за бабы раньше были —
нынче изменилися.
Трактор стал всеобщим другом, —
вот она и песня вся.
Захотим — всего добьемся, —
вот она и песня вся.

*Миргородская МТС. 8 декабря.
Харьков. 21 декабря 1933*

116. И ОТ ЦАРЕЙ, И ОТ ВЕЛЬМОЖ...

Н. И. Подвойскому

И от царей, и от вельмож
проклятая осталась дрожь
и пятна, что не смоем скоро,
и лишь поля покрыты сором...

О, вечный бунт, суровый мой!
Как дивен ход твой круговой!
Ты накипь гонишь, бьешь и мечешь,
и назван ты — противоречьем.

И, с памяти счищая муть,
ты эту накипь гонишь в путь
по всем уклонам и ступеням,
пока не бросишь волнам в пене.

Но ты не бунт, мы не рабы:
ты диспозиция борьбы.
Ты на два делишь мир — руками,
и мы — как знамя над веками.

У них от рабского труда
на поле ржавчина видна.
Растешь, хотя кругом окопы
и смотрит злобный глаз Европы.

Расти, расти, как пышный сад,
на две тоски, на пять досад!
Смешок старья — нам не отравя;
живи, кто жить имеет право!

1927

117. ПЕСНЯ ПРО КИРОВА

Зелен сад-виноград,
славен город Ленинград!
Слушаем твои слова
про Сергея Кирова.

«Слава, честь большевику, —
славный большевик в Баку
под знамена в общий стан
кличет тюрок и армян!

Знамя красное — оно
нашей партией дано!
Раз мы вместе, значит, вместе,
все мы сходимся в одно».

Сланец, торф и металл,
Беломорский канал!
Ваши слушаем слова
про Сергея Кирова.

«Слава, честь большевику, —
он на трудном на веку
был трибуном и бойцом
с честным, ясным лицом!

Знамя красное — оно
нашей партией дано!
Раз мы вместе, значит, вместе,
все мы сходимся в одно».

Зелен стан, красен стан,
славен горный Дагестан!
Слушаем твои слова
про Сергея Кирова.

«Слава, честь большевику, —
большевик в своем полку
в битве стяга не склонял,
от господ нас выручал.

Знамя красное — оно
нашей партией дано!
Раз мы вместе, значит, вместе,
все мы сходимся в одно».

Нивастрой и Свирьстрой,
вдохновенный труд какой!
Кто нас может победить, —
только жить бы, только б жить!

«Слава, честь большевику, —
он на трудном на веку
все детали понимал
и везде любимым стал.

Знамя красное — оно
нашей партией дано!
Раз мы вместе, значит, вместе,
все мы сходимся в одно».

Ой, Нева, ой, река!
Где ж ты, жизнь большевика?
Недруг в Кирова попал,
недруг в партию стрелял!

«Поклянемся вновь и вновь:
мы расплатимся за кровь!
За любимого бойца
всех побьем их до конца!

Знамя красное — оно
нашей партией дано!
Раз мы вместе, значит, вместе,
все мы сходимся в одно».

1934

118. ПЕСНЯ ПОД ГАРМОНЬ

Рута мята да не примята,
не притоптанная трава.
Справа ветер да слева ветер,
всех потоками обвевай!

Потоки — что токи,
трава — ой трава,
хорошо ты пахнешь,
мята-мурава!

Что за лето — да медоцветом
переполнены все поля.
Дождик бором да перебором
переструнивал тополя.

Пролетайте-тайте,
клочья туч седых,
не роняйте, тучи,
перлов голубых.

Вот выходит да уж подходит
трактористка на каблуках.
«Что ж ты, пава, моя забава,
в праздник с книжечкой в руках?»

«Чтобы очи зорче
глянули на свет,
оттого и с книжкой, —
вот тебе ответ».

«Мне как скрипка твоя улыбка.
Дорогая, не будь строга.
Не до дому мне, не до дремы, —
красота твоя дорога».

«Не кисни, не висни,
что сказал — забудь.
Всё светлей, всё выше
мне открытый путь.

Пьяный, значит, ты, не иначе —
с непутевою головой.
Мне учиться — тебе лениться,
мне дорогой — тебе тропой.

Не до речи нынче
про любовь твою, —
станешь знатным парнем —
свататься велю».

Ч У В С Т В О С Е М Ь И Е Д И Н О Й

(1938)

119. ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ

Я сторонюсь чужих и чуждых
болот родимых, мелких бродов;
сияет радугою дружбы
мне единение народов.

Оно такой встает вершиной!
Оно таким дыханьем дышит!
Ударишь громом в сердцевину —
и гром другой в горах услышишь.

И гром другой взрывает дали
и радуется, молодея,
что встала радуга из стали,
сердца народов дружбой грея.

И сам ты вдруг — как гром над кровлей,
как молниями озаренный,
как будто выпил на здоровье
из родника воды студеной.

Ой, выпил, выпил да утерся,
и припадаешь снова, снова,
и открываешь первородство
в глубинах языка чужого.

Его коснешься ты — всё мягче,
всё легче он тебе сдается,
хоть слово сказано иначе,
но суть в нем наша остается.

наше мичина

жытня Едуской родины.

Знаемому будучи : прыжком,
чужим : чуждым родных братів,
і вродив арко-дужным
перевисанням до пародів.

Вона в мені таке позытне,
і на спільскіх стайніх відпорах!
Возілим бліском і зломом в сутніс
і жытні : дружны ірм у ворах..

А дружны ірм - дружны не даці
прыжкоце, хале та радзе,
чужоміне націні міст і з сціаці,
чуж містарадна прыста діс

І ось жытні сам прыпрыжкомівым,
стайні дэтым в своїм рожваі,-
як даброго здарова публіч
'колс кривіцы стэпавы'

Как будто так: в руках подкова
упругая всё гнется, гнется,
и разом вдруг — чужое слово
в родной язык родным ворвется!

То не язык, не просто звуки,
не слов блуждающие льдины,
в них слышен труд, и пот, и муки —
живой союз семьи единой.

В них шум лесов, цветенье поля
и волны радости народной.
В них разум класса, кровь и воля
от давних дней и по сегодня.

И вносишь ты чужое слово
в язык прекрасный и богатый.
А это входит всё в основу
победы пролетариата.

22 июля 1936

120. КОНГРЕСС ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ

Барбюса слово гневное копьем,
с конгресса пущенным, взвилось, попав
врагу свободы в сердце! И удав
перевернулся, но не сдох: свое
он жало показал нам, свирепея;
вновь бить пришлось его по голове,
пока в измятой от борьбы траве
не потекла гнилая кровь злодея.
В небо
взмыли мы!
Руки плещут крыльями. . .
А оркестры — на окрестность
серебристый крик,
медный
крик!

О, над Парижем крик! Он Францию,
Европу всю заставил вздрогнуть: мы,
собравшись отовсюду, громовым,

прямым ударом встретили змею,
что цепи за свободу выдавала.
Сюрреалистами придуман культ
Аполлинера. Выползли из тьмы
католики, троцкисты — кто попало.
Там фонтанами,
бубнами, тамтамами
опьяняли, мягко стлали.
Но лгунов отряд
ветром
смят. . .

Ты — дьявольский котел, Париж, Париж!
(Так некогда назвал Барбье тебя.)
Огонь разложен под тобой. . . Шипя,
ты на рабочих и крестьян дымишь.
Но прозябать рабочий не желает —
не грязь, не мусор он окраин. Вот
он подымается, могучий! Он трясет —
и вот с буржуазии лист слетает.
С ветром
сладу нет,
листья падают;
по дорожке на одной ножке
Запад чертит па,
смерти
па.

Нападало всего! Хотя стоял
еще июнь! В предместье как-то раз
мы выехали. Нищий наблюдал,
как девочки играли в мяч; и нас
тот нищий поразил, — он был как клякса
на совести. Окраина — как тиф. . .
Кварталы коммунистов посетив,
увидели иное: школа Маркса!¹

Ходят
с песнею

¹ В то время на муниципальных выборах в некоторых районах Парижа победили рабочие. В одном из них, где мэром был писатель-коммунист Вайян-Кутюрье, была образцовая школа им. Карла Маркса.

тополя предместия,
а под ними люду всюду!
Школьный зал одет
в красный
цвет.

Рабочих сколько! Тот несет букет,
тот руку жмет, и крепче жать нельзя. . .
Пора! На возвышенье всходим вслед
мы за Вайяном-Кутюрье. «Друзья!
Сегодня ж праздник наш, — непобедимой
растем мы силой! Солон наш навар,
фашистам насолим и тут: бульвар
мы назовем в честь Горького Максима!
В небо
взмыли мы!»
Руки плещут крыльями. . .
А оркестры — на окрестность
серебристый крик,
медный
крик!

И Кутюрье перед стечением масс
заговорил, «ротфронтом» сжав кулак.
Собравшихся приветствовал и нас —
Советскую страну. Чудесно! Так.
А вечером у Жан-Ришара Блока
мы для беседы собрались. И он,
и наш другой товарищ — Арагон
послами были дружбы синеокой.
Дружбы-
радуги
нас соединишь дуги,
что теплеет, счастьем веет
среди вас и нас,
греет
нас.

1935

121. НА ОЛИМПИАДУ ХОРОВ

Расцветаем песнею, писаною, устною,
вырастаем с ясною, чистою и честною,
освежаясь росною, свежей, земноносною,
верной, бескорыстною, как всегда прекрасною!

Чтобы в песне слышалось: дело увенчалось,
нам в боях сражалось, как врагу не снилось!
Чтобы славно пелось, чтоб само ходилось,
чтоб на крыльях мчалось, парусом вздувалось.

Прочь гони сомнение! Правда — наша линия,
песня — вдохновение, а не увядание,
крепко наше здание, нежность в нашем пении.
Кто не видел ранее — где добудет зрения?

Песня жизнью строится и, как бритва, правится,
грозно разгорается — лишь враги появятся,
им не поздоровится — счастье нам откроется.
Слава нашей партии, солнцу — наша здравица!

Расцветаем песнею, писаною, устною,
вырастаем с ясною, чистою и честною,
освежаясь росною, свежей, земноносною,
верной, бескорыстною, как всегда прекрасною!

Не с мечтами серыми — нет! — идем с героями,
мы блестим доспехами, светлыми и новыми!
Водометом реем мы — в нас таланты струями.
Слава нашей партии, солнцу — наша здравица!

1937

122. ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ ЧИТАЕТ ГРИГОРИЮ СКОВОРОДЕ «ВИТЯЗЯ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»

Говорил Гурамишвили со Сковородою:
«Эх и девушку я видел — пела над водою!
Если хочешь — познакомлю. С песней да с игрою —
ты отсюда, я оттуда — двинемся горою».

Тут Скворода поднялся: «Ты сейчас в ударе!
Счастье я в душе взыскую — не в земном угаре.
Что мне свет очей прекрасных — голубых да карих, —
если в мир закрыл я двери — ме давхуре кари». ¹

И сказал Гурамишвили: «Не смехи, Григорий!
Уподобиться березе в грусти белокурой? . .
Быть с историей живою в безысходной ссоре? . .
Нет, слова твои невкусны, как густой цикорий.

Вот блуждаешь по пустыне — счастлив ты ужели?
Рвешься ввысь, но крыша давит, клонит не к земле ли?
Будь земным, жизнеупругим, как герой в новелле!
Руставели — образец нам, глянь на Руставели!»

И пошел Гурамишвили строками поэта
старый мир шатать, и мнилось — в окнах больше света!
«Эй, Скворода, ты хочешь зачеркнуть всё это?
Или вовсе не любил ты и не знал привета?

В восемнадцатом столетье, в просвещенном веке,
не смиренье — сталь искать ты должен в человеке».
И Скворода как будто остановлен в беге:
«Знаю я, — сказал, — ме вици. — Грозно поднял веки: —

Стали, говоришь? Железа? — И, протерши руки,
тут Скворода воскликнул: — Вот я весь! На муки,
муки бедняков глядел я, но нигде науки
не сыскал я, чтоб утишить этой скорби звуки.

Мне б железа Руставели — дух геройства ярый!
С Библией я прожил долго, будто в келье старой,
«Вепхис ткаосани» ² слышу — и любовь в разгаре.
Распахнул свои я двери — ме гаваге кари!»

Вдруг Гурамишвили вспыхнул — вот и стал тогда-то
строками из Руставели потчевать собрата.
Он читает и читает — сыплются агаты,
и алмазы, и сапфиры — до чего богато!

¹ Грузинские слова, приведенные в стихотворении, отдельно не переводим, перевод их дан в самих стихах — в каждом отдельном случае, тут же, рядом.

² «Витязь в тигровой шкуре», поэма Руставели.

Так и сыплются — постой-ка! Вот оно, раздолье!
Что ни мысль и что ни строчка — радости да боли!
И одна из них такая, как буран на воле:
всех рабов закабаленных вырви из неволи!

Что такое вдруг случилось со Сковородою?
«Вырвать из неволи... — молвил слово молодое. —
Руставели, ты отныне навсегда со мною?
Буду по земле ходить я с думою одною —

от Изюма до Полтавы по песку, по лугу.
Девушку из подневольных я возьму — подругу,
откуплю ее у пана и отдам в науку.
Тяжело на спину пана опущу я руку!»

И Сковорода поднялся, и слова запели:
«Звуки речи Руставели душу мне согрели!
Ой, спасибо, Руставели, вся душа в пожаре!
Распахнул свои я двери — и любовь в разгаре.
Настежь в мир открыл я двери — ме гаваге кари!»

1937

123. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

(ЧЕРНИГОВ, 1910 г.)

Мне помнится: осенний день. В усердьи
синело небо. Серебристый прах,
казалось, осыпался в синей тверди.

Была седа сухая тень в садах,
и даль как бы от дряхлости дрожала.
Не выйти ль на этюды? Просто страх,

как на простор влекло из-под начала
казенных стен! Уроки отошли.
По семинарским классам разудалый

галдеж пошел, и смех, и ай-люли
на гребешках. Я из-за парты вылез,
палитру вытер, вдвинул под шпили,

чтобы края этюдника сходились,
и к Валу зашагал, а ветерок —
вприпрыжку рядом, точно сговорились.

Вот неотвязный! Стал я поперек
дороги, осмотрелся: тут и сяду.
Лениво Стрижня движется поток.

На славу место. Лучшего не надо.
Сказал — и сделал. Тишина и зной.
Так клонит спать, что никакого сладу.

Прошел чиновник. Желтою копной —
страницами чужого лексикона —
расшелестелся яшень надо мной.

На Стрижне челн качнулся плоскодонный.
Еще краплаку в тюбике достав,
я оглянулся. Стаями вокруг клена

кружились листья, с придорожных трав
под провода взлетая, как от шквала,
и запускали пальцы в телеграф,

как в струны цитры или на цимбалы.
Вдруг как из-под земли с травы к холсту —
какой-то долговязый. «Всех, пожалуй,

не дотащить?» — он молвил в пустоту,
а сам в руках сжимает листьев ворох.
Он черноглазый. В шляпе. На лету

ловлю черту тревожную во взорах.
Когда подсел он? Как я передам
таинственности прелесть? Чем так дорог

звук голоса его и кто он сам,
что так располагает с полуслова?
Вспорхнула с ветви птица. Ветра гам

улегся. Солнце выглянуло снова.
А незнакомец, собираясь встать,
меня окликнул взглядом как родного.

Как было голову не потерять!
Вскочил я, стал, глаза вдогонку пялю,
стою... А дней примерно через пять

концерт давали в семинарском зале.
Ухаживать за публикой взялись
учащиеся. Гости прибывали,

уж коридор был полон. Скрывши фриз,
у входа в залу зелень на бордюре
живой гирляндой свешивалась вниз.

Тут, средь распорядителей дежуря,
стояли мы. То поправляя бант,
то на ходу друг с дружкой балагурия

об играх в фанты или про Жорж Санд,
пред нами проплывали к повороту
за парой пара и за франтом франт.

Как вдруг: «Нашли! — воскликнул рядом
кто-то. —
Мы в поисках, а он тут в царстве грез».
Очнувшись и всерьез, как от дремоты,

взглянул я, вздрогнул и к земле прирос.
Я черные глаза узнал не сразу.
Ведь это тот, что на речной откос

с охапкой листьев лазил, черноглазый.
«Смелей! — сказал мне, подтолкнув слегка,
учитель рисованья, с полуфразы

представив спутнику ученика: —
Поэт, и — обещает, был бы случай —
не грех в печать бы». — «И наверняка

уже стихов вот этакая куча?» —
пожав мне руку, пошутил другой,
щадя мою застенчивость бирючью.

«А это Коцюбинский», — ткнул рукой преподаватель рисованья. «„Fata“!» — воскликнул я невольно, и за мной

высокий вторил, радуясь, как брату. Потом, взяв за плечи, проговорил: «Мы, кажется, уж виделись когда-то?»

И, юный мой оберегая пыл, повел средь пар. Бродя в их веренице, я ликовал. Как был со мной он мил!

Я слышал смех и видел чьи-то лица, но что мне до всех тех веселых мин? Я сознавал блаженство без границы:

всё заслонял собою он один. А рядом вновь учитель рисованья. «Кручиниться, — сказал он, — нет причин».

По коридору с шумом, как и ране, тянулись пары. Прозвенел звонок — неторопливо в зал пошло собрание.

Навстречу устремилась за порог нескладица настройки. Вперегонку с кларнетом тон альтам давал рожок.

Поднялся гул, как потасовка звонкий. Попробовал и я тут свой гобой, всё заглушивший, точно плач ребенка,

и отложил, чтоб овладеть собой. Вот капельмейстер палочкой обитой взмахнул, смиряя звуков разнобой.

Всё замерло. И Глинка из сюиты заговорил. Со дна басов, звеня, стал подыматься лес, с высот зенита

безоблачность простерлась. Зелены
пошли тянуться к солнечным триолям.
Зима прошла... Без края вокруг меня

весенний день, и солнце, и над полем
вот эта пташка! Нет! Еще и пот
трудящихся, с той славою мозолям,

которую поет им Глинка. Тот
почет труду, что рвет времен пределы
и тянет вдаль. То бушеванье нот,

что чувствовал, казалось мне, всецело
и Коцюбинский. Это в цвете сил
мы «Жаворонка» заиграли смело.

Играя на гобое, я следил
за Коцюбинским. Ровно и спокойно
смотрел он вдаль, как люди у кормил.

Он знал: вдали — бои, победы, войны,
и оттого-то, выпрямься струной,
сидел творец любимый наш, достойный
и вдаль перед собой смотрел... родной...

17 апреля 1938

124. НА «СУББОТАХ» М. КОЦЮБИНСКОГО

(В ЧЕРНИГОВЕ, В 1910 ГОДУ, КОГДА Я УЧИЛСЯ ЕЩЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ)

Высокий, с согнутыми чуть плечами,
он у дверей встречает нас: «Ого!
сегодня новички? А там за вами

не снарядят погони?» — «Ничего, —
смеемся, — пусть побег наш обнаружат,
назад уж не воротят никого,

а всюнощную там без нас отслужат».
— «Вас давит церковь, и меня вот так
душили. Ну, входите». (С сердцем дружат

«субботы» Коцюбинского, а мрак церковный. . . ой как надоел!) Приветно он улыбается. И светлый знак

в глазах его: «Заметно, да, заметно, что вы не будете служить царю и церкви. Ну, прошу. . .» — и многоцветно

открылась зала светлая. Смотрю: народу много — взгляды отовсюду! От лампы свет, похожий на зарю,

на стол ложится, золотя посуду. . . Знакомимся, и вдруг: «Хочу при вас сказать. Позвольте? А то забуду! . .

(Все в зале смолкли. И цветы из ваз насторожились) Здесь поэт меж нами!» Все: «Где ж поэт? . .» — и тут десятки глаз

установились на старичка (с бровями лохматыми), сидел он и журнал всё перелистывал. И я с друзьями

рассматривать его упорно стал. А Коцюбинский: «Вас я озадачу. Смотрите — вот поэт!» — и показал

рукою на меня. Как в вар горячий я погрузился! Сердце гулко бьет. . . Такой молоденький — ну что я значу?

К столу садится Коцюбинский: «Вот тетрадка, что вы дали мне в субботу. В ней нечто зеленеющим встает! . .

Здесь речь о бедноте. . . Ну как, в работу включим, друзья?» — спросил гостей своих. Все: «Просим! Просим!» — «Ну, коли охота —

послушайте». И сразу шум затих. И стал читать он, и в моих писаньях по-новому мне зазвучал мой стих.

И в понижениях и нарастаниях
большого голоса его — свой рост
увидел я! С тех пор без колебанья

иду вперед. Где вброд. А где и через мост.

*А прочитал тогда М. Коцюбинский стихотворение:
«Расскажи, расскажи ты мне, поле: что так редко растут
колосочки...»*

1937

**125. КАК МЫ ПИСАЛИ ПИСЬМО М. КОЦЮБИНСКОМУ
(В 1911 ГОДУ, В ЧЕРНИГОВЕ)**

Назначенного дня мы долго ждали!
И, запершись однажды вечерком,
мы в рисовальном зале обсуждали

свои дела Окно половиком
(что выходило в коридор) закрыли
и, снявши «молнию» под потолком,

на стол поставили. Как бы учили
урок на завтра. «Ох и опостыл, —
Федос сказал, — зудеж священной пыли!»

«Церковную историю» раскрыл,
и вот с двадцатой сумрачной страницы,
сбычась, взглянул митрополит Кирилл.

«Ну как, ребята? Может, пригодится
та мудрость в жизни? — текст прочел Иван. —
Как сатана во образе блудницы

смущал святых». — «Зак-кон от бога д-дан! —
попа передразнил Евген, скрипуче,
уныло загнусив. — В греховный стан,

в плен к дьяволу не попадитесь. Лучше
без увлечения — я бы так сказал, —
а то погибнете... (И, спину скрюча,

как бы на исповеди, зашуршал
лисичкою.) А Горького Максима
читаете? А кто там посещал

дом Коцюбинского на Иоакима
и Анну?» Все мы: «Да не может быть!
Да нет, скажи, ты правду это?» Мимо

забегал глазками Евгений: «Простить
хочу тебя я, чадо, и — прощаю
и отпускаю. Но грехи омыть

обязан ты. Не шляйся, умоляю,
ты к Коцюбинскому. . . — и, распрямясь,
Евгений расхохотался. — Ныне к раю

дорога мне открытая. . .» Плююсь,
ругнулся каждый — так внутри противно:
«Так это он на исповеди? Грязь!»

Вскипел Демьян: «Изобличать скотину
ту нужно безотсрочно, всюду, сплошь!»
И смолк. Он не любил высказываться длинно.

Федос к нему: «Ах, обличать? Ну что ж!
Но чем и как? Скажи: кто нас услышит?
И где, скажи, ну где? Всей жизни ложь

узнали мы тут, в школе. Каждый дышит
тем помыслом, что святость — не свята.
А как отсюда вырваться? Колышет

волненьем мир. И наши ворота
трещат, ну а синод. . .» — «Какой там леший
синод! (То Петр!) Не станет и следа

ни от синода, ни от тех, кто тешит
себя чужим трудом. О том сказать
не сможет вам весь их синклит святейший.

В России неспокойно. Бунтовать
мы не с картошки начали, как брешут
про то газеты. Нам бы нужно «Мать»

прочесть совместно. Искры сумрак режут
в империи. Они вот и до нас
допрыгнули. Быть может, и причешут

еще не раз жестоко. Грозный час!
Беречься нужно. Не про всё мы знаем, —
малы еще. Но то, что не погас

огонь тот, помним твердо. Мы читаем
у Коцюбинского об этом: «Смех»,
и «Он идет», и «Неизвестный». Краем

да тропкою, но мы дойдем до тех
вершин — пускай тропа кровава,
Припомните про Выхвостов...» И всех

нас в тишине как бы кольцо удава
за шею обняло и оторопь взяла
от этих слов — царизма холод. «Слава!» —

хотелось вскрикнуть тем, чей взлет орла,
кто борется с царем. За их за книги
почет им и поклон! Вокруг стола,

замолкнув, мы сидели тихо. Сдвиги
теней от слепков гипса и простынь,
их покрывавших, образуя выгиб,

холодную отбрасывали синь.
Как айсберги, топорщились мольберты,
вздымаясь по углам. Чубатый Брынь

зубрил за дверью в коридоре: «...смерти
учил пророк... Мы все умрем... умрем!
Ага, вот, значит, так, — сказал, — измерьте

тщету утех... Одежду раздерем
и сбросим с ramen идольские путы...
А ну еще сначала... пред огнем

лица господня — хоть бы сдох он! — люты
грехи людские... Нет, не так... подай...
Ах, будь ты проклято, как трудно... Фу ты!»

Демьян сорвался с места. «Хоть рыдай,
хоть бейся от удушья! Кто ж узнает?
Ну, кто нам, молодым, поможет?» —

«Не впадай

в тоску, — Петро сказал, — то нагоняет
на нас ее зубрило этот. Лишь бы в том
нам на него не походить. . . Вздывает

валы да бьется в берег напролом
седое море. Буревестник косо
сверкает там разогнутым крылом.

На остров Капри мчится гром. Что осы
повизгивают пули. Баловать
жандармы не устали здесь, но росы

цветов каприйских оживят слова —
как гром одно, как молния — другое.
То Горький, Коцюбинский. Эти два

глядят сюда, прикрыв глаза рукою.
Им из-за моря наша даль видна:
всё чувствуют и знают эти двое.

Вскипает всё размашистей волна! . . —
На миг один Петро замолк. И снова: —
Так, значит, духота нам не страшна,

те люди есть, с кем перемолвить слово.
Пусть Коцюбинский знает, как пуста
здесь наша жизнь, как наша жизнь сурова,

как мы долбим про духов, про Христа,
а к воле рвутся молодые плечи!
И обратится он, открыв уста,

и Горькому промолвит: „Человече!
Тебе привет прислал не кто-нибудь —
подростки с Украины, издалече!

Не тайно, а наглядно: словно ртуть,
прижатая на градуснике стужей
до самого отказа. Рвется грудь

их криком, вечность мысли обнаружа,
что правды нет в кнуте. . .“» — Петро привстал
и выпрямился. Кулаки — всё туже.

И каждый вдруг румянцем запылал,
и крики: «Правда! Правда!» — дружно разом
раздались, и как будто бы обвал

сорвал нас с места, просквозил экстазом,
объединив в гремящий дружный хор:
нас не склонить к подлизам и пролазам!

Мы жизнь хотим приветствовать в упор!
Как те, чьи голоса нам сердце грели
и широко на мир раскрыли взор.

. . . Звонки на чай назойливою трелью
ударил вдруг. Напьются и без нас!
Проникнуты торжественною целью,

мы начали письмо: про грозный час,
про бунт, про наше палочное право. . .
Вдруг кто-то стукнул в рисовальный класс.

«Вот где они, — слышалось. Лукаво
ванильный голосок пропел: — Ага!
И ключ внутри. . .» К Ивану мы: «Раззява!

Ты что ж ключа не вынул? . . .» Зашагал
на цыпочках к дверям он: «Знать, подлезли
доносчики! Молчок! Сам ректор «Га».

Треклятый „Если“». (Ректор всюду «если»
любил вставлять. Как что — «Пошли к свиньям
вы с богом, братцы, га?») — «Опять воскресли,

собравшись, бунтари? Вот я вам дам!»
Всё время он стучал. Пришел инспектор:
«Отсюда не сбегут! А там, вон там,

представьте, обнаружил я, что «Гектор»
в котельной с нелегальщиной. . . Запор
за ним закрыл я накрепко. . .» И ректор:

«Он! если! не сбежал! то я! . . — потер
он руки радостно. — Га?» — и затарахтели
шаги по изразцам. И наш задор

утих. Что ж, расходиться? Посмотрели
мы друг на друга хмуро. И у всех
вдруг отвердели скулы: мы ж хотели

писать на Капри! Что ж это, на смех?
«Вкрути фитиль. И в двери — понимаешь?
Ключа чтоб не было. Скорее! Тех

собак еще бояться!» Ожидаешь,
волнуешься, все чувства подавив. . .
О море, море! Ты себя вздымаешь,

свою волну. Услышь же наш порыв —
и в нашей жизни прошуми разочек!
К тебе сквозь ветра свист и пенность грив

мы подаем свой свежий голосочек!

10 апреля 1938

126. МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

В юрте я сидел, гостюя, на коврах
у столетнего акына, у Джамбула,
когда сразу птицею сверкнула
радость телеграммою в руках —
крыльев взмах!
Украиною родной на всех пахнуло!

Все, кто рядом ели беш-бармак,¹
всполошились: что там? знать желаем!

¹ Казахское национальное блюдо.

В депутаты выдвинут ты краем?
Весть счастливая! чудесно! добрый знак!

И казах
перевел Джамбулу — и запел хозяин:

«Ой, домбра, Джамбулова домбра!
Обласкай поэта рокотаньем мерным,
песенным зерном осыпь отборным,
чтобы никогда не осушал пера
для добра,
чтоб слугой народа был он верным.

Ой, домбра моя — душевных две струны!
Помнишь ли о жизни нашей бедной?
А теперь мы все — хозяева страны,
счастливы и дочки и сыны!
Так звени
славой партии — высокой и победной!»

Тут Джамбулу встал я и ответил:
«Разум, осветленный сединой!
Ты пшеничный колос, я — ржаной,
но один нас дождь
поил на свете,
всенародной мыслью день наш светел!

Ну, прощай, Джамбул! И степь, и ты, гора!
Мне проститься с вами, братья, время.
Вот уж сердце над горами теми —
у Тарасовой могилы, у Днепра.
Мне пора
быть, где зреет новой жатвы семя».

И, вернуться на Украину поспешив,
вот я весь стою как есть — здесь перед вами!
Сразу радости не выразишь словами!
В дни преддверья урожайных жнив
всех объединив,
слава партии и в городах и над полями!

1938

127. В ХАРАКСЕ

Рассвет. С постели встал я. Санаторий
еще не просыпался. Ожил сад.
В нем птицы все никак своих историй
не выщебечут. Утру, видно, рад,

садовник поливает сад высокий,
вода шумит по листьям. А гора
Ай-Петри розовеет на востоке —
ударил ярко первый луч! Пора!

И тороплюсь я к морю. И неволюсь,
задерживаюсь. С вечера звенит,
а что звенит во мне? Какой-то голос

припомнить силюсь. Поглядел в зенит —
там самолет. Ах вот что! Наши полюс
перелетели! Полюс! Солнце! Жить!

Июль 1937

128—130. (ИЗ «БРЫМСКОГО ЦИКЛА»)

1

АЙ-ПЕТРИ

Уж ночь близка. Зубчатый
гранит изрезан, взрыт.
Вдали огонь горит,
деревья тишиной объаты.

Сверчков в сквозном просторе
не превозмочь никак.
И только море, море,
бестрепетный маяк.

Весь мир — само вниманье,
он превратился в слух.

Разбрызгано вокруг
сиянье...

Ах, встречи в час ночной!
Как будто Дафнис с Хлоей
всю ночь лепечут, стоя
под полною луной.

А дальше в синем небе
Ай-Петри как закон —
и в небо вознесен
из камня высеченный гребень.

2

ПРОРЫВ

Дельфин не пенил моря,
без туч плыл солнца шар,
о давней синей теме
задумалась гора.

Я шел и оглянулся —
как будто кто позвал?
Сверкнуло, полоснуло,
ударило в слова.

И дождь заколыхался,
смешав густую муть.
И гром горячей речи
пронзил над морем тьму.

Я побежал. Над мутью
то был такой прорыв!
На две октавы ниже
шумело от горы...

ШАЛАШ

Ходит ночь по саду
лунными шагами,
звездными лучами
сеется сквозь тьму.

В темноте я слышу:
кто-то землю грызет,
кто-то дергает подпорки
и шуршит по шалашу.

Я встаю, я свечу:
юрко лезет сколопендра,
паучок на потолке.

Я встаю, я свечу:
на столе сидит цикада,
под кровать забился еж.

Сколопендра — наутек,
паучок спустился,
а цикада повернулась —
так и смотрит мне в рот.

Ах ты чертова цикада,
ах ты верткий паучок!
Ой, до вас и доберусь я,
ой, возьмусь — да накричу.

Что ж вы, право, — лапками,
что ж вы, право, — хвостиком
с потолка и прямо наземь!
Из-за вас и не уснешь!

Вижу — лапки слушают,
слышу — стихло в шалаше.
Мне же стало совестно,
грустно стало на душе.

Кто ж его похвалит
за такой вот спорт,
если вдруг на грудь присядет
черное, как черт?

Кто ж его погладит,
сказкой развлечет,
если на ухо присядет,
ужин свой жует?

Ведь само — без уха,
а то и без глаз —
не теряет духа,
не боится нас.

Ах ты моя прелесты!
Усы на носу!
Борщ ты, может, любишь?
Завтра принесу.

Голубые крылья
так идут тебе!
Хочешь грамоте учиться?
Это «А». . . Вот «Б».

Только что ж ты плачешь?
Травки хочешь? Да?
Стой! Тебе же кто-то ножку
откусил! Беда!

И у вас там войны?
И у вас бои?
Милые, милые,
милые мои! . .

Ах ты чертова цикада,
ах ты верткий паучок!
Погашу сейчас я лампу
и уж больше не зажгу.

Ходит ночь по саду
лунными шагами,
звездными лучами
сеется сквозь тьму:

1926
Алупка

СТАЛЬ И НЕЖНОСТЬ

(1941)

131. НА ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА

Наградил народ поэта...
Что скажу ему на это?
Только то, что вместе с ним
я иду путем одним.
Буду песнею сражаться,
и мужать, и сам мужаться,
через трудные пути
без усталости идти.
Ой, каким же быть мне ныне:
с холодком травы-полыни
иль суровым, как металл,
чтобы враг затрепетал?
Расстановка сил на свете
так неслыханно сложна,
что Европа в ближнем лете
всколыхнется вся до дна...

И народ поет-играет,
он мне громко отвечает:
«Сталь и нежность, мой совет,
сочетай в себе, поэт!
Всё вмести: полыни шорох
и Европы дымный сполох,
песней ладной разузорь
и предгрозье и лазорь.
Песню ты затей такую —
мускулистой, огневою,
что могла бы жить и жить,
с чистой правдою дружить».

Наградил народ поэта.
Слава всей Стране Советов,
слава тем, кто вел меня
к свету нынешнего дня!

Ой, земля моя без края,
как прекрасна ты, родная,
плодородна и мягка,
солнца луч — твоя рука. . .
Солнце греет и голубит,
на геройство сердце будит.
Уж давно проснулся я —
вон шипит на нас змея!
Да могу ли быть я ныне
с холодком травы-полыни
и могу ль спастись здесь,
если мир расколот весь?

И народ поет-играет,
громко мне он отвечает:
«От укусов и от жал
отбивайся, как кинжал!
Всё вмести в себе: природу,
думу вольного народа,
благодатный дух земной,
звезд кремлевских свет родной. . .
Ты наполнись полнотою
творческою, золотою,
что могла бы жить и жить —
с чистой правдою дружить».

1939

132. РУМЯНАЯ ДА РУСАЯ

Был прекрасен тот день. Небо — тихо и чисто.
Что-то брезжило, мнилось, в дивном блеске лучистом.
И вокруг — будто затрепетала земля:
услыхали мы зов из Кремля.

И слова полились — так поток серебристый струится, —
и на запад, на запад подвинулись наши границы!

То не пыль, то не рой саранчи, не пурга-снегопад —
это перья разбитой шляхты летят. . .

Ветер красные знамена развевает, развевает,
А бойцы на привале песню славы распевают —
про мудрую партию и про наш народ,
что преград не знает, устремляясь вперед.

И выходит тут Гоголь: «Земля ты родная! —
Галичину жалеет, руки к ней простирая. —
Галицкий край, горемычный. . . То над тобой
тешились вечно паны и насильник любой.

Ой, то ли мне видится, ой, то ли мне снится,
что от Сана по Донец желтеет пшеница!
А колосья на ветру шелестят, шелестят,
виноградных садов зеленеет водопад. . .»

И выходит Шевченко, смеется и плачет.
А солнце над ним, а солнце потоком горячим:
«Ну, здравствуй, Тарас. . . Дождались мы денька!
Обнимай Федьковича, целуй Ивана Франка!»

Ветер красные знамена развевает, развевает.
А бойцы на привале песню славы распевают —
про мудрую партию и про наш народ,
что преград не знает, устремляясь вперед.

Ой, свобода моя, ты румяной да русой,
долгожданною пришла к украинцу, белорусу.
Где одна беда ходила — нищей, голой, —
там теперь приволье, песня, флаг над школой.

Ой, то ли мне видится, ой, то ли мне снится,
что от Сана по Донец желтеет пшеница!
А колосья на ветру шелестят, шелестят,
виноградных садов зазеленел водопад. . .

Ветер красные знамена развевает.
А бойцы на привале песню славы распевают —
про мудрую партию и про наш народ,
что преград не знает, устремляясь вперед.

1939

133. ФЕДЬКОВИЧ У ПОВСТАНЦА КОБЫЛЫЦИ

Что терпел от злого батьки
славный юноша Федькович,
ни словами не расскажешь,
ни душою не постигнешь.
Ведь семья одна и хата,
только бы и жить, казалось,
да отец за старину был,
а сынок о новом грезил.
Тут-то жизнь и раскололась,
каждый день раздоры, крики:
«Я в полицию отправлю!
Ты не признаешь закона?
У Лукьяна Кобылыци
бунтовать ты научился?»
Видит сын: в дому — что в пекле,
не бывать вовек покою.
На бумаге стих напишешь —
выхватят из рук и — в клочья;
слово скажешь про свободу —
кинут палкою тяжелой.
Злым ли быть или покорным —
что всего важнее в жизни?
Свет ты мой! Ну, где отыщет
человек себе защиту?..
Как-то вырвался из пекла
молодой поэт Федькович,
и поднялся он на гору
буковинскую, родную.
Он идет, а ветер свищет,
буки старые колышет,
нагоняет тучи злые
на высокую вершину.
Он идет, и вдруг за шею
каплей капнуло холодной.
Молния блеснула в туче,
и пошло тут грохотанье...
Огляделся, осмотрелся
смелый сокол, юный горец,
и отверстие увидел
при дороге в горных камнях.

Он забрался в ту пещеру
да и стал внимать природе.
А она в великом гневе
землю молниями била
и шумела шумом ливня;
и, ревя, неслись потоки,
и катились вниз каменья,
далеко куда-то, в бездну. . .

И воскликнул в удивленье
славный юноша Федькович:
«Сколько ни бродил в горах я,
а такого не бывало,
чтоб в одну минуту в небе
столько гнева сгромоздилось!
Бушевать так может только
лишь повстанец Кобылыця».
— «А ты кто такой? Откуда?» —
вдруг послышалось в пещере.
Смотрит: никого не видно,
только мрак вокруг глубокий.
Видно, эхо отозвалось
гулкое в пустой пещере.
И опять разговорился
смелый сокол, юный горец:
«Неужели не придется
никогда с ним повстречаться?
Так меня к нему и тянет,
удержаться нету силы».
— «Почему же не придется?» —
вновь послышался тут голос,
и из тьмы пещерной вышел
исполин в простой одежде.

«Ты хотел меня увидеть?
Вот и я. . . Да ты не бойся:
никого не обижает
справедливый Кобылыця. —
Промолчал юнак Федькович,
улыбнулся Кобылыця,
только молнии сверкали
да в горах ревели воды. —

Успокойся, милый хлопче,
здесь тебя не задержу я:
только ливень перестанет —
ты домой назад вернешься». —
И юнца тут потрепал он
нежно по плечу рукою,
усадил его на камень,
сам же к стенке прислонился.
Словно мак, юнец раскрылся,
всю печаль свою поведал,
всё свое большое горе,
горькую несправедливость:
«Лучше б мне не видеть неба,
лучше б мне не видеть солнца,
лучше б помереть мне сразу,
чем терпеть такую долю!»
И сказал ему с улыбкой
справедливый Кобылыця:
«Ой, дитя мое родное,
полевой мой колосочек!
Не клянись ты небом-солнцем,
жить, дитя, не зарекайся.
Лучше сделай так, чтоб люди
на руках тебя носили.
Ты всё думал допытаться:
что всего важнее в жизни?
Я скажу: стоять за правду,
бедных вызволять из гнета.
Умягчить хотел ты сердце
на зеленой на природе?
Я скажу: напротив, нужно
закаляться, укрепляться,
потому что будет время —
весь народ восстанет грозно,
и тогда в борьбе кровавой
надвое мир распадется!
Вот когда твоя отвага
непреренно пригодится:
будешь славным стихотворцем,
вдохновителем народа.
На великой Украине
грянет гром грозы народной

против черного насилья, —
надо нам помочь народу!
Не забудь, что лишь оттуда
встанет солнце — солнце воли.
Верю, верю, что сольется
Буковина с тем народом.

Вот и всё, дружок, как будто,
что хотел тебе поведать . .
Гром утих, гроза промчалась,
лишь шумят еще потоки.
Видишь: хлеб перед тобою,
видишь: сыр, вода в кувшине,
подкрепись и отправляйся
и готовься к новым битвам.
Проводить тебя я рад бы,
да нельзя мне появляться,
чтоб полиция не знала,
где готовлю я восстанье.
Жил в пещере этой самой
некогда Олекса Довбуш, —
значит, ты запасся силой
Довбушевой и моею.
Ну, прощай, иди тихонько,
чтоб нога не поскользнулась.
Ой, дитя мое родное,
полевой мой колосочек!»

«До свиданья, — подымаясь,
молвил юноша Федькович, —
вашей речи о закале
никогда не позабуду,
буду первым в грозной битве,
буду ратовать за бедных,
буду нашу Буковину
поворачивать к восходу!»
И отправился Федькович,
стал спускаться вниз, веселый.
Солнце вышло из-за тучи,
путь-дорогу осветило.

И запел Федькович песню
так, что люди удивлялись:
кто это на горных склонах
про свободу распевает?

1940

134. ЮНЬ

Или не о чем писать,
или сон привиделся,
что я мысленно взлетаю,
в молодых годах витаю —
порх, порх, порх, порх, —
к юности приблизился.

Вот пришел я в темный сад —
сад-то как шатается!
«Где она?» — спросил у ветра.
Затанлась, видно, где-то.
«Цыть, цыть, цыть, цыть», —
соловьи поют.

«Люба, счастье, где ж ты есть?»
— «Тут!» — вот-вот и вырастет.
Я бегу за светлой тенью —
это вишня, вся в цветенье!
Хить, хить, хить, хить —
вот какие хитрости!

Только капля где-то: ёк!
В тон водица ёкает.
Я вздыхаю: всё забыла,
задыхаюсь: разлюбила?
«Цыть, цыть, цыть, цыть», —
соловей прищелкивает.

Сам ты «цыть». Я, из кружка
тайного вернувшись,
лесом шел, не по дороге,
ободрал шипами ноги, —

я, я, я, я
вроде как рехнувшийся.

Ой, проклятая пора!
Сердце всё кровавится...
Царь, распутный Николашка, —
церковь, кнут да водки фляжка —
день в день, день в день
грабит не награбится.

Показалось... Нет, то клен,
ветра в нем овации...
«Тут!» — шепнуло. Подожди же,
я ловлю... она всё ниже!
Нет, нет, нет, нет —
юная акация.

Не цвела еще, а вот
колется, балуется —
машет ветками и лупит:
нет — не любит, нет — не любит,
кинь, кинь, кинь, кинь —
не с тобой целуется.

И поник я головой:
лучше б смерть явилася...
Сразу любя рядом стала,
ласточкой защебетала:
«Что, что, что, что,
что с тобой случилось?»

«Как так „что“? Я жду всю ночь!
Объясни по-дружески,
почему ты опоздала?»
А она: «Я так бежала!
Ты, ты, ты, ты
вспомнил бы о мужестве!»

Может, умер мой отец,
а ты что... не ревность ли?»
-- «Как так умер... Зря пугаешь? —

Взял ее за руку: — Знаешь,
ну, ну, ну, ну,
ну, прости!» — с душевностью.

«Да не умер... это царь
злобно издевается».
— «Как! — я вскрикнул. — Вновь
гадюки?»
— «Не кричи, жандармам в руки
все, все, все, все
так и попадаются».

Обнялись — ни слова — мы;
гнев за нами следовал!
Щечку гладил ей щекою,
а сам думал: «Смерть покою!»
«Цыть, цыть, цыть, цыть», —
соловей советовал.

И, моим желаньям в лад,
ты забеспокоилась,
от меня вдруг отвернулась:
«Вот кончается и юность!
Юнь, юнь, юнь, юнь —
я ж и не освоилась...»

Про борьбу не знала я —
вырастала, радовалась.
Как и все, отец трудился,
он с фабричными водился,
где, где, где, где —
я и не догадывалась.

А теперь... пришла пора
цепи рвать закованным!
Палачам — добра не видеть,
я умею ненавидеть!
Смерть, смерть, смерть, смерть,
смерть всем коронованным!

Увели отца... за что?
Что царю не нравится?

Я теперь уже прозрела,
научиться бы хотела —
смерть, смерть, смерть, смерть, —
как с царем расправиться!»

«Люба! Здорово ж у нас —
славное свидание!
Сильной ты живешь и вольной,
так пойдешь в кружок подпольный?
Там, там, там, там,
там твое призвание».

«Хоть сегодня! Поведи!»
— «Дело наше ширится.
Наша правда переборет.
От царя на свете горе!
Нет, нет, нет, нет,
с ним душа не мирится».

И стояли мы вдвоем.
Петухи горланили...
Целовал глаза родные,
серебристо-золотые.
«Щелк, щелк, щелк, щелк», —
соловьи аж ранили!

И стояли мы вдвоем,
счастливы, как на небе.
«Ну, прощай», — она сказала.
Я стоял, она стояла.
«Ну, ну, ну, ну?
Ты пойдешь когда-нибудь?»

Я сказал: «Иду, иду».
Самому ж — ласкаться бы.
Я ласкался, обнимался,
в душу взором углублялся:
ах, ах, ах, ах!
Вечно любоваться бы!

Без прощанья, без конца
так мы досвиданьились.

А кусты цветами пахли,
нам роса дарила капли, —
тень, тень, тень, тень,
тучи разругались.

Подняла заря клинок,
пламя — во все стороны. . .
Об отце мы вспомнили.
Птицы ранние мелькнули —
кар, кар, кар, кар, —
за вороной — вороны.

Дунул ветер, не нашел.
С бешеными воплями
полетел шуметь по саду,
на гнезде сорвал досаду.
Стих, стих, стих, стих
соловей нахохленный.

Мы расстались, разошлись —
или так почудилось?
А я мысленно взлетаю,
в молодых годах витаю, —
так, так, так, так,
так мне запричудилось.

1940

135. МАКСИМУ РЫЛЬСКОМУ

Еще как в семинарии учились,
Бывало, нам учитель задает
Урок на завтра, а покуда я
Тихонько вынимаю из-под парты
Ту маленькую книжечку. Она
Звалась так чудно, что ее название
Я всё твердил: «На белых островах,
На белых островах. . .» Темным-темно
За окнами, и хлещет дождь, и сон
Охватывает голову. Учитель
Скрипучим голосом вбивает колья
В мозги. И снова бьет по ним. (Он был

Прямой как шест и подстригал всегда
Свою бородку на манер Иисуса.)
«Тридцать восьмой параграф все нашли? —
И помолчит, а после сразу, сверху
Пристукнет, словно обухом: — Возьмите
Про троицу святую и о том,
Как к разуму относится сей догмат.
Все поняли?» И вот я машинально
Кивал ему, по горло погружаясь
В ту книжку, что скрывал под «Богословьем».
Какие ветры, о, какие бури .
Меня качали! И в какой простор
Они мои мечтанья заносили!
Не знал, не замечал я, как вздымался
На крыльях вверх, до облаков. . . Земля
Уже внизу. Далёко. Я — в лазури.
Лечу, счастливый. . . Как же тут свободно,
Как широко! Гляжу: навстречу тучка,
Так нежно спрашивает: «Что, устал?
Садись и отдохни». И я охотно
На краешке садился у нее,
На белом острове летучем. Небо
Вверху, а бездна — вниз, а бесконечность —
Кругом, и так легко, легко дышать.
Я поднимаю руки к облакам,
Что проплывают надо мною. «Стойте!»
Но облака плывут себе, плывут,
Не обращая на меня вниманья!
Так вот вы как! Ну что же, подождите!
И я кидаюсь в бездну и на крыльях
Парю меж облаков, а после сразу
Одним рывком взлетаю прямо вверх,
Пока не нагоняю тучек тех
И не встаю на них как победитель.
Весь мир плывет за тучками, и я
Плыву в пространство вместе с миром. Песня
Победно вырвалась из горла. . .

Но

Я замечаю, чувствую внезапно,
Что тишина какая-то настала.
Что это? В классе я! Ко мне учитель
Подходит, как лисица: «Повторите,

Что я сказал про бога!» И ехидно
Смеется. Но как раз звенит звонок,
Оповещая о конце урока.
(Спасибо же ему.) И вот — молитву
Дежурный барабанит. Все вскочили,
И прочь пошел прямой как шест учитель.
Весь класс ко мне: «Да где ты был? Куда,
Куда же ты летал, что не заметил,
Как подошел учитель?» Я в ответ:
«На белых островах я был, — слышали?
На белых островах. . .»

Ведь в самом деле,
Покачиваясь у мечты на крыльях,
Я залетел туда, откуда мне
Земля была как на ладони. Знаю:
Мечта тогда могла меня завлечь
Бог весть куда. А вот не завлекла,
Хотя спасла от семинарской скуки.
Да как же не мечтать: ведь молодой
Я был еще — такой же молодой,
Как тот поэт — прозрачный и сердечный,
С которым познакомился по книжке.
Тем более что, помечтав, мы снова
На землю возвращались и на ней,
Ободранной, видали капли крови.
Пустынные то были времена —
И черные и дикие. Царизм
Над вольным словом учредил тогда
Свою «опеку». Ведь тогда погиб
Архип Тесленко! Я протест услышал
В той книжке маленькой, что называлась
«На белых островах».

«Позор, позор
И стыд нам!» Мне увидеться хотелось
С поэтом юным, чутким. Будь же ты,
О молодость, благословенна трижды!
Благословенно будь соединенье
И перекличка душ! Из поднебесных
Давно мы оба выросли в земных.
По узким тропкам вышли на дорогу
Широкую, народную! И ты
Трибуном стал, оставшись молодым!

Счастливо наше время. Слово
В почете и любви у нас живет.
Воистину презолотое время!
Поэт любимый! По пути тому же
Широкому иди! Слагай нам песни,
Слагай нам звонкие, слагай такие,
Как та, что весь народ поет, —
Та песнь — о партии.

1940

136. ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ

Нам надо голоса Тараса. Громко
чтоб он прославил наш могучий день.
Пусть чувствуют враги — мы из железа.
Задушим и раздавим мы того,
кто посягнет на нас.

Нам надо голоса Тараса. Солнце
над нами светит. Солнце ж передать
возможно только песнею живою —
глубокой, величавою. Эгей,
поэты, глубже тон!

Ведь глубже стала жизнь у нас, богаче
и шире путь, и нивы золотей. . .
Сооружаем для людей заводы,
и для людей театры; добрый день
трудящимся земли!

Нам надо голоса Тараса. Море
шумит вокруг. Оно беснуется,
бурлит. И вся заражена Европа —
и кашляет, и брызжет, и вот-вот
там загремят грома!

Нам надо голоса Тараса. Пекло
царит над морем — как жандарма сон, —
оно полет свободной думы душит.
Но вот уже из туч огонь сверкает:
еще там грянет гром!

Повсюду там могучи силы массы
народной. Берегись, вандал! Ты сам
за кровь невинную — своею кровью
и за Испанию, и за Китай
заплатишь широко.

Ой, широко заплатишь. Кровь злодеев
вдаль понесет, разлившись, не одна
в Европе речка. И свободы знамя
взметнется высоко. И вырвется
такой могучий гимн. . .

И что чудесно: в том могучем гимне —
мотив Шевченко зазвучит, как там,
в Испании, там, где носила рота
поэта имя с гордостью
на знамени своем.

1 марта 1939

137. АМВРОСИЙ БУЧМА

Клич свободного, горем гонимого,
прямота и сердечность Энеева. . .
В мастерстве его столько сравнимого
с контрапунктом суровым Танеева.

Весь — борьба против штампа давнишнего,
против схемы, узорной невзрачности.
Ничего не ищите в ней лишнего,
в этой сложной и стройной прозрачности.

Та прозрачность трудом лишь досталась:
вся ведь жизнь что гряда переполота! . .
Закалялась душа, закалялась,
и потом зазвенела, как золото.

Та прозрачность, уменьем возвращенная,
разумеьем людей, человечностью,
в каждой роли — мечта воплощенная,
что живет и звучит в бесконечности.

Он не знает идей разъезженных,
когда образ в мундир облачается:
среди образов, Бучмой взлелеянных, —
Ленин сердца теплом излучается.

И за то ему слава с приветами,
и встречайте его вы литаврами.
Он сегодня забросан букетами,
он сегодня увенчан и лаврами.

Бучма — друг претворения сущего.
Бучма — враг пустозвонящей модности,
дар художника, вечно растущего —
весь в народе, в народности.

У артиста одно назначение —
быть правдивым и ясным в природности.
Бучмы нашего суть и значение —
дух народности.

1941

138. ЛИДКА

Протянувши ловко ножки,
Лидка села и сидит,
и березку, что у стежки,
у извилистой дорожки,
Лидка весело стыдит:
«Я к тебе, что ль, зря пришла?
Посмотри на дуб — он целый,
ты ж стоишь осиротелой,
лист твой на землю летит.
Вся-то ты голым-гола, —
или жизнь уж не мила?»

А березка, облетая,
говорит: «Постой, постой!
Я тебе, дружок, покаюсь, —
я, конечно, осыпаюсь,
хрупок лист мой золотой.
Ну, а ты-то где была?»

Лето целое цвела я,
лето целое ждала я...
Ты же медлила, не шла.
Я тебя, что ль, зря ждала?»

Лидка хлопает в ладошки:
«Значит, любишь ты меня?
Любишь, любишь, не скрываёйся,
лучше сразу признавайся —
всё равно увижу я!»
А березка ей: «Ну что ж,
не таюся я ни крошки:
без девчонки-быстроножки
жизнь безрадостна моя.
Ночь придет, и то взгрустнешь,
а на дни-то перемножь!»

А ей Лидка: «Перемножить?
Нет!.. Я складывать, считать
у братишки научилась.
Знаешь, как я наловчилась?
Вот, к пяти прибавить пять —
будет десять... Поняла?
Ну, а там делить да множить —
не могу... И мама тоже
говорит: „Еще мала,
в лес, к березке бы пошла“».

Тут березка засмеялась —
слезы радости блестят...
Говорит: «Ну что за мама!
Да ведь это диво прямо,
у тебя не мама — клад!»
Лидка ей кричит: «Ну да!
Я от мамы — догадалась?
Я к тебе затем примчалась,
чтоб с тобой уйти назад.
Ты у нас побудешь, да?
А потом придешь сюда...»
А березка ей: «Спасибо,
только я почти во сне.
Очень уж заснуть охота,

и не влезу я в ворота,
да и в доме тесно мне.
Я зимой на миг очнусь —
подо мною снега глыба,
надо мною, будто рыба,
солнце ходит в вышине. . .
А зима пройдет — проснусь,
снова в листья уберусь».

Лидка важно погрозила:
«Ну, смотри не подведи!
Да про наши разговоры
и про наши уговоры —
не рассказывай, гляди!
Будь здорова! Я пойду!»
Лидка весело вскочила
и домой пустилась было,
да вернулась: «Слышишь, жди,
я весной к тебе приду!»
А березка шепчет: «Жду! . .»

Лидка к маме прибежала:
«Мама, если бы хоть раз
всем дубам зеленым дали
(чтоб они к нам приезжали)
по колесу у нас.
А березке — целых два! . .»
Мама: «Где ты запропала?
Руки, платье измарала, —
вот задам тебе сейчас!
Где была?» А Лидка ей:
«У березки у моей! . .»

1938

139. ПАМЯТИ ОКСАНЫ ПЕТРУСЕНКО

Не голос — соловьиное сопрано,
серебряная чистая игла!
Ой, рано, рано, слишком рано,
Оксана, ты от нас ушла. . .

Ее отваге песенной — осанна!
Стремительно росла она, росла!
Ой, рано, рано, слишком рано,
Оксана, ты от нас ушла. . .

У нас цветенье, лето: засмеялась
природа вся! Чудесный урожай!
А ты в далекий путь собралась?
Не уезжай, не уезжай. . .

Ну, подари нас дивным взглядом синим
и песню спой родным своим сынам —
и Бессарабии, и Буковине,
что потянулись к нам.

Прислушайся к внимательному слову
друзей твоих: за то тебе хвала,
что людям песнь дарила, как обнову,
и верной Партии была.

Народ — ты песнею служила Украине —
носить твой образ будет на руках!
Что смерть? Тебя скосила ныне,
но память о тебе — в веках! . .

Не голос — соловьиное сопрано,
серебряная чистая игла!
Ой, рано, рано, слишком рано,
Оксана, ты от нас ушла.

1940

140. ЕДЕМ ИЗ БОЛЬШОЙ БОГАЧКИ
(ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ КОВЗАРЯ Ф. Д. КУШНЕРИКА)

Ночью зимней едем понемногу,
звезды будто новые блестят. . .
«Выхожу один я на дорогу» —
в голове моей слова звенят.

Едем из Большой Богачки. Гладкий
снег-снежок на целый мир скрипит.

Синь-то, синь! Бегут себе лошадки,
«и звезда с звездой говорит».

Вниз передняя пошла подвода.
Мост гремит, — да это Псел-река!
Километр всего до небосвода,
только даль, как прежде, далека.

Даль бежит от нас в свои аллеи,
в том и жизни смысл, чтоб догонять.
У Кушнерика на юбилее
нас в Богачке было двадцать пять.

Снова поле. Как челнок в тумане,
ветер гонит нас в два весельца...
Что и говорить, односельчане
своего отметили певца!

Ах, чудесно виденное мною.
Наша жизнь не требует прикрас!
Лермонтова путь был застлан тьмою —
все пути освещены для нас.

«Выхожу один я на дорогу» —
до чего же горькая строка!
Солнышко свободы на подмогу
нам пришло — дорога с ним легка!

Труд на совесть! Петь так, чтоб широко
нашей песне был весь мир раскрыт!
...Снег скрипит. Ярьськи недалеко,
«и звезда с звездой говорит».

23 декабря 1940

141. ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА

«Павлуша! Обувайся, да скорей, —
в Чернигов едем! В монастырь, Павлуша,
там елецкий живет архиерей, —
ты будешь в хоре певчим. Разумей —
большой уже, довольно бить баклуши!»

И мать поддакнула отцу: «Как быть! —
Погладила меня рукой нестрогой. —
Ты видишь сам, сыночек, трудно жить!
Дал бог бы только в бурсу поступить
тебе! . . Присядемте перед дорогой!»

Немного посидели. Настежь дверь.
Мою корзинку в передок подводы
уже Владимир ставит. Конь — как зверь,
дрожит весь. . . «Ну, прощай,
Павлуша! Верь
в людей!» — И, ласковая от природы,

всплакнула мать. . . Сорвался Незевай
и на коня залаял. Побежали
за нами Ксения с Костей. «Приезжай!» —
кричал Евгений, слышно было: «Ай!»
Да не угнаться — быстро мы погнались. . .

И вот Чернигов. Утро. Город спал.
На крышах — иней. Мостовые звонки. . .
Зевая, дворник площадь подметал.
Я сбегал в сад, каштанов насбирал.
Купили на базаре мы печенки.

«Борща!» — кричали там. — «Горячих щей!»
Ударил колокол. «Куда мы, татко?»
— «Пойдем, еще не видел ты мошей».
Пятак я положил. «Святых вещей»
нам дал монах: иконку, крестик, ватку.

Мы вышли. Звон летел со всех сторон.
«Ну, в монастырь! — отец перекрестился. —
Господь помог бы сбыть тебя!» И он
вздыхнул всей грудью. Мы пошли на звон —
и перед нами Елецкий открылся.

Высокие ворота. Слепил
крест золотой. Паломники с сумами. . .
Чернец навстречу им — благословил.
«Так я в монахи, татко, поступил?»
-- «Молчи! Вот дурень, голова с ушами!

Ты думаешь, одни монахи тут?
Петь будешь ты в архиерейском хоре,
учиться в бурсе. Тут хоть и побьют,
а всё ж... труды твои не пропадут.
А без науки — наберешься горя...»

Мне было восемь лет. И голосок
был у меня тоniusенький. По слуху
любую песню перенять я мог.
И вот пришли мы. Вижу, регент строг.
Взял за плечо меня: «„Святому духу“

умеешь?» — и на скрипке дерг струну!
Молчу я, не пойму, чего он хочет.
Отец же: «Дайте я его встряхну,
так рот свой тотчас он раскроет... Ну?
Вот диво: дома целый день стрекочет!»

Тут регент снова: «„Господи воззвах“
второго гласа!» И чего он взъелся?
Смотрю в окно. Вон птица в облаках...
Отец мне на ухо: «Ну просто страх,
что за дитя! Куда ты загляделся?»

Стояли за раскрытым в сад окном
ребятки в серых блузах и смеялись,
грозили мне за что-то кулаком,
язык показывали, а потом,
мяуча по-кошачьи, кувыркались...

Промолвил регент: «Поезжай назад.
Не плачь и не проси, таких не надо!» —
Я и не плакал: всё глядел я в сад,
где мальчишки зачем-то стали в ряд...
Отец заплакал с горя и с досады...

И регенту до пояса поклон:
«Прошу, примите! Пропадет несчастный!
А голос у него — что камертон!
Пускай вам „Тече річка“ спел бы он
или хоть „Спи, младенец мой прекрасный!“»

Тот усмехнулся: «Хорошо! Пускай из светского, как любят петь горланы. . . Ты! — тут ко мне. — Не стыдно? Ай-ай-ай! Забыл божественное! . . Ну, давай! Вишь, нагрузил каштанами карманы!»

«Ну да! — отец добавил. — Дуралей! Не дело держит на уме — забаву! А ты, сынок, уразуметь сумеи: семья у нас большая, трудно с ней крутиться. . . Не прокормишь всю ораву!»

Потрогал регент скрипку: «Ну, земляк, бери! Что трудно жить, мы это знаем. . . Не голос — серебро! . . А ты, чудак, молчал! . . А ну, возьми теперь вот так! . . Спой песню!» Я тут «Ой, за гаём, гаём»

так отхватил, что мальчики в рядах раскрыли рты. Сам регент удивился. Сказал: «Ну, значит, будешь в дискантах ходить. А только „Господи воззвах“ чтоб выучил!» Отец же поклонился:

«Не знаю, как вас отблагодарить!»
А тот: «Нам благодарности не надо, вот мальчику. . . чтоб книги мог купить. . . по книгам будут бурсака учить. . .» — и вышел. Сорванцы — ко мне из сада.

Вокруг загомонила детвора:
«Откуда ты? — галдят. — Откуда взялся?»
— «Ну, я пошел, — сказал отец, — пора!
Не балуйся, не бегай со двора. . .»
И, сняв слезу, со мною попрощался.

Я не опомнился, как вдруг: «Жучок! — в сад кто-то крикнул. — Посвящать идите!»
Вмиг набежали: «Где он, новичок?
Души подушкой! Поддай в бочок!
Вот мы тебя! . . Сюда, Жучок! Лупите! . .»

Тут в келью репетитор подоспел,
и все притихли. «Что ты корчишь гостя? —
ко мне он. — Книги где твои, пострел?» —
и что есть силы по руке огрел
меня линейкой. . . Почему-то Костя

и ласковая мать моя тогда
мне вспомнились. . . Тоскливо стало, гадко
и больно так. . . «Привыкнешь, не беда! —
промолвил репетитор. — Вот вода,
ты выпей. Да не забывай порядка!

А не по вкусу — так ступай домой!»
Тут с колокольни — звоны-перезвоны. . .
Мне дали гору нот: бери с собой!
И я понес, голодный, сам не свой, —
с тех пор возненавидел я иконы.

31 декабря 1940

142. А. Е. КРЫМСКИЙ

(КАКИМ ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ АВТОРУ ЭТИХ СТРОК)

Весна! Сережки на березе стройной.
С зеленой кистью ветер мчится вскачь.
Беги! С горы скатился еж как мяч. . .
На всё глядит, за всем следит спокойно
поэт, ученый с множеством задач
и сын народа, деятель достойный.

Идет он лесом. Дуб. Сосна. Осина.
Венок, сплетенный в стиле рококо,
на вербе. Аист взвился высоко.
Рабочий едет. Девушка тропинкой
проходит. Вспомнились ему Франко,
задумчивая Леся Украинка. . .

И брызнула слеза из глаз поэта.
«Погибли. . . Землю обойди, моря —
подобных не найдешь. . . Да, как заря

светилась Леся, и звездой рассвета
сиял Франко. Ей жертвой стать царя!
Ивана сжил австрийский трон со света...»

Идет он дальше. Вот, дыша прохладой,
из-под земли прозрачный ключ возник.
На волю хочет вырваться родник.
Ученый почву палкой взрыл. И рада
вода умчаться дальше в тот же миг.
«Я дал ей выход. Воля — всем отрада.

И мне был выход дан, — сказал ученый, —
советской властью. Все пути она
открыла нам. И мы себя сполна
ей отдаем. Как ручеек студений,
из сердца льется слов живых волна».
Ему ответил эхом лес зеленый.

Всё глубже в лес... И вот руины... Гротик
укрыл влюбленных от сиянья дня.
Она: «Ты будешь вспоминать меня?»
А он: «Бессмертья ключ — твой алый ротик.
Я твой навек... Пусть прозвучит, звеня,
Хафиза стих из Крымского „Экзотик“».

Ах, так разволновали эти фразы
ученому всю душу: «Вот оно —
меня читают, — шепчет. — Лишь одно
успеть бы: если б Низами алмазы
отчизне дать мне было суждено!»
(О чем-то птицы тут запели сразу.)
Пора вернуться... Путь давно знакомый...
Прощай, дубовый лес, зеленый луг!
И вот он дома, с книгою сам-друг.
Работать! Поколенью молодому
отдать всю душу. (Слышен дальний звук
рожка: то керосин подвозят к дому...)

А он всё пишет. Вслух промолвил слово.
Вздохнув счастливо, снова за перо.

Смеркается. И, словно у Коро,
сереют вещи. Труд кончая новый,
ученый нам дарит свое добро:
грамматика трудящимся готова!

Письмо. Откуда? Из Азербайджана.
И с Украины тоже писем пять.
Зажег он лампу. Надо прочитать,
что пишут. Про открытие урана,
про гелий два. . . Но поздно. Время спать:
уходит в Академию он рано.

15 января 1941.

П О Б Е Ж Д А Т Ь И Ж И Т Ь

(1944)

143. ТЕБЕ, НАРОД ЛЮБИМЫЙ МОЙ

И день, и свет, и сад в расцвете,
и трепет радуги-дуги. . .
Всего прекраснее на свете
ребенка первые шаги!

И юности тугие жилы,
и ощущение гроз в себе. . .
Стократ свои умножишь силы,
бойцом участвуя в борьбе!

Но этой силе — год за годом —
самой явиться не дано.
Ее постигнешь ты с народом,
всегда живи с ним заодно.

Не будь у жизни экскурсантом
и гостем на короткий миг. . .
Пусть диалектика брильянтом
блеснет в свершениях твоих.

Я песнь пою о человеке,
и песнь моя зовет в поход. . .
Она от сердца и навеки
тебе, любимый мой народ.

Течет вода, шумят осоки,
челны у берега в тени. . .
Земные молодые соки —
как освежают нас они!

В материю проник мой разум,
в движение, в событий ход. . .
Но это всё — твое, всё разом —
тебе, любимый мой народ.

И ветер, и дыханье влаги,
и дней грядущих череда. . .
На свете большей нет отваги:
не бойся жизни никогда!

Не в отблеске ножа значенье:
следи за остротой идей! . .
Строкой — сильней землетрясения! —
ты потрясешь сердца людей.

Тогда послужишь людям делом
и поведешь их за собой,
когда душа не поседела,
когда ты сердцем молодой.

Слова твои — как птичья стая
(пора забыть про седину!),
и в сердце девушки влетают,
и облетают всю страну.

И гром и дождь тебе не страшен —
развей ты ржавую печаль! . .
Ты будь выносливым, как наша
аустенитовая сталь.

Быть в гуще жизни! Жить борьбою!
Не знаю мудрости иной:
хочу всегда звучать тобою,
народ любимый мой, родной.

1941

144. ГОЛОС МАТЕРИ

Ужасна эта ночь была:
трещали стены, буря выла. . .
Мне тяжесть на сердце легла
и как свинец его давила.

«Встань, брат!.. Спаси!» — в мой сонный
слух

слова из бури долетели,
и беспокойства смутный дух
поднял меня с моей постели.

Я глянул в темноту, и мне
привиделось, что там висело
перед окошком, в вышине,
в петле качавшееся тело.

Я ужаснулся: «Это ты?»
— «Сними меня!» — мне кто-то крикнул.
Рукою холод темноты
ловил я, лбом к стеклу прикикнув.

...И мне почудилось, что вот
я в Киеве... Псы сворой тощей
грызутся... Недруг стережет
повешенных... Безлюдна площадь.

Заря там кровью запеклась,
там трупный смрад и ямы, раны.
Но выбьют немцев — близок час —
десанты наши, партизаны.

Как сладко жизнь отдать, друзья,
за свой народ, за счастье края!..
Бросаюсь к виселице я,
петлю ножом перерезаю.

На землю брата я кладу
и сердца слушаю биенье,
и, оживающий, в бреду
хрипит он: «Мщенье, мщенье, мщенье!»

Тут недруг выстрелил по мне,
и я проснулся. Дождь бил в крышу.
Так это было лишь во сне?
Как душно!.. Я из дома вышел.

Но тяжесть на сердце легла
и как свинец его давила.

Ужасна эта ночь была!
Деревья гнулись, буря выла...

«Тебя, — мне молвил кто-то вдруг
сквозь бури шум, — я разбудила.
Не спи! Пусть бодрствует твой дух!
Как никогда, нужна нам сила!

Идут друзья твои на бой —
не тысячи, а миллионы...
Пусть вдохновит их голос твой
к победе рваться непреклонно.

Идут полки, идут полки,
чтоб вражью раздавить ораву.
Дай им огонь твоей строки,
что закалялась в гневе правом.

Ужель ты слеп и глух? Взгляни:
вот те, кто пали, в край свой веря.
Они зывают: «Прокляни
нас всех замучившего зверя!»

Смотри, что делает злодей:
повешенных качает ветер...
Гнев беспощадный перелей
в свой стих!.. Гляди: убиты дети,

а матери осквернены,
отцы живьем зарыты в землю.
Почувствуй боль родной страны, —
тогда лишь я тебя приемлю!

Ведь ты зовешься молодым —
наполни голос силой края!
Сегодня я сынам своим
в огне и буре лик являю!

Будь тверд и крепок как алмаз.
Забудь обманчивую жалость!
Тому, кто ослабел хоть раз, —
я во второй раз не являюсь.

Ты узнаешь мой голос? Я —
вскормившая тебя, как сына,
страна Советская твоя,
твоя родная Украина!»

...И засвистело в проводах,
и стихло... Утро наступало...
Запели птицы на ветвях.
Лишь два луча простерлись в небесах —
мать к сыну руки простирала...

1942

145. В БЕССОННУЮ НОЧЬ

(Думы про Украину)

Погасла свечка. За окном морозы
безмолвием луны звучат.
Не спится. Ночь — словно печать.
Лишь на вокзале паровозы
задорно, весело кричат.

Я встал. Зачем? Вдруг бомба хочет
влететь из гулких галерей?
Раздастся грохот батарей?
И рама с дребезгом отскочит,
метнув осколки до дверей?

Но нет. Кругом ни звука. Сонно
среди планет летит Земля...
О родина, ведь сын твой я!
Не с тонким станом ты мадонна —
ты мать могучая моя!

Что с матерью? О, что там с нею!
К стеклу горячим лбом приник.
То не молитва и не крик,
душою чистою своею
на скорби натыкаюсь штык.

О Украина! Украина!
То ты в мучениях не спишь,

то ты страдаешь и горишь,
как небо ночью воробьиной,
вся грозною борьбой гремишь.

О Украина! Солнце воли!
Так больно мне от ран твоих!
Врага я сжег бы, мстя за них!
Твои страданья, муки, боли —
в себя я перелил бы их!

Я от земли рожден тобою,
твоим я вскормлен молоком,
бродил в просторе я твоём,
твоею силою живою
я полн, идя твоим путем.

А позже, как вошел я в годы
и голос начал крепнуть мой, —
запел, и вот само собой
я стал певцом твоей свободы,
твоей тревогою самой.

Не о своей забочусь доле,
тревожусь не за угол свой
(цветам еще цвести весной) —
боюсь за Днепр, за наше поле,
за деток, за народ родной. . .

Ты не сердись, моя родная,
что сын тебя зовет опять.
Как без тебя ему дышать?
Когда страдает мать больная,
дитя не может не страдать.

Но чу. . . Ворвались в душу грозы,
что над тобой летят, летят. . .
Не спится. Ночь — словно печать. . .
Лишь на вокзале паровозы,
не уставая, вдаль кричат.

То поезда идут равниной
с набором боевых вещей:

орудий, танков и мечей —
на север, запад, Украину —
в сиянье дня, во тьме ночей.

О, побори их, людоедов,
ты, наша армия, разбей!
Их обезглавь и в прах развей,
чтоб землю, мощь твою изведав,
сосущий кровь не пачкал змей!

За что он наш народ терзает?
В чем мать повинна — посуди! —
иль девушка, на чьей груди
он выжег звезды? . . Обличает
воп мальчик мертвый. . . Впереди,

закрыв балконную решетку,
отца, сестер висят тела.
Бывало ль столько в мире зла?
Но уж врагу мы сжали глотку:
отплатим за его дела.

Пусть гибнет змей — за слезы, муки
детей, что мертвыми лежат! . .
Не спится. . . Ночь — словно печать.
Лишь паровозы
кричат. . .

1942

146. МОЙ НАРОД

Сегодня — весь в броне из крепкой стали —
мой народ поднимается в мире
выше тысячи сфер голубых!
Ибо надо,
чтоб чело и очи его все видали
в сверкающей шири
вселенского неба,
озер заревых.

Сегодня народ мой, в огне сраженья
жадного зверя в прах повергая,
прорывается танком через все рубежи!
Брат мой, слушай —
великие силы,
что плещут в народе до самого края,
с ясным солнцем освобожденья
в мою заалевшую душу
победой вложи!

Эхо железных шагов моего народа
ширяет и за Тихим океаном,
и на Северном море, и там, где Гибралтар!..
О витязи! Герои!
Наш красноармеец с партизаном
всей планете добывают свободу!
И уже югославы идут за тобою,
героикой просвечивают, как янтарь..

Украинский народ! Над землею твоею
промчалась, подобная урагану,
дикая лава полчищ безумных и злых!
И ты поднялся, негодуя,
и с тобой белорус, россиянин —
за счастье, за добро, за идею,
на борьбу святую
во всеоружии сил своих..

О!.. перед ощеренной коричневой гиеной
народ мой не склонил колени.. Он не сгинул:
бей свастику и в сердце, и в висок!
Кто погасит наше солнце на востоке?
Израненная Украина,
врагу рассекая вены,
бьет его насмерть и в борьбе жестокой
в прах повергает, в песок!..

Славьтесь и вы, киевские горы!
На вас Добрыня боролся со Змеем.
Славься и ты, могучий наш Днепр-река!
Славься, сила, что не оскудела,
которую мы Змея одолеем!

Не укроется ни в пещеры он, ни в норы
езде его достанет смело
рука большевика.

И ты, Канев, в радостных родных просторах,
с живым, вечно трепетным сердцем Тараса, —
нет для нас гор на свете выше гор твоих!
Как смеет враг войти в ваш храм священный?
Сгинь, автоматная, бездушная раса!
От немчуры, истолченной в порох,
не останется и пылинки тленной:
сметет ее истории вихрь. . .

Сегодня даль грядущего я взором озираю:
об нас разбился враг и стал как глина,
и в мусорной яме — «Берта», и автомат, и газ.
А в высоте — как и всегда, прекрасна, —
среди народов стоит Украина,
как яблоня в садах и рощах рая!
И гляньте: речь ее сверкает так же ясно,
как самый чистый алмаз!

1942

147. ВЕСНА

(1942)

То солнце выглянет, то снова тучи,
и молния, и дождь. . . Пришла весна,
но лишь острее и еще горячеей
душа звенящей болью пронзена.

Всем существом и каждой жилкой малой
я, как мембрана, напряжен. И вот
как будто по живому телу стала
пила пилить, она дерет, дерет. . .

Прильнет к ногам трава, цветок-забава,
души угрюмой не развеселив;
ни лес, ни сад зеленый мой, кудрявый
ее не тронут, ни речной разлив. . .

Цветут луга. . . Но колет нас шипами
мысль о других цветах — о детях. Вот
их затоптал тевтон. . . Им тесно в яме —
вот пальчики торчат. . . О, смерти счет! . .

Как после этого глядеть на нивы,
где пальцы к небу тянут зелены?
Серьгой береза колыхнет лениво, —
то колыханье мучает меня.

В душе маячат призраком вседневным
тела повешенных. Встают кресты
с распятыми живьем. Призывом гневным
их скрюченные пальцы налиты!

Тюльпан раскрыл уста, и раскаленным
железом душу мне прожгло: а там?
Доколе там томиться смертным стоном
землей забитым заживо устам?

Они зовут, они кричат о мщенье
с Десны и Роси, с Буга и Днепра. . .
Мне в новом открывается значенье
весенняя, привычная пора.

И стала мне наставницей являться
сама весна среди своих хлопот;
ну что ж. . . Березе любо колыхаться, —
жить надо просто, как земля живет.

А смерть над тем не возымеет силы,
кто жизни сам не угасил в себе, —
смотри же не на жертвы и могилы,
смотри на *поколения* в борьбе.

Смотри, как весь народ хранит заветы,
как вещей птицей сердце бьется в нем.
Для всех борцов, разбросанных по свету,
горит он героическим огнем.

И признаков его грядущей славы
не заслонит страданий наших тень.
Нас слышат сербы, чехи и моравы, —
и над землей восходит новый день!

Да, новый день встает солнцеворотом!
Тевтонству места на планете нет.
Кричат могилы криком многоротым,
но ты не пригаси свой дух, поэт.

Пускай тот крик в твоей душе немые
пробудит струны: мщение и гнев
пускай звучат! Не плач Иеремии,
а богатырской ярости напев!

Умей же мстить! Когда металл танкеток
гремит, кровавый оставляя след,
не самоуглублением аскета
и не тоской пророка жив поэт.

Поэту надо наново родиться —
не догорать, как тихая свеча,
а песне мало мудростью светиться:
должна разить как острие меча!

И если косность — гибель для стратега,
зачем же ты, поэт, во дни боев
берешь из допотопного ковчега
груз обветшалых образов и слов?

Нет, пусть твой стих звучит, как медь
набата, —
недаром ты новатор и поэт!
Бесстрашно бей по гадине проклятой —
ведь в том и силы песенной расцвет!

Проклятье людоедам загребушим!
А всем борцам, вступающим в бой
(не на одной лишь Украине сущим),
ты ядом гнева стрелы напои.

Пусть этот яд священного отмщенья
за гибель всех отцов и матерей,
за все обиды и за все мученья
повергнет в прах взбесившихся зверей!

«Повергнет!» — вдруг береза зашумела...
«Во прах!» — шепнули ветра паруса...
И силой небывалою и смелой,
могучей силой весь я налился!

Весна, весна... Печаль больней и жгучей,
но будет сердце с песнею дружить...
То солнце выглянет, то снова туча...
Пускай... А нам и побеждать, и жить!

1942

148. МАТЕРИ ЗАБЫТЬ НЕ В СИЛЕ

Матери забыть не в силе!
Ведь куда, куда ни гляну —
на лесок или поляну, —
всюду вижу образ милый,
голос слышится желанный.

Голос льется через травы:
«Я тебя любила, сынку!
Так явись же без заминки:
стиснули меня удавы,
григибают, как былинку».

И кидаюсь я на голос,
но, увы, — молчанье снова!
Кроме солнца золотого —
никого... Лишь гнется колос,
гнется от зерна густого.

И кричу я: «Украина!»
Стану тихо и внимаю.
И в ответ звучит: «Жива я!
Тучка! Ласточка! Калина!»
И туда я взор вперяю.

И иду я — к ней, родимой!
Меж людей ее ищу я, —
может, там ее найду я —
душу родины любимой,
не лилейную — стальную!

Матери забыть не в силе!
Что там! — от газет, агиток —
что там! — запах маргариток!
Тучи небо всё покрыли,
как разрывы от зениток.

Вот над площадью широкой —
голос радио: «Злодеи
над отчизною твоею
издеваются жестоко! . . .
Всё равно не одолеют! . . .»

И кричу я: «Мать! Родная!
Мать, к тебе я порываюсь!»
И в ответ летит: «Сражаюсь!»
Речь отважная такая,
что огнем я загораюсь. . .

Партизанку вдруг встречаю:
вся — подтянутость и сила!
«Солнце! Ты фашизм громила?
Погоди! Постой! Родная!»
Но исчез уж образ милый. . .

И опять с огнем во взоре,
с болью тягостной иду я. . .
Может, вновь ее найду я
у речного кругозора. . .
Разве мать забыть могу я!

Что же, что там в кругозоре
речки, поля и дубравы?
Не покой ли бирюзовый?
Нет! То ненависть во взоре
и бровей разлет суровый.

Как я мир природы славлю?
Не как пантеист молюсь я,
не в речах духотворюсь я —
нет! В грозе себя я плавлю,
крепче стали закалюсь я!

И когда в дали горячей
вижу я, как туча тучит, —
душу всю мою озвучит
громом гнева! — да в придачу
молниями омогучит.

И кричу я: «Отзывайся!»
Стану тихо и внимаю.
А оттуда: «Наступаю!
Сын родной, крепись, мужайся!
Я уже одолеваю!»

И такой тут гром взиграет
небом, небом, небосводом —
словно рдяный гнев походом
в дзоты вражьи ударяет
с украинским всем народом!

Встань, народ, достойный жизни!
Матери забвенья нету!
Буду верен я обету
век служить родной отчизне,
ей, а значит, — всему свету.

1942

149. ПРАВДИВЫМ БУДЬ...

Правдивым будь — но всё ж не всем ты открывайся.
Отважным будь — но ты и технику учти.
Идеей, как огнем, вовек не забавляйся:
коли пошел — иди уж до конца пути.

Рабочий ты или боец, поэт, художник —
пусть лавой сердце бьет, пусть льется через край.
Звучит для всех нас вечный непреложник:
эпохою своей ты сердце окрыляй!

Мощь — это не порыв стихийный и нестройный,
и чистота не то, что тает точно снег.
Сильней огонь! Пусть будет сила дальнобойной,
чтоб сонным не застал тебя лихой набег.

Забудешь край родной — иссушится твой корень.
Всемирное отверг — в убожестве возрастешь.
Застынешь ты в покое — труд неплодотворен:
в борьбе одной лишь пышным цветом процветешь.

В ком юная душа — тот не седеет с горя.
Где грозы падают — там радуги дуга.
Река, стремясь, — везде, до самого до моря,
прозрачна вся, хотя и мутны берега.

Правдивым будь — но всё ж не всем ты открывайся.
Отважным будь — но ты и технику учти.
Идеей, как огнем, вовек не забавляйся:
коли пошел — иди уж до конца пути.

1942

150. САРАТОВ

Небо — словно купол матовый,
в дымке осени земля, . . .
Снова улицы Саратова,
Волгу, зелень вижу я.

Вот проходит часть военная,
вот играет детвора. . .
А над ними — неизменная
желто-сизая гора.

Здесь бывшее вспоминается!
Только старину затронь —
гнев Шевченко разгорается,
Чернышевского огонь. . .

Ярость Разина суровая,
Пугачева гневный нож, —
рядом старое и новое
здесь, в Саратове, найдешь.

Жизнь волнуется и движется,
всех народов здесь семья,
между их речами слышится
украинская моя.

И отсюда мы по змиевым
полчищам ведем обстрел!
Не навеки нашим Киевом
враг проклятый завладел.

Перемолотым, размолотым
враг исчезнет навсегда.
Наша доля вспыхнет золотом,
будто на заре вода...

Кто-то по обыкновению
речь про партизан завел.
Пушки выли в затемнении,
город ухал, как котел...

Что *оттуда* доносилось,
что держало ночью речь, —
в сердце гневом становилось
сокрушительным как меч.

А войска идут лавиною
на врага — вперед, вперед.
Зашуршит машина шиною,
вдруг подпрыгнет, запоем...

Город и его окраины
обращают к ним свой зов:
«Бейте фрица, бейте кайна,
не сносить врагам голов!

Плюньте в очи супостату вы
так, чтоб затряслась земля!»
...Снова улицы Саратова,
Волгу, зелень вижу я...

1942

151. САЙФИ КУДАШУ

Прими мое стихотворение,
оно высоких звезд ясней...
Как Гафури, ты верен гению
родной Башкирии своей.

Ты чувства сердца в знак содружества
прими — ведь чувствам нет преград...
Тебе — исполненному мужества
и нежности — народ твой рад.

Твоею песней безупречною
твоя гордится сторона...
Спаяла нас на веки вечные
великой дружбою война.

Твоя душа с моею сходится:
Добрыню славлю я в стихах,
тебе ж Урал-батыр приходится
ближайшим родичем в веках.

Твоей родни в Европе, в Азии —
людей трудящихся — не счесть...
Как хорошо, когда согласие
между тобой и жизнью есть,

когда от всех не отличаешься,
храня и личные черты!
Ты знаешь, на кого равняешься,
и потому народен ты!

Поешь ты песню оборонную
и славить свой богатый край.
Ты кобзу любишь нежнозвонную,
а я — певчий твой курай.

Во всем народов дружбе следуя,
для украинских дорог масс,
берешь, не ведая и ведая,
ты из того, что дал Тарас.

Я ж прославляю с кураистами,
с певцами твой Башкортостан.
Слова сияют аметистами —
*Вітчизна, Родина, Ватан.*¹

Пунцовой вишней искрометною
башкирская сверкает речь...
Ее и Ак-Идель вольготную
я буду в памяти беречь.

Как позабуду в этом мире я
твой меж зеленых елок дом?..
Как отцветет твоя Башкирия
в воспоминании моем?

Я, дружбы не забыв поэтовой,
в воспоминаньях сберегу
в Уфе под горкой фиолетовой
на Днепр похожую реку.

Прими ж мое стихотворение,
оно высоких звезд ясней...
Как Гафури, ты верен гению
родной Башкирии своей.

1943

152. ГРОЗА

В башкирских я стоял горах. Урал
смотрел в глаза мне, глыбистый и тяжкий.
И летний день — рубашка нараспашку —
молчал... И слышалось, как минерал
из-под земли шептал о сем, о том,
как золото под спудом волновалось,
как всё вокруг сурово ополчалось
на недругов, ворвавшихся в наш дом.

¹ Родина (башкирск.). — *Ред.*

Леса да камень. . . Из лесных глубин
дорога шла то вниз, то снова в гору.
Везде, насколько открывалось взору, —
на всех вершинах синь, ультрамарин
(когда они под тучами) и дым
на всех вершинах пленкой бирюзовой
(когда они на солнце), и по ним
легко струился ветер предгрозовый.

Гроза всё шла да шла, но где-то там,
далёко! И порой по черной туче
летучий змей, свиваясь, городам
в глубь сердца метил. И с высокой кручи
порывы ветра доносили мне
пожара запах. «Аждаха!»¹ Упрямый, —
кричал я, — не балуй! Ты на огне
споришь! Не спорь, не спорь с богатырями!»

Кахим-турé, легендой ставший, тот,
кто с русскими гонял Наполеона,
в сердцах сказал однажды: «Пусть умрет
навек враг наш! Бьем его бессонно,
треклятого, — всё злей, всё тяжелее.
Любовь к отчизне встала надо всем.
В огонь, ни сил, ни жизни не жалея!
Хай ылькаем, нэзék билькяём».²

О, звуки братской речи! В час суровый,
хоть на устах моих лишь край родной,
Башкирия, — твое могу ли слово
не полюбить! Оно — орел степной
в душе моей: в жестокую минуту
само взлетает кверху: «Аждаха! —
врагу кричу я. — Будешь издыхать
за то, что мучил нашу Украинну!»

Налево — степь в иссиня-темных точках,
как будто там ссыпали черный мак.

¹ Змея (башкирск.). — *Ред.*

² Приблизительно: «Жизни своей не пожалею за отчизну тоц-
костанную свою» (башкирск.). — *Ред.*

То — Ишимбай, а там — Стерлитамак.
Озера нефтяные, ямы, кочки. . .
Их резкий свет слепит глаза до боли.
«Из-под земли идем на помощь тем,
кто бьет врага, чтоб не поднялся боле!
Хай ылькяем, нэзэк билькяём!»

. . . Так, я взобрался на вершину склона.
Какая красота вокруг меня!
Привет тебе, родник неугомонный
подземного могучего огня!
В тебе источник силы молодецкой.
А люди у тебя — добро и свет,
и музыки нигде подобной нет,
как этот гул заводов Белорецка.

Я был в цехах — о, сколько, сколько есть
(с их обликом вовеки не расстанусь)
людей! Работа — совесть их и честь,
и в этой чести — наша первожданность
среди народов мира! (Я сорвал,
к себе пригнувши ветку, кисть рябины —
попробовать на вкус. . .) В труде Урал
судьбу связал с сынами Украины.

Направо поглядел я: близ Авзяна
шла золотая жила. . . как кудель,
в земле она свивалась. Ак-Идель
текла величественно, неустанно,
как на приволье песня молодых.
Ее кругом оберегали горы
от бури: Ямантау, Ирандык. . .
Сквозь них вели проходы, коридоры.

По просекам машины пробегали
в Магнитогорск, в Челябинск. . . А вдали
кусты черемух на свету играли.
И на заводах цвет моей земли
ковал победу грозно. И витала
над кручами уверенность сама.

...Взлетела ввысь орлиная семья —
направилась на запад от Урала!

Всё чаще им лететь день ото дня.
Там, за Днепром, прославленные части
для всех нас отвоевывают счастье
и волю... Грохот! Буря!.. На коня
вскочил — я вижу — сам Кахим-туре
и замахнулся саблей... И по туче
черкнул вдруг кто-то пальцем:

«И в поре
зверье найдем и нападать отучим!»

Ударил гром, и повторился он
обвалами в горах... И вдруг закапал
тяжелый дождь... Он скребся. Как сквозь сон
увидел я: несытый зверь царапал
и мучил Украину-мать и нас,
детей ее и внуков... Я подался
к Днепру, крича от гнева. Гром раздался
и до подножий горы все потряс.
И сумерки сгустились на земле!
И словно артиллерия гремела
и бомбы падали. Река во мгле
куда-то вниз стремительно летела
и вражьи трупы жадно уносила;
они, крутясь, срывались в никуда:
их не держала на себе вода,
но бездна их взяла и поглотила.

...Поздней, когда всё стихло, синева
сквозь тучи показалась, а за нею
раздался солнца смех, и всё сильнее
дрожала в небе радуга, жива,
и трепетна, и радостна... Сияя,
она сказала громче всех поэм:
«О родина! Великая, святая!
Да будет враг твой бездыханно нем!
Добудем счастье нашим людям — всем!
Хай ылькяем, нэзэк билькяём!»

25 июля 1943

153. Я УТВЕРЖДАЮСЬ

Я есмь народ, — народной Правды сила
покорена вовеки не была.

Меня беда, чума меня косила,
а сила снова расцвела.

Живу без спросу, вольно жить желая,
и, чтобы жить, — все цепи разорву.

Я утверждаюсь, подтверждая,
что я живу.

Тевтония! Меня ты пожирала,
ты вешала, ты жгла моих детей!
Железо, хлеб и уголь воровала
в безумной ярости твоей.

Ты думала — пожрешь меня такая, —
но, подавившись, падаешь в траву. . .

Я утверждаюсь, подтверждая,
что я живу.

Я есмь народ, — народной Правды сила
покорена вовеки не была.

Меня беда, чума меня косила,
а сила снова расцвела.

Вы, сыновья мои, на бой идите —
я буду вашу доблесть прославлять, —
родителям на помощь поспешите,
детей спешите вызволять!

На украинских и на русских нивах,
на белорусских — умоляю я —
разите палачей своих кичливых,
разите не щадя!

Пусть я изранен, раны уважая,
их пашнями великими зову, —
я утверждаюсь, подтверждая,
что я живу.

Иная жизнь из ран заколосится,
и шар земной дивиться будет весь, —
зерно какое! какова земля!
ну как не сеять здесь!

И сею, сею, крылья расправляя,
своих орлов сзываю на борьбу...
Я утверждаюсь, подтверждая,
что я живу.

Настанет день: мгла не закроет неба,
поднимется довольство, словно ртуть,
заводы загудят и в волнах хлеба
проляжет жнеек путь...

И я живу, живу и расцветаю,
и солнцем озаряю синеву...
Я утверждаюсь, подтверждая,
что я живу.

Я есмь народ, — народной Правды сила
покорена вовеки не была.
Меня беда, чума меня косила,
а сила снова расцвела.

Фашизм, дрожи, дрожи! Уж гробовая
плита перед тобою наяву
Я ж утверждаюсь, подтверждая,
что я живу.

1943

154. ЗА ТУЧАМИ, ЗА ЛИВНЯМИ...

За тучами, за ливнями бурливыми
я вижу: ясный день встает над нивами!
За бурями, за грозами, буранами
я вижу: суд вершится над тиранами!

Безжалостно терзали нас грабители, —
так вдарь по ним, чтоб света не увидели!

Взамен души у них чуланчик жадности, —
пусть знают силу нашей беспощадности!

Что для них люди, племена и нации, —
лишь только б, ненасытным, обжираться им!
Границы их — багет из досок краденых, —
исчезни, след границ фашистской гадины!

Народы мира! Встаньте, словно воины, —
и вся Европа будет перестроена.
И ваше место в ней — свое, высокое!
Громите зверство, грязное, жестокое!

Народы мира! Закаляйте мужество!
Борцов за правду укрепляйте дружество!
Не верьте миру алчности и лживости —
и стройте жизнь свою по справедливости!

В делах не будьте вялыми, безгласными:
на наш народ глазами гляньте ясными,
на наш народ, на нашу жизнь пригожую,
чтоб сделать жизнь такую же, похожую.

За тучами, за ливнями бурливыми
я вижу: ясный день встает над нивами!
Будь крепким, край родной, как сталь в калении!
Дерись как лев, — ты победишь в сражении!

Ты будь опорой людям в дни суровые,
и сам оденешься в одежды новые
с заводами, и шахтами, и доками. . .
Земными наливаешься ты соками.

Вставай же, обновленный и прославленный!
На вечном ты фундаменте поставленный.
Кто тебя тронул — всех сметем безудержно.
Мы будем жить, мы будем жить, мы будем жить!

1943

155. ИРЛАНДСКОМУ ПИСАТЕЛЮ ШОНУ О'КЕЙСИ

...хороший, работающий и честный народ юго-западной Англии все больше и больше сближается со своими товарищами с Днепра, Волги и Дона.

(Шон О'Кейси, Письмо из Англии, «Новый мир», 1943, кн. 4).

Шон О'Кейси! Шон О'Кейси!
Сердце с сердцем тесно слиты...
Между нами дружбы вести,
словно токи от магнита.

Шон О'Кейси! Токи дружбы
не умрут, они живые.
Разве мы друг другу чужды?
Всюду — руки трудовые!

Ты знакомишь люд свой честный
с нашим, честным и могучим.
Ты — апостол пречудесный,
весь пронизанный грядущим.

Грозно голос ты возносишь
против гитлеровца-зверя,
пулями-словами косишь,
в яд свои макаешь перья.

И твой голос вырастает
звонко, твердо, непреклонно, —
ведь друзья ему внимают
с Волги, и с Днепра, и Дона.

И над Волгой, и над Доном,
над Днепром-Славутой ясным
мчится отклик унисоном:
всем народам — счастья! счастья!

Так услышь слова собрата —
да звенят, тебя встречая,
точно гусли яровчаты,
гусли русского звучанья;

но услышь и звон металла,
Он смирил врагов рычанье;
славу нам поют цимбалы
белорусского звучанья;

и услышь слова простые,
как душевное признание,
точно кобзы золотые
украинского звучанья.

Ах, открыть затворы шлюза —
сколько хлынет вдруг добра нам!
Что прекраснее союза?
Да цветет он нашим странам!

Прежде нас делили волны,
пущи-чаши вековые.
Но преград былых довольно:
всюду — руки трудовые!

Шон О'Кейси! Шон О'Кейси!
Сердце с сердцем тесно слиты...
Между нами дружбы вести,
словно токи от магнита.

Край мой в пламени багровом
стал роднее другу, ближе...
Так приветственное слово
землякам от нас снеси же!

Рост высокий, бровь густая
любы моему народу!
...И твою я землю знаю,
пил и я из Темзы воду.

Пил из родников культуры,
где здоровье ходит-бродит...
Нашей жизненной натуре
это в самый раз подходит!

Вот закончим мы походы,
тяжкие залечим раны, —
наши братские народы
сблизятся, как океаны.

Океаны все бушуют,
думой полные от века,
солнца лишь они взыскуют,
счастья-доли человеку.

Океаны! Океаны!
Слейтесь мирно и согласно!
И развеются туманы,
и на свете станет ясно. . .

1943

ЖИТЬ, ТРУДИТЬСЯ И РАСТИ

(1949)

156. ЖИТЬ, ТРУДИТЬСЯ И РАСТИ...

Жить, трудиться и расти дано нам,
так, чтобы гром гремел из края в край!
Реет знамя в небе озаренном,
а кругом простор — хоть запевай!

Глянeshь вправо — новые заводы,
влево глянешь — нивы и поля,
борозды, широкие разводы,
бронзовая издали земля.

Из глубин встаем друзьям на радость,
ствол из корня — значит, из земли.
Хлеба! Антрацита! Винограда!
А на море — наши корабли.

Трудимся одною мы семьею,
приближаем коммунизма час.
Золото не только под землею, —
золото в душе у всех у нас!

Затихают в сердце нашем боли,
радость так и рвется из груди.
Девушки — как тополя на воле,
а ребята — чудо: погляди!

Воины идут дорогой к дому.
Праздник! Сколько света и любви!
Девушка, дай руку молодому!
Мать, невесту прямо в дом зови!

Наш народ расти всё выше хочет,
нам сияет солнце в синеве.
Ножками ребенок затопчет
по садовой тропке, по траве...

Есть на свете истина простая:
жить, в работе догонять мечту.
Строим снова! Труд перерастает
в красоту...

1945

157. СЛОВО

Наша речь родная,
ты сегодня прозвучала
как основа, как начало,
как подмога боевая,
наша речь родная.

На горе калина
к солнцу листья подымала,
на весь мир провозглашала:
«Я — держава Украина,
на горе калина».

Украины слово
точно золото звенело,
словно солнце пламенело,
в нем и древность и обнова —
Украины слово.

Орды из Берлина
на отчизну налетели,
нас убить они хотели
и язык наш соловьиный —
орды из Берлина.

Слово ты родное,
не согнулось, не склонилось,
недругу не покорилось —
загремело боевое,
слово ты родное.

В тяжкую годину
глубоко ушло в подполье,
призывало в бой за волю,
в правый бой за Украину —
в тяжкую годину.

Слово — клич свободы,
слово, ты не всепрощенье,
ты прошло в боях крещенье,
слово смелого народа,
борца за свободу.

Мы в тебе находим
блеск грозы и тишь долины,
песни звон и дум глубины,
мы в поход с тобою ходим,
всё в тебе находим.

Расцветай же, слово,
и в родной семье, и в школе,
и на фабрике, и в поле,
ты общения основа,
расцветай же, слово!

Так пускай калина
выше листья подымает,
на весь мир провозглашает:
«Я — держава Украина,
на горе калина. . .»

1945

158. ГЕРОИ ДНЕПРА

И отступающая огрызалась
Подраненная гадина. Давалось
Ей тяжело отступление. Пора —
Рубите гидре головы и жала!
И наша армия к черте Днепра
Врагов прижала и — уничтожала.

«Днепр, помогай нам и на нас надейся!
Ты дорог каждому красноармейцу,
В тебя все верят, как в богатыря,
Фашист всем ненавистен — ворог лютый.
Идем за партией: встает заря,
Гремят салюты!»

И раз под вечер... вдруг как засверкает!
Ужель дошли? Дыхание спирает...
Ах, сила, пережившая века
(дошли, дошли!), струись, преград не зная!
То наша украинская река,
Родная.

Днепр родимый! Сыновьям
Дай воды напиться,
Прикажи шуметь ветвям,
Ниже поклониться,
Чтобы в сизой дымке
Мы как невидимки
Ближе, ближе подходили
И переходили!

Такие шли в колоннах разговоры.
А за Днестром из синего простора
Наш Киев за туманом проступал —
То тут, то там... Как будто кто кварталы
Развесил в облаках... Но иней вдруг упал,
И сразу тьма настала.

Старый Днепр! Взгляни сюда,
Грозно брови хмуря!
Не твоя ли синь-вода
Зарокочет бурей?
А покуда тихо,
Готовь гаду лихо.
Силы же в днепровской буре —
Что в древнем буй туре.

И окопались наши слева, справа.
Фашистов запоздалая орава
Причалила к той стороне реки.

От нас метнулись выстрелы. Остались
Убитые у лодки. Как жуки,
Ползли живые и скрывались.

И стало тихо всюду! Звезд узорный
Заколыхался след в Днепре. Дозорным
Багряный месяц вышел. Время в бой.
И тут из уст в уста пошел передаваться
Приказ: готсьвсь на берег другой
Переправляться!

Ясен месяц, нам свети,
Да свети не бледно:
Срок на Киев нам идти,
Он заждался, бедный.
Нам на правый надо!
Уничтожить гада!
Сгинь же, враг, бесследно:
Мы идем победно!

И молча поклялись гвардейцы: люто
С врагом за всё расправиться. Славута!
Испили мы твоей воды — из нас
Любой стал равен силой Муромцу, Добрыне.
Мы счастливы: несем мы в этот час
Свободу Украине!

И стали связывать плоты беззвучно
Из лозняка и бревен. А над кручей
Деревья тихий разговор вели.
Послышалась команда в ту минуту:
«Садиться! Ну, счастли. . .» Пересекли
они Славуту.

Днепр родимый! Сыновьям
Путь открой, встречая.
Прикажи шуметь ветвям
Не переставая,
Чтобы в сизой дымке
Мы как невидимки
Приближались, подплывая,
Волны рассекая.

Темно, но недалёко до рассвета.
Не ждали немцы переправы этой.
Опомнились — и залп гремит вдали,
Второй... А всё ж фашисты просчитались:
Плоты ведь не в одном лишь месте шли,
И наши пушки тоже отозвались.

Днепр закипел! Такой волны гремячей
Еще не видел воин наш могучий.
От завыванья мин, разрыва бомб
Вода со дна взлетала, как букеты...
Тут стоны раненых, тут звон и гром,
И самолеты, и ракеты!

Свистели пули, вдоль плотов летали,
Но наши быстро к правому пристали.
И окопались там, и залегли,
И по противнику огонь открыли.
На помощь им понтоны вслед поплыли,
Слешили...

Враги бросались трижды в злую сечу —
И трижды падали. А в небе свечи
Повисли — белую струили кровь...
Прожекторами небо полыхало!
То вражью силу до ее основ
От силы нашей сотрясало!

И сотрясло! И сотрясло навеки!
И потекли злодейской крови реки.
Пора с фашистами кончать, пора!
В бою постигли мы науку боя.
И нареклись героями Днепра
Родимой армии герои.

Не слыхано еще подобной славы!
В Кременчуге вторая переправа,
И выше Киева, и ниже — там,
Где на горах Тарасова могила.
Да, хорошо запомнится врагам
Уменье наше, наша сила!

Днепр! В этом слове вся страна родная!
В нем вся история родного края,
Содружество Богдана и Москвы,
Тараса гнев на немца и на пана,
Смех Гоголя и родственность Невы,
И в Октябре — наш гордый стяг багряный.

Днепр! От нас прими поклон
За то, что свершилось!
Сколько дорогих имен
Близ тебя родилось!
Сгинь же, враг, бесследно:
Мы идем победно!
Рать богатырей явилась —
Солнце засветилось!

1944

159. ОКЕАН ПОЛОН

Наш народ — океан. Запеваем пеан.
Океан — ширина, океан — глубина.
Кто грозит волне его — будет вмиг на дне его,
будет знать, понимать, какова с ним война.

Ветер свеж и солон. Океан полон.
Сколько в нем силы и красоты!
Волны словно горы, широки просторы.
Всё отдашь океану ты!

Громче, песнь победы! Миновали беды!
Многие дивятся: шаг наш упрям,
почему так скоро мы идем в гору?
Недруги ж пророчат гибель нам.

Наш народ великий, грозный, огнеликий!
Правдою живет он, побеждает тьму.
Он идет — упорен — через все препоны.
Слава могучему! Слава ему!

Наш народ — океан. Запеваем пеан.
Он свободен, могуч и прекрасен, народ.

Ленина могучею волею мы спаяны,
наша дорога — вперед, всё вперед. . .

Ветер свеж и солон. Океан полон.
Сколько в нем силы и красоты!
Волны словно горы, широки просторы.
Всё отдашь океану ты!

Мы народам принесли свободу.
Нами разбиты фашисты-палачи.
Человек нам дорог. Пропади, ворог!
Трубы, трубите! Медь, грохочи!

Наш народ великий, грозный, огнеликий!
Правдою живет он, побеждает тьму.
Он идет — упорен — через все препоны.
Слава могучему! Слава ему!

1945

160. НА СПЕВКЕ

Вот пришел на спевку вновь я.
Песнь что маков цвет цветет.
Песнь — она само здоровье.
...Хор учительниц поет.

Слышу в звуках — солнце! дали!
Но тоска меня гнетет.
Я задумался в печали.
...Хор учительниц поет.

Вижу: косы, ленты, плечи,
свет мерцающий кругом.
Синий вечер, славный вечер,
летний вечер за окном. . .

Дружно хором: «Рано-рано
та калинонька цвіте. . .»¹
Мецо форте у сопрано
золотится в высоте.

¹ «Ранним-рано да калинка цветет. . .» — *Ред.*

Вспоминаю: ты любила
в хоре золотом звучать.
Нелюди тебя убили,
на устах твоих печать.

Дружно хором: «Та дубова
скриня в нас — добра докідь...»¹
Сколько в глубине альтовой
жажды света! Жажды жить!

Был твой голос в полной силе,
он звенел и звал живых.
При тебе враги убили
малых деточек твоих.

Жил народ с одной надеждой:
смерть фашистам! кара, месть!
Стал народ сильней, чем прежде,
только жертв — не перечесть.

Дочка ты родного брата,
только б жить тебе и жить...
Ты ушла — и нет возврата,
вечен сон... не разбудить.

Не придешь, не улыбнешься,
не подымешь ты ресниц!
В школе ты не отзовешься
на вопросы учениц.

Оля, видишь? Свет огнистый!
Слышишь? Гул со всех сторон, —
от мучителей-фашистов
наш народ освобожден.

Погляди на Украину —
солнце, счастье впереди,
разбуди Тамару, Нину
и за ручки приведи.

¹ «А дубовый сундук у нас — добро умножь...» — *Ред.*

Сядем, глянем: жито в поле,
тополь листьями шуршит,
в озере, как образ воли,
тучка белая скользит.

Трав шелко́вых колыханье,
жито что-то шепчет мне.
(...Параллельных квинт звучанье,
как плуги на целине.)

Шепчем мы: народ наш поднял
небывалый урожай.
Снова мы сильны сегодня.
Недруг, нам не угрожай!

Оля молвила: «Нас много,
сила духа велика.
А душа бывает строгой, —
ты коснись ее, крепка...»

Где взяла я эту силу?!
В тяжелой битве у села
я фашиста зарубила,
хоть и смерть свою нашла.

Воевали наши люди,
среди них — учителя.
Знали мы, что праздник *будет*,
будет нашею земля.

Слышали мы грохот: это
танки — вся земля гудит.
Воины Страны Советов —
впереди!

Погляди теперь: «Дубова
скриня в нас — добра докíдь»,
снова школа, счастье снова,
песни снова, снова — жить».

Помолчала. Вечер синий.
И запели все втроем —
Оля и Тамара с Ниной —
о раздолье над Днепром..

Сколько в песнях тех простора!
Сколько сил у молодых!
А глаза их — что озера,
всё заглядывал бы в них. . .

Вижу: косы, ленты, плечи,
свет мерцающий кругом.
Синий вечер, славный вечер,
летний вечер за окном. . .

Что случилось? Где я? В поле?
Песнь, она зовет в полет.
« . . Ой, у полі три тополі»,¹ —
хор учительниц поет.

Я шепчу: «А жертвы! Жертвы!»
Жизнь зовет меня вперед.
« . . Нас не вбити, не пожерти»,² —
хор учительниц поет.

1945

161. ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ

Вышли рано мы.
Что за город, город солнца!
Позолочены оконца. . .
Нет, другой такой зимы
не видали мы!

Вьется к солнцу дым,
к солнцу зимнему, косматый,

¹ « . . Ой, в поле три тополя». — *Ред.*

² « . . Нас не убить, не сожрать». — *Ред.*

золотисто-красноватый,
и над садом молодым
тает, тает дым. . .

Как прекрасен сад!
Сад, гляди, оделся в иней,
он на солнце синий-синий,
ветки до земли висят.
Как прекрасен сад!

С нами и *она*.
Любишь? Знать бы мне хотелось.
Ветер. . . платье вдруг задел он. . .
А оглянется она —
как нальет вина.

Школьники идут.
Ты их взглядом провожаешь,
юная, в душе гадаешь:
может, и твои вот тут
в школу побегут.

День-денек какой!
Слышно в каждой снежной гамме:
«Недруги уж под ногами!»
Пленных вон ведут гурьбой. . .
Снег скрипит сухой.

В путь? Идем, изволь!
Вон над крышею трамвая
снег летит, напоминая
бертолетовую соль. . .
Солнце! Где ж пароль?

Отвечает: «Вот!» —
и в глаза нам сыплет пламень,
а кругом раскидан камень.
Стой! Окончен наш поход, —
щебень, глина ждет.

Понимаешь сам:
мы ж зачем пришли, ребята,
взяли заступы, лопаты?

Чтобы вырасти домам, —
в них и жить-то нам!

После злой войны
раны мы свои врачуем,
будущее сердцем чуем,
пробуждение весны —
радость всей страны!

Далека печаль,
радость дó неба докинем,
труд упорством воли двинем.
Сердце крепко, словно сталь,
чище, чем хрусталь.

Наша жизнь идет,
как написано в законе.
«Запрягайте, хлопцы, коней» —
льется песня в небосвод:
армия идет.

А через квартал
взрывом землю вдруг трянуло,
дымом небо оплеснуло,
далеко — за Княжий вал —
взрыва гром упал.

И когда стена
нехотя там обвалилась,
пыль метелью за клубилась,
каждый понял: вот она,
новая весна!

Знаю: любишь ты!
Дорогая, наши дети
будут краше всех на свете
в мире новой красоты,
а всех краше — ты!

Разве, друг, не так?
Любишь? Знать бы мне хотелось.
Ветер... платье вдруг задел он...

А она смеется так,
как на солнце мак!

Вьется к солнцу дым,
к солнцу зимнему, косматый,
золотисто-красноватый,
и над миром молодым
тает, тает дым. . .

1946

162. МАЙ НЕНАГЛЯДНЫЙ

Ты май необычайный, месяц милый!
Мы вновь почувствовали наши силы.
Мы снова в музыке, в колосьях, в стали.
Какой открылся нам простор!
Мы, глядя в дали, зорче стали,
и меток глаз, и слух остер.

Бандуру тронь, возьми гармонь, — а слово
пускай героя славит молодого!

Ему мы дарим песнь с любовью, —
он был бойцом, он стал творцом.
Мы молоды — само здоровье,
весь мир повернут к нам лицом.

Пора труда, любви и ликования —
он полон, май, движенья и дерзания.
Меж веток шепот, шелест, шорох,
на травах полдня светотень,
в лесах, как в гулких коридорах,
и шелк и щебет целый день. . .

Вдали безрез мерцающие пряди,
над речкой верба в дымчатом наряде,
челны за ветерком попутным,
в ветвях повис весенний дым.
Нас луг встречает поминутно
зеленым, красным, голубым. . .

И мы меняемся мы вырастаем,
идем вперед всем обновленным краем.
И счастья ширится сиянье, —
в труде оно всего видней.
Кругом — могучее дыханье
идущих в будущее дней.

Май ненаглядный, за спиною беды.
Что краше песен мая и победы?
Земля была врагом изрыта, —
в хлебах теперь поля страны.
Летит наш конь! Его копыта
на всю вселенную слышны.

Бандуру тронь, возьми гармонь, — а слово
пускай героя славит молодого!
Ему мы дарим песнь с любовью, —
он был бойцом, он стал творцом.
Мы молоды — само здоровье,
весь мир повернут к нам лицом.

1946

163. МОРЕ ПОВЕСТВУЕТ

Как много дней передо мной
рокошет молодое море!
Оно сияет на просторе
под солнечной голубизной...

Лишь там, вдали, где желтый мыс,
стоит гора, над нею
обрывок облака повис,
и стала вся гора темнее...

А здесь серебряная мгла,
и свет платков и полотенец,
и загорелые тела,
и смех, и плеск, и светотени...

Приходит ветерок, как память,
и навевает забытьё...
Он тело охладит мое
и улетит туда, где пальма

застыла, как фонтан, вдали,
там, у шоссе, — от зноя чахнет.
Какие горы! Как здесь пахнет
морскою жизнью! Корабли.

Громада... Взглядом я окину
простор и буду здесь лежать,
позволю солнцу не спеша
слегка поглаживать мне спину.

И солнце поглаживает, ветер остуживает.
Сквозь веки дремотные — радужный сад.
То море меня, притаившись, подслушивает,
то пеной обдаст, то отпрянет назад

И вот на локтях я поднялся: «Эй, море!
Родимое, тайны свои мне открой.
Могучих, никто нас с тобой не побсрет
Шуми на просторе полднейной порей!

Вчера только с юга волну ты катило,
сегодня ж с востока литая волна.
Горит над тобою родное светило,
и свет проникает до самого дна».

И море рокошет: «Привыкло я к свету,
глаза открываю — весь мир наяву...
В Европе туманно. Виновных к ответу!
О них расскажу я, их всех назову.

Там черные силы пытаются править.
У этих дельцов добродетели жест:
«Ах, надо бы нам договоры „подправить“!»
— «Ах, надо бы нам „обеспечить“ Триест!»

А все их слова, бесконечные споры:
Дунай, Хузистан — и проливы, и нефть...
О, скоро ли это окончится, скоро ль?
Народы встают, разгорается гнев».

И море свирепо волну подкатило,
волна заиграла в лучах ножевых.
«Расти же, народов сплоченная сила,
во славу погибших, во имя живых!»

И гул нарастает, и ярость вскипает,
и слышится голос: «Я зверя поверг!
Зачинщиков бойни позор ожидает:
петлей захлестнет их второй Нюрнберг!»

Тут сразу вскочил я! Вдали исчезало
светило. И понял я, глядя вперед:
ведь всё, что мне море сейчас рассказало,
одно означало — бессмертен народ!

Народ победил, — и, как в прежние годы,
поля и заводы в великой красе...
До дна мы просвечены солнцем свободы,
мы партии духом проникнуты все.

Море, к тебе обращен я мечтою
и вечно желаю быть верным тебе.
Не знаешь унынья, не знаешь застоя
в своей беспокойной и трудной судьбе.

Море, о море! И дышится шире,
и видится дальше в дали голубой...
С тобою ничто не страшит меня в мире,
ничто! Навсегда породнился с тобой!

У берега — седая мгла,
и свет платков и полотенец,
и загорелые тела,
и смех, и плеск, и светотени.

И я бегу, бегу я к морю.
Рывок, ныряю, вижу дно...
Всегда быть с морем заодно —
и нас никто не переспорит!

1946

164. МОСКВА

Есть теплые в мире, родные слова,
И самое теплое слово — Москва.

Москва! Твоя слава всегда перед нами!
Сильна красотой ты, богата делами!
Ты мир озаряешь, ты — свет на земле,
И звезды как пламя горят на Кремле.

За что в тебя вера такая живет?
За что тебя матерью каждый зовет?

Москва! Ты нам матерью стала родною,
Сплотила народы единой семьею.
Ты перстнем владеешь, чудесным кольцом,
А в нем аметист полыхает огнем.

Гордимся народной силой живой,
Той силой, что создана новой Москвой.

Москва! Ты извела горе и муки,
Не раз к тебе недруг протягивал руки.
А ты лишь тряхнешь богатырским плечом —
И падает ворог под острым мечом.

Ты всех согреваешь надеждой, Москва!
Все в мире народы встают за права.

Дунай закипел, содрогнулись Балканы,
И с грохотом в бездну летят истуканы.
А там, за морями, дрожит материк.
«Вставай за свободу!» — доносится крик.

И — хочет не хочет — истлеет старье,
И вечны лишь правда и слово твое.

1947

165. МАТЬ С ДЕТЬМИ ВЫХОДИТ В ПОЛЕ

Мать с детьми выходит в поле.
«Ну, ребята, вчетвером
мы сперва ленок проподем,
а уж полдничать потом!»

Полет мать, и дети полют.
За горою их село.
И поют они на воле,
про житье, что расцвело.

Звеньевая в поле справа
машет издали рукой:
«Помогают дети? Слава
и почет семье такой!»

Поглядели вдаль ребята:
всюду песни, всюду труд.
Вон три тополя — три брата,
вон два облачка плывут.

Мать сказала: «Что ж, на славу
потрудились вы с утра.
Отдохнуть давно пора вам,
да и полдничать пора!»

Вот вам сало, хлеб пшеничный,
ешьте, дети, не спеша.
А поете вы отлично,
да и песня хороша!»

Говорят ребята: «Мама!
Так давно дождя мы ждем.
Вот бы тучке этой самой
напоить ленок дождем!»

Вдруг повеял легкий ветер,
прилегла вокруг трава.
Грянул гром. И в громе детям
померещились слова.

Тучка грохнула: «Иду я!»
Лен сказал: «А я расту!
В зелень свежую, густую
цвет лазоревый вплету».

«Хорошо! — сказали дети. —
Ай да тучка! Ай ленок!
Вышьем шелком на портрете
голубой, как лен, венок.

Мама, ты слова слыхала?
Все слыхала? Поняла?»
Мать детей к себе прижала:
«Тучка дождик принесла!

Побежим скорей под тополь.
Стая галок пронеслась.
Вот уж в поле дождь затопал,
так и пляшет, подбочась...»

Молвил дождик: «Пуще брызну!»
Лен сказал: «А я попыю!»
Пели дети: «Мы Отчизну
любим славную свою!»

1949

166. НАД БРЯНСКИМИ ЛЕСАМИ

Летим! Громада самолета
кромсает воздух! А вокруг
сквозь тучи с птичьего полета
видны поля... за лугом луг...

За тенью тень бежит в долину,
плывет как дымка над леском. . .
Мы из Москвы на Украину
летим обратно с Ковпаком.

Какие были дни! У гроба
Калинина стояли мы. . .
И вновь мы ощутили оба —
дохнуло холодом зимы. . .

Навстречу — ветра дерзновенье:
он налетает как гроза.
Мотор дрожит от напряженья!
Звенит седая бирюза!

Бодрит нас быстрота полета
над звонкой крутизной высот.
Сказать о чем-нибудь охота,
да всё. . . пропеллер не дает.

«Пшеница, — я кричу, — поспела!»
Ковпак тут коробок берет
и спичкой — чирк. «Чье ж это дело?
Народ! Могуч у нас народ!

Бывало. . . — говорит он четко, —
пошлешь в разведку. . . день. . . и два!»
То тронет клинышек бородки,
то кашлем сменятся слова.

Ковпак, я вижу, брови хмурит,
кричит: «Вот здесь! . . Ну да. . . Оно! . .»
Он строгим стал. Всё курит, курит
и пристально глядит в окно.

Узнал! . . Летим над брянской ширью.
«Леса. . . — сказал он, — хороши! . .
Вот здесь врагов мы задушили! . .»
И он. . . окурок потушил.

Глядит в окно орлиным взглядом:
то речка, то село мелькнет.

Молчит. И вдруг я слышу рядом:
«А приземлился самолет

как раз вот здесь!.. Не ошибаюсь.
И я на нем — в Москву, в Москву!
И вот я прямо в Кремль являюсь...
не в сновиденье — наяву!»

Замолк он. Ветер — гул-гуденье —
по стеклам хлещет, как лоза.
Дрожит мотор от напряженья!
Звенит седая бирюза!

«Я партии услышал слово
(Ковпак здесь просиял опять),
и стало мне всё ясно, ново, —
и в рейд за Днепр нам выступать

настало время. Руднев с нами
(чиста душа его — кристалл!).
О, как мы бились там с врагами,
наш гнев их начисто сметал.

Вела нас ненависть святая,
любовь к родной земле вела.
Свободна ты, земля родная.
Победа! Мир! Печаль прошла!..

Мы крепче, мы сильнее стали.
Хотя бы взять один Донбасс...»
...Глядим: внизу нас увидали,
с земли приветствовали нас.

«Привет, привет!» — и мы руками,
хоть ясно — где расслышать тут?
А облака за облаками
вкруг нас, как молоко, текут.

«Донбасс — он верный друг Урала,
страны великой арсенал!»
...Мы смотрим вниз. Там ветер шалый,
не ветер, а зеленый шквал.

А тучки мчатся — тень за тенью...
И рощи, и озер глаза...
Дрожит мотор от напряженья!
Звенит седая бирюза!

1946

167. ПРИ ЧТЕНИИ ПИСЕМ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ

Кто ты, пишущий мне часто?
Кем слывешь среди людей,
ждущий моего участия
в песенной судьбе твоей?

Ты рифмуешь без уменья,
слово ставишь наугад.
Как камыш твои сравненья —
неуклюжие — торчат.

Обращаешься: «Прочтите. —
Так серьезно просишь ты. —
Вы как старший объясните,
как достигнуть высоты!»

Кто ты? Где берешь ты силы?
Чем душа твоя полна?
Неокрепший, тонкокрылый,
есть в тебе и новизна!

«Я из тех, кто на заводе,
на постройке, на посту!..
Силы черпаю в народе
и со всей страной расту.

Все к одной стремимся цели.
В будущее наш полет».
— «Я колхозник из артели!»
— «Я танкист!» — «А я пилот!»

«Я кузнец!» — «Я звеньевая!»
— «Я ткачиха!» — «Я шахтер!»

— «Наша правда — трудовая,
для творцов у нас — простор.

Так недавно вдохновенья
светлый дар открылся нам:
он, как персик, — весь в цветенье,
что ж родит — не знает сам.

Жить, творить — вот это счастье!
И живем мы и творим,
благодарны нашей власти!
Партию благодарим! . .

Пушкин, Гете и Шевченко —
начинали и они. . .
Ждем, поэт, твоей оценки,
взглядом опытным взгляни!

Мы не просим снисхожденья,
побрани нас — поделом! . .
Может, среди нас и гений
вдруг объявится потом».

1949

168. АЛЕКСАНДРУ ПУШКИНУ

Идешь в сиянье новой славы
в сады и села, в города
такой же смелый и кудрявый,
такой же юный, как всегда.

Нет на пути твоём преграды.
Народы чтут тебя, поэт!
О, наша гордость и отрада,
прими восторженный привет!

Ты славил Правду и Свободу —
от строк твоих в веках светло.
Хотел ты счастья для народа —
оно пришло, оно пришло!

Нам революция открыла
труда и творчества пути,
нас партия всех научила
вперед, всегда вперед идти.

Россия — новая, родная, —
она встает во цвете лет. . .
За океаном — тьма ночная,
у нас — сверкающий рассвет.

Смотри, как путь наш прям и ясен,
какие мы вершим дела!
Как человек у нас прекрасен,
как даль грядущего светла!

Пройди, пройди по Украине
и взглядом пристальным взгляни:
следов бывшего нет в помине —
другая жизнь, другие дни! . .

Сегодня светом ярким, чистым
сияют Каменка, Тульчин:
в горячем деле декабристов
и твой горячий был почин.

Взгляни: и Киев и Одесса
теперь по-новому живут.
Взгляни на чудо Днепрогэса, —
ну как не радоваться тут!

Ведь сказка наяву свершилась. . .
И твоего труда зерно
на нашем поле всколосилось,
хоть в почву брошено давно.

И в наши годы грозовые,
пока военный ляг не стих,
клеймит клеветников России
твой честный, твой бесстрашный стих.

Врагов великого народа
карает грозно твой кинжал,

его не притупили годы,
он убивает наповал.

Ты весь призыв, ты весь движенье,
как жизнь, твоя строка сильна —
не знает тлена и забвенья,
не знает старости она.

Поэзии родной светило,
в сердцах людей ты вечно жив —
неисчерпаемая сила
и неслабеющий порыв!

Живи во славу поколений,
творящих светлые дела!
Привет тебе, наш русский гений,
навек слава и хвала!

1949

169. ПУШКИН В СЕМЬЕ ДЕКАБРИСТОВ

В Каменке осенним утром
ходит Пушкин над рекою.
Рано. В доме не проснулись,
всюду тишина, покой. . .

«Слушай, Тясмин, — молвит Пушкин, —
я не знаю, что со мною, —
сердце бьется, словно птица.
Я, наверно, заболел. . .

Рвешься, Тясмин, ты на волю,
и тебя сжимают скалы,
а меня не скалы сжали —
сжал и давит, душит царь. . .»

Но молчит угрюмый Тясмин,
лишь сверкнул в тумане оком —
что-то думает. . . За речкой
слышно эхо:

«. . .душит царь!»

«Где ты, ветер, — молвит Пушкин, —
где ты? Я тебя не слышу.
Ты сегодня тихий, слабый,
а как раз гроза нужна.

Бурям, бурям вот бы грянуть!
На одной лишь Украине
сколько мятежей народных! ..
О, хотя б скорей гроза!

Ты возьми меня на крылья,
отнеси меня немедля,
отнеси к грозе тиранов —
к Пестелю неси, в Тульчин!»

Но молчит ленивый ветер,
чуть качнул дубы и снова
успокоился... За речкой
эхо слышится:
 «...в Тульчин!»

«Солнце, солнце! — молвит Пушкин. —
Ты взойдешь ли над землею?
Да живет свободы разум!
Пусть навеки сгинет тьма!

Мы совет держали тайный
в этом доме и решили:
чтобы уничтожить рабство,
нужно деспота убить.

Всех сейчас же разбужу я:
полно спать, друзья, довольно!
Чтоб взошло в России солнце —
подымайтесь на борьбу!

И спешит в тревоге Пушкин:
Но что это? .. В пятнах крови
солнце всходит... За рекою
слышно эхо:
 «...на борьбу!»

И остановился Пушкин,
и кричит он: «Оком пьяным
ты и здесь следишь за нами?
Не сдадимся мы — ты знай!»

«Не сдадимся!» — за слиною
он услышал. Обернулся.
«О, друзья, уже проснулись?
Я не слышал, как вы шли . . .»

И в торжественной присяге
все — Якушкин, и Раевский,
и Орлов, и сам Давыдов
воскликали: «Мы клянемся!»

На востоке кровь по небу
разливается зловеще. . .
Ворон каркает. . . За речкой
слышно эхо.

«. . .мы клянемся!»

И, стихая, вновь.

«. . .клянемся!»

9 мая 1949

170. ТАНЦЫ НА МЕЧЕ

(Из стихов о Шотландии)

Мы на приеме в Абердине —
посланцы родины побед.
. . . Прием окончен. Посредине
большого зала — яркий свет.

Шотландки замерли, пригожи,
и, подбоченясь, стали ждать. . .
Когда был на пол меч положен,
волынки начали играть.

Вперед — и ленты отлетали,
назад — и ленты на плече.
Шотландки танец танцевали,
народный танец на мече.

То шли подруга за подругой,
в ладоши ударяя в лад,
а то с притопами по кругу
вдруг отступали все назад.

То кверху взбрасывали руки,
то поднимались на носки.
Волынок раздавались звуки,
мелькали быстрые шажки.

Прыжок — и ленты отлетали,
отход — и ленты на плече.
Шотландки танец танцевали,
народный танец на мече.

Шелка подрагивали в пляске,
шелка как бы струились с плеч...
Смотрели девушки с опаской.
не наступить бы им на меч!

Был шаг их горд — «смелей, не гнуться!».
А то насторожен — «не верь!».
Не зацепить бы, не коснуться, —
так, словно в нем таился зверь.

На горло зверю! Громче, шире
вздымайся, гордый клич! Смелей!
На митинге в защиту мира
друзья увидели друзей.

Я слышал: юность призывала
освободить народ от пут,
и маски с недругов срывала
шотландка, что танцует тут.

Фашисты вновь сулят нам горе?
Страна Советов — океан,
надежда, верная опора
для трудовых людей всех стран.

Всё, что в Шотландии я встретил,
что услышал от горняков,

навек в сердце я отметил
напевно строфами стихов.

А танец дышит юным пылом
и увлекает, как любовь! . .
Народ шотландский — вольным был он,
я верю: будет вольным вновь.

Его не испугают раны,
ни виселица, ни топор. . .
Он, ненавидящий тирана,
свободу любит с давних пор.

Народ в борьбе лишь силы множит,
он против гнета палачей.
Так кто ж его заставить сможет,
чтоб танцевал он на мече?!

Иль поджигатели пугают,
чтоб был народ и глух и тих?
Ударьте их — пусть отвыкают,
громами оглушите их!

Вдруг зал от грома покачнулся,
и зашумел, и задрожал.
. . . И я внезапно оглянулся —
гремел в аплодисментах зал!

Вперед — и ленты отлетали,
назад — и ленты на плече.
Шотландки танец танцевали,
народный танец на мече. . .

1949

171. ТЫ ЖИВ ДО СИХ ПОР, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Ты не только художник, ты — мыслью
остер —
архитектор, механик. Ты жив до сих пор!
Ты повсюду искал жизни суть основную.
Как ты горы любил и поля, синь озер —
всю отчизну родную!

Леонардо да Винчи, в веках тебе жить!
Ты был против того, будто солнце бежит
вкруг земли, — ты отверг Птолемея.
Для летанья ты создал машин чертежи —
стала жизнью идея!

Человечество славу тебе воздает,
в итальянцах твоя одержимость живет!
Твой народ, он ведь горд и поблажек не просит!
Он захватчиков сбросит, разметет, убьет —
он их так не выносит!

Ой хитро же в Италию влезла змея
океанского блока! Земля-то ведь — чья?
Тяжкий пресс иностранщины туго завинчен...
Так томится сегодня отчизна твоя,
Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи, ты встань, погляди:
итальянский народ к светлым высям — в пути,
поглотит угнетателей бездна с проклятьем!
В бой за мир коммунисты идут впереди
с их Пальмиро Тольятти!

Леонардо да Винчи, в твой дерзостный час
хоть иным возникало движение масс,
были силы другие, но целью конечной
вдохновлялся народ: чтоб огонь не погас
доброты человеческой.

В своих славных делах как огонь ты вставал —
за права человека, святые права
мир со счастьем творить беспредельным.
Ты и сам человеком себя создавал
всесторонним и цельным.

Иго золота ты презирал, как титан,
сторонился ты тронов, поповских сутан,
жил эпохи твоей интересами всеми.
О, какой был завидный удел тебе дан —
понимать свое время!

Слава, слава тебе, что с народом ты был,
для борьбы против зла ты оружие добыл!
Не боялся клеймить феодалов: калеки!
И за это тебя твой народ не забыл,
не забудет вовеки!

Человечество славу тебе воздает,
в итальянцах твоя одержимость живет!

Твой народ, он ведь горд и поблажек не просит!
Он захватчиков сбросит, разметет, убьет —
он их так не выносит!

Кто ж в Италии властвует — правящий Рим?
Чем живет он — не старым ли правом одним?
Что ж незваных гостей там идет ликованье?
... Потрясли забастовки протестом своим
Сесто Сан-Джиованни!

В серных шахтах Сицилии отозвалась
им рабочая масса. И ярость взвилась,
как волна в океане, — так в гневе народа
силы новые встали, бесстрашно борясь, —
не отступит свобода!

Не отступят борцы и свободу спасут.
Не пугают их голод, несправедный суд,
ни «подарки из США» — канонерки и танки,
ни в Модене расстрел. Беззаветно идут
в бой за мир итальянки!

В итальянке — отзывчивость и доброта,
нежность матери, мужество и прямота,
ей мы верим, земной — не мадонне небесной.
И тобою воспета ее красота
в Джиоконде чудесной!

Правда, время теперь изменило ее,
ей не чуждо ничуть заводское житье,
ей Компартия мощную силу открыла,
образ Ленина в сердце лелеет своем
со звездой пятикрылой.

И она голосует за мир на земле,
значит, людям не быть у господ в кабале!
Итальянка за дружбу с советским народом!
В бой идет, чтобы хлеб был всегда на столе
под родным небосводом.

А когда наводненья невзгода пришла,
наша помощь народу зерном прибыла
(пароход «Тимирияев») — радушно встречали
моряков итальянки! Ах, сколько тепла
их сердца излучали!

Джиоконда теперь возродилась, нова.
Ей понятны рабочего класса права —
хочет счастья добиться родимой сторонке.

Ей так дороги песни любимой слова
о каховской девчонке. . .

Леонардо да Винчи, творенья твои
принимаем всегда как родные, свои,
с их высоким огнем человечности страстной,
мы вскрываем всё новые чудо-слои
в твоей речи прекрасной.

А в Италии шумно — там крутится вир. . .
Но растут люди Правды, и лозунг «За мир!»
всех зовет на борьбу; их фашизм не обманет.
И народ победит: деспотии кумир
в пропасть вечную канет!

Человечество славу тебе воздает,
в итальянцах твоя одержимость живет!
Твой народ, он ведь горд и поблажек не просит!
Он захватчиков сбросит, разметет, убьет —
он их так не выносит!

Леонардо да Винчи, ты встань, погляди:
итальянский народ к светлым высям — в пути
поглотит угнетателей бездна с проклятьем!
В бой за мир коммунисты идут впереди
с их Пальмиро Тольятти,
с Пальмиро Тольятти!

1952

172. НА ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЕ

Светлый день, сиянье снега,
колокольный перезвон. . .
Переяславцы на площадь
потекли со всех сторон.

Что — опять война? Да нет же —
единение, добро!
Голуби трепещут в небе,
как живое серебро. . .

Площадь замерла: выходит
из собора сам Богдан,
рядом с ним идет боярин,
что в послы Россией дан.

Гляньте: Бутурлин выходит,
а посольство вслед за ним...
Этот день прекрасный будет
памятью веков храним.

Мигом расступились люди,
на помосте гетман встал...
Ярко-красный лес хоругвей
легкий ветер колыхал...

Звон утих, кругом молчанье,
только дышат казаки:
люди видят — будет радость,
узы дружбы так крепки...

И тогда Богдан Хмельницкий
гордо поднял булаву:
«Люди! Радостью народа —
вашей радостью живу!»

К нам сегодня из России
прибыл лучший, верный друг.
Видите, какое солнце?
Будет светел мир вокруг!

Долго мы, родные люди,
терпим горе и нужду.
Знаете — с народом русским
мы ближайшие в роду.

Дом наш осажден врагами —
нет им края и конца...
Люди! Мы хотим к России
прислонить свои сердца.

Лишь отбили мы султана,
сразу шляхта тут как тут...
На Москву у нас надежда,
вот где нас, друзья, поймут!..

Встанем, добрые соседи,
против общего врага!

Мы сошлись объединиться
тут, где Альты берега».

И над площадью грохочет
неуемное «ура».
«Дружба, братство и единство» —
сколько в тех словах добра!

А посол — он поднял руку,
и сказал сердечно он:
«Я от русского народа
вам передаю поклон».

Площадь снова загремела,
как бурливая река:
«Нам теперь с Москвою в дружбе
быть на долгие века!»

Так посол поведал людям
слово, полное тепла.
Речь, что он сказал по-русски,
всеми понята была.

Вверх подбрасывали шапки
горожане, казаки...
И звучало: «Слава братству!»
Узы дружбы так крепки...

Светлый день, сиянье снега,
колокольный звон стоит.
Люд на площади ликует,
Переяслав весь гудит...

Декабрь 1953

**173. ТАМАРА АБАКЕЛИЯ
РАБОТАЕТ НАД ПАМЯТНИКОМ ЛЕСЕ УКРАИНКЕ**

Она давно здесь в мастерской. Читает.
Уж солнце встало, стены озарив.
Задумалась. Глядит в окно. Мечтает.
Потом в раздумье, книгу отложив,

сказала громко: «Леся! Кто не знает,
что напряженьем боя дух твой жив!

Ты воевала с лютыми врагами,
ты призывала в битву против зла,
творцов клеймила, что скрывались в храме;
от Чернышевского, Шевченко шла,
от Добролюбова. Тебя в Сурами
увековечим, чтоб всегда жила».

Художница стремительная встала.
«Я прочитала лирику твою
и поняла, чего не понимала,
и — очарованная — вот стою...
Всю жизнь свою боролась ты, дерзала.
Но верно ль образ твой передаю?

Передо мной к поэме Руставели
развешаны рисунки; дальше вот
«Давид Сасунский»; это — акварели
о славе партии. (Вдруг как скользнет
по стенке зайчик, стекла заблестели. . .)
А где начало будущих работ?

Они — горенье, поиск и дерзанье.
А если так, какой я сотворю
тебя, родная Леся? . . Свет, сиянье,
порыв вперед, «с народом говорю» —
вот основной мотив. . . Вот обаянье
твоей души. . . Я вся дрожу. . . горю. . .»

И сбросила Тамара покрывало
со статуи, взмахнула широко
рукою и сказала: «Мысли мало
в моей работе этой. . . Прав Франко:
ведь слово Леси по-мужски звучало,
а здесь дан образ чересчур легко. . .»

И начала брать глину и сурово
станок вертеть не раз, не два, не пять,
то подходить, то отступать и снова

всё лишнее отбрасывать. . . «Опять
я поняла: работа не готова, —
мне надобно твой образ угадать. . .»

Движенья скульптора точны и круты,
а под бровями — молнии, гроза.

. . . Но что за шум? Ей показалось, будто
за стенкою всё ближе голоса.
Стук в дверь. Сейчас! Еще одна минута —
проверить надо щеки, лоб, глаза.

. . . И вот вошли. «А что там в телеграмме?
Читай! Правительственная пришла?
Скорей читай!» — «С проектом ждем в Сурами,
осмотрим площадь, домик, где жила.
Размеры статуи решим мы с вами. . .»
. . . Счастливой Абакелия была!

. . . Она обрадовалась. «Я готова!
Пора мне. . . Впрочем, надо бы взглянуть. . .» —
И вновь к станку подходит, чтобы снова
вот здесь убавить, там вот подчеркнуть. . .
Потом со стороны глядит сурово
на труд свой. . . Может, хватит? Хватит! В путь
скорее! На машину!

1953

174. НА МЕНЯ ИЛЬИЧ ГЛЯДЕЛ

(Из поэмы)

Я стою у Мавзолея.
От волнения дрожу.
Сам себя экзаменую,
в сердце собственном твержу:

«Силой разума готов ли
ты к свершенью трудных дел?
Чем отчизне и народу
ты полезен быть сумел?»

В небе холод. Тучи ходят,
как на синем льду, скользят. . .
Нам враждебные державы
что-то все плетут не в лад.

Завтра за моря лечу я,
чтоб о мире бросить клич.
Нелегко придется. . . Сильным
стать хочу я, как Ильич.

В жизни есть шипов немало,
в ней не только цвет лилей.
Знаю, знаю — так он скажет,
с тем вхожу я в Мавзолей.

Вниз по лестнице с другими
не спеша спускаюсь я.
У людей душа раскрылась,
засветилась и моя.

Ах, когда б ему, живому,
обо всем поведать мог!
...Продвигаемся. Молчанье,
только шорох наших ног. . .

Сколько раз о нем я думал —
в блеске дня, во тьме ночей!
... Шаг — и вижу я улыбку
из-под сомкнутых очей. . .

Ленин! Ленин! Как он близко. . .
Ленина увидел я! . .
У людей душа раскрылась,
засветилась и моя. . .

Показалось — слышу голос:
«В век двадцатый, грозовой,
что ты гнешься, словно колос?
На борьбу! На бой! На бой!

Вон летит свирепый ветер,
даль туманна, воздух мглист. . .
Кто же там, за далью этой,
нож заносит над планетой —
империалист?

Империалист —
как срут:
все б сожрал свободы. . .
В горло щупальцы впиваются
там и тут.
Но народы,
но народы вырываются
из пут!»

Стало мне легко, как будто
освежил меня ручей.
И смотрел, казалось, Ленин
из-под сомкнутых очей. . .

В бой за мир отважно брошусь
там, где вражий звон мечей. . .
И смотрел, казалось, Ленин
из-под сомкнутых очей. . .

. . . Шорох наших ног. Не слышно
даже сдержанных речей.
И смотрел, казалось, Ленин
из-под сомкнутых очей. . .

Говорил со мной. . . Бросаю
на него прощальный взгляд.
Вышел. В сердце не смолкает:
«Ты в борьбе за мир — солдат!»

В небе холод. Тучи ходят,
как на синем льду, скользят. . .
Жарко мне. . . И не смолкает:
«Ты в борьбе за мир — солдат!»

Империалист —
как спрут:
все б сожрал свободы. . .
В горло щупальцы впиваются
там и тут.
Но народы,
но народы вырываются
из пут!

1956

175. МЫ СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Народ, согретый солнцем славы,
жизнь созидал в родном краю.
. . . А вы сползались, как удавы,
чтоб жертву задушить свою.

... А вы коварно для расправы
пошли, вперед пустив змею.

Змея, ужалив, отползала,
и вы набросились... позор!
Лишь «Мама!» в страхе закричало
дитя, как поднял свой топор
детоубийца... Горе! Шквалом
кровь хлынула, и выше гор

тела убитых... Ты к чему же
спешишь по трупам, людоед?
Египта армия — оружие
уже ковала для побед.
Но враг огонь и смерть обрушил
на Порт-Саид, что в дым одет.

И бомбы в пламени багряном
свистят... Агрессоров разбой!
На горло стал он египтянам,
что край обороняют свой.
Но тут захватническим странам
сказал народ советский: «Стой!

Не смей, агрессоров орава!
Войны народы не хотят».
И тотчас за одним удавом
другой попятился назад.
Простыл и след змеи кровавой,
что смертный источает яд.

В Египет с целью низкой, мерзкой
вы шли, как ночь, как темнота.
Ведь вы тогда «вопрос венгерский»
в ООН тащили неспроста?
Вы тщитесь нас пугнуть? То дерзкий
нажим, чтоб нам зажать уста?

Мы не слабы духом. Тихи? Да нимало!
Наше слово правды громко прозвучало.

Чуждые смиренью, на слова скупые,
совесть человечества — вот кто мы такие.

Мы свершений славных ленинского слова,
ленинских заветов чистая основа.

Ваша совесть черной сажеею покрыта.
Вы в Египте крови напились досыта?

Напились, нажрались там вы до отвала.
Вы — бандиты. Только так назвать вас мало!

Как теперь в глаза вы поглядите людям —
с плетками и с ложью, с вашим словоблудьем?

Словно бы вам ведом тот «секрет гармоний»,
что роднит свободу и . . . тюрьму колоний.

Сочетать возможно ль рабство и свободу,
сумрак деспотизма с волею народов?

Хитры ваши песни, хитры ваши ласки,
хитрых миротворцев вы надели маски.

Что вам нужно было, проклятым удавам?
Чтобы нефть чужая в рот лилась сама вам?

Азия восстала, гордо развернулась.
Ой, поберегитесь! Африка проснулась. . .

Что же ты, зачинщик, мрачно брови супишь?
Совести народов долларом не купишь.

Круг народов братский шире год от году.
Люди, верьте правде! Стойте за свободу!

Мы не слабы духом. Тихи? Да нимало!
Наше слово правды зычно прозвучало.

Чуждые смиренью, на слова скупые,
совесть человечества — вот кто мы такие.

За что агрессоров оравы
народу натворили зла?

Встают борцы за дело славы,
за волю — нет им и числа.
Пусть лопнут наконец удавы,
пусть их поглотит ночи мгла!

1956

176. В ЧЕРНОБЫЛЕ

(Из дневника)

... Влез месяц в комнату. Да спали ль мы —
я и товарищ мой Дмитро?
Всё шелестела ночь повялыми
листочками в саду, ... Перо
павлинье, что в вазон здесь воткнуто,
кивало ветру на окне
распахнутом. ... Не сон, а вроде то
дремота.

Духота! На мне
лежали наискось извилисто
две темных тени: за окном
высокий шест, — на нем обрывисто
мотался хмель...

Заснуть бы сном
крепчайшим! Но окно огромное
будило нас.

... Я пропадал
весь день в совхозе. Неумная
кругом бурлила жизнь, похвал
она достойна, — ликование
меня наполнило. И вот
узорчатою, моментальной
дремотою вдруг промелькнет
в глазах моих (что всё смыкаются)
то бригадир, то тракторист...
Ко мне всё время обращаются,
и смысл их слов глубок и чист.
Земля своей осенней славою
так мелодична, так щедра!
Ребенок где-то ручкой слабою
стучит по донышку ведра...

Размеренно удары следуют. . .
Нет, то часы за стенкой бьют. . .
Ускоренно работать следует,
ведь столько дел, они не ждут!
Они ж с народными смыкаются:
расти, с народами дружить.
А враг. . . пускай остерегается:
лишь правде и свободе жить!
Но жизнь не ждет, и как же иначе:
минуты тают, словно дым. . .
Все тропки жизни, все тропиночки
ты изучай. И молодым
пребудет сердце. . .

. . . Ночь глубокая
как будто зноем обожглась
и вот дымится. . . Песнь далекая
в лесах легко отозвалась.
Всё ближе трактора гудение.
. . . Дмитро сказал: «Ну вот, ей-ей,
мотора чувствую биение.
То глохнет. . . То рванет сильней. . .»
А я: «Молчи! . . Шуметь не следует. . .»
Дмитро: «Все встали. . . Чепуха. . .»
— «Пройдемся, с парнем побеседуем:
ведь это ж тракторист Соха,
с которым днем мы познакомились.
Он нам сказал: „Песок родил!
Когда б тут зёмли «черноземились» —
о, как бы я им угодил!“
И возмущался всё мерзавцами
на Западе: „Вот времена!
А будет мир с заокеанцами? —
не раз он спрашивал меня. —
У нас жара здесь: поработаю
в ночной прохладе до утра.
Придете? Буду ждать с охотою —
где путь в Залесье. . . у бугра“».
. . . Мы вмиг тихонечко собрались,
на цыпочках прошли. . .

И вот —
сквозь темноту в сених добрались
к дверям на улицу (пахнет

укропом вдруг, полынью, мятою),
мы скалку вытащили враз
из двери (кто-то за дощатою
перегородкою как раз
во сне закашлял), тихо снова мы
на воздух вышли.

Средь зарниц
ночь стояла, разволнованна.
И словно много тысяч лиц
вокруг! И шепчутся, нависшие
со всех сторон. . .

И осокорь
переговаривался с вишнею.
И — месяц. И по следу зорь
на целый мир — везде — рассеяны
созвездья. . . в море тишины,
при месяце — как бы овейны
чужою славою. Цены
себе не знали. И, отправившись
куда-то в неба глубину,
бледнели, в мирозданье спрятавшись
и словно отходя ко сну. . .
Какие-то две пташки свистнули
так жалобно. . . И — тишина.
И осокорь шептался с вишнею.
Но вдруг, как бы сквозь дымку сна,
зафыркал трактор. Тарахтение
на весь Чернобыль разнеслось
и сразу стихло, лишь пыхтение
относит ветер. . .

Нам пришлось
перемахнуть ручей за сливами.
Залаяли, проснувшись, псы,
но мы им свистнули — и нивами
задали ходу!

А красы
какой же там! Как бы в огне она,
звезда упала — помелом
свой яркий след смела разгневанно. . .
Звенит лишь месяц серебром!
Звенит. . . хоть изредка и сердится,

когда как будто бы стрелять
начнет вдруг трактор. Ковш Медведицы
Большой висит. Семь или пять
светил созвездья неизвестного
мерцает слабо сквозь туман,
как бы из бисера небесного
кто ниточку спустил. . .

Бурьян
осенний, пожелтевший, высохший,
идя, валили мы. . . И песнь
сверкнула за бугром. И взмывшее
бродило эхо. . . Трактор здесь
загрохал, на гору всплывающий! . .
Ну, а напев, не утихая,
летит, звенит на целый свет!
Звенит и месяц, в небе тающий. . .
Привет тебе, Овсий Соха,
привет! . .

1957

177. РЯБИНКА ЗОЛОТАЯ

Ты, рябинка золотá, —
ой, не золотá — червона!
По расцветке ты проста:
два всего лишь тона.

Утром ранним ты яснеешь,
а к полудню всё темнеешь,
на ветру, на ветерочке,
словно вовсе без сорочки,
загораешь ты сквозь листья,
и твои алеют кисти
там и тут в лесочке,
в зеленом лесочке.

Ты от ягод тяжела,
где растешь — земля запала,
ямкой около ствола
неглубокой стала.

То забытая могила, —
в ней боец из-под Тагила.
Где он пал — родня не знала,
только-только разыскала.
Поросль ямку затеняет,
сизым шумом осеняет.
Вон несут лопаты люди —
поправлять могилу будут.
А кругом простор глазам,
и не надышаться летом:
жизнь, хоть будь несчетно ям,
расцветает цветом.

Шепчут листья с ветром вместе, —
может, из Тагила вести?
Пал боец за Украину,
за советский край родимый.
А моя душа тревожна:
жить народам в мире можно,
но фашист так жить не хочет, —
ноздри кровь ему щекочет. . .

Ой, рябинка, сколько раз
мы с тобой вдвоем сидели!
Ягод бы нарвал сейчас,
только не дозрели.

Их и птицы облетают,
что клевать не время — знают.
Хоть порой, в затишье зноя,
кисть легко сорвет с листвою
пастушок чернявый, босый,
чтоб вплести в густые косы
молодой смуглянки,
ласковой зорянки.

Ох, да что же я сказал!
Разве знать мне это надо?
Он ее поцеловал.
Лель-люли, ой ладо. . .

Девушка на миг смутилась,
вдруг очнулась, напустилась:

«Это что ж!» — Глаза суровы. . .
Да мычать пошли коровы,
и она: «Ой, мать родная!»
Он: «А кто виной, не знаю.
Перенять бы лишь успели!» —
разбежались, улетели. . .

Подрастайте, пастушок
и сердитая смуглянка!
Вслед зорянке — будет срок —
полетит зорянка. . .

Я тянусь к кистям рукою:
нету лучшего покоя.
Я еще с тобой побуду,
а уеду — не забуду:
ты свисаешь золотисто,
словно дивчинки монисто. . .
Пусть нальет аж по вершинку
солнышко рябинку!
Пусть нальет и перельет
солнышко рябинку. . .

1956

178. ИНЕЙ

В пору юности росистой —
волос темен,
 звонок голос.
Столько красок, столько линий! . .
А теперь
 белеет волос,
словно серебристый
 иней.
Сизый-сизый иней.

Что же. Верно всё. Не ново.
Сердце, тише!
 Мне навстречу —
возраст зимний, быстротечный.

Понимаю.
 Не перечу. . .
Мыслит ум сурово
 вечный.
Мыслит разум вечный. . .

Пусть виски и поседели,
но душа
 не увядает!
И звучат в ней те же струны.
Чуть печально?
 Кто их знает!
Ведь и в стужу ели
 юны,
зелены и юны. . .

Может, я бренчал на лире?
Пел бездумно,
 томно, сладко?
А народ пусть сам рассудит.
Пчелку любят
 с полным взятком.
Мысль движенье в мире
 будит.
Мысль работу будит. . .

Кому страшен иней белый,
тот и радости
 не знает.
Как сухой песок.
 Как дюны.
Сердце мне всё напевает:
ведь и в стужу ели
 юны,
зелены и юны. . .

1957

179. А БЫТЬ ЛЕГКО ЧУДЕСНЫМ, МОЛОДЫМ

В борьбе суровой жизнь моя течет,
напряжены и мысль моя и слово.
Мой самый главный, самый важный счет —
борьба за мир. И в мир меня ведет
судьба моя. Прикажет в путь — готово!

Скажи мне, старость, как ты подошла?
Подкралась так, что я и не увидел?
Но жизнь моя пока еще светла,
и на тебя я, право, не в обиде. . .

И племя молодых вокруг растет,
одним огнем со мной, как прежде, пышет,
и жизнь меня и кличет, и ведет,
Отчизны сад пахучим цветом дышит.

Так что же это? Вечно молод я?
Я не скажу. Не ведаю. Кто знает!
Иду с народом. А его стезя —
туда, где мысль, как семя, прорастает.

А тот посев — ни края, ни межи!
Вся наша жизнь — зеленое раздолье.
И радость вдруг захватит, окружит:
и моего зерна есть горстка в поле!

А сколько молодых как старший друг
я вывел в путь. И знаю я, что каждый
в бою за правду не опустит рук,
одной со мной обуреваем жаждой.

Есть у кого учиться молодым!
Он жив, как прежде, прошагавший в Завтра,
главарь наш Маяковский. Вслед за ним
в поэзии стал громче голос правды.

Но мы в стихах еще порой чадим
абстракций ладаном, фиглярства дымом.
А быть легко чудесным, молодым —
лишь только в жизнь шагай ты, а не мимо.

И сам ты с тем, что проросло, свяжись,
иди вперед, старье навек отринув.
Не отставай, поэт, всю жизнь учись,
превозмогай привычную рутину.

Чтоб слышать всех, в кого я так влюблен,
распахиваю настежь в доме дверь я.
Но кто же первый? Маяковский. Он
навек снискал народное доверье.

Давно когда-то встретившись в пути,
меня, как брата, обнял он за плечи.
И мне как будто легче вдаль идти,
сильнее стал я после этой встречи.

Я видел, как однажды выступал
он после всех, горя задором юным.
Да, молнии в руке поэт держал,
те молнии метал он и с трибуны.

Он говорил о дружбе двух сестер
прекраснейших — России с Украиной, —
что враг над нами крылья распростер,
что он готов обрушиться лавиной,

что есть у нас один святой завет:
в семье единой Родину лелеять!
Во мне всегда как бы светает свет
и молодые ветви зеленеют...

И племя боевых вокруг растет,
одним огнем со мной, как прежде, пышет,
и жизнь меня и кличет, и зовет,
Отчизны сад пахучим цветом дышит.

В борьбе суровой жизнь моя течет,
напряжены и мысль моя и слово.
И самый важный, самый главный счет —
борьба за мир. И в мир меня ведет
судьба моя. Прикажет в путь — готово!

1955

180. НАД ДНЕПРОМ

Ветер весенний, травы в цветенье,
ночь кругом. . .
Милая, видишь: звезды повисли
над Днепром.
Сердце так бьется, счастье ведь с нами,
здесь оно:
вместе идти нам дорогой одною
суждено.

Там, за садами, где-то наш город
весь в огнях. . .
Вот пролетела птица над нами —
свист в ветвях.
Запах покоса. Сядем на сене —
поздний час.
Я украинец, а ты россияночка,
дружба у нас.

Звезды
сияют нам в вышине.
Взгляни на восток, родная, —
звезды
светят тебе и мне,
встает заря золотая.

Юность, юность, будто счастье без края.
Любимая, краше тебя я не знаю!
Вместе пойдем, любимая, вместе
в ясный наш день.

Ветер весенний, травы в цветенье,
ночь кругом. . .
Милая, видишь: звезды повисли
над Днепром.
Сердце так бьется, счастье ведь с нами,
здесь оно:
вместе идти нам дорогой одною
суждено.

Гаснут огни где-то там, за садами,
и вокруг.
Время домой нам уже возвращаться,
милый друг.
Помнишь — мы город обороняли
в дни войны.
Вместе с тобою его и построить
мы должны.

К нам это счастье чарующей ночи
здесь пришло. . .
Глянь, моя милая, розовым небо
расцвело.
Запах покоса, сядем на сене
в ранний час.
Я украинец, а ты россияночка,
дружба у нас.

Звезды
уже не хотят сиять.
Взгляни на восток, родная, —
звезды
стали уже угасать,
встает заря золотая.

Юность, юность, будто счастье без края.
Любимая, краше тебя я не знаю!
Вместе пойдем, любимая, вместе
в ясный наш день.

К нам это счастье чарующей ночи
здесь пришло. . .
Глянь, моя милая, розовым небо
расцвело.
Как хорошо нам идти против ветра
в ранний час:
я украинец, а ты россияночка,
дружба у нас.

1955

181. О ЮНОМ ВАСИЛЕ
(В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЧЕРНИГОВЕ)

Василь Эллан, Василь Эллан!
В горах, или среди полян,
или прислушиваясь к ходу
станков, в их заводском строю,
я вспоминаю жизнь твою,
твою горячность — год от года.

Всё это было так давно!
Вот ты залез ко мне в окно —
я спал еще. . . «Вставай! И вместе,
как всходит солнце, поглядим!
Всегда лечу, неудержим,
топтаться не люблю на месте.

Стрелой летел бы всё быстрее.
Разил бы метко палачей.
Еще я слишком мало знаю,
учусь, как ты. А жизнь влечет. . .
Обоим нам идти вперед,
хоть это трудно, понимаю.

Студенты мы — сбылись мечты.
. . . Каникулы: приехал ты.
Ты служишь в земстве поневоле:
тяжелой жизни колея!
С негодованьем ты, как я,
живешь при царском произволе».

. . . Хотя мы были с ним близки,
не знал, в какие он кружки
входил: в нем буря бушевала.
Тут молодежь для битв росла,
себя она не берегла,
и много мужественных пало.

Я встал. . . Он, вижу, возбужден:
признался, что был вызван он
в полицию и — между нами —
взят под надзор. . . «Уже одет?

Ну, гáйда! Пахнет липов цвет...
Но царь ощерился штыками.

Ты слышал... (Побыстрее шаг!
Яловщина... вот лес... овраг...)
...что на Путиловском заводе
дела большие?.. (Тишина.
Тропа меж соснами тесна.)
Что и царей пора уходит?..»

А солнце целит напрямик
в лесок... Проходит только миг —
сосна уж зажимает рану,
багрец струится сквозь туман.
Царю б таких глубоких ран —
народ бы вышел из тумана...

Меж сосен мы всё глубже шли
и вдруг увидели вдали —
дым... хатка... речка-невеличка,
что падает в глубокий яр.
И раздувает самовар
меньшáя — Василя сестричка...

«Ой, мама, к нам Василь, Павло!»
И эхо — го-го-го! — пошло.
Мать Василя идет навстречу:
«Прошу!» (Он обнял мать.) В руках
ой силища! — врагам на страх!
Льву защититься было б нечем...

«Льву пасть, козь надо, раздерем.
Невыносимым стал ярем.
Не ты ли, мать, сама сказала,
что если жить, то горячо...» —
Василь ей чубиком в плечо,
и к сыну с лаской мать припала.

«Ах, Василек ты мой родной!
Живем с тобой мечтой одной!
Я в девятьсот шестом и дале
людей скрывала боевых —

тех, кто не сдался и не стих, —
вновь революцией дышали.

За мужество тебя хвалю!
И вас я знаю и люблю, —
сказала мне. — Да, воскресенье
сегодня — отдых от бумаг,
не надо в земство? Вот гамак.
Есть чай, и масло, и варенье. . .»

Василь ей: «Да какой там чай!
Ты лучше нас не замечай!»
Раскрыл чуланчик и в сторонке
мне в полумраке показал
то, что от матери скрывал, —
листочки на бумаге тонкой. . .

«Так вот. . . Чернигов, хоть и спит,
а новое и в нем кипит.
Дух одолеть бы благочинский!
Ты, жизнь, расти, мужай быстрей!
Виталий, Вера, и Андрей,
и юный Юрий Коцюбинский!

И начинаем вновь читать,
чтоб, всё познав, сильнее статьи!
Чернигов отвечал по чести
на посвист царского бича.
Про Николая Ильича
Подвойского приходят вести.

Тут след его трудов и дел.
Он в монастырском хоре пел.
Кто знал, когда он жил меж нами,
что революционный дух
зажегся в нем — и не потух.
Он бросился в борьбу, как в пламя.

Недавно же узнали мы:
Подвойский вышел из тюрьмы
с мечтой о новом грозном часе.

Там, где Путиловский завод,
работает. . . Там *свой* народ,
и хорошо в рабочей массе».

Василь Эллан, Василь Эллан!
Был тесен матери чулан,
а в нем так много сберегалось. . .
Нет, бурю встретим, не дрожа, —
на остром лезвие ножа
решимость смелого рождалась!

Мы знали край родной, село.
Иное в душу нам вошло,
широкие открылись дали.
«. . . Ну, что там пишешь — не таи!
Всё про леса?» Стихи свои
друг другу мы тогда читали.

«Какие там у вас дела?
Уж самовар я принесла!»
Василь свои листочки прятал.
«Мы скоро, мама, — вот сейчас. . .»
Пьем чай. Сердца поют у нас.
В сосне постукивает дятел. . .

А мать ко мне: «Он начудил,
когда к вам лез, всех разбудил?»
— «Да нет, он стежкой прямою
пробрался, а не через двор. . .»
— «И все-таки, Василь, — позор!»,
и покачала головою. . .

«Всё ж. . . в окна, Василек, не лазь:
за вами всюду ходит мразь».
Василь мигнул — мол, понимает. . .
«Да мы не попадемся им».
Мать улыбается. Молчим,
а сердце песней расцветает. . .

1957

182. ЧТОБ УКРАИНЕ ТВЕРДО СТАТЬ
(КИЕВ 1919 ГОДА)

Подвойский в Киеве, Подвойский!
Во мне проснулся дух геройский —
пойду искать!
Я был так рад, как никогда...
Он послан Лениным сюда,
чтоб Украине,
Украине твердо стать.

Иду... Вхожу во двор. Навстречу
одни и те же слышу речи:
не выйдет к вам, —
сегодня совещаний ряд;
с утра ж — на площади парад,
и повстречаться,
повстречаться легче там.

О нем всю ночь я думал... Проще
совсем не спать бы мне... На площадь
с утра спешу.
Снежок... Пробрался я с трудом.
Весь Киев залит кумачом!..
И я гляжу,
и я гляжу и не дышу...

Идут по площади колонны.
В морозном воздухе знамена.
Оркестр гремит,
и песня рвется к небесам.
Вот-вот и я запел бы сам,
вдруг слышу: «Слава!» —
слышу, кто-то говорит:

«Центральной раде смерть отныне.
Советам быть на Украине!
Тут был тевтон?
Петлюра, гетман? Этот сброд
кто выгнал вон? Да сам народ.
Так встанем дружно,
встанем дружно! Выше тон!»

Смотрю — он... он... там, в отдаленье:
«Мы победим бесспорно! Ленин
творить зовет
своею собственной рукой!»
...Ряды, ряды текут рекой...
Над головами
Ленина портрет плывет...

Подвойский — мой учитель с детства —
по царским тюрьмам насидеться
успел не раз...
Как страшно вспомнить о былом!
Мне дорогим он был отцом —
и оступиться,
оступиться не дал в грязь.

Идут по площади колонны.
В морозном воздухе знамена.
Оркестр гремит,
и песня рвется к небесам.
Я жду. Чего — не знаю сам.
А люд ликует,
люд ликует и шумит...

Народ, что любит Украину,
что видел горе и руины,
познал беду, —
увидит жизнь!.. Подвойский рад.
...Уже кончается парад —
и я к трибуне подойду.
Я к трибуне подойду...

1957

183. И СКАЗАЛ БОГДАН

И сказал Богдан на Раде
в граде Переяславе:
«Нам султан, и пан, и шляхта
застят солнце ясное.

А отчизны нашей воля,
давние мечты ее

побрататься бы с Москвою,
в дружбе жить с Россиею.

Вы скажите, как решите:
тяжкий гнет терпеть ли нам,
иль со старшим русским братом
в счастье жить на свете нам».

И ответили всей Радой,
силою единою:
«Вечно быть хотим с Москвою —
матерью родимую».

Солнце правды, встань над нами,
дружбой осиянными.
Вместе мы теперь с Россией!
Вместе с россиянами!

Триста лет с тех пор минуло,
но доньше слышится —
в Переяславе громада
радостью колыхается.

Как же нам и не гордиться
родиной любезною,
грозною, могучею
силою железною.

А откуда эта сила
дивная явилась?
В революции Октябрьской
нам она открылася.

Согревают нас лучи
солнца ясноликого —
славного-преславного
Октября Великого.

Солнце вечное над нами,
дружбой осиянными.
Вместе мы теперь с Россией!
Вместе с россиянами!

1954

184. В МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ДАЛИ ОКНО

Гордость чувствуем мы, — посмотри ты,
что свершить было нам суждено:
ведь в Советском Союзе открыто
в межпланетные дали окно.

Мы исполнены радости новой:
человечество ввысь поднялось.
Циолковского вещее слово,
что мы первыми будем, сбылось.

Люди мира, смотрите, взирайте,
как со спутником кружит Земля...
Вы сигналы его принимайте,
голос мира в них, голос Кремля!

Что возвышенной, чем золотое
чувство братства и дружбы закон!
То великое чувство живое
и закон этот сердцем рожден.

Наше сердце открыто народам, —
только мирные наши пути.
Уж конец положить бы невздадам,
быть любому народу в чести!

Ах, народы! Не вам ли, народы,
стольких дел предстоит череда —
переделявать земли и воды
и беречь человека труда?

Гордость чувствуем мы, — посмотри ты,
что свершить было нам суждено:
ведь в Советском Союзе открыто
в межпланетные дали окно.

185. НА КОНЦЕРТЕ ХОРА «МАЗОВШЕ»

«Мазóвше», «Мазовше»,
пой, безмолвье расколовши!
Зазвените, птицы, рано —
альты и сопрано,
тенора вслед за басами
да под небесами. . .

Слава людям прозвучала
в многогласье хора,
как их мужество крепчало
в трудную пору;
как врага встречали гневно
свинцовым гостинцем,
как в бою сошлись душевно
с братом-украинцем.

«Мазовше», «Мазовше»,
пой, безмолвье расколовши!
Лебедь белая пусть кличет,
пусть взлетает щебет птичий,
словно солнышка обличье —
голоса девичьи!

Возникает голос песни,
словно парус в поднебесье
кораблей далекоходных. . .
«Люди, вы теперь свободны! —
Ленин нам сказал навеки, —
воля человеку!»

«Мазовше», «Мазовше»,
пой, безмолвье расколовши!
Зазвените, птицы, рано —
альты и сопрано,
тенора вслед за басами
да под небесами. . .

Слышен ясный голос песни—
и летят, как гром небесный,
революции мотивы:
и про шахты, и про нивы.
Встала Польша величаво —
в силе своей, славе!

«Мазовше», «Мазовше»,
пой, безмолвье расколовши!
Лебедь белая пусть кличет,
пусть взлетает щебет птичий,
словно солнышка обличье —
голоса девичьи!

Средь басов мужских могучих —
нежные девичьи. . .

1958

186. К ЗНАТНОЙ ЗВЕНЬЕВОЙ

Снова в путь. Куда? Далече!
Так и тянет далеко —
к новому, к желанной встрече.
На душе легко, легко.

Лес. Песок. В тиши глубокой
сосны шепчутся. О чем? . .
Мы воспитаны эпохой,
нам открытой Ильичем.

В мире вещи есть такие,
что сияньем полнят нас.
Пелагечу я впервые
должен встретить в добрый час.

Одинокством я смлада
не сушил души своей.
И такого ж, видно, склада
души у моих друзей,

что пустились в путь со мною:
этот — тенор, тот — басок.
Объезжайте стороною,
чтобы нам не влезть в песок!

Стороною объезжаем.
Не вода ль блеснула там?
И поем мы, распеваем
так, что солнце вышло к нам. . .

Ты гляди, мое светило!
Урожай — кричишь — не мал,
потому что ты палило,
после ж дождик припускал?

Нет, нисколько не похоже:
разве суть в тебе с дождем?
Если труженик не сможет —
с вербы. . . груши соберем!

Вижу — грустно солнцу явно.
На опушке — огород. . .
Есть в сторонке нашей славной
несказанных сил народ!

Силы, силы молодые!
Край растет, бурлит, лучась. . .
Пелагечу я впервые
должен встретить в добрый час.

Увидать ее подружек,
их сноровку и закал.
. . . Где ж подсолнух медных стружек
на венок себе набрал?

С важностью поклон отвесив,
говорит нам что-то он. . .
Вот уже видать Залесье, —
легче же с горы разгон,
легче!

Вот и поле. За селом мы.
Осокори вдалеке. . .
Тут и там пучки соломы,
пять мальчишек налегке.

Босоногий молодечек
тотчас голос подает:
«Где звено тут Пелагечи?
А вон там. . . постойте, вот

тетя Дарья, звеньевая,
к нам сама идет сюда! . . .»
Мы глядим: немолодая,
а походка молода.

Женщина в зеленом скоро
к нам подходит: «Вы ко мне?
Для беседы-разговора
побывайте-ка в звене:

у девчат найдете много
интересного. А я, —
тихо молвила и строго, —
вся в заботах, вся в боях.

Управляться нужно живо! —
Всё такой же строгий тон. —
Бой

проводим —
особливо
за картофель и за лен.

На свои беру я плечи
всё, что только можно взять.
Стало жизнью Пелагечи —
крепче, крепче наступать.

Знать земли температуру,
от невзгод бурты беречь,
не растратить влагу сдуру —
ничего не скинуть с плеч!

Вы у нас ведь погостите?
Вот и славно!» (Нас привлек
осокорь в свое прикрытие.)
Трудный выдался денек!

Вторая думе этой жгучей,
к нам донесся грустный звук:
прокричал журавль под тучей,
уводя косяк на юг...

Тут звено запело звонко —
золотой, веселый звон, —
как парнишка да девчонка
спозаранку брали лен.

Мы сказали Пелагече
про геройский труд звена.
Скромной, но достойной речью
нам ответила она:

«Со своим звеном беру я
все дела, что потрудней.
(Я от всей души целую
трудовую руку ей.)

Дел полезных нам всё мало,
пашем, сеем и растим.
То, что партия сказала,
точно выполнить хотим.

Хорошо нам на просторе!
Стар — так ты уж не герой?»
...Тут сыпнули осокори
с высоты шальной листвой.

Ловим, ловим мы руками,
да не словим листопад:
как цветистый смех, над нами
листья кружатся, летят. . .

Вслед за знатною крестьянкой
мы к звену ее идем.
Что за скатерть-самобранка
здесь разостлана кругом!

Густо виснут помидоры. . .
Пчелы вьются невдали. . .
В междурядья-коридоры
мы по пояс забрели.

Песня новая — про лихо,
в ней давнишних лет беда:
«Где ходила журавлиха,
там пшеница зреет тихо,
где журавлик — лебеда. . .»

Тот припев: «Журавлик ходит» —
просто за душу берет.

Тонко
 девушка
 выводит,
низко вторит ей народ.

Принимая песню слухом,
звеньевая вниз глядит.
Слышу — заворчала глухо:
«Так копать картошку — стыд!»

Наклонилась над находкой —
над картофелиной — вдруг:
«Ох ты ж бедная сиротка! —
подняла, шепча ей вслух: —

Это наши пропустили. . .
Мы ж тебя сюда везли,
половинками садили,

подгрести гурьбой ходили,
от сухмени берегли. . .»

.. Мы пришли — просторно стало!
В снопиках виднелся лен. . .
Рать арбузная предстала,
выступив со всех сторон.

Песня пелась тут иная —
как волов Ивашка пас. . .
И сказала звеньевая:
«Гости, девушки, у нас. . .

За картошку вас бы нужно
бить картофельным кнутом!»
И звено девчачье дружно
обступило нас кругом.

А «девчата», а подруги
(лет под тридцать дашь иной) —
рост высокий, стан упругий,
взгляд — бесенок озорной.

Жмут нам руки и смеются. . .
В чернобривцах голова,
а из душ их так и рвутся,
блещут молнией слова.

Прибауткам, сердцу близким,
нет конца: их тут рои.
Не студентки, не артистки,
а в культуре — как свои.

«Ах, товарищ звеньевая,
что же вы стоите там?
Солнце, нам свети, сияя,
угоди ты и гостям!»

Тут арбузик подкатили —
чуть поменьше кабана!
Острый нож в него всадили —
крякнул, будто от вина!

Мы с друзьями изучали
дорогих, простых людей,
в чьей работе засияли
звезды ленинских идей.

Гомон наш слился в единый,
вся семья — душа одна.
Чудилось, что вот глядим мы
в будущее

из окна...

1958

187. В АНКАРЕ

(1929 г.)

В Анкаре я взглядом звезд касался...
В темном небе — густота вина.
Как я в этом крае оказался?
Где же ты, родная сторона?

Я в саду на загородной даче.
Голые деревья. Дальше — тьма.
Сад, проснись! Ужель нельзя иначе?
Что тебе метелей кутерьма?
...Ветер снег лизнул. Вдохнул. Зима.

Я в саду. Друзья остались дома.
Звезды в небе. Мыслей быстрый бег.
Мне картина зимняя знакома:
Свет из окон... искрящийся снег...

Был прием... Все выглядят устало.
Горечью душа моя полна.
...Кто-то в небе раскидал опалы...
А из дома песня чуть слышна...

Как востоковедам — нам почтенье.
Мир вам, турки! И они: «Селям!»
Всё же слышно ржавое скрипенье
Тех дверей, что отворяют нам.

Турки, турки! Или вы из глины?
Прошлое заело вас небось!
Революция. . . до половины?
Нет! Молчу, молчу. . . ведь я тут гость.

В яму вас Британия тянула
И Германия — в свою нору.
Унеслась столица из Стамбула
Аж сюда, в пустыню, в Анкару!

Только разве это вам поможет
Скрыться от народа своего,
От народа! Он один лишь может
Обновить ваш край, всю жизнь его!

Говорил Фикрет ¹: «Чужими были
Вы всегда народу своему.
Хватит лгать вам, будто правда — в силе:
Сила — в правде. И хвала уму!

Вам позор судьбою приготовлен:
Пантюркизма наплывает чад!
Где Назым? В тюрьме! А вот здоров ли?
Пантюркизм отбросит вас назад.

Зверь добрей, чем есть, казаться хочет,
Мол, потом я кровь из вас пушу!
Так неужто покоритесь молча?»
О, я только гость. . . молчу, молчу.

Встретились уже в конце приема
Мы с двумя: один из них — поэт,
А другой — ученый. «Блеска б грома! —
Прошептали. — Ведь еще Фикрет,

*Наш Фикрет был огорчен: „Досадно!
Выстрел был — султан остался жив
В девятьсот шестом году“. Отрадно?
Пал туман, грядущее закрыл.*

¹ Тевфиик Фикрет (1867—1915) — выдающийся турецкий поэт, который выражал демократические идеалы передовой турецкой интеллигенции. Сочувствовал угнетенным, ненавидел как своих, так и чужеземных деспотов-угнетателей.

Есть в Кемале Ататюрке сила,
У буржуазии — есть своя.
В рог бараний гнет и в жгут скрутила
Так буржуазия нас... То гад. Змея.

В тюрьмах за решетками стальными
Коммунисты — сердцу горячо...»
Вышло время встречи. Как с родными
Мы простились. Встретимся ль еще?

Я уже на фабрике прядильной
Побывал. (Там рядом сад «Авджи».)
Трудятся в цеху гремящем, пыльном,
Не снимая черной паранджи.

Задыхаются! У них закрыты
Лоб и рот, закрыты щеки, нос —
Лишь глаза вопросом деловитым
Светятся, мол, что за весть принес?

Сами тут же говорят: моторы
И станки нам шлют большевики!
И дрожат на их груди узоры,
Голоса их звонки и легки... .

Нам простые люди очень рады,
Высший свет косится на народ.
И когда косые ловим взгляды,
Знаем — это с Запада идет.

Тишь вокруг! А там — за морем синим —
Жизнь кипит, волнуется, гремит...
На моей Советской Украине
Темпами Грядущий день открыт.

Там семья моя. Там, яснолица,
Встречи ждет любимая моя.
Стать бы ветром, облаком иль птицей,
Чтоб умчаться в дальние края!

Я в саду на загородной даче.
Чьи-то тени промелькнули. Тьма.

Сад, проснись и расцветай иначе!
Что тебе метели кутерьма!
...Ветер снег лизнул. Вздохнул. Зима.

Звездам молчаливым что ответить?
Надо звездам сразу всем светить!
Чтоб сияли зори в целом свете,
Чтобы люди лучше стали жить!

Эх, Туретчина! Пустой игрою
Накликаешь на себя беду.
Значит, прежнюю пойдешь тропую?
Смутно над горою — Анкарою...
К ужину зовут, иду! иду!

Анкара 1929

Киев 1959

188. ГДЕ ОДНА ДУМА, А ТЫСЯЧИ РУК (Из цикла «На стройке Кременчугской ГЭС»)

1

Утро нас будит. Поели мы живо.
Что, искупаемся? Ну, поспеши ж!
Зноем дышали Днепра переливы.
Мост переехали... Столб — «На Павлыш».

Наша дорога направо лежала.
Душно от солнца, как будто в печи!
Жито нам кланялось тихо и вяло:
бедное, знать, не доспало в ночи.

Всё шелестят колосочки о зное.
Им бы грозу! Им водицы попить...
Облачко видно вдали небольшое —
что оно может! Чуть-чуть покропить...

В том-то и дело. Владыки ведь тучи:
быть ли дождю, всё решают они.
Воды хранить бы в руке нам могучей —
хватит тогда и полям на все дни.

ГЭС, обожди, Кременчугская встанет!
И о грядущем мы речь повели.
Склонится колос — и вновь перестанет.
Только... А что это блещет вдали?

Вот уж за нами остался и Крюков,
вот и не виден уже Кременчуг.
Слышится голос гудков, перестуков,
свист и ревуший, рокочущий звук...

Вновь... Еще ближе... Как тут необычно
взрывы, и шумы, и скрежет слились...
Слышно: «Готово? Включайте! Отлично!»
Сбоку кричали: «Вон там становись!»

Остановились мы. Вышли с друзьями.
Точностью всё тут живет. Быстротой.
Миг напряженных работ перед нами!
... Девушка, видим, нам машет рукой...

Вдруг отошла, повернулась и стала
около будки... Кричи во всю грудь:
камнедробилка внизу стрекотала,
ухал вдали паровоз: «На тот пу-уть!»

Глянешь на небо — небо высоко.
Глянешь на тучи — мчатся опять.
Девушка, как же ты розовощека!
Лето мое, как, скажи, тебя звать?

Голос в ответ: «Ты меня удивляешь:
чиркнул по сердцу, как гвоздь по ножу...
Что ты? Впервые меня тут встречаешь?
Я же не чудо, не чуждо гляжу?»

Тучи пусть мчатся, куда им угодно,
что в них такого? Плывут в стороне...
Мы же теперь создаем всенародно
чудо, что раньше не снилось во сне.

Ну а что лет мне немного — не диво;
я ведь одна из строителей ГЭС.
Гордая стройка! Ты — наша! Красива...
Ленина дума — источник чудес!

Что от небес не отводите взгляда?
Что вас волнует — не Днепр ли ревет?
Ленина сразу увидеть вам надо!
Ленин меж нами на стройке живет!

Лишь перейдете завал каменистый —
Ленина встретить вы сможете тут...
Новые силы, бойцы-коммунисты,
против отжившего века встают.

Слышишь, как в сердце эпоха стучится?
Дума одна тут — а тысячи рук...
Здесь этой думе в дела воплотиться!
Вот где глубины познания наук!»

Девушка! Вижу твое удивленье.
Всё, что сказала ты, — правда и свет.
...Что это? Странное исчезновение:
вдруг ты пропала. Была вот — и нет.

Слышу я голос: «Наука... Познание...»
Или с собой говорю я самим?
Или — то в сердце эпохи звучанье?
Тут ведь минуту всего мы стоим!

Снова одно только: свист и гуденье,
лязг, и бряцанье, и говор вокруг...
Надо скорее туда, где кипенье,
где одна дума, а тысячи рук!

2

Всюду на стройке возводятся стены,
кроется кровля, белеет фасад.
Кладчик, столяр, штукатур вдохновенно
трудятся... Встали уж саженцы в ряд.

Хатки внизу. Камни — серая груда.
Мостик. Колодец. Ракиты — штук пять...
Аист на крыше, он смотрит оттуда,
что он там думает — трудно сказать.

Всюду на стройке так песня искристал!
Кто же и как же ее создавал?
Труженик, чья современность огниста,
самых высоких достойна похвал.

Там, где бригада трудилась вседневно,
там, где в котлах все варили асфальт, —
как же чудесно и как задушевно
девичий песенный слышится альт!

Сразу друзьями подхвачена песня
(кто не умел — научиться хотел);
братская песня летит в поднебесье,
спаяна общностью судеб и дел!

Начали с нашей они, с украинской —
просто с моей, я скажу, стороны;
место за нею — смоленской и минской,
всем и они оказались родны.

В дружной советской семье нашей ныне
каждый своим чем-то славен народ.
Да и не чем-то — традиций святыней:
песня их мудрость нам всем отдает.

Нынешней песни познай ты обличье —
сколько в ней нового отражено!
Многоплеменность и разноязычье
ей лишь объять и прославить дано.

Ты запиши ее — песня расскажет,
что от других она песен взяла,
братский напев со своим она свяжет,
скажет, чем полнилась, в чем ожила.

Слушал я песню, что новые годы
мне доносили сквозь гомон труда.

Как при царе настрадались народы!
Бедному — горе одно да беда.

С Лениным к счастью шагнули народы,
деспотов злобных навеки свалив.
. . . Пели, блестели днепровские воды,
альта мне слышался в них перелив. . .

1959—1960

189. РАСТИ, НАШ МИР СВЕТОНОСНЫЙ

1

Нет, то не гром там, в облаках, гуляет,
то не с горы спадает шум-вода, —
то молодость советская играет,
победоносной силою горда!

Идет она путями-берегами;
что отжило — сметет, как бурелом,
чтоб чудеса творить! — да не богами,
а человеческим разумом, трудом.

И чудо есть — взвизг спутник в нашем веке.
И чудо явлено — где целина.
И вспячь текут по нашей воле реки.
И сушь пустынь водой напоена. . .

Все нашу силу спрашивали: где ты?
И осеклись. От срама. От стыда.
Могуч порыв космической ракеты,
о, сколько в нем и силы, и труда!

Кибальчича дерзанье в нем открылось
и мысли Циолковского полет.
По Ленину росли мы и — свершилось! —
рукой достали звездный небосвод.

В своей борьбе стремимся только к свету,
свершения в труде доступны нам,
ну а для бога места в жизни нету —
он по глухим хоронится углам. . .

Где наша сила распрямляет плечи,
там перемена дивная видна,
там новые слова сияют в речи,
аккордов новых музыка полна.

И в отношеньях наших меж собою —
черты коммунистического дня,
не дымкою туманно-голубою
сияет он, нас знаньем осеня.

Как скрывшаяся в утреннем сиянье
звезда горит еще в глазах у нас,
так и в порыве мирозиданья
традиций свет для жизни не погас.

Традиции берем себе всё чаще
лишь те, где кладезь правды и ума.
Ученьем Ленина — не фонарем коптящим
туда мы светим, где клубится тьма.

О сила наша, нет тебя святее!
Твой гордый стяг, как цвет зари, багрян.
Своей косою, прошлое развеяв,
ты косишь мира старого бурьян. . .

Расти же, новый мир наш светоносный!
Огонь наш из-под молота искрись!
Ты, наша жизнь, до самой тверди звездной
расти, расти, взбираясь к солнцу, ввысь! . .

Нет, то не гром средь облаков гуляет,
то не с горы спадает шум-вода, —
то молодость советская играет,
победоносной силою горда!

Расти, наш мир светоносный!
 Прекрасен твой лик и твой труд.
 Сметая столетнюю косность,
 народы из мрака встают.

И в Африке, рабством заклятой,
 в Европе и в Азии всей —
 конец тирании проклятой!
 Сиянье рассветных огней!

Уже двух Америк народы,
 и Кубы, и всех островов
 зывают: ты сей, будут всходы!
 Нам слышится ленинский зов!

Как трудно бывает, как трудно
 расцвести и свой плод сохранить.
 Гадюки гнездятся подспудно
 и слабых хотят умертвить.

Банкиры, что хищные звери,
 наживу во тьме нагребли,
 но всё ж раскрываются двери
 на волю народам земли!

Мы крепки, сильны и упорны,
 а деспоты нас — в перегной?
 Эй, белый, и желтый, и черный,
 вставай, подымайся на бой!

Хотят нас оставить без света,
 так знайте же, дьяволы тьмы:
 наш друг — государство Советов,
 где правда лишь правит людьми.

Бьет час ваш, долларные боги,
 всё крепче трудящихся класс,
 он трактором нашей эпохи
 запашет и память о вас.

Над миром — стремительный ветер...
Молчи, капиталова знать!
Ценна только правда на свете,
и правду должны мы поднять.

8

Родная моя современность,
ты силой советской жива,
с тобою сияют нетленно
и труд наш, и наши слова!

С тобою живу я, счастливый,
в душе моей слово цветет, —
засеем Грядущего нивы, —
глядишь, и мое прорастет.

Так пой же от сердца, правдиво,
всю душу народу раскрыв...
Поймешь современности диво:
и плановость в ней, и порыв.

У наших героев отрадно
учиться любому из нас —
работать красиво и ладно
и каждый размеривать час.

Науке я песнь начинаю:
на космосе сбила замок.
В эпоху свой взор погружаю
и дум обгоняю поток.

Я славлю тебя, современность,
стремленье к труду — не к мечам.
Служу я тебе неизменно,
наш труд неподвластен годам.

Люблю я лишь душу прямую:
коль в бой, так уж в бой, не сдавать.
И Партию нашу родную
я буду всегда воспевать.

Пусть враг нас как хочет пугает,
нам — к высям, а мертвому — вниз.
К нам солнечный свет подступает,
название ему — коммунизм.

1959

190. УЖ РАЗ ТВОРЦОМ ТЫ НАЗЫВАЕШЬСЯ

(Отрывок из поэмы)

Уж раз творцом ты называешься,
струн золотых рождаешь звук,
то почему не отзываешься
на жизнь, кипящую вокруг?

Как лишь на миг себя накаливать,
как на полгода угасать,
как душу надвое раскалывать
и вновь из грязи воскресать, —

ей-богу, никакою мерою
измерить это не дано,
коль стало сердце тряпкой серою,
сто раз залатано оно.

А нам ведь сердце нужно цельное,
людское, схожее с огнем!
Крылатость, жажда беспредельная
пусть в нем сольются с нашим днем...

Ты изумленья не испытывал,
как наш народ в труде растет?
Так кто же так тебя воспитывал —
лишь пустота в душе да лед? ..

Какие сдвиги в нас глубокие!
Какой несет эпоха свет!
Тебе ж всё шуточки жестокие, —
ты сводишь сам себя на нет.

Ужель оглох? Ужель не чуешь ты,
куда нас партия зовет?
К кому идешь? Кого целуешь ты?
Твою кто душу низко гнет?

С душой, художник, не играйся:
она — твоя, она — и всех. . .
Ты клоуном не наряжайся,
не выставляй себя на смех.

Зачем, скажи, роптать, подхныкивать?
Отчизна всё тебе дала!
Свою ты должен волю выковать,
чтобы железною была.

А если в луже мыться хочется —
ложись и хрюкай круглый год.
Не станет никогда заботиться
о том, кто чужд ему, народ.

1960

**191. ЛЕНИН ИДЕТ
НА ШЕВЧЕНКОВСКИЙ ВЕЧЕР
(В КРАКОВЕ 1914 ГОДА)**

...Были на украинском вечере
в честь Шевченко.

Твой В. У.

*Из письма Н. К. Крупской
и В. И. Ленина к М. А. Ульяновой*

По городу Кракову Ленин
и Крупская рядом идут.
Ведут разговор о народе,
к свободе идущем из пут.

А мартовский вечер морозен.
Звезда одиноко горит.
По улицам люди гуляют,
сияют кругом фонари...

И Крупская тут замечает:
«В России мороз — это ад.
Там страшно от жизни проклятой, —
когда-то пойдет же на лад».

«Там ад? — отзывается Ленин. —
Россия — народов тюрьма.
Сума там одна для бездомных,
для бедных там — только сума!

Россия — в руках самодержца,
в тяжелых оковах у бар.
Пожар их дотла уничтожит,
низложит рабочий удар!»

Крупская

А в Краков идут украинцы,
их лютая гонит нужда:
всегда бедняки голодают,
сжирают их труд господ.

Ленин

Их доля тяжка и в России,
их речь под запретом и там.
«„Хохлам“, — царь сказал, — за крамолу
я школы народной не дам!»

По городу Кракову Ленин
и Крупская рядом идут.
Ведут разговор о народе,
к свободе идущем из пут.

То фраз украинских, то польских
до них долетают слова.
«Едва ль всё живое царь сможет, —
итожит Ильич, — заковать.

Да вот. . . и сама ты ведь знаешь:
Шевченко был сын бедняка,
скликал он к восстанью неправных. . .
Прославить его бы в веках!

Так нет, захотелось мерзавцам
дискуссию в Думе начать,
печать налагать на Шевченко,
злыденком его называть.

О злые плуты! Право наций
вовек не убить кулаком!
Рукой мы смахнем лицемерных
мизерных Савенков и К°!»

И Крупская гневно: «Министры
язык заставляют забыть».
А Ленин: «Известно! Министры
все быстры — родное губить!»

Они украинцев поносят,
поближе, мол, Австрия им,
а сами гnevят Украину
руиной и гнетом лихим. . .

Так кто же мешает в России
язык украинский понять,
обнять, полюбить украинцев,
не клинья им в душу вбивать!

Постой! — осмотрелся тут Ленин. —
На вечер Шевченко. . . сюда?
Скорей же по улочке малой —
к началу бы не опоздать!»

По городу Кракову Ленин
и Крупская рядом идут,
ведут разговор о народе,
к свободе идущем из пут.

А вечер уже угасает,
звезда одиноко горит. . .
По улице люди гуляют,
сияют кругом фонари,
и светят в пути фонари. . .

1961

192

Моему учителю И. П. Львову

1

Непрошено годы идут и идут,
и новые снова в пути поколенья,
у старшего — честно исполненный труд,
что передан младшим без тени сомненья.

Заря занимается вёдренных дней,
и в речке зари повторяется лава. . .
Как юность тебе благодарна, а в ней
живет, вырастая, учителя слава.

Да, год к нам приходит — уходит как гость,
никто удержать его, право, не может.
Пройдет всё на свете: и злоба, и злость,
но труд остается и дни наши множит.

2

Зачем этот грустный мотив на пути?
Проходят все сроки, летучи и строги, —
хотя бы спросили — где лучше пройти?
А может, догнал бы и я свои строки,

а там бы и сел я поужинать с вами.
«Мы сядем, — в ответ, —

ну а ты вот словами
стихов нам о нынешних днях расскажи,
о днях Украины скажи от души.

И пусть догоняет тебя поколение,
года не считай — непреложен их путь.
Приветствуй победное жизни рожденье:
„Прекрасное властвуй! Героика — будь!“»

1960

193. ТАК РАД Я, ЧТО ТЕБЯ СЕГОДНЯ ВИЖУ

Одесса, солнцем полная Одесса!
И жизнь в тебе — не озеро у леса
и не прохлада, что дает нам бор,
а вольный моря бурного простор.

Так рад я, что тебя сегодня вижу.
Я давней памятью тебя к себе приближу:
с капеллою Стеценко тут я был
и ничего из дней тех не забыл.

Тебя я увидал в годах двадцатых,
когда прогнали интервентов клятых.
От радости душою я расцвел
и к памятнику Пушкина пришел.

Здоров будь, Пушкин мой! Враги лихие
Одессу мучили. Сыны России
твоей изгнать вражье нам помогли.
Навеки слава тем, что тут легли. . .

Простор морской, звездюю осиянный,
заговорил со мною: «Россияне
и украинцы, их семья — одна!
И жизнь их — высь, а дума — глубина. . .»

Тогда взяла ты лучшие начала!
По клубам наша песня зазвучала:
в ней Лысенко, Глиэр со Степовым
и Леонтовичем. Вставал живым

явленьем мир эпохи обновленья,
дух героизма, творчества, горенья. . .
А позже — то не сон я увидел —
у Пушкина Барбюса повстречал. . .

О мире слушал я слова Барбюса. . .
И дети бегали. Смуглянке русой
так было весело ловить в объятья их. . .
А море хмурилось от дум своих.

Одесса, солнцелика, величава!
Повергла ты фашистского удава.
У молодежи поступь так тверда.
А с молодежью — вся ты молода!

Так рад я, что тебя сегодня вижу,
людей твоих, что жизнь эпохи движут,
их трудовую доблесть, красоту,
искусства и науки полноту.

1961

194. РАБИНДРАНАТ ТАГОР

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ В 1930 ГОДУ

Бенгалия! —
я говорю, Рабиндранат Тагор, —
сыны твои уселись на бугор,
да и грустят. . . И гибки. Как из жести.

Погладь ты их рукою против шерсти!
От лени их избавь! А в назиданье
ты разбуди в них гордое сознание
и погони на торную дорогу —
пускай увидят света хоть немного
да опыта поищут у людей. . .
В России столько новых есть идей!

Бенгалия! —
твержу опять же я, Рабиндранат, —
тебе бы лучше было во сто крат,
когда б от сыновей ты отшатнулась.
Энергия хотя бы в них проснулась!
Пора не слыть овечьёю отарой.
Зачем держаться на чужих подпорах?
Им нужно думой загораться ярой,
пора в идейных закаляться спорах.
А любят ли тебя они? О, да?
Но нет борцов меж ними — вот беда!

Коль мусор ветром с Запада несет,
на сердце горько. . . Солнышко встает
сквозь пыль и мнится доньшком коробки
консервной. Неужель душой мы робки?
Своим гореть не можем светом ясным?
Доколе ж будем людом мы безгласным
перед пришельцем гнуться, унижаться,
не сметь дерзать, с коленей подниматься?
О Индия, любовь моя! Встряхнись!
И пред тобою распахнется высь. . .

Ты встанешь, Индия! Я верю. Знаю.
Я нового поэта призываю.
Ты к нам приди, певец! Зову, зову я!
Воспой рабочих силу грозовую!
Зачем же к духу возносить моления?
Нам трактора б сюда! Наук! Движенья!
Зачем для Англии пахать и сеять?
С любовью б нам родной язык лелеять.
Тому не верьте, кто протух. . . Эй вы!
В душе напрасно вы не ковыряйтесь.
Я счастлив тем, что гостем был Москвы.

Скорее же в Москву
и вы
все собирайтесь!
Решайтесь, отправляйтесь...

Ты не воркуй, Бенгалия,
голубкой на закате:
в тебе довольно стали есть,
да и железа хватит!

Не всех же лежебоками
я называть охочий.
Вперед идет широкими
шагами люд рабочий.

Враг одолеть пытается
нас подлостью любой.
Но ведь в борьбе рождаются
характеры для боя.

Нас не купить дешевками
царька колоний Грея...
Дерзнули забастовками
текстильщики Бомбея!

Нам словеса не надобны —
нужны нам бури, бури!
Покрепче помнить надо б нам
восстанье в Шолапуре.

Ведь знал и я страдания,
пока в Москву не ехал.
Октябрьское восстание
для всех народов века.

Я весь был зачарованный,
когда Москву проведал.
Веселый люд, раскованный;
я там с детьми обедал.

Спросил, как на экзамене,
про новые почины.
О них порассказали мне
крестьяне с Украины.

Так не воркуй, Бенгалия,
голубкой на закате:
в тебе уж столько стали есть,
да и железа хватит!

Киев
1959

В СЕРЕБРЯНУЮ НОЧЬ

(1964)

195. И Я ЗАПЕЛ РАСКОВАННО, ОТКРЫТО...

Пусть годы мне посеребрили волос —
работаю, шлифую грань строки.
Максима Горького я слышу голос,
Михайла Коцюбинского шаги.

Они всегда со мною, рядом где-то,
как в те первоначальные года,
когда еще перед зарей Советов
с престола царского сползал удав.

Сползал... Меня вот-вот бы искалечил.
Кому ж я благодарен век, кому
за то, что вышел Октябрю навстречу?
Лишь Ленину — с народом — одному!

И я запел раскованно, открыто,
и я увидел чудо из чудес:
тот, кто хирел бесправным и забитым,
поднялся в неизведанность небес.

Но я не забывал о грозном жале,
что так безжалостно вонзалось в нас.
Мы страх избыли, смерти избежали,
и свет вошел к нам в сердце в добрый час.

И все поэты — недруги рутины —
с народом вместе встали против зла.
Я стал поэтом новой Украины,
той, что дорогой Ленина пошла.

И я запел раскованно, открыто,
и я увидел чудо из чудес:
тот, кто хирел бесправным и забитым,
поднялся в неизведанность небес.

1962

196. К МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Коль новый век — нова и слава,
и, как фонтаны буровых,
взлетает смех певцов иных:
уже в свое вступают право
ряды поэтов молодых.

Они уже несхожи с нами,
хотя и все идут от нас.
Им, чутким, трепетным, как пламя,
жизнь славить новыми стихами,
встречая коммунизма час.

Пусть форма их порой кудрява
и не всегда точны слова,
их содержанье — не забава:
эпоха, как в вулкане лава,
в том содержании жива,

и всё бесцветное на свете
трудом перечеркнут они! . .
Ты слышишь: кличут наши дни!
Эпоха лишь того приветит,
кто сам эпохе той сродни,

кто знает, что в наш век тревожный .
на каждом — времени печать. . .
Не смеем про людей молчать!
В век звездолетов невозможно
пустыми строчками брэнчать.

И вы о том не забывайте,
что честь — в труде и труд — в чести!

И, чтобы творчески расти,
традиции оберегайте,
чтоб их в грядущее нести.

Вникайте сердцем в суть событий:
пути иного к песням нет.
А вот и главный мой завет:
дорогой Ленина идите,
всегда держите с ним совет.

Учитесь, чтобы песням петься,
дерзайте, чтобы стать сильнеей,
чтоб оседлать любых коней! . .
Я вас приветствую всем сердцем,
как знаменосцев новых дней.

1965

197. У АСЕЕВА В ГОСТЯХ

Асеев, солнце, славный друг Асеев!
Курянин ты, с Черниговщины я.
Мы в чем-то так похожи, но кто знает,
в чем этой общности черты.
Моя душа к тебе взывает,
а ей в ответ — твоя.
Асеев, солнце, славный друг Асеев, —
глубокой дружбы колея.

Всегда в Москве к тебе спешу я в гости,
и ты радушен с первых же минут.
«Идем, идем, тебя вот мы и ждали,
Оксана, шапку отними!»
Глаза Оксаны заблестали:
«Постой. . . и Лида тут. . .»
Нам радостно, к тебе пришли мы в гости,
мы вместе, и — часы бегут.

«Поборемся? — кричишь. — Ведь мы так юны!
Давно с тобой не виделись, давно!»
И нашей дружбы широки объятья, —
нет, нас не разомкнуть. . . И вдруг

ты брови сдвинул: «Кстати, кстати,
я ночью... перевел... одно...»
Читаешь «Думу», и слова что струны,
а солнце всё глядит в окно.

За стол садимся. И мгновенье — тихо.
За Маяковского наш первый тост.
Потом мы пьем за племя молодое.
«Перегоняют нас, Павло?
Хоть кое-кто строчит пустое!
«Надменный недорост»,
намеренный никчемною шумихой
взорвать традиций наших мост.

Но в молодом кругу среди поэтов
иные есть! Поможем молодым.
По-ленински. К их душам прикоснуться,
уменье, опыт — всё отдать!
От чуждого, чужого отмахнуться,
его развеять точно дым.
Отбросить юность? Не к лицу нам это.
О нет, поможем молодым».

Асеев, солнце, славный друг Асеев!
Курянин ты, с Черниговщины я.
Мы в чем-то так похожи, но кто знает,
в чем этой общности черты.
Моя душа к тебе взывает,
а ей в ответ — твоя.
Асеев, солнце, славный друг Асеев, —
глубокой дружбы колея.

1963

198. РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Ты хочешь видеть город древний?
Пойдем же, милая, пойдем!
...И с юной гостьей из деревни
мы в центре Киева вдвоем.

Христинка милая моя,
ведь ты совсем мне как своя.

Хоть ты окончишь скоро школу,
всё ж маленькой зову тебя.
...Ледок растаял — всюду голо,
в рябинках, в слякоти земля.

Снег, в ямках удержаться силясь,
стал ноздреват, ручьи журчат,
а ветви в лужах отразились
и там, как в зеркале, дрожат. . .

Уже слышны и птичьи трели,
пестрит набухшая кора,
края у туч позолотели,
вот-вот пробьется луч — пора!

Пора и в поле: как дела там?
Вся даль в прозрачной, легкой мгле,
рукам проворным, тороватым
весь день копать бы в земле.

А ты пилотом хочешь? Смело!
Писала нам в письме своем.
Ты что ж смутилась, покраснела?
Ну пусть его. Куда пойдём?
В музеях Ленина, Тараса
вчера мы были. Вон видна
гора крутая. По террасе
мы к «Арсеналу»!

Вот стена —
в боях вся пулями изрыта,
как книга грозовой войны!
В ней классовая суть раскрыта
истории до глубины:
востали дружно арсенальцы,
чтоб царский гнет свалить с людей.
...Подтаяли сосульки-пальцы,
с карниза гонят голубей. . .

Христинка милая моя,
ведь ты совсем мне как своя.

Мы улицу перебегаем,
бросок — и... надо отдохнуть.

Стоп. Подождем. Пройдут трамваи,
и перебежкой снова в путь.
Гудит в деревьях соков сила,
в ней предвесенний слышен звон.
Пришли. Аскольдова могила —
какой открылся горизонт!

Скрежещет Днепр. Он лед ломает,
а поезд ходом молодым
пошел на Дарницу, бросая
на насыпь кругло-белый дым. . .

Вон там, смотри: столбы большие,
здесь мост проложат. Над Днепром.
Внизу ж — вагоны голубые
плывут, плывут в тоннель метро.

«Плывем, плывем!» — крича в разгоне,
нам бросил паренек слова.
И ты ударила в ладони
вдогонку. . . Ишь ты какова!

То лыжники. Скользят попарно.
Кричишь, не сдерживаясь, ты:
«Вот молодцы! Какие парни,
хоть тает снег, но знай лети!»

Твоя душа вовсю сияла,
ты лыжникам смотрела вслед.
Чудесное очаровало?
Их вдохновенье? Стройность? Нет!

Лицо Христинки погрустнело.
«Какая мысль к тебе пришла?»
Она в глаза мне посмотрела
и взгляд свой молча отвела.

Я смолк. (Над синею водою
там льдины, треснув, разошлись. . .)
О поколение молодое!
Дает вам столько счастья жизнь.

Сказала: «Стройность? Вдохновенье?
То и другое, словом... всё».

Я (отгадав души движенье):

«Не мир и дружбу, а гниенье
нам злоба с Запада несет.

И молодое поколение
столкнется с нею... И не раз».

Хрустинка (твердо):

«Мы не страдаем утомленьем.
За нашу честь? В бой хоть сейчас!

Любить, творить не перестанет
наш разум светлый и живой!
А кликнут клич — народ весь встанет,
по-комсомольски молодой».

И голос искренний и светлый,
в глазах решительности пыл!
Хрустинка выросла, окрепла,
ребячьих лет и след простыл.

Природы мудрое веленье, —
ее совсем я крошкой знал,
ко мне взбиралась на колени,
сто раз ее я целовал.

Ко мне беляночка бежала,
смеялась: «Дядя, вы — Павло?»
С отцом малышка приезжала —
с тех пор немного лет прошло.

Как поднялась! Горда, умела,
ум в глубине ее очей.
Она окрепла, повзрослела,
а смех — как искры от мечей...

Даль в новостройках... Ввысь стремится
архитектурной мысли власть.

«А как отец живет?»

— «Бодрится».

— «А мать как?»

— «Очень подалась».

Когда фашистские солдаты
село сожгли, так много дней
в землянке мать жила, не в хате.
(А был отец-то на войне.)

И подорвали беды эти
ее здоровье... — В горле ком. —
Меня же не было на свете,
всё рассказали мне потом». —
Христинка милая моя,
ведь ты совсем мне как своя.

Дитя, взгляни за мост Патона,
там стройки гул, там звон зубил.
У нас кой-кто поет в полтона,
а голос наш — он во сто сил!

Христинка говорит напевно:
«Идти в пилоты не по мне.
Останусь я в своей деревне,
я сил полна, а разве нет?»

И ветерок к ветвям стремится,
сосульки в лужицу с них — плюх!
На нас хитро глядит синица,
мы рассмеялись вместе вдруг.

Иди же прямо, не сторонкой,
шагни, как край наш ввысь шагнул!..
...В деревьях бродят соки звонко,
и слышен в них весенний гул.

1963

199. ТОТ, КТО ЗА МИР, ШАГАЙ С ДРУЗЬЯМИ В НОГУ

Всё — и земля, и солнце, и народ —
сегодня нашу совесть в бой зовет:
«Тот, кто за мир, шагай с друзьями в ногу,
чтоб преградить агрессорам дорогу!»

Ведь ты же океан, а не прыгун-ручей —
так будь творцом истории своей,
сумей познать великих дней значенье
и воспринять людских сердец биенье.

Зачем народы разделяет гать?
К чему вражды отравленные жала?
В нас ленинские вложены начала,
чтоб каждому народу расцветать,

чтоб сталевар и хлебороб могли б
не ядерный увидеть смертный гриб,
а свет и счастье новой, мирной эры...
Но глухи к этому миллионеры.

Прислушайся... Из Африки кричат:
«Нам смерть принес колониальный ад!
Нас проглотить плантаторы готовы, —
нам не нужны военных баз оковы!»

«О, как нам жить! — из Греции звучит. —
Терпение на ниточке дрожит...»
А из Японии, оттуда, где цунами,
калека-женщина простерла перед нами,

как две надежды, кисти слабых рук:
«Мы жаждем мира — я и все вокруг!
Страдания мои невыносимы...
Вы видите? Я — жертва Хиросимы!»

А разве не была я молода?
Водицы б напилась — страшна вода!
В родном краю, где ярко светит солнце, —
и тут тебя сожрет проклятый стронций!»

...Вот так идем мы по дорогам мира,
и наши руки дружбой сплетены.
Нам надо погасить огонь войны!
Всем сердцем жаждем мира, только мира!

О, сколько тут следов чумы фашистской!
Вот Киев наш... Взойдем на склон крутой
и постоим, поклон отвесив низкий
тем, кто тревожно спит в земле сырой?

Взлетает пламя из-под обелиска,
как гнев священный, яростно гудит.

Тут все молчат: молчат девчата,
молчит солдатская вдова...
Лишь Неизвестного Солдата
как будто слышатся слова:

«Здесь я лежу на дне могилы,
я — твой Солдат, родимый край!..
Свое могущество и силы
ты и сегодня создавай.

Хотел бы говорить в полтона,
а словно в крике голос мой:
за морем каркает ворона,
но век у нас теперь другой.

Не относись к врагу с доверьем:
зобатый, он того и ждет...
И пусть летят лишь пух да перья,
коль вновь на нас он нападет!

Ой, мама-мамочка родная,
смотри, как радуги встают...
Чего ж ты плачешь, дорогая?
Я честно вел себя в бою!

Я к вам приду еще, я встану,
полями трактор поведу...
Мой сын — в живых! Не перестану
любить в нем мирную страду.

Я — тот огонь, что не сгорает,
что учит зоркости живых.
Горит наш гнев и призывает:
держитесь сил сторожевых!»

...Солдат замолк. И тут пред целым миром
мы поклялись не допустить войны!
К разоруженью всех мы звать должны:
всем сердцем жаждем мира, только мира!

1962

200. РАЗРАСТАТЬСЯ ДРУЖБЕ ВШИРЬ

Вышел я из хаты рано,
а в глаза мне солнце бьет.
Иволга зигзагом флейты
круглый голос подает.

А за ней иволженята
(каждый в пень не мастак),
будто дразнятся, картавят,
кое-где берут не так.

Здесь, у хаты, дуб зеленый,
а вон там, где сенокос, —
сосны стройные такие,
всем бы сердцем к ним прирос.

В синем воздухе то в Киев,
то из Киева назад
низко мчатся самолеты,
оглушающе шумят.

И пускай — с единой целью:
разрастаться дружбе вширь.
...Сам же я вчера вернулся
с форума за мир.

1963

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ,
НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

201

Лазурь мою душу возвысила,
К душе моей солнце приблизила,
А в ней зеленеет земли первоцвет.
Вселенной сказал я: «Привет!»

Подлесок над лентою-речкою.
На веточке бабочка — свечкою.
Играют, сверкают, сияют поля —
Тебе мой привет, Украина моя!

1907

202

Под окном моим
Дуб шумит всю ночь,
Дуб шумит, ведет беседу
С тополем седым.

Под моим окном —
Шепоток цветов.
Вижу в небе звезды, звезды,
В травах — светляков.

Ах, заснул бы я —
Да душа не спит.
Предо мною как живое
Прошлое стоит.

Вспоминаю ночь
Давних детских лет.
На завалинке сидим мы,
Спит, поникнув, дед.

Говорит отец
Нам о днях былых,
О былых своих надеждах,
Светлых, молодых.

И вздохнули мы:
«Эх, бывали дни!»
Дед спросонок всё бормочет;
Он совсем поник.

Тишина вокруг.
И отец молчит.
Лишь за хатюю широкой
Тополь шелестит.

Ночь еще одну
Вспоминаю я.
Пробудились мы от крика:
«Смолкнешь у меня!»

Мать рыдает... «Цыц!
Слышишь ты иль нет?»
— «Ох, что сделала тебе я?
Что — скажи ты мне!»

«С глаз моих долой!
Убирайся прочь!»
И с проклятьями — лупить нас.
...И молчала ночь.

И глядела ночь,
Как нас пьяный бьет,
Как жену за косы тащит,
Лается, плюет...

Я очнулся — двор...
Я поднялся, сел.
Мать рыдала возле хаты,
Тополь шелестел...

Не забыть еще
Ночи мне другой —
Летней ночи светлой, ясной, —
Звезды и покой.

В хату я вошел.
Тишина была.
Спит отец, а мать упала
Около стола...

Или умер он?
Я застыл, стою.
Мать рыдает: «Боже, душу
Вынул ты мою.

Покарал меня за что?
Я одна совсем.
Дети малые голодны!..
Умер он зачем?»

Сестры — в плач. Меньшой
Брат в углу молчит...
А младенец в колыбели
Жалобно кричит...

Ах, я эту ночь
Не забуду, нет!
Звезды, ладан, пенье, слезы —
Будто всё во сне.

И не помню, как
Очутился я
Вдруг под топодем широким, —
Сон ли это, явь?

Тополь прошумел,
Словно мне сказал:
«Убежал, а по отцу-то
И не зарыдал?»

Тополь шелестел...
Я стоял, глядел.
В нашей хате все рыдали.
Уж восток алел...

Как ушел отец —
Будто свет погас:
Жить нам стало горько, тяжело.
Хлеба... нет у нас.

И порой всю ночь
До утра не спим.
«Мама, хлеба», — младший просит.
Все молчат... сидим.

Под мерцаньем звезд
Ночь вокруг молчит,
За окном листвою тихо
Тополь шелестит.

Не дает заснуть
Тень былых годов.
Под моим окном при звездах —
Шепоток цветов.

Под окном моим
Дуб шумит всю ночь,
Дуб шумит, ведет беседу
С тополем седым...

24 октября 1907—1908

203

Что месяцу звездочки ясные шепчут?
Что шепчут цветы по ночам за рекою?
О чем вздохи ветра? Что слышат туманы,
Когда лес зеленый целуют, милуют?

Хотел бы узнать я, о чем в своих думах,
Струясь, ручеек гомонит меж травой?
О чем шепчут листья в садах, словно дышат?
О чем камыши свою песню заводят?

Хотел бы узнать я — да кто мне расскажет?
Кто скажет, о чем размышляют курганы...
О чем воет ветер полночный в дубраве,
Зачем он так злится, о чем так ликует?

Скрипят и рыдают деревья под ветром...
О чем? Сердцу ль больно, горька ли их доля?
Иль давят тяжелые, хмурые тучи?
И плачет былинка одна при дороге...

Что видит во сне пруд глубокий и темный?
Кому улыбаются красные розы?
А росы! Кто скажет мне, чьи это слезы —
Чисты и прекрасны, как жемчуг бесценный!

1910

204. МОЛОДОЙ Я, МОЛОДОЙ...

Молодой я, молодой,
В жилах удаль заиграла.
Злая жизнь, вставай на бой, —
Разомнемся для начала!

Злая жизнь, явись, дрожи!
Псбежденной станет стыдно.
Кто из нас смелей, скажи, —
Будет видно, будет видно.

Горе? .. боль? .. Снесу шутя.
Сила с юностью в содружье!
Всех врагов с пути сметя,
Одолею без оружья!

Дайте, дайте мне ответ,
Дорогие сестры, братья:
Что вам в жизни застит свет?
Чем бы мог ваш дух поднять я?

Там, где мир весь обойму,
Обезумевши от боли,
Там никак вас не пойму,
Не постигну вашей доли.

Молодой я, молодой,
В жилах удаль заиграла.
Злая жизнь, вступая в бой,
Разомнемся для начала!

1911

205. РАССКАЖИ, РАССКАЖИ ТЫ МНЕ, ПОЛЕ...

Расскажи, расскажи ты мне, поле,
Что так редко растут колосочки?
«Ой, дождя бы мне надо, дождя, а не поту, —
Прилипает тот пот к заскорузлой сорочке,
Когда пахарь кончает работу».

Расскажи, расскажи ты мне, туча,
Почему так спешишь, убегая?
«Разве я, истомленная, что-нибудь знаю?
Видишь, гонится ветер, кричит: „Дорогая,
Я люблю тебя, стой, догоняю!“»

Расскажи, расскажи ты мне, поле,
Что же делать теперь нам с тобою?
«Моя доля такая: что будет, то будет!
Пусть одни васильки урожу с лебедою —
Всё ж хоть что-нибудь пахарь добудет».

1911

206. ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ЛИПА ШЕЛЕСТИТ...

Вы знаете, как липа шелестит
В тиши весенней лунной ночи?
Дивчина спит, дивчина спит,
Приди, буди, целуй ей очи, —
Дивчина спит...
Вы слышали: так липа шелестит.

Вы знаете, как дремлет старый бор?
Ему всё видно сквозь дремоту.
Вот месяц, соловьиный хор...
«Я твой», — сквозь шелест шепчет кто-то.
Трель... перебор...
Но вы уж знаете, как дремлет бор!

1911

207. ТАМ, ГДЕ ТОПОЛЬ РАСТЕТ...

Там, где тополь растет,
Среди поля стою.
И шумит и поет
Жито песню свою.

И шумит и поет,
К светлой жизни зовет;
Налетит ветерок —
К колоскам так и льнет.

Жито шепчет о том,
Как привольны поля,
Как небесную синь
Догоняет земля.

Гей, просторы вокруг
Развернулись, зажглись.
И везде колоски
Так и тянутся ввысь.

И пылают огнем
Золотым, молодым.
Только с края лески
Протянулись как дым.

Только с края лески,
А вокруг — кинешь взгляд —
Колоски, колоски
Тихой песней звенят.

1911

208. НЕ БЫВАЛ ТЫ В НАШИХ КРАЯХ...

Не бывал ты в наших краях!
Там, где небо как моря просторы,
Там, где степь, и курганы, и горы...
А весенние ночи в лесах!
Не знаешь ты разве, не знаешь,
Когда сам и смеешься, дрожишь и рыдаешь,
Сердце бьется, что птица в силках.
Не бывал ты в наших краях!

Не бывал ты в наших краях, —
Не таким бы оттуда вернулся!
Там простор широко распахнулся,
Люди знают и горе и страх,
Но тужить не хотят, не умеют,
Но без песни чудесной не пашут, не сеют.
Ну а ты — постоянно в слезах...
Не бывал ты в наших краях!

Август 1911

209. КОГДА Я СМОТРЮ В ТВОИ ОЧИ...

Когда я смотрю в твои очи,
То кажется мне,
Что вижу в небесном просторе
Звезд бриллиантовых целое море,
Сияют они, улыбаются
Там, в вышине...

Ах, эти мне очи!.. Голубка,
Зачем твое сердце молчит?
Когда говоришь ты, душа вспоминает
Осеннее поле. Туман наплывает.
Сухая былинка качается...
И пахота спит.

1911

210. ГДЕ-ТО В ГЛУБИ СЕРДЕЧНОЙ...

Где-то в глуби сердечной
Песнь любви зазвучала без слов.
У реки быстротечной
Ты сказала тепло: «Будь здоров!
Будь здоров, — ты сказала, — родимый!»
Ах, заплакало сердце: любимый...
У реки быстротечной...
Где-то в глуби сердечной
Песнь любви зазвучала без слов.

Говори, слушать мне любо-мило:
Голос твой — как певучий ручей.
Ночь нас в выси манила
Мириадами звездных лучей.
Веткам песню нашептывал ветер,
И туман ему эхом ответил...
Ночь нас в выси манила...
Говори, слушать мне любо-мило:
Голос твой — как певучий ручей...

1914

211. ДУХ НАРОДОВ ГОРИТ...

Дух народов горит, дух народов — «как жрец».
Лишь у нас те ж рабы, как вчера, так и нынче...
О придите быстрей, Маккавея мечи!
Запылайте, огни Леонардо да Винчи!

Наша кровь на полях, на полях на чужих,
наша кровь этой страшной поры не выносит.
Успокойте ее, успокойте скорей.
Или вы не слышали, о чем она просит?

Наши братья молчат — смерти ужас в очах.
Что ж молчите вы, вечно трагично беспечны?
Иль забыли вы смех, иль забыли вы глум
под бандурный, под бурный ваш плач бесконечный?

О, несчастные вы! Занемейте навек.
Пусть другие растут, поднимаются нынче.
...Как я плачу о вас, Маккавея мечи.
Дух пыланья да Винчи.

1915

212

Когда горю —
тогда живу.
Когда люблю —
стихи слагаю.
А почему,
я сам не знаю, —
быть может, я
весь из огня!

Я мертвых всех
сжигаю, жгу.
Огнем живых
я согреваю.
Как я умру —
не понимаю:
ведь жизнь моя
извечная.

1915

213

«Оставайся, ночь настала,
всё в тумане-молоке». —
Усыпила меня Тала
на девичьей руке.

Спрашивает, обнимает —
белый, чистый первоцвет...
И светает — не светает,
не идет он, рассвет.

Ой, рассвет, зовешь ты звонко
петухами в тишине.
Взял девчонку-беззаконку
на двадцатой весне.

Тала в белое одета:
ночью приходи один.
Тополиный шум рассвета.
Журавлиный клин.

1916

214

1

О, я не невольник,
Я ваш беззаконник,
Я — солнцепоборник,
Я — огнепоклонник.

Постыло мне жизни
Глухое болото,
Ты в душу мне брызни
Лучей позолотой.

Молюсь я в соборах
Звенящего гая.
Там молнии порох,
Слепящий без края!

Люблю я любовью,
Что вдруг вырастает,
Омытая кровью,
Зарницей играет. . .

Я утро встречаю,
Как друга: «Мой светлый».
И всех привечаю
Улыбкой приветной.

Когда же умру я,
Когда я истлею —
Тогда красоту я
Мечтою согрею.

Сам каплей под солнцем
В лазури растаю.
Сам стану оконцем
И в вечность слетаю. . .

Вздохну, вспоминая
О вас над землею:
Какие без края
Рабы все душою!

2

Огонь души лелейте,
Огонь вина.
Как мак, душою розовейте.
Сердца вы песнями налейте
И выпейте до дна.
Огонь души лелейте,
Огонь вина.

Любите землю, травы —
И жизни дар.
Любите нивы и дубравы,
Храм Красоты и вечной Славы, —
Кто молод и кто стар!
Любите землю, травы —
И жизни дар!

1917

215

Выйду, выйду за ворота
на минутку, на миг.
Что стряслось на белом свете,
что без тучи гремит?

Мир гремит, бурлит, грохочет,
в лаву весь превращен. . .
То ли Рада, то ли немцы,
или что там еще?

То не Рада, то не немцы —
гетман сел, безголов:
вокруг трона сотня с Дона
генеральских псов.

Там один встает на лапки,
а другой — хвост трубой. . .
Кому полная воля,
а у нас никакой.

Кому полная воля —
нам не жить на земле.
Будет, будет всем вам школа
в разоренном селе!

1918

216

В гае, в мае,
в сон-размае,
в цвето-звоны зазвоню —
звоны-перезвоны!
Славословие огню
в роскоши зеленой.

В поле, поле,
на раздолье
я постигну шум миров, —
ой, какие шумы!
С вами я делить готов
солнечные думы.

Я в ночи на речку выйду,
прямо в звезды, в тишину,
в плеск из-за тумана!
Славлю духа глубину,
путь до океана.

Путь от славы
к дальним селам.
Кобзари там и певцы —
слушайте, народы:
лишь поэты, лишь творцы
вестники свободы.

1918

217

Застегнулось на все пуговики небо.
Срезало ломтик месяца
На гулянье.

А внизу —
Бились!
Скрежетали, рычали, рубились.
Одни искали славы —
За лавой их лавы,
В дыму, в пыли, —
Другие ж хотели воли
(Ох, сколько легло их в поле!),
Воли и земли.

Черный лес гудит, в столах мается.
Смерть над землей простирается.
А вверху всё еще не проясняется.

1918 или 1919

218

Пришли ко мне соседи
Из моего села.
Я выхожу навстречу —
Не знаю, что сказать.

«Нужда!» — вздыхают гости.
(А город в кумаче...)
«Одна нужда и бедность,
Когда уж им конец?»

«Нас дети утешают:
Свобода, мол, земля.
А за свободу эту
Рекою льется кровь. . .»

Молчат. Глодают слезы.
Я веселю печаль.
На стенах тихо плачут
Шевченко и Франко.

1918—1919 (?)

219

Из Белой я Церкви, как в полночь из мрака,
услышал Ваш голос. Сначала веселый,
а после такой бесприютный. Казалось,
вот-вот он рыдмя зарыдает и ливнем
падет, освежаячи душу, громами
ответит на злобу, на грязь, на бессилье
отсталых. . . И слышу лишь крик — на безлюдье
нехоженных троп, что порой озарится
иронией легкой, улыбкой девичьей.
И слышится снова, и снова взывает
тот крик, зов отчаянья, мукой зажатый:
«Я гибну, я гибну, откликнитесь, братья!»
Мой друг одинокий, поэт мой любимый!
Я слышу призыв Ваш, я вижу страданья.
Сестра-сиротина, безвестная сила —
сдержать их, сдавить их и вынести надо.
Поверьте, когда бы мы все закричали,
тогда бы и мост как подкошенный рухнул,
подпоры основы теряя. И стало б
страшнее, чем было. (Простите, что прозу
в стихи я вплетаю.) А разве так мало
нам крика голодных? Мы разве Европы
рабочего люда не слышим? Мы вправе
их раны поднять, словно знамя.
А если мы их не услышим, они нас —
подавно. Услышат — вовек не простят нам.

Товарищ, свое пусть достойно сольется
с общественным. Как бы нам ни было горько —
до дна выпьем чашу. И в том наша честность.
Пишите, растите! В Вас Лермонтов слышен...
Горение Леси растет Украинки.
И дух Ваш материя пусть укрепляет.

1919

220

Слегка недоспишь,
слегка недоешь —
вот и стихи славно пишутся.
Мораль: если хочешь
быть поэтом —
 не спи беспробудно,
 не ешь сытно,
будь настолько тонким,
чтоб хмель поэзии
вокруг тебя
вился.

1919

221

Поил коня,
Замечтался.
Ветер поднялся
С юга.
Пробежал улицей, задел соломенные крыши
(Панские орешники колышет),
Пригнулся — нацелился — поразил —
И на Западе красное знамя развил!

...Когда-то нес в городе службу:
Революции звоны!
Рабочих колонны!
Шли все дружно.

Красное знамя (вперед!), красное солнце.
И ветер южный...

Вдруг пуля, как пчела,
В глаз ему легла.
Не поднялся...

Понл коня.
Замечтался.

1919

222. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГИМН

Эй, за работу все разом: спит непочатая степь.
Сноп за снопом валит наземь солнца взлетающий цеп.
Знамя деяний и знаний, знамя энергий и воля —
грозно-веселое знамя — вот наш всемирный пароль.

Всё сумеем, одолеем,
тьму проклятую развеем!

Кто рабом был — будь нам братом,
вместе с пролетариатом
от оков избавим свет —
вот наш лозунг и завет!

Хватит нести нам повинность — молотом выкуем плуг!
В каждом — решимость, пружинность, каждый —
товарищ и друг!
В землю вгрызаемся сталью, полем пройдет борозда.
Жизнь — не пустые мечтанья, жизнь — это поступь
труда.

Без задержек — смело в дали,
старые разбей скрижали.

Кто рабом был — будь нам братом,
вместе с пролетариатом
от оков избавим свет —
вот наш лозунг и завет.

Нас не сломить капиталу, — что нам шипение змей?
Всюду мы кривду встречали — встретим же правду
смелей.

Будим, разбудим, пробудим — кузница, шахта, завод.
Были мы, есть и пребудем, — вечен, как солнце, наш род!

Мы свой подвиг совершаем —
старый мир мы разрушаем.

Кто рабом был — будь нам братом,
вместе с пролетариатом
от оков избавим свет —
вот наш лозунг и завет.

Видим мы горы и волны, чащи, излучины рек,
счастьем вселенную полни, ты, богатырь-человек.
Слышим мы отклик ответный из-за фиордов и дюн:
станут семьею всесветной тысячи тысяч коммун.

Руки братьям мы протянем,
песню нашу гордо грянем:

«Кто рабом был — будь нам братом,
вместе с пролетариатом
от оков избавим свет —
вот наш лозунг и завет!»

19 июня 1919

223

Сколько было их, империй,
сколько царств — они, как звери,
пожирали бедный люд!
И раскрыли людям двери
лишь свобода,
труд.

1919

224

Микола Леонтович говорит:

Лежу —
один.

Пробитое сердце истлело.

О, как земля

неспешно опадает

в гроб на меня: «Теперь ты мой!»

«Земля, —
твержу я, —
а когда ж я
да не твоим был?»
Молчит земля,
только шевелятся корни,
только шумит там, наверху!
Это братья мои,
бедняки,
за волю в бой идут,
в поход идут,
с панами спор ведут.
«Земля,
пусти и меня!
Ой, земля,
за что ж я здесь
без света,
без рассвета?»
Молчит земля.
Лишь наверху
(если прислушаться)

чуть звучит напев:

«Ой, пряду, пряду. . .»

То у соседа, что, окончив войну с шляхтою,
пришел домой,
уже с вечера жена напевает тихонечко:

«Ой, склоню я головушку
на белую подушечку —
может, я усну. . .»

И еле касаясь
руками
колыбели,
мать качает сына. . .
А сама ласково
искоса
на мужа поглядывает. . .
И так знакома
мне эта песня —
песня
вечерняя.

(Ох, здесь, в могиле, нет ни вечера, ни утра.)

Песня та летит ко мне,
отзвуками долетает,
а я всё вспоминаю —
чья?
И кто ж ее
на ноты
положил?
Она мне издавна знакома,
а я ее и пропеть не могу,
землею засыпанный,
пропеть не могу —
спатеньки хочу...
1921

225. ПРОМЕТЕЙ

Говорит он:
«Вы меня держали
меж скалами в оковах и в неволе,
так приковав старательно, надежно,
что я и мускулом пошевелить не смел.
Годы шли. Кончались ночи.
Тысячелетия терпел я!
Цари опомнятся,
наивно думал я,
поймут всю боль мою, тревогу —
освободят, отпустят.
Но каждая эпоха шумела своим шумом.
И после дня наступала
обычная ночь.
А я снова терпел
и с нетерпением утра ждал,
хоть утро
ничего не приносило.
Тиран очередной
ко мне орлов да коршунов со смехом насылал,
чтоб убедиться:
жив я или нет?
И раз
прилетело их не два, не три.

И за двуглавым —
одноглавый, белый, черный,
за ним еще какой-то, и еще...
Тут я не стерпел,
двинул плечами!
Рванул всё это к черту, аж камень закричал!
Своих я и чужих людей давил
без счета...
Дивлюсь теперь на кровь,
на муки тела, на руины.
Заплакать мне? Себя убить?
Чтоб вновь орлы? Чтоб вновь тираны?!
О нет!..
Пойду иную жизнь творить —
хотя б по трупам —
один!
Так быть должно».

1921 или 1922

226

Люблю
астрономию,
музыку,
женщину.

Астрономия возвышает.
Музыка опьяняет.
Женщина удивляет —
Взглядом, голосом, даже улыбкой, —
Женщина вечно рождает.

1922

227

Мадонны, Ундины, Гудруны,
Изольд златокосых создання,
любил я вас тысячи тысяч,
а с милой не знаю свидання.

Встречал я вас тысячу тысяч,
а дни всё ж один коротаю.
В эротику кличут поэты —
я знаю ее и не знаю.

Я слышал о ней и тревожусь, —
здоровым остаться, здоровым!
А юность зовет, призывает
всё к новым меня, переновым.

Как ласковость брызнет, как брызнет,
мне облик привидится милый —
я долго стою потрясенный
и замкнутый, словно бескрылый.

Тогда я иду в многолюдье:
на площадь, в театры, к газетам, —
ищу не придуманных мною,
а нежно любимых привета.

Тогда я иду на работу,
и там я встречаю девчонку.
Она говорит мне: «Товарищ!»
И сердце колотится звонко,
и сердце в ответ ей: «Сестренка!»

1923

228. ЗА ТУЧАМИ ОБВАЛЫ

Паду, паду, паду
в глубокий синий день.
Тень,
светотень
в солнечном саду.

Возьми меня, природа,
зачисли в сыновья.
Тень,
светотень
в солнечном саду.

Дай я уразумею
и суть, и мысль твою.
Тень,
светотень
в солнечном саду.

Как ты меня будила,
как ты меня вела,
вокруг души крылатых
три вихря подняла.

Три вихря и три гимна,
три песни бытию —
мой труд, мое горенье,
любовь и смерть мою.

И что один я значу,
я с другом речь веду,
любовью озаряюсь
я в солнечном саду.

Паду, паду, паду
в глубокий синий день.
За тучами обвалы
грохочут как в аду.

1926

229. СЛАВЬСЯ

Вечный, вечный, неразгаданный,
нерушимый наш,
всюду бурь твоих дыханье
и твоя душа.

И в идеях, и в творенье,
и в порыве масс,
и в жестокости сражений
за свои права.

Вечный, вечный, неразгаданный,
нерушимый наш,
всюду бурь твоих дыханье
и твоя душа.

Не был ты в тиши рожденным,
о гроза, гроза!
Сам к скале был пригвожденным,
мучился не раз.

Вечный, вечный, неразгаданный,
нерушимый наш,
всюду бурь твоих дыханье
и твоя душа.

Пусть ты разум, устремленье
сил и непокой.
Славься вечное горенье
Красоты людской.

1926

230. ГОРА ЭЛЬБРУС

Она стоит, храня молчанье, —
ну что я перед нею,
пред этой заснеженной мощью
и чистотой идеи!

Она стоит и словно хочет
спросить в минуты эти:
а что ты скажешь о расправе
над Сакко и Ванцетти?

А сколько революционеров
за их дела святые
в Варшаве замордовано,
повешено в Софии?

Утесов линии суровы,
и речки — будто прошвы...
Здесь содрогнулась я когда-то
от верха до подошвы!

Утесов линии суровы
и в Октябре, и в Мае —
и хищная Британия
здесь не пройдет, я знаю!

*Кисловодск
1927*

231. НА УБИЙСТВО САККО И ВАНЦЕТТИ

В краю свободы и труда,
где небоскребы высь пронзили,
танцует танец свой орда,
орда буржуазии.

Эх, дробен топот каблуков!
Двуличье прячут очи! . .
Но левый марш материков
гремит в шагах рабочих.

Вот-вот встряхнет весь материк
народная стихия. . .
Так прекрати же хоть на миг
свой пляс, буржуазия!

И что тут, вправду, каждый час
вертеться в фальши вечной? . .
Вот так ты хочешь и для нас
включить свой ток конечный?

Твой образец добра и зла —
как зыбкая туманность.
И нет хитрее ремесла,
чем вся твоя гуманность!

И нет хитрее ремесла
считать обман игрою. . .
Позор проклятым палачам!
Хвала и честь героям!

1928

Я ль виновен, что Анжела
 то заденет шаловливо,
 то протяжно: Ли,
 то капризно: Ка —
 Анжелика, Анжелика,
 разве можно так игриво?
 До чего ж бойка!

Этот стан тугой, Анжела,
 и припухлости, и губки,
 гла́зок плутовство!
 Ну и что с того?
 Анжелика, Анжелика,
 что за дерзкие поступки?
 Что за озорство?

Я не трогаю, Анжела.
 Я хожу себе сторонкой.
 А вот ты — ага! —
 баба ты Яга!
 Анжелика, Анжелика,
 ох, лихая ты девчонка!
 Что с тобою? А?

Ну, пускай бы ты, Анжела,
 с делом, что ли. Но всегда ты
 на меня так зла.
 (Ну, дразни же — Ла!)
 Анжелика, Анжелика,
 для чего меня вчера ты
 крепко обняла?

18 ноября 1929

Люди не возвращаются,
 только следы их дымятся.
 А в окне как будто
 листья серебрятся.

Еще за несколько дней до смерти Горького, в Ирпене, в своей комнате, как-то глянул в окно — а там каштаны! Небо чистое! Даже сердце сжалось. Будто предчувствовал, что кто-то умрет из близких и родных тебе. «Люди не возвращаются».

1936

234

Всё мне снится
наша хата, где я жил.
Всё та улица
мне снится,
где ходил,
и те люди,
и те тополя...
...А возле нас
кругом стояли хаты
и даже церковка была...
А теперь и не в селе мы,
и не возле церкви...
Куда ни глянь —
курганы,
курганы,
высоко над ними бурьяны...
...Из села того родного,
из далекой дальней дали
голоса ко мне
взывают.

1943

235

Въезжаем мы.
Пожарища, бураны.
В домах, как в мертвых сотах, тишь
глухая...
Разверзнуты передо мною раны
отеческого края.

1943

236

Природа, скажи мне, чего тебе надо?
В душе моей строгость песен войны,
а ты вся цветенье зеленого сада,
как платье девичье под ветром весны.

1944

237

Между Волгою и Сожем
я от пули пала в поле.
И меня похоронили
там же в поле, в чистом поле.

1944

238

Всё снизу смотреть бы, дивиться,
дивиться бы и дивиться,
как вверх колокольня струится,
а тучи стоят и стоят.

1945

239

Не сделаешь дело, не сварить,
на старый работая лад.
«Комбайн обушку не товарищ», —
шахтеры не зря говорят.

1947 (?)

240

А заря с востока
руки ввысь возводит, —
не иначе — девушка
из воды выходит.

То была по пояс,
вышла — вся открылась,
взглядом улыбнулась
и зазолотилась!

1950 (?)

241

Осокори...
под моим окном
в предутреннем румянце,
хоть до колен еще они
в тени,
но их вершины в золотом
уже, в безумном танце.

1955

242

...Мне не раз еще придется
расцветать: на вешней пашне
иль в пролете заводском,
в мыслях — вишенье очнется,
в думах — вишнюю проснется,
к помыслам людским привьется
плодоносным черенком...

А года залечат рану
хрупкого привоя,
и под вишней спозаранок
обнимутся двое:
хлопец с дивчиною, с песней,
с задушевым словом, —
я ж воспряну и воскресну
в их напеве новом...

И, земным налившись соком,
завтра новый свет добуду,

и в грядущем яснооком
я в людском кругу широком
в песне вновь явлюсь.
И всюду
жить в народе буду.

1957

243

Зачем в дискуссиях решать:
что выше — правда? красота?
Того, где правды есть печать,
вовек не скроет темнота.

1960—1962 (?)

244

...И что же —
сквозь зажмуренные веки
я ощутил, узнал весну.
Одно дивит меня, одно:
ой, что творится на белом свете!..

Яснолицые,
солнцем облитые,
тополя
летят в рассвет.
Светится окно
в том доме, что напротив,
в музее,
где Ленина кабинет...

1964 или 1965

245. ПРЕДВЕСЕННЕЕ

Еще вчера шел дождь, колюч и зол,
и сердце оттого весь день болело.
Сегодня ж — будто в сад маляр пришел,
провел он кистью — всюду побелело.

И сад не тот. И ты не тот. Ногами
ступаешь твердо. Деревцо задень —
обдаст тебя сыпучими снегами,
скользнет за ворот струйкой — жжет
как пламя...

Смеются? Пусть! В такой погожий день
и смех не грех. Иди! Твоя тверда
с народом поступь, с общею судьбою.
Не угодная моде никогда,
ты будь собой, собой, самим собою.

Всё, что тобой и всеми пережито,
да будет свято — время уважай!
Пусть сеются снега, как бы сквозь сито:
зазеленеет, всколосится жито, —
мы соберем богатый урожай.

1965

246

На то я лирик, чтобы спрашивать,
не только восклицать с прохладцей,
не только лозунги вынашивать —
а удивляться, удивляться.

1965

247. ВСТРЕЧА С ВЕРЕВКОЮ В ТАМПЕРЕ

Я приехал в Тампере
с нашей делегацией.
Будто вся Финляндия
вышла, чтобы встретить нас!

Нас дарили розами
и словами добрыми.
«Вы уже известны нам!» —
так все говорили нам.

В город нас доставили,
в зал тот удивительный:
если слово вымолвишь —
сто раз повторяется. . .

«Просим на эстраду вас,
где магнитофон стоит!
Песни там записаны
ваши украинские».

. . . Тишина настала тут.
Слышим голос девичий:
*«Виступа народний хор,
хор Верьовки з Києва!»*

Как пошло ходить вокруг
в зале эхо звонкое
(ой, отрада ты моя!):
«Хор Верьовки з Києва».

Удивленный я стоял.
Просто мне не верилось!
Встретились с Григорием —
надо же! — в Финляндии. . .

Вместе жили в детстве мы,
вместе и теперь всегда. . .
Будь же славен, хор Веревки,
что по свету ты разносишь

песню русских, белорусов,
нашу материнскую
песню, сердцу милую,
песню украинскую!

. . . Нашу песню славную,
песню украинскую! . .

1965

Всегда я там, где труд, где людно,
 где вместе дум и чувств полет.
 Без чистоты творить так трудно,
 без творчества и жизнь умрет.

1965

Радость жизни и кручину —
 всё я с вами разделю.
 Любите вы Украину —
 больше вас ее люблю.

1965

250. МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Подобно водам, что из буровой
 фонтанами выбрасывают недра,
 так вы, певцы, когортой молодой
 вливаетесь в литературу щедро.

Вы поднимались на гору, и я
 на вахте был бессонно у штурвала,
 и лишь нежданная болезнь моя
 на целый год перо мое сковала.

Кой-кто из вас пошел на ветерок
 самовлюбленности и зыбкой моды,
 к нулю свел образ, а затем не впрок
 стал громоздить комоды на комоды.

Бросали в стих, как в борщик «нешадам»,
 вы с зеленью еще щепотку моха...
 Не знали разве, что и молодым
 всем отвечать за новую эпоху?

Во время бури волны не молчат.
В поэзии всегда бушуют штормы.
Одни поют, другие — свиристят. . .
Но для чего без содержания формы?

Вы в лодке все. А волны налегли —
то вбок относят, то ударят с фронта,
вам кажется — вы к цели подошли,
а поглядишь — далеко горизонты.

Вам плыть и плыть к заветным берегам!
На молодых надеемся мы смело.
Где твердо ступит юности нога —
там будет жизнь цвести, там будет дело.

Отвечется всех пустозвонов рой.
Отвечется! Но цель у нас иная.
О юность! Сад расти зеленый свой:
пусть буйствует дух знания молодой!
Иди с народом — он нас поднимает
в эпохе трудовой. . .

1965

251

Ну как без улыбки твоей смог бы жить я?
Не мог бы я видеть ни трав колыханья,
ни взгляда горы, ни волненья березы,
ни в озере сонном небес повторенья. . .
Живем мы в лесу. Как на дне океана.
А утром — какое высокое небо!
А в небе — какие проносятся тучи!
А солнце меж листьев, а иволга в листьях,
а гул самолета над тишью зеленой!
Когда ты в работе, я вижу, как вся ты
срастаешься с нею и ритм ей находишь.
Тогда и меня что-то очень большое
к работе влечет, как весеннее солнце,
как взгляд удивленный ромашки. . .

1965

Конча-Заспа

252. МУСА ДЖАЛИЛЬ В КИЕВЕ

(1889)

В зале свежо и людно. Проходит
Всесоюзный Шевченковский пленум.
Солнце чудесно пробилось и бродит
Сквозь полог, раскинутый кленом.

Зал гулким налит гуденьем...
Каждый из нас настроен строго.
Скоро черед моего выступленья,
После Алексея Толстого.

Толстого я слушал,
а взглядом бродил по залу.
Где Джалиль? Ведь сюда шли мы вместе.
Стихи он читал.

По-татарски.

В оригинале.

«Ведь язык наш знаком вам немного?»
А Толстой продолжал:

«Та же доля злая
У Шевченко, Рылеева...»

Но слова их в той ночи
Вдохновляли Коста, Цадасу,
Тукая...»

Я взглянул на Джалиля:
«Бже мой, что за очи!»
Сразу зал загремел

в строгом строе:

«Да сгинет враг, что нож на нас точит!»
Вижу, Джалиль поднялся,

как воин, как воин!

Гневом блистали его
Разверстые очи...

А тут сразу же в зал,

топча по ступеням,

Пионеры вбежали.

Зал загремел в восхищенье.

«Слава дружбе народов!»

Слава юному поколению!»

..И с портрета глядел на них Ленин,
Улыбался им ласково Ленин.

1966

253

Не нагляжусь. Не отведу я взгляда
от серых глаз твоих, бровей и рук.
Ты для меня, как в песне той, — отрада,
любовь, и чудо, и жена, и друг.

Так это было, помнится, вначале:
студент пришел с бандурою своей,
ему одну вы комнатенку сдали —
бедна, мала, но нет ее светлей.

«Какая плата! Ладно. . .» — мать сказала.
А ты, малышка, быстро вниз — во двор:
«У нас студент!.. Бандура заиграла,
а мама — в слезы. . .» Струнный перебор. . .

..Кузнечная! Как помнится, в то время
там в кузницах ковали кузнецы.
Пришел Октябрь. Мне заодно со всеми
открылся мир — видать во все концы.

Октябрь по наковальне всей планеты
ударил так, что искры там и тут
посыпались. Добро: зарницы это.
Часы земли по-новому идут!

Дорогами исканий и свершений
и я иду к той ясной вышине.
Передо мною дней крутые горы. . .
Как выросла ты! Свет мой, добрый гений!
На жизни обновленные просторы
и на тебя не наглядеться мне.

1966

254. С КАПЕЛЛОЙ СТЕЦЕНКО ПО УКРАИНЕ

(1920 ГОД, СЕНТЯБРЬ)

Вагона скрип и вечное шатанье
ни за какую тишь я не продам.
Мы движемся вперед без колебанья
навстречу селам, городам, садам.

Грязны вагоны (их зовут «телячьи»),
и нет стекла в окошке откидном.
Для нас всё это ничего не значит —
одним заданьсем каждый день живем.

Две полки слева и две полки справа,
в два яруса. Не ныть! Что за беда?
Так повезла своих певцов Держава,
а лучшего и не было тогда.

Состав тут женский, там — мужской, отдельно;
за первым и второй вагон бежит.
Хоть дверь откройте! Угорим смертельно —
чугунная «буржуйка» так чадит. . .

Все на местах? Сидите! Пусть шатает!
Здесь не театр: ни кресел, ни колонн;
зато уж безотказно пропускают, —
нас прицепил военный эшелон.

Еще белополяк бушует рядом,
еще бандит куражится в ярах,
еще нужны и сила и порядок:
мрут люди с торбами без хлеба — страх!

Не сможет недруг своего добиться,
и каждый слышит: мы встаем, встаем!
. . . Вот кто-то попросил: «Попить. . . водицы. . .»
Мы молча наверх кружку подаем.

В дверной проем видны степей безбрежья.
Терпи: не сразу ж лад и гладь во всем!
Мы ж едем к жителям Правобережья,
им песню украинскую несем.

Черпнем в народе силы молодецкой,
поможем их сопрано и басам.
...А где ж Стеценко, где? Он по-турецки
на верхней полке примостился сам.

Вот станция! В буфете нет ни крошки,
но нам обед сготовили в пути.
Схватили плошки, пообтерли ложки,
да вдруг — свисток! Пора в вагон идти!

И снова — в путь! Озера в дымке серой...
Мы спорим об Эллане, о Юре,
о Курбасе, мелодиях Глиэра,
о нашей беспризорной детворе...

Ах, как я рад, что мы всегда в движенье,
что едем, хоть порой и натошак!
Природы хуторской до пресыщенья,
хоть ты убей, не выношу никак.

В движенье — жизнь! К чему беседы эти
о Мережковском, об изломах душ,
о хуторах, где в предвечернем свете
покой болотный, золотая чушь!

Я никогда не думал, что придется
с самим Стеценко крылья расправлять!
...Мы едем. А в вагоне песня льется:
«Ой, нас, браття, п'ять,
будем пить-гулять...»

Ах, Леонтович, милый Леонтович,
живой голосоведенья зачин!
Он русый или, скажем, чернобрович?
Узнаем, заглянув к нему в Тульчин!

Тульчин, ты весь в истории искристой...
Как радостно побыть в тебе, с тобой,
здесь, где в пылу отваги декабристы
самодержавье вызвали на бой!

Да вот девчата начали из «Пряли»,
а хлопцы переводят на мотив:

«Прощай, товаришу, бо йти
вже час до нової мети —
все далі та й далі,
все далі та й далі. . .»¹

Из Шуберта. Мой друг Аркадий Казка
когда-то перевел. Он на селе
учительствует. . . Снова перевязка
у Маши? Стонет. Боль в зубном дупле!

Сумбурные сплетаются мотивы. . .
Стеценко ж руку поднял вдруг, как щит.
И смолкли все. (В дверном проеме — нивы
плывут.) И, заглушив ветров порывы,
весь наш вагон заводит «Заповіт»,
заводит «Заповіт».

1966

25. О КОСМОС ТЫ ВЕЛИКИЙ НАШ...

О космос ты великий наш,
Безмерие рассветное!
Летим с Земли синеющей
В пространства межпланетные.

Теперь в тебя вживаемся,
Ты раньше был губительный.
Тебя постичь пытаемся!
Наш век такой стремительный!

Земля, ты наше золото!
А мир живет расколото,
Но будет жить свободною
Семьею всенародною.

И с мудрою порукою,
И с братской дружбой вечною

¹ «Прощай, товарищ, ибо уже сейчас идти до новой цели —
все дальше и дальше, все дальше и дальше». — *Ред.*

Поделится наукою
И добротой сердечною.

С улыбкою доверчивой
Глядим в глаза грядущему.
До звезд пути намечены
Руками всемогущими.

Твои поля крылатые,
Земля, добром богатая,
Жемчужно-васильковая,
Рассветно-родниковая.

Мы в небеса вторгаемся,
Но нам Земля — отечество.
Мы свету поклоняемся,
Мы служим человечеству.

Дороги беспокойные
Легли в простор космический.
Мы — сыновья, достойные
Эпохи героической.

Земля, ты наше золото!
А мир живет расколото,
Но будет жить свободною
Семьею всенародною. . .

1966

256. ДВА КУЗНЕЦА

Видишь: принимаю я
на плечи не оробело
эту ношу бытия.
Жизнь моя не оскудела!
.. Накренилась жизнь моя, —
под вечер, как видишь, дело.

Ладно — вечер. Путь прямой,
он в сиянье солнца вечен.

На миру он, вечер мой,
в окруженье человечьем.

Пой же ты не про уют.
В мире битва. Без конца
надрываются сердца.
...У меня в груди живут
и в два молота куют
два упорных кузнеца.

Из-под молотов, как гнев,
искры прыгают, горя:
«Что стоишь, окаменев?!
Азия в огне. Кроваво
отсветы кладет заря.
Тут не до печали, право, —
нужен шаг богатыря.
Нужен меч! Печаль певца
пусть исчезнет. Правый суд
пусть свершится до конца».
...У меня в груди живут
и в два молота куют
два упорных кузнеца.

1966

257. ПЕРЕД КАРТИНАМИ ОЛЕКСЫ ШОВКУНЕНКО

Тучи у него нависли
из-под свода темной ратью.
Шовкуненко. . . Как он мыслит?
Он не любит «благодати».

Даже речка-невеличка
будто трепетом прошита.
А лесная грушка-дичка
всем ветрам стоит открыта.

Каждой веткой смотрит в дали
(под корой у груши — рана).
Все невзгоды миновали,
больше нет орды поганой:

всё смела б, когда б под силу!
Как ножом по всем черкнула...
А куда сама шмыгнула?
В преисподнюю, в могилу.

Шовкуненко... Как трудился?
Может, чуда ждал порою?
Нет! Всё к жизни он стремился —
побывать на Днепрострое.

Он не на эффект в расчете
к новой школе шел от старой, —
брал живых людей в работе,
кузнецов и сталеваров.

В Приуралье так бывало.
В Белоречке. На заводе...
Кукол модных не писал он,
и не кланялся он моде.

Этим он и станет близким
тем векам, что вдаль уходят:
Майку¹ пусть парашютистку
в памяти не заболотят.

Шовкуненко... Все задачи,
может, он легко решает?
Где там! В трудной передаче
он пастель крошит, ломает...

Не рисует — что бесстрастно,
гонит прочь — что безмотивно.
Всрив в солнце то, что ясно
людям светит в жизни дивной.

В почерке его — раздолье,
поиск точности отменной.

¹ Речь идет о дочери Эллана (Блакитного) — Майе, которая во время Отечественной войны боролась с врагом в партизанских отрядах.

Безраздельны смысл, и колер,
и характер современный.

Пусть иные с дутой славой
мыслят плоско и убого.
В нем всё просто, величаво,
щедрости душевной много.

1967

258. ГЛУБОКИЕ СЛЕДЫ

(с товарищами своими посетил я Чернигов в 1966 г.)

Ну, здравствуй, стародавний мой Чернигов!
Я вновь с тобою, край деснянских вод.
Люблю я город окрыленных сдвигов:
вот институты, фабрики, завод. . .

Люблю в словах Чернигова звучанье,
ночные взблески в гулкой вышине. . .
Стоят соборы лишь в глухом молчанье —
о чем они сегодня скажут мне?

Стоят соборы. Разве что, пожалуй,
дивятся: где былая благодать?
. . . Мы обошли кругом. Захлюпал талый
снежок. Зима кончается, видать.

«Так где ж певали вы? Вон там — на хорах?»
— «Забыл. . . А вспомнить стоит мне труда!»
. . . Поворошим воспоминаний ворох. . .
<Ну а Подвойский с вами пел тогда?»

«Сейчас. . . — Бредем по тающей лазури. . . —
Гимназия отсюда в двух шагах,
где обучался Коцюбинский Юрий,
чей дух мужал, испытанный в боях!

А там вон я встречался с Примаковым —
у Дядиченка, слева, на Валу,
статистиком служил он. . . Тихим словом
обменивались. . . Прогоняло мглу

то слово. Там сказал он мне когда-то,
что будет из Чернигова бежать.
Еще о том, что бродит провокатор
по улицам... Чего же, вправду, ждать?

И там слова курсистки прозвучали:
«Всех выметем с престола! Помелом!»
А в ту же ночь двоих арестовали.
...И враз нам стало грустно за столом.

Я помню, свел знакомство с Примаковым,
когда тайком «субботы» посещал.
Как вырос он! Каким бойцом толковым,
каким отважным витязем он стал!

А Дядиченко (право, мы не смеем
забыть о нем, признательны ему!)
отлично знал, что мы крамолу сеем,
но не сказал ни слова никому».

...Стоят соборы. Молчаливы башни.
А ты, воспоминанье, не молчи!
Наш Юрий был одним из тех бесстрашных,
что смело встали на царя в ночи...

Какими же хлестало их ветрами!
Былое? О! Ему лишь дай бразды.
...Глянь: по следам за нами да за нами
в зажорах всё глубокие следы,
глубокие следы...

1967

259. В СЕРДЦЕ МОЕМ

За то, что я не воспевал калину,
не ввел в стихи цветение весны,
меня винить вы лишь наполовину,
мон друзья и критики, должны.

Что соловья забыл воспеть я в песне;
читатели мои меня простят.
Призыв души не благодатной вестью —
он гневом был. . . А думы вдаль летят

степным раздольем, над лазурью моря, —
я вижу мир в тревоге и во мгле:
еще немало крови, мук и горя
на голубой, приветливой земле!

Тревожно солнце каждый день над нами
встает, из-под руки на нас глядит,
и дети умирают во Вьетнаме,
смерть в Хиросиме юношам грозит.

В густых лесах, на черных скалах где-то,
в ущельях гор я вижу дым и кровь,
и каждый выстрел на планете этой
в мое стреляет сердце вновь и вновь.

И если я фиалку не прославил,
вы согласитесь, критики, со мной:
не зря я право за собой оставил,
чтоб ею любоваться мне весной.

Я к ней любовь не назову потухшей. . .
Что делать сердцу, вы скажите мне,
когда я вижу с голода опухших
в далекой той заморской стороне?

И может ли мой стих звучать лирично,
когда страданье вижу, грязь да боль?
. . . Мне скажет критик: малоэстетично,
пригладить здесь и там, поэт, изволь. . .

Я рад послушать критиков, к тому же
совсем не тех, ктo с жизнью не знаком.
Зачем же утюгом стихи утюжить,
когда нет смысла в методе таком?

Пусть льется песня, душу окрыляя,
пускай в ней правда чистая встает,
ведь всюду на земле слеза любая
горька — и в сердце падает мое.

За то, что я не воспевал калину,
не ввел в стихи цветение весны,
меня винить вы лишь наполовину,
мои друзья и критики, должны.

Петь о калине не имел я права,
когда темно на свете, как в ночи,
когда поэтов за решеткой ржавой
фашистские тиранят палачи.

Не для себя — для вас живу я, люди,
души своей на части не деля.
Земля кипит, как сердце в спешке буден,
и сердце стонет, словно мать-земля!

1967

II

260. ЗВОНКОЛАЗУРНОЕ

(Отрывок из поэмы)

1

На рассвете. Кое-где светят звезды, тяжелые, сонные. Кудрявые туманы над землею. Природа еще спит. Нежно-прозрачно разливается предрассветная мелодия. В нее вплетается хрустальный перезвон воды. Она как будто хочет начать мотив какой-то песни, каждый раз сбивается с такта и начинает снова. Когда музыка затихает, вода еще долго журчит-всхлипывает и наконец совсем замирает. Звонко перекликаются далекие петухи.

Лесовик

Что ночь мне говорила,
Что мне она сулила,
Ты здесь ведь, брат мой, был?
Прилег я на рассвете
На травы, воды, ветви,
А дальше что? .. Забыл.

Болотник

Дремал я над болотом,
Не слышал ничего.
А сон, как позолотой,
Укрыл меня всего.

Лесовик

Как будто звезды пели:
«Сгорели мы, сгорели!»
В тревоге месяц был.
Здесь тучи проплывали,

Фанфары здесь звучали,
А дальше что?.. Забыл.

Б о л о т н и к
(так же)

Дремал я над болотом,
Не слышал ничего.
А сон, как позолотой,
Укрыл меня всего.

Светаает.

.....
(Пропуск в рукописи)

(?)

.....
Д у ш а н и в
(не слушая)

Неужели ты можешь быть равнодушным тогда, когда там хлеба не цветут, смертельно вянут травы, цветы не стелются, угасают? Пусть ты меня уже разлюбил, но взгляни хоть на них, на тех несчастных, — чем же они виноваты?..

(Плачет.)

Солнце всходит. Звенит вода.

В е т е р

Не понимаешь, не понимаешь ты меня, Нивка!

(Подходит к ней, спокойно-решительно.)

Любимая, ты хочешь, чтоб хлеба шумели, ты хочешь, чтоб красовались зеленые травы, чтоб дуб не заслонял калине солнца? Хочешь? Ну — скажи!

Д у ш а н и в

(поднимает на него удивленный, но радостный взгляд)
Милый мой!

В е т е р

(сдерживает ее радость)

Нет, подожди, подожди. Ты скажи, хочешь?

Душа нив

Хочу.

Ветер

(тихо, но внятно)

Так слушай. Для этого надо, чтоб ни одна туча не прошла ни над вашими нивами, ни над этим никчемным лесом. Пусть солнце правит свой гнев безумный, пусть палит.

Душа нив долго смотрит на него с удивлением. Выходит солнце. Распускаются лесные розы. Что-то встрепенулось в рясте, и длинные ветви берез колышутся.

Чего ж ты испугалась?

Душа нив

(словно про себя)

На мои нивы? За что? Спалить? Смерть? Нет, только не смерть... Что-то звонколазурное, душистое, цветущее, цветущее...

Ветер

(с презрением)

У вас всегда спокойно,
Всё тишь да «благодать»,
Чтоб всё звонколазурно
И пело, и цвело.

Мир оглушен громами.
Вставайте, братья, с нами, —
Правдивыми устами
Природу воспоем!

Мещанской красотой
Взята природа в плен...
И можешь ли постигнуть
Ты свет моей души?

Приходят дни иные,
Встают земли стихии,
Прозрейте же, слепые,
Воскресните, как бог!

Хочу я только правды —
Свободной жизни всем,
А ты вдруг испугалась.
Я разве лютый зверь?

Душа нив

Но зачем разрушать? Разве нельзя попросить у Звонко-
лазурного Пана дождей, росы и света?

Ветер

Звонколазурного Пана!

(Смеется.)

Да это же ваша выдумка. Никакого Пана нет. Есть только вечное Движение, Огонь. И тот Огонь должен сплошь всё пройти, чтобы новая жизнь могла возродиться. Хватит уже этого покоя! Довольно болота! Люди веками бьются за землю, размежевая, распахивая, выкашивая, — а крови сколько, красной крови! В природе тоже: дубы отнимают землю от берез, от кустов, сверху им солнце заслоняют, внизу корни душат — ой, сколько горя, кровавого горя!

(Успокаиваясь, Душе нив.)

Ты меня любишь? Пойдем же вместе по ниве жизни! Я с вековой ненавистью дубы, скалы буду сокрушать, старые ненужные башни, храмы рушить, а ты полями да лугами, а ты распахивай, взвихривай, крути хлеба. Ты слышишь, ты слышишь голос: «Идут громы над миром!»

Душа нив

(колеблется)

Ой, мои думоньки, —
Мне тревожится.
Колосочки тонки —
Жить им хочется.

Ветер

Я еще раз тебе говорю... Если ты меня любишь, то подумай... Да! Тебе жалко этого покоя, жалко мусора векового! Жаль богов? Идут новые боги!

Душа нив
Ой, страшно, думоньки,
Разорения:
Колосочки тонки
Ждут спасения.

Ветер
Ну что колосочки, что колосочки, если весь мир будет
перестраиваться. Буйствовать! Страшно буйствовать!

Одноаккордный шум леса. Ветер исчезает.

Душа нив
Ветер!
*(Бросается ему вдогонку, возвращается, ломает руки,
заходится плачем на зеленом дереве.)*

8

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Цветы

Тучи не пришли!

Лесные звоночки входят. Сначала Первый лесной звоночек,
за ним Второй лесной звоночек и наконец, обгоняя Лесовика, —
целая толпа их.

Первый лесной звоночек

Вот сюда, Дед. Эй!

Вверху кукушка пробует голос.

(Протягивая к ней руки.)

Кукушка? Здравствуй! А где ж ты спряталась?

Второй лесной звоночек

(радостно)

На этой полянке, Дед?

Кукушка дважды кукует.

(Радостно.)

Дед! Дед! Здесь кукушка!

Лесовик

Вот здесь, вот здесь, на этой полянке, помолимся Звонко-лазурному. Нам водица прозвенит, нам кукушка закукует, а мы станем на молитву.

Молитвенный звон воды, в него ритмично посылает свое «ку-ку» кукушка. Все встают в круг и поют. После каждого куплета вздымают руки. Над ними плавно танцует букет мотыльков.

Хор лесных звоночков

Мы Звоночки,
Мы лесов Звоночки,
Славим день.
Распеваем,
Звонами встречаем
День!
День...
Любим солнце,
Небосклон и солнце,
Света тень.
Снов дыханье,
Тихих рощ молчанье:
Тень!
Тень...
Мчитесь, тучи,
Ой, летите, тучи, —
Ясный день
Окропите!
Нас благословите:
День!
День...
Пусть на поле,
Золотое поле
Ляжет тень.
Пусть качнется,
Жито улыбнется:
Тень!
Тень...

Первый лесной звоночек

Уже и вечер, а туч всё нет.

Второй лесной звоночек

Ой, как пить хочется!

Все

Звонколазурный Пан! Звонколазурный!

Появляется Ветер.

Ветер

Звонколазурного Пана нет. Есть только Солнце
Красное. Ему молитесь.

Все

А оно нас палит, противное.

Ветер

Как же вас не палить, если вы ничего не делаете.
Вы только тени да прохлады просите. Гуляки!

Третий лесной звоночек

Бежимте! Ветер!

Второй лесной звоночек

Ветер!

Третий лесной звоночек

Ветер! А туч всё нет!

Все

Пить! Пить!

Лесная роза

А что ж я подделаю? Мои тучи запропали...
Пойдемте посмотреть с пригорка.

Все

(бегут)

Пойдемте! Тучи! Тучи!

Ветер

Мне всех вас жалко,
Тревожусь обо всех.
И просто так хочу я.— вот и всё!

И жалко и смешно. Кто сказал «жалко»?
Что со мною? Что за жалость? Я так хочу,
Вот вам и всё!

(Уходит.)

Лесные звоночки

Тучи! Тучи!

Входит Душа нив.

Лесовик

А вот и ты, дочка. Побудь с нами: нам Звонколазурный
Пан посылает тучи.

Душа нив

(удрученная горем, не понимает, что ей говорят)

«Если ты меня любишь, пойдем вместе по Ниве Жизни».
Это, Дед, он так сказал.

Лесовик

(заметив ее настроение)

Что с тобой, скажи, дочка?

Душа нив

Спи, мой Дед, спи,
С птицами, с цветами.
Спи, мой Дед, спи,
Столетиями, веками.

Лесовик

Да она ведь безумная.

Душа нив

(в глубокой печали)

Ах да, я безумная. Нет его, нет.

Лесные звоночки

Тучи! Тучи!

(И умолкают.)

Поднимается буря. Лес шумит. Тучи возвращаются обратно.

Душа нив
(радостно)

Это он! Это он!
(Убегает.)

Лесовик
(ничего не понимая)

Что такое?

Лесные звоночки, опечаленные, сбегаются к Лесовику.

4

ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Цветы

О том, как туманы ложились!

Входят Туманы.

Первый туман

Над нами ночь спустилась,
Уж солнце закатилось,
И холодок в бору.
Но что-то мне не спится.
О чем журчит водица?
О чем? .. Не разберу.

Второй туман

Мне тишина милее,
Болото да трава.
Сегодня ночь теплее
И легче голова.

Первый туман

Молчи же! Сам я зрячий!
Льет солнце свет горячий
На землю не к добру.
Могилы здесь рядами.
Ох, что-то будет с нами?
А что. . . Не разберу.

Второй туман
Мне тишь всего милее.
Что будет, то пройдет.
Сегодня ночь теплее,
А сон всё не идет.
Темнеет. Укладывается.

Занавес.

1915—1916

261. ЗВОН ЗОЛОТОЙ

Над Киевом — звон золотой,
И голуби, и солнце!
Внизу
Перебирает струны Днепр...

Предки.
Предки встали из могил.
По городу идут.
Предки, жертву солнцу приносят —
И оттого звон золотой.
Ах этот звон! . . .
Из-за него не слышно, что твой друг сказал,
Из-за него не замечают гроз,
Над городом летящих. . .

Звон золотой!

В ночь,
Когда Млечный Путь серебристо пылит,
Отвори окно и послушай.
Слушай:
Где-то в небе реки текут —
Это звоны Лавры и Софии! . . .
Челны золотые
Из седой-седой старины приплывают,
Челны золотые.

. . . В озарении, ласкою в сердце раненный,
Выходит Андрей Первозванный.
Восходит на горы.
Благословенны будьте, горы, и ты, река могучая!
И засмеялись горы,
Зазвенели. . .
И река могучая наполнилась солнцем и небом —
Тронула струны. . .

В ночь,
Когда Млечный Путь серебристо пылит,
Выйди к Днепру!

.. Над Седоусым небесными полями Время грядет,
Время сеет.
Падают
Зерна
Кристалльной музыки.
Из глуби вечности падают зерна
В душу.
И там, в озере души,
Над ним в недостижимой высоте вьются голуби-мерцанья,

Там,
В полнозвучном озере, звонами расцветают
Одухотворенными, словно глаза предков!

Он был воин, от ярости хмельной,
Наш Киев,
Он воевать хотел бескровно.
Спокойный Киев —

буря!

Стихийно он раскрыл глаза —
И все смеются, как вино...

Сверк!

Страх!

Хоруговки раскрыв, светлея
(И все смеются, как вино),
Огнем зарделся Киев
В духовности высотной!

«Здравствуй! Здравствуй!» — сыплется из глаз.

Тысячи глаз...

Вдруг тихо: кто-то говорит.

«Слава!» — из тысяч сердец.

И надо всем в сиянье солнца стаи голубей.

«Слава!» — из тысячи сердец.

Голуби.

И засмеялись горы,

Зазеленели...

Однако же два черных гроба.

Один светлый.

И вокруг —

Калеки.

Ползают, гнусавят, руки простирают
(О, как скрючены пальцы!) —
Подайте им, дайте!
Поесть им подайте — пусть зверя в себе не лелеют,
Дайте!

Проходят:
Молодые, богатые, гордые, в облака
влюбленные, в музыку, —

Проходят:

Черная птица — глаза что когти! —
Черная птица из гнилых закоулков души
С поля боя прилетела.
Крячет.
В звоне золотом над Киевом,
Над всей Украиной
Крячет.
О бездушная птица!
Не ты ли распяты души человеческой
Веками долбила?
Веками.
Не ты ли глаза у живых выклевывала,
Из сердца — веру?
Чего же тебе надо теперь —
В день радости и смеха?
Чего же тебе надо теперь, о бездушная птица?
Говори!
Черные крылья застыт солнце с голубями —
Черные крылья.
«Брат мой, помнишь ли ты дни весны на рассвете
свободы?
В обнимку с тобой мы ходили по новым дорогам,
Славили солнце!
А у всех (даже у травинки) смеялись слезы...»
— «Не помню. Отойди».

— «Милый мой, что же ты не смеешься, что же ты
не рыдаешь?
Это же я, твой брат, по-родственному к тебе обращаюсь.

Разве ты не узнал?» — «Отойди. Убью».

Черная птица,
Черная птица кричит.
И вокруг —
Калек.
В день радости и смеха
Кто поставил их на колени?
Кто подсказал им руку протянуть,
Какой безумный бог — в день радости и смеха?
Предки в ужасе отвернулись.
«Вырастаем!» — тополя сказали.
«Песнями брызнем!» — цветы сказали.
«Разольемся!» — промолвил Днепр.
Тополя, и цветы, и Днепр.

Звенит, звенит, звенит
И рвется на клочки. . .
«Не золотые ли ключи в земных глубинах
воскресают?»

Светлеет, веет и добреет,
Трепещет, словно сон. . .
«Не самоцветы ли растут в глубинах гор?»

«Вырастем!» — сказали.
«Разольемся!» — Днепр.

Ранней ранью ухо приложи к земле —
. . . Идут.
Из деревень, из хуторов идут на Киев —
Дорогами, дорожками, стежками.
Сердца у них так бьются в такт —
Идут! Идут!
Так сотня солнц звенела б в такт —

Идут! Идут!
Там, над дорогами, над стежками-дорожками
Идут!
И все смеются, как вино,
И песня льется, как вино.
Я — сильный народ,
Я — молодой!
Я слушал звон твой золотой —
И вот услышал.

Глядел в твои глаза —
И вот увидел.
Горы камней, что на грудь мою навалили,
Я сбросил так легко —
Как пух.
Я — негасимый Огонь Прекрасный,
Бессмертный дух.
Ты нас приветствуй с солнцем, с голубями.
Я — сильный народ! С солнцем, с голубями.
Родными песнями встречай же нас, цветами.
Я — молодой!
Молодой!

1917

262. РАСКОЛ ПОЭТОВ

Одна из комнат клуба литераторов. На столах книги, журналы. Заседание студии поэтов. Две враждебные группы. Левые (их много) сгрудились вокруг Коммуниста. Слово взяла Шовинистка, но ей не дают говорить.

— Хватит! Это шовинизм!

— Никакого шовинизма нету!

— К черту гнилую патриотку! Долой! Долой!..

Шовинистка все время держится гордо, приподнято. Председатель дает знак, призывая к спокойствию, и Шовинистка продолжает говорить...

(Пропуск в рукописи)

Председатель

Нет, суть не в этом. Суть — да, да — не в том, кто ранил вас впервые и что под флагом тирании внесет соседская орда.

Шовинистка

А в том, чтоб выйти на майдан творцам?

Коммунист

(с места)

Пора на пересадку.

Шовинистка

Еще Вилье де Лиль Адан сказал...

Председатель

Я вас призвал к порядку.

Шовинистка говорить не хочет. Входит Поэт-рабочий, садится возле Коммуниста.

Коммунист

(тихо)

С войны?

Рабочий

На северном посту дежурил. Мы войдем колонной: отряды наши за версту.

Коммунист

Вставай, проклятьем заклеянный!

Правые удивленно смотрят на него.

Эстет

(председателю)

Позвольте? Может быть, некстати,
коль ясен красоты закон —
то для народов всех времен...

Председатель

Ах, снова старое на вате...

(Подчеркивая.)

Мы, данная поэтов группа,
готовы ль тот алтарь признать,
что создает рабочих рать?

Шовинистка

Из царского гнилого трупа?

Эстет

И всё же — перед красотой
мы братья все с одной душой,
так как же смеем мы косою
срезать под корень мир чужой?
На небе каждая звезда
своей сияет красотой нам.
Прославим же и мы достойно
рабочего, певца труда.

Шовинистка

Он в песнях много понимает!

Голос одного из правых
А я скажу вам — кучу школок
сплотим в одну.

Голос одного из левых

Где ж идеолог?

Его-то вам и не хватает.
Ваш брат бесплодный, вялый, сонный.

Коммунист

Вставай, проклятем заклеянный!

Пауза. Замешательство.

Председатель

Просите слова! Скажем прямо,
здесь студия, а не базар!

Слово берет Парнасц, он в подпитии, претендует на остроумие.

Парнасц

От печенегов и хозар
культура к нам грядет упрямо!
С ней черепки горшечной глины:
искусства нового руины!
Былое лик скрывает свой,
раздался в дебрях волчий вой!

(Падает в кресло и самодовольно хохочет.)

Канонада. Некоторые подходят к окну. Входит Пьер в восной форме. Встревоженный.

Председатель

Ну как?

Пьер

Теперь уже и сами
мы сознаем, что нам не быть.

(Что-то шепчет ему на ухо.)

Шовинистка

(от окна)

Вот и воюй с большевиками —
никак, проклятых, не отбить!

Председатель

Друзья, позвольте вам представить:
Пьер, гражданин и офицер,
и стихотворец.

Пьер

УНР

в опасности. Ведь обесславить
нас хочет недруг. На подмогу

спешите все. Пускай поэт,
артист, философ и эстет
идут на фронт...

Эстет

Ну, слава богу,
лишь этого недоставало!

Пьер

Идесй этой полон штаб.
От имени его аз, раб,
молю вас...

Парнасец

Да и так нас мало!
Затем... ведь нету в этом шарма.
Как это вдруг... поэт?.. солдат?

Шовинистка

Мы вышли не из сельских хат.
Не забываюте: интер арма...¹

Пьер

(оскорбленный)

Когда отеческому стану
так чужд цвет нации самой —
ну что ж, тогда уж — боже мой! —
я никого просить не стану!

Коммунист

Позвольте нам!

Шовинистка

Не надо слова!

(Председателю.)

Пусть знает Пьер, сей тип — не наш!

Правые обступили Пьера, но тот не хочет их слушать и выходит
оскорбленный.

¹ Начало известного изречения: «Когда гремит оружие, музы молчат» (лат.).

Л е в ы е

Черт знает что за раскардаш:
нет с ними сладу никакого!

Канонада.

Р а б о ч и й

Мы в студии?

К о м м у н и с т

Лишь время дайте:
вы не таких еще чудес
здесь наглядитесь.

П а р н а с е ц

(вспомнил о своем слове, принимает позу)

...до небес
чадят сигарки. Разбивайте,
крушите всё — театры, храмы!
Идут, новаторствуя, хамы!

Р а б о ч и й

(вне себя)

Да как вы смеете!

П а р н а с е ц

Ну-ну,
еще объявите войну!
Но переспорить не удастся
вам украинского парнасца.

Р а б о ч и й

Жрецы, творцы красивых фраз,
поэты вы? Мальцы и рохли!
У вас и губы не обсохли,
а я ведь чтил когда-то вас!

П а р н а с е ц

Черт знает что!

Ш о в и н и с т к а

Что за субъект?

} *(Вместе.)*

Председатель

Я не позволю...

Рабочий

И как это не стыдно вам
твердить про брата — «пьяный», «хам»,
ужель вам всем он не дал воли?

Шовинистка

И федерацию? И лапти?
Распотрошите нас! Облапьте!

Рабочий

А что ж ваш край «родимый» дал
народу? Иль в остроге счастье?!

Шовинистка

Республику народной власти!

Рабочий

Чтоб кровь и слезы проливал
народ для вашей же услады!

(Взволнованный, не может говорить дальше.)

Парнасец

Поэт я. Вы-то что за сброд,
что всем заткнуть хотите рот?

Коммунист

(тихо)

Они ж нас вешать будут, гады!

Рабочий

Я был — и тем закончу век —
поэт — рабочий человек.
Всепролетарская семья —
идеология моя.
А вы-то — без кремня кресало,
вас жизнь оставит, как бывало,
в охвостье века...

Парнасец

Ого-го!

Шовинистка

(тихо)

Подумаешь! Ни тени смысла!

Председатель

А тема в воздухе повисла!

Эстет

Нам не хватает одного—
покоя! Бог нас упаси,
жрецов Красы, касаться буден,
для нас извечно Тайна будет,
как... «Отче паш, иже еси...»

(Замечает, что запутался, зарепортовался.)

Левые смеются.

Председатель

Постойте, мы и так чрезмерно
от темы отвлеклись...

Парнасец

Наверно!

Поэт фабричный бодро, шустро
строчит — ему не до щедрот
зари и соловьиных нот!

Рабочий

Я вижу: вы — буржуйский сброд!

(Не прощаясь, выходит.)

Председатель

Ах так?

Парнасец

Так молвил Заратустра.

Мрачная пауза.

Коммунист

Нет, в вас враждебность не угасла:
раб не по вкусу божествам!

А пролетарий просто к вам
пришел учиться...

П а р н а с е ц

Скажем, масло
сбивать. Не к горним льнуть высобтам!

К о м м у н и с т

С таким, как вы, — лишь пулеметом,
а не словами говорить!

П а р н а с е ц

Ах так?! Извольте ж повторить!

Их хотят успокоить.

К о м м у н и с т

Сказал, что с вашего Парнаса
пора вас сбросить.

П а р н а с е ц

Повторить!

Кошунство!

К о м м у н и с т

Право — хватит ныть,
да переписывать Тараса,
да множество менять личин
в честь футуризма!

П р е д с е д а т е л ь

Меньше чувствал

К о м м у н и с т

Грядет здоровое искусство.

П а р н а с е ц

А нам? Каюк в волнах пучин?!

К о м м у н и с т

А вы как думали-то? В муках
Весь мир встает!

Парнасец
Что и без вас
известно нам.

Коммунист
Вы ж и сейчас
при старопрежних «сладких звуках»?!
Как будто жизнь — балет иль пир!

Шовинистка
Кого он учит?

Парнасец
Сей Шекспир,
по-вашему...

Председатель
(стучит карандашом по столу)
Да обождите!

Парнасец
Не знаете — так не браните,
и вообще...

Коммунист
Да каждый нищий
богаче истиной, чем ваш
лжеэстетический багаж...

Председатель
Вот... Наделил духовной пищей!

Кто-то из студийцев
И быша хаос, быша тьма.
Канонада.

Коммунист
Где ж идеолог-то? Эхма!
По этой части небогато.
О слабодушные ребята!
Зачем, простите, в самом деле,
дышать душком ночной трухи,

когда уж третьи петухи
давным-давно свое пропели?
Зачем твердить: «Сосед тиран»,
коль, отрешась от гнили царской,
рассветный создал он Коран
культуры новой, пролетарской?
Зачем твердить: «несет» сосед, —
всё брезжит и у нас под боком!
Лишь вы сверхшовинистским оком
не склонны видеть этот свет!
Сказал бы я без интерлюдий
и без упреков роковых:
не нужно нам ни мертвых студий,
ни словопрений неживых!
Жизнь — идеолог самый лучший.
Жизнь — высшая и школа школ.
А где божественный глагол?
А где порыв души могучий?
А! всё — словесная полова,
вы скажете...

Ш о в и н и с т к а

Прошу я слова.

К о м м у н и с т

Так сотня лет прошла с тех пор!
Упал багряный метеор,
и компромисс эстетства снова
за ветром устремился...

Ш о в и н и с т к а

Слова,
прошу я слова, что за хватка!

К о м м у н и с т

Так дайте ж речь мне завершить!

Ш о в и н и с т к а

Что за вельможная повадка!

Кто-то из студийцев
Пора б шумок-то приглушить!

Председатель
Сограждане!

Парнасец
Я предрекал
раскол сегодняшний и раньше,
когда в салон искусств попал...

Коммунист
(подсказывает)
Ну что ж, я коммунист — а дальше?
Неловкая пауза. Канонада ближе.

Председатель
К чему все эти обвиненья?

Коммунист
Эх, ни одной живой души,
вы, право слово, хороши!
(Берет шапку.)

Парнасец
Постойте...

Председатель
Закрываю пренья.

Шовинистка
(Коммунисту)
Вам следовало б пояснить...

Коммунист
Вы ж книжники, вы фарисеи —
о чем же с вами говорить?

Парнасец
Ах так?!

Шовинистка
Катитесь же в Расею!

(Нервозно смеется, никак не может закурить папироску.)

Коммунист
Товарищ, вы всё это бросьте, —
речь бестолкова!

Шовинистка
Где уж нам
курить да с вами фимиам!

Один из студийцев
Спор черной кости с белой костью.
Некоторые одеваются, входит Рабочий.

Рабочий
(ко всем)
Товарищи! За мирный труд!
По городу колонной смелой
отряды красные идут!

Левые
Советам слава! Ветер крут!

Коммунист
(к Шовинистке)
Прощайте!
Левые выходят. Правые растеряны.

Тот же голос
Спор черной кости с белой.
За окном оркестр, первая фраза «Интернационала» и радостные
возгласы: «А-а-а!»

263. В КОСМИЧЕСКОМ ОРКЕСТРЕ

1

Благословенны:

пространство и материя, число и мера!

Благословенны все цвета, и тембры, и огонь,
огонь, тональность всего мира, движенье и огонь,
движенье и огонь.

Дух, что проник во всё,
кто ты есть?

Зовут тебя покоем? Ветром?

Машины силою слепой?

Круженьем атомов, пылиночек игрой?

Ты перед всем миром руки взвел как бы перед
пюпитром,

шло — пропеллерами завело

и в танце хаос завертело,

а там тромбонами в бездонных коридорах отдалось...

В тьмах-тем неспаянных частичек одиноко зазвенело:

«Скорей, скорей,

одно в другом,

орбитно-плавно упадем,

скорей!»

Мильоны солнечных систем

вибрируют, летят, гудят.

Кометы ржут и резво мчатся,

и океаны над океанами шумят.

Тьмы-тем неспаянных частичек

спиралят вниз, то вверх взлетели...

Огни яркие и горячи!

И плачут, и поют далекие лучи,

как бы виолончели.

Дух, что проник во всё,

кто ты есть?

2

Я дух, дух вечности, материи; я мускул мощи

первобытной,

дух времени, дух меры и пространства, дух числа.

Без счета рек аэролитных

бежит от моего весла...

Я дух движенья, я танк-такт, автомобилей хоры,
моторы запустил мой двор-гараж.
И так легко я, как детей на пляж,
веду титанов на просторы.

И на воде этаж за этажом
я возвожу системы
и озаряю их умом,
даю им темы.

И вот уже летят,
через потоки мчатся.
Пока не погрузятся —
не встану, не пойду.
Летите, солнца достигайте,
под кровлю круглую быстры!
Всех в федерацию скликайте!
Несите лозунги в миры!
Не придавайте важности Сатурновым венцам,
жить для себя довольно, баста!
Да, всем планетам, всем мирам —
свобода, равенство и братство!
И вот уже летят,
через потоки мчатся.
Пока не погрузятся —
не встану, не пойду.

Я дух, дух вечности, материи; я мускул мощи
первобытной,
дух времени, дух меры и пространства, дух числа.
Без счета рек аэролитных
бежит от моего весла...

8

В космическом оркестре
подвластно всё одной руке.
И нет границ... И вдалеке
поставит кто мирам семестры
в голубо-синем молоке?

Плывет эфир, струятся токи,
кипит поэзия ключом,

созвездий алфавит высокий
горит слепительным огнем.

И что там время? Что там век?
Что утренней зари румянцы?
Пространства рдяный крик рассек —
багряных солнц протуберанцы!

Там жизнь без грусти ядовитой
и эгоизма тоже нет.
У каждого своя орбита,
один закон у всех планет.

У каждого своя примета:
помощник — друг — товарищ — брат.
И каждый мир — аэростат,
несущийся в просторах света.

Один упал — другой искрится,
и так конца и края нет. . .
У солнц, созвездий и планет
нет права, чтоб остановиться.

В космическом оркестре
подвластно всё одной руке.
И нет границ. . . И вдалеке
поставит кто мирам семестры
в голубо-синем молоке?

4

Что наши слезы, и вопли, и крики?
Что все драмы земли и трагедии космоса?
Вечно юн, изначальный и дикий,
творец, распятый на своем творенье,
в неизмеримой глубине, безумен, бесится без берегов.
Он выдыхает бури легкими!
Незримый атом сердце обняло бы
А мозг, как динамит, взрывает мысль.
Корабль безумия, вздувшийся ветрилами,
над бездною бессилён бросить якорь в песне.

Он этот Прометей, рыдающий в грядущее,
не возвращающийся никогда.

Слезы ливнем.
Воды хлещут океаном, разбиваются о вечность.
Брызги сыплются и отлетают.
Брызги-искры летят от кресала.
Брызги далеким мирам!

Скажите: солнц системы что, если не брызги?
Скажите: что Земля, если не капля?
И человечество не сходно ль с инфузориями
(сжирай, сжирай себя в капле воды)?
Под зонтом собственной атмосферы,
под тучами дурмана или лжи
Земля ласкает зонтичные души,
каким вовек не разобраться в карте космоса.
И мозг их ворошит едва веками унавоженную грядку.
Века очередного заблужденья канаву суеверья чуть
засыплют,
и снова там пары, туманы,
и снова войны и тюрьма.
И вновь бесчисленные панихиды под зонтичную
кровлей —
как над болотом комары! . .
О человечество! О гордость скрупулезная!
Ты в телескоп веков глядела ли когда-нибудь?

б

По берегам вечности ходит солнце,
ходит солнце в шляях.
Потянет воз —
и все планеты в экстаз!
Не надо киснуть, люди, подзаборно!
До мелких ли обид сейчас!
По берегам вечности ходит солнце,
ходит солнце в шляях.

Людам — любить землю!
Поэтам — в просторы водить!

Когда планеты в баррикадах —
и космосу боль не избыть!
По берегам вечности ходит солнце,
ходит солнце в шляях!

Беременна солнцем любая планета.
Равны все планеты в сиянье привета
от солнца.
У каждой свой лет и своя орбита
(инертные гаснут, бессильные сбиты)
вверх — вниз, вверх — вниз!

И отзываются струны,
и все системы — что коммуны,
косм-федерации несут девиз —
вверх — вниз. . .
Людам — любить землю!

Поэтам — в просторы водить!
А в космос путь —
жить!
По берегам вечности ходит солнце,
ходит солнце в шляях.

6

Как быстрое ядро из пушки,
земля творит вокруг солнца цикл.
Рысцей за нею лысый месяц —
беззубый, смотрится в монокль.

О, сколько на земле беззубых
боятся солнца и воды! . .
Роди, земля, нам юных сердцем,
земля, богатырей роди!

Идут народы, открывают
свободе путь! свободе путь!
И, кровью землю орошая,
уходят в землю, чтоб уснуть.

И новые к свободе рвутся,
спешат под пенье пуль идти
и движут силы революций
по непреклонному пути.

Кто сердцем юн и полн отваги,
вставай! Республика, гряди!
Плесни нам, море, свежей влаги.
Богатырей, земля, роди!

Как быстрое ядро из пушки,
земля творит вокруг солнца цикл.
Рысцой за нею лысый месяц —
беззубый, смотрится в монокль.

Смотри — не высмотришь пощады:
тебе пути к народу нет.
Цвели в былом твои декады,
но отпылал давно твой свет.

Гори, кто молод, полн отваги!
Расти, Республика! Гряди!
Плесни нам, море, свежей влаги!
Богатырей, земля, роди!

7

Бесприютно земля малокровная сохла, кружась
вокруг солнца,
и заражала просторы вселенной.
Солнце в земные артерии сыпало горсти огня —
вот она, кровь.
Ах, кровь всегда. В различных дозах.
И каждая борьба похожа на свой век:
Тайная вечеря,
гильотинные дни.
Аэропльн, душа моя, аэропльн,
не опускайся и не падай!
Одну ль тебя одолевали зверь-человек, ложь
и жестокость?
И разве не у всех расстреляны сердца?

И тысячи закопанных живыми в землю —
они ведь душу распинают каждой ночью криком:
«О, мести, мести! Кровь за кровь!»
Кого карать? Солнце, что в артерии земли пригоршни
огня сыплет?

Ту землю, что без перегноя бесплодна?
Не первый у нас Христос, не последний Робеспьер;
а кровь всегда, в различных дозах,
и каждая борьба похожа на свой век.
У всех бесчисленных миров одни и те ж призывы.
И пролетарий, как вулкан, свой гнев не может
не извергнуть.

И капитал в обход каналы роет.

Вижу:

Михайличенко и Чумак растерзаны зубами, не штыками,
лежат в крови и видят нас с неведомой планеты,
еще их теплый мозг шлет радио:
«И тут, как прежде, мы идем на смерть —
за всех на смерть. . .»

8

Язык находит человечество
в тройном звучании фанфар:
Шевченко — Уитмен — Верхарн.
Диктует грозно революции
слова от нации до нации:
Шевченко — Уитмен — Верхарн.
Включайтесь в действие,
сюда, поэты,
демократии совесть,
демократии весть!
Пусть оселедцу, шароварам слепцы на лире
доигрывают «Страшный суд» —
наш Страшный суд пришел.
(То не тень херувима —
аэроплана взлет! —
и музыкой неуловимой
мотор поет. . .)
Наш Страшный суд пришел.

Вот протянул он борозду, какой вовеки не проложишь.
Вот погрузился в глубь Днепра,
который делит надвое.

(То не тень херувима —
аэроплана взлет! —
и музыкой неуловимой
мотор поет...)

Пушки бьют и потрясают все концы земли.
Материки расколоты, и провалились царства,
на кладбище народов бури — словно трубы.
Гнусавые гобои гении пещерные, поэты на меже,
свой голос присоедините к трубам.
Язык находит человечество
в тройном звучании фанфар:
Шевченко — Уитмен — Верхарн.

»

В былом цвели сады Семирамиды.
Сто двадцать рвов от Нила шло,
и ввысь, и в поле подавая воду,
а для тоскующей царицы творился дождь.
И это всё руками
рабов
Руками рабов...

Что ж, проклятое поколенье,
никак не можем мы сойтись,
не можем взяться вместе за работу
и землю обновить?

(Теснее, духом сильные, сплотитесь
под знаменем одним.)
Ужель ярмо на нас от века?
Ужель цари, тюрьма и гнет?
Ужель бессилье и покорность
и арестантское клеймо?

Кто, кто смеялся там, в Европе,
заплакал ли там кто-нибудь,
увидев, что и голодая
сумели дать врагам отпор?

(Теснее, духом сильные, сплотитесь
под знаменем одним.)

Да, да, без хлеба мы распухли.

Надежда наша — дети — мрут.

Но голод — революции язык

Что, если бы пожар всемирный
за вашу спину возник?

Кто, кто смеялся там, в Европе,

заплакал ли там кто-нибудь,

увидев, что и голодая

сумели дать врагам отпор?

10

В опекуны себе вы взяли королей,
с буржуазией вам удобней, господа! . .
Бежали за рубеж вы из страны своей,
блудливо обругав Республику труда.

Лжецы! Стяжатели! За собственность не раз
вы нож пускали в ход! Вас проклял ваш народ,
и пролетарии всех стран отвергли вас!
Эпоха вам в лицо с презрением плюет!

В Европе — в кабаке, в прокуренной пивной —
в манжетах чистеньких (позор вам, стыд и срам!)
распродаете степь — свой отчий дом родной, —
чтоб куш заполучить да эполеты вам. . .

Надеетесь? На тьму, на суеверье масс?
Но льются реки те, что вам плотину рвут!
Народ желает знать всю правду без прикрас,
он хочет знать закон — как строить жизнь без пут!

Надеетесь? Скорей подохнете в пивных,
источат черви вас — и превратитесь в прах! . .
Как вы осмелились обманывать слепых!
По вашей милости брат брату нынче враг!

Что ж, попрошайничать пойдете вы с сумой!
Найдется, может быть, какой-нибудь царек,
который вас спасет (ему прямой расчет, —
он, задушив народ, себе урвет кусок).

Пойдете вновь с сумой! Быть может, кто подаст
и с вами заодно, вздохнув, слезу прольет,
припомнит, как жилось, как покупали власть, —
а трупным запахом теперь от вас несет. . .

Надейтесь. . . Лгите всем. Не миновать судьбы,
не скрыться никуда — история не ждет.
Мы — пролетарии, сомкнулись для борьбы —
Интер-республика, республика идет!

1921

264. СКОВОРОДА
(Отрывки из симфонии)

ALLEGRO GIOCOСО¹

...Три месяца промчались,
как стая кораблей веселых,
во все цвета расцвеченных,
добрым грузом переполненных.
Три месяца пұстынь блаженная и в ней Сковорода,
как по волнам,
среди садов неслись Китаевских,
сквозь родниковую дубраву,
по полю полному, где льет волна волну и не спешит
остановиться.

Под утро,
только небо начинает наливаться
и ветер зеленый отчалит в дальний край, —
уже Сковорода
встает, молитву совершает
и в сад идет.
Там пташки утро окружают,
клюют, клюют, не наклюются
и распевают сладко, снами делятся.
А солнышко во все края,
как над главою Моисея,
рога сияющие шлет,
вздымая звон и гуд
и светом землю заливая
щедро-щедротно.
Сковорода
на землю упадет,
цветы целует, травы гладит,
глаза росую, что твой незрячий, протирает:
«О господи, как ты всего меня наполнил
щедро-щедротно!
Пошли ж душе беспокойной
мир, и согласие, и любовь!
Мне больше ничего не надо,
о всеблаженный!»

¹ Весело, игриво (итал.). — *Ред.*

И всеблаженный вмиг услышит просьбу —
и Сковороде
такую пошлет благодать,
что он от радости бегаёт и плачет
и клен, и розу привечает,
благодарит букашку всякую
за всё, за всё!

Тут пустынь из-за тополей
покликнет колокол к обедне.
И бога грозного устав
читать направятся монахи молча —
поодиночке все,
все под оградой,
хмуро...

И вдруг замрет Сковорода
(ну как не затаиться?) —
он слышит, как они уже у паперти у самой,
оглядываясь, меж собой жестоко осуждают,
что гость отца Иустина
молиться не ходит.
И горько станет на душе.
Взамен гармонии начнутся вздохи
и в поле погонят его —
далеко, на край света...

Поле, поле!
Ты круг настоящий!
И нет тебя проще и совершенней,
поле!
За кругом круг течет, за гору гора забегает.
Тут ключ,
тут вижу я ключ к душе:
колос, нагнувшись, уставился в землю —
познай самого себя.
Небо в тысяче зеркал тучи высветлило —
познай самого себя.
Днепр задремал в тени, а всё же весь в движенье —
познай самого себя.
Это же есть
бренность, текучесть и бесконечность,
как треугольник некий, в котором один, и два, и три
одно и то ж.

Одна и та ж старинных городищ печаль —
познай самого себя.
И над гречихою жужжанье пчел,
и над дубравами отары,
и Киева нагорная торжественность за далью —
всё, всё нам говорит в природе:
«Познай самого себя, познай».
И вновь исполнилась покоя
душа Сковороды.
За поясом не зря с ним повсюду флейта:
достав ее, он славит мир,
того, кто в мир его послал
и перед ним открыл самопознания путь.
И бабочкою голос флейты
летит к дубраве, на хлеба,
прозрачно над Днепром трепещет,
в любви просторам признается —
и вот назад с масличной ветвью в клюве
голубкою летит:
«Мир, мир душе твоей, — сказал всевышний, —
мир».
На эту весть Сковорода ответствует
напевом новым сокровенным, —
веки опущены,
качается в лад:
 «Благодарю тебя за всё,
 о боже!
 За то, что сделал нужное нетрудным,
 а трудное ненужным.
 На всех путях земных
 соединяйся шаткой волей
 с волею творца».
Не смолкает Сковорода,
хоть к вечеру склонился день,
как будто перезревший колос —
к полю.
Бредет отара от воды,
и юная пастушка послушать задержалась.
«Чернец, — подумала, — а не чернец:
и дудка не простая,
и выбрито лицо».

Невинный взгляд Скворода почуял,
вздрагнул и глянул.
«Мария! .. Ты? ..»
— «А вот и нет, Маринка я.
Ну а как меня узнали вы?»
— «Мария, Маринка. . .» — без счета повторял,
брал за руку ее и любовался
долго, долго.
Такие ж были глаза
у его ученицы Марии,
когда он у знакомого жил на пасеке.
Уж столько лет прошло,
а он забыть не может
красу, и ласковость ее,
и сладкозвучный голос. . .
«Мария, Маринка. . .» — без счета повторял.

Маринка села.
Прикрыла юбочкою ноги
и, голову в ладони опустив,
сказала:
«Чью отару пасу?
А разве не всё равно? Пасу!
Я прежде думала, что можно жить работою,
лишь были б урожай.
А теперь. . .
Мать и отец мой сгорбались на пашне,
а всё — на панской, подавись он ею! —

Лицо еще сильнее прикрыла,
чтоб слез не выдать.
А слезы, слезы — как слова. —
Одна
зашла я как-то в панский двор.
А пан сказал, чтоб на ночь я осталась,
избил меня, грозил ножом, —
я ж вырвалась
и через тын. . .
А чернецы
и к церкви подойти близко не дают!
Что скажешь тут? . . .»

Помолчала Маринка.
Смолк и день.
А тучки всё темнели
и в тучу целую сошлись —
и, целясь
оттуда в блеск расколотого неба,
в Днепре застряли. . .
Отара сбилась в кучу.
Ягненок на руки
полез, будто холодно стало.
«А вам, должно быть, весело живется: вы всё играете.
Я видела вас и вчера.
А братец мой в повстанцах», — и тут же спохватилась.
И, взяв ягненка, унесла.
А ветер, сбоку забегая,
и юбочку и ленту рвал,
пока с отарою она в яру не скрылась.
А ветер забегал всё сбоку.
Сковорода вдруг на ноги вскочил,
хотел догнать ее, обнять, утешить,
унять кипенье слез недетских,
но тут
так близко на Киев, почти невидимая, карета запылила.
И думал пан, в окно уставясь:
что там за юродивец
глазами гонится за ним, а, может, бранью,
то руки вытянет к Днепру,
то в дрожи к лесу отведет,
как будто воздух принимает.
Слезы гнева,
буря сердца великого
не дают говорить.

«Должно быть, весело живется».
Ах, сроду молния его вот так не обжигала,
как душу
такие слова.
Право.
Зачем пришел он в эту пустынь?
Не с тем ли, чтоб просто пожить?
Чтоб мир найти
и бога,

бога счастливого в себе почувствовать, в натуре
бога, который и Сократу древле не явился, —
гармонию души?

А бог один,

и, может, там как раз,
где та гармония — во прахе.

«И как я смел подумать,
что сделал что-то для людей,
когда невинных слез так много кругом, кругом, а я от них
скрываюсь!

Друзьями ль были мне друзья, те, у которых жил?

Была ль настоящею проповедь, которую нес я?» —

впервые в жизни усомнился он,
впервые глазами новыми увидел
себя же, и небо, и землю.

Туча повыше края свои сивые завернула
и сверху всё так же, казалось, метила в звон
растреснутого неба,

потрескивая и в Днепре. . .

Но вслед за тем

такой орган, гремя, играл простором хором, по-над
хором,

что аж земля в глубинах загудела
в трепещущих. . .

Глядел Скворода и думал:

«А это ж треугольник есть иной:

земля — огонь — вода.

Земля, что правды жаждет, — права.

Огонь — сей гнев, что зарождается в земле, в тумане,
в духоте, в жару.

Затем вода — душа людская, —

что всё — не только радость! —

должна отсвечивать на свете.

Здесь треугольник есть уже иной.

Повеял ветер с ветерками,

и на одной ноге песок за яром закружился,

закружился песок

и с ветерками ветер. . .»

И думал Скворода:

«Гармония неизъяснима.

Мир полнотою налился
и созерцает сам себя.
Но чьей-то надвое и он пересечен рукою
на высший мир
и низший мир,
и низший — это рабство.
Друзьями ль были мне друзья, те, у которых жил?
Была ль настоящею проповедь, которую нес я?»
И думал:
«Шляхту,
шляхту видел я, а не народ.
Просвещал не голытьбу, а шляхту.
Лишь в ней,
лишь в голытьбе злосчастной я мир себе найду —
борение взамен покоя.
Ведь мир не просто правда —
мир есть справедливость,
за всех униженных подъятый меч».
Дождь надвигался ровною стеною
на Сквороду, он в пустынь поспешил.

GRAVE 1

«А ты всё сам с собою? —
в воротах встретил Иустин. —
Иди, стоит твоя трапеза,
и братия поговорить пришла из Лавры».
— «Какого черта ей? ..» — и смолк.
Два бога спорили в душе:
гармония и справедливость.
И лютовал над первой гнев:
где ж быть гармонии,
коль справедливость — звук пустой?
«...я тут, тут, тут» —
затрепетало в кронах, по крышам пронеслось.
«С крылечка глянем (свят, свят!),
с крылечка глянем: град».
— «Р-раб!» — ударило и рухнуло над ними,
и высекало молнии вверху,

¹ Медленно, торжественно (итал.). — *Ред.*

широко вторя понизу октавою:

«люд, людом, люд. . .»

А град по кронам, по траве запрыгал, засверкал,
как грохотом подкованный,
град в шуме, в брызгах, град в брызгошуме,
как грохотом подкованный.

Сумрак, как после семидесяти лет,
уже дорог не различал.

Скрывался в уголках, в саду, в долинках.

А за ним, как неминучей старости седина,
потoki свежие вскипали пылью студенной. . .

И в небе надо всем просторами рыданья —
души великой содроганья:

где ж быть гармонии,

коль справедливость — звук пустой?

«Григорий, вот послушай.

Ты, вижу, что-то хмурый.

Никак бежать из пустыни задумал?

Останься, поживи!

Ты видишь, как тебя мы уважаем,
в любое слово твое верим
про бога вечного».

«Ой, суесловы нудные!» — Сковорода подумал.

Вошла братия.

«Останься, право! — загудели все. —

Не надоело ли блуждать?

Пора о пристани подумать.

А пристань ведь твоя

у нас,

в благословенной Лавре.

Мы знаем все твои таланты,
мы знаем разум твой и святость.

Столпом истины ты будешь тут
и церковь родной Украины украсишь».

Задрожал Сковорода, как пламенем объятый:

«Ой, преподобные!

Каких еще столпов вам в церковь надо?

Хватит и вас,

столпов неотесанных!

Вы ж церковь так подперли,

что ей не встать уже лет за сто!»

Иустин тихо:
«Григорий, успокойся!
Не обижай лаврских отцов, —
хотят просить, чтоб ты, брат, принял ризу».

Задрожал Сковорода, как пламенем объятый:
«Риза, риза!
Не всякого смогла ты преподобным сделать,
но многих ты очаровала.
Окаянствуйте!
Окаянствуйте, пока не встал спаситель церкви!
А он как встанет,
то сразу же на вас!»
— «Учитель, ты разгневался,
скажи хоть на прощанье:
где наше счастье,
как нам идти?»

Сковорода:
«Всяк есть там, где сердцем сам».
— «Ах, всегда мы рады ближним помогать!»
— «Без ряс идите поля пахать!»
Замолкла братия.
Тихонько
попятилась к дверям.
Ушел и отец Иустин, понутив голову.
И в келье долго рдела свечка,
молитву чернецы орали
и, наоравшись, спать легли.

А он — один.
Один — и темнота,
и думы.
И тополя на взгорье взбунтовались,
толкаясь на восток.
Гроза порою затихала —
и тут
из Киева другая доносилась.
А что за шум —
не разобрать.
Зашумела шелковица,
орех затрепетал.
И подпрыгнула звонница в малиновом огне:

...На земле
пленницей
лежала Маринка.
Цари и скопище вельмож
скорпионами ее обступили.
И вроде это не Маринка,
а мать родная, почерневшая в труде.
Голову к нему повернула
и, кажется, кричит,
а крик не доносится.
Стала рукою показывать:
туда! туда!
А в отдалении толпа
монахов пела:
«Спаси, господи, люди твоя».
И словно сам он где-то тут, среди гнусавых чернецов,
стоял и пел:
«Блаженны милостивы, яко ти помилованны будут».
А паны, вслушиваясь в божественное пенье,
так уж миловали чернь,
что кровь ее, сгоревши, вправду почернела
и совсем превратилась в грязь.
«Грязь!» — разбило сон над садом,
и Сковорода проснулся.
Ночь отоснилась,
и дождь отшумел.
Спешили тучи обсушиться,
и просинел край неба
наподобье антиминса...
Ночь отоснилась,
и дождь отшумел.
И только в Киеве была еще гроза,
а что за шум —
не разобрать.

На столе молчали страницы Библии,
и рыба на блюде, и хлеб.
Не прикоснулся он к трапезе.
Пора!
На устах решенье
радостью новой выросло —
пора!

Он сунул Библию в котомку,
рукою флейту вспомнил вдруг за поясом,
поклон отвесил утру, саду,
к востоку легкий
направил шаг.

RISOLUTO ¹

На небесах сиянье
зари,
зари!
Кого, кого еще там
зарезали?
Не сладкий сок течет на землю
с коры берез, —
прошел, прошел по всей земле
убийца-кровосос.
Прошел или проходит?
Заменяя ответ,
Маринкин брат из мрака выступил
и растуманился под ветром.
Чего?
Он никогда его не видел
и всё же ясно заприметил:
рукой вцепился в землю...

На небесах сиянье
зари,
зари!
Кого, кого еще там
зарезали?
Не сладкий сок течет на землю
с коры берез, —
прошел, прошел по всей земле
убийца-кровосос.
Вот так казачество прошло,
а мы и не слышали.

¹ Решительно, мужественно (итал.). — *Ред.*

Себе искали мира, когда там кровь лилась.

Зачем? Зачем?

К чему и мир,

к чему и ты, проповедь покоя,

и выраженная в гербы словесность премудрых аллегорий?

К чему и все его протесты,

когда они мягки, нежны, благообразны?

«Блаженны милостивые» — сказать врагам?!

Ударь убийц, чтоб заиграло!

Чтоб пронеслось над сонмом хижин,

над всей землей, над бедняками!

Чтоб поднялся смеживший веки,

чтоб стали зрячими рабы, —

ведь это соль земли грядущей!

Ударь! И крепче!

Размышляя, не заметил,

как лес прошел,

лес Голосеевский и в нем погруженную в спячку

пустынь.

И сам не знал,

зачем он лесом зашагал, не берегом,

и куда заторопился.

Не выспавшись, явилось солнце

и в туче досыпало

сон желтоватый.

Денек холодный, хлипкий, хмурый

бросал бессильно тени

от сосен на дорогу.

Уже наметилось предместье,

и Киев из тумана

грязь свою выплескивал. . .

Захотел

себе в яру он посошок из ветки сделать

и задрожал в испуге,

закричал!

Невидимая чья-то длань его тащила в ров,

и он, еще не видя ничего там,

впервые в жизни проклял свет

и тех, кто свет ведет во тьму

и заливают кровью.

Закричал!

На дне
лежал казак с лицом открытым
и тоже в крик кричал, казалось,
но только ухом
не различить.
Он одною рукою впился в землю,
другую как бы к востоку протянул,
показывал: туда! туда!
«Маринкин брат!» — мелькнуло,
и зарыдал Сковорода.

Сверху дубы
шумели, не шумели —
без ветра гомонили.
Нашел, нашел, нашел
и вправду нашел.
Так новую нашел мудрец гармонию,
в которой не любовью —
иным душа звучала.
Взглядом, полным ненависти,
прорезал небо он
и засмеялся вдруг —
навеки понял:
успокоения ему не ждуть уже от всевышнего,
как и отныне сам
он всевышнему покоя не даст.
Глупо к богу мертвому звать,
и трепетал душою он пред истуканом
зря.
И в тон ему голодный ворон над ярами:
«Зря! Зря!»
А по дороге бедный люд
бежал, мечя ножами крики:
«Беги и ты, человек, беги!»
Стоял Сковорода и ждал.
За ними ж не видел ничего.
Только в сером женщина
за ярами, как воровка, пробиралась,
да карета, поблескивая, мчалась быстро-быстро,
и как мел бледный шляхтич,
высовываясь из окна,
блевал. . .

С банкета, видно, он.
Работой, потом, долей Украины
всю ночь он обжирался
и мчит домой к похмелью...
И не видит бог?
И снова засмеялся.
«Б-бог!» — рвануло-рявкнуло где-то в загорье
и, всколыхнувши воздух, вверху заныло-загудело,
а после:
«Хлоп! Хлоп!» — откликнулось за лесом.

«Зовут человека
холопом — хают гражданина мира!»
Но погоди, Григорий!
Ты это всем скажи, а не себе!
Зря воспитывал ты душу в правде,
зря ворковал ты голубем,
когда кругом насилье, зря!
И в тон ему голодный ворон над ярами:
«Зря! Зря!»

И понял вдруг Сковорода:
восстанья,
одни восстанья найдут язык, пригодный
для разговора
с подлою сворой панов!
И понял вдруг, какой грозы он слышал шум
из Киева,
и суть сердечной тяги:
скорее, скорее в село!
Пусть поднимается земля!
Лишь там его гармония:
душу свою
с душой соединить
селянской!

Заспешило сердце, заспешило,
и душа перестала молчать
и разлетелась вдрызг, как будто
под топором творенье богомазово —
к селянам!

Сверху дубы
шумели — не шумели,
без ветра гомонили:
«Прощай, прощай. . .»
Пошел Скворода сквозь мерзостный туман,
вдаль, с горячей непокрытой головой.
Вдаль — и свитка полами реяла и догоняла его,
как прокаженные пророка. . .
Шумят дубы, пускай шумят дубы,
шумят дубы, где глубокие рвы.
По-над рвами там бурьян-будяк,
упал казак — открасовался навек.
И кем же ему смерть нынче простится?
Только рука протянулась к восходу солнца.
То ли любушка сердце печалит,
то ли к тыну матушка припадает?
Ой, не любушка, не матушка в горе, —
путь-дорога к вольной воле
развернула казацкое знамя —
не жить, никогда не жить нам с панами!

Не замечал ни встречных, ни улиц,
ни Лыбеди быстрин прозрачных,
что долго его всё провожала, заводила вербами туда-
сюда, в овраги;
не замечал ни крика торгашей, ни толчеи базарной,
ни запевки слепцов —
одна только дума кипела в голове,
один звенел в груди напев:
не жить, не жить никогда нам с панами!
И хоть он знал, что не ему поднять бездолжных —
ведь ему уже под пятьдесят наваяло,
да и слова народные по академиям забыл, —
в сердце пробрезживала
из далей радость.
Она еще глазу не видима
и не слышна ушам,
только дух сумел постичь,
как понимал и то,
что нынче, нынче готовить нужно ясный тот день,
сейчас!

И вот пришел он к тем высотам,
 где древний Киев к небу взвит, как чудо.
 Ему хотелось с ним проститься —
 учился ж там и жил.
 Вниз посмотрел —
 заколыхалась гора, как бы корабль в час бури.
 «Ослаб!» — мелькнуло в голове,
 и искушением перед глазами проплыла
 рыба на блюде и хлеб.
 Но тут
 могучий дух его вознес
 и пелену грядущего раскрыл в тумане перед
 ним.

На миг
 всё расцвело кругом:
 победные знамена, крики,
 рабочий люд.
 Из града нижнего дымками изогнувшийся
 трупный смрад поплыл, как на большом побонше
 (и воронье как сажа),
 и вновь померкло.
 «Земля моя, где я стою,
 земля моя, которую сквозь мрак прозреваю,
 вся ты в неволе, черная, у белых,
 земля моя черная».

Оглянулся невольню.
 Из-за ветвей
 безмолвно смотрела женщина в сером:
 узнать его иль не узнать?
 И, не решившись,
 пошла сквозь кустарник под гору.
 День тоскливый, хмурый, хмуристый.
 Подол разлегся у воды,
 и торговал, и сонно копошился.
 А Днепр как бы стоял на месте —
 слепой-слепой да бельмастый.
 Не знал, куда слезы, куда беды свои
 переправить:
 к морю ли, морю всесветному

или к Екатерине в Москву,
Малороссии любительнице. . .

Как стал Сковорода —
про всё забыл от горя.
Стоял так долго-долго.
Всё порывался говорить:
протянет руки он к Днепру
и вновь дрожащие — назад,
как будто воздух отодвинет.

Слезы гнева,
бури сердца огромного
говорить не дают.
Стоял так долго-долго.
Вон колокол пузатый загудел,
закапали копейки в кружки на Подоле,
а там, а там, со всех сторон, везде —
слепые, слезные, немые. . .
Забыл Сковорода, что день воскресный,
и время, и себя забыл.
Он лишь в лице переменялся,
как будто те
колокола — враги,
что били его, били,
догматами сухими забивали.
Он подивился —
первой
грохнула София.
Древние свои веснушки туманом припудривши,
она
подперлась оградой
и села меж церковей-старух, что крестятся,
ой боже мой, всё крестятся.
«Айда за дело, а я вам расскажу,
как во девичестве была.
Бывало, в пляс пойдут колокола,
я — руки в боки, —
так только Десятинная взирает.
И в Византии слышал всяк, как каблучками
отбивала!
Сколько я гетманов меняла!

Любо стоять в светлом нимбе на тучах,
взирая на широкий Днепр,
и бесконечно думать, грезить, уповать.
А теперь. . .
Барокко трескается и льется наземь.
И точат слезы своды церковей пещерных,
присевших над мощами, точно клуши.
Лавра богобоязливо
крестом задеть за тучи хочет.
Ну и пусть. . .
С одной только церкви не звонили —
Андреевской.
Как куколка, как барынька стояла над горою.
Упасть не упадет —
под нею крепок черный горб.
Царица поставила в знак милости,
желая как бы показать,
что Украины вольный дух
вот так в Москве над пропастью, над кручею
поставлен.

Вот только разбуди,
вскопай тот черный грунт —
навек канешь в пропасть,
на клочья разнесем!
Подол разлегся у воды
и сонно копошился.
Казалось, что весь мир уснул!
Колокола ж гудят,
гудят и усыпляют:
спи, спи, место славно — нечего бояться,
спи. . .
И тишь воцарилась такая сразу,
какой здесь никто не слышал.
И — чудо!
Тишь полыхала.
То в одном месте вскинется,
то вспыхнет в другом,
еще повалит валом дым, как бы из фабрик.
А возле Днепра
змеей кто-то ползет:
«Тише!
Ш-ш. . . не то услышат!»

И сама гора
кому-то в тыл старается зайти
на цыпочках,
долзком,
с глазами, нацеленными в бой.
Тише. . .

FINALE ¹

«. . . Я знала, что вы здесь,
идти хотела под горою,
а вышла сюда».
— «Мария!» —
Как будто он восстал из мертвых,
как будто двести солнц заполыхало —
лазурно!
весело!
багрово!
«Мария, свет ты мой, откуда?
Мария. . . мечта дорогая моя!» —
И прижимал ее к груди, и целовал,
и голос пил грудной-грудной, кленовый.

Мария сразу упиралась:
«Постойте. . . стойте. . . после. . .
Что я хотела сказать?»
Глаза свела между собою,
бровями память спросила
и так застыла, в сером.
В сером!
Но ведь она недавно здесь стояла!
Так изменился он, что не узнать?
«Мария!
Мария, дитя мое, что с тобою?»
— «. . . бою», — промолвила тихо,
и всё рвалась куда-то вдаль,
и руки освободила
от рук учителя.

¹ Финал (итал.). В музык. терминологии — последняя часть произведения, состоящего из нескольких частей. — *Ред.*

«Боя не выдержать:
уж я своих не подготовлю,
вот здесь упаду».

И вял Сковорода,
как в сердце
радость
менялась постепенно на грусть:
не та его Мария, уж не та...
Мечтательности нет той, что на пасеке,
ни прежней речи, ни тепла
(как стала она такой?).
И только ощущенью близкой смерти
еще он удивлялся — «вот здесь упаду».

Сковорода нежно, словно к ребенку:
«Успокойся, что говоришь — не знаешь.
Глянь: точно с креста снята.
— «Всю ночь я не ложила».
— «Успокойся».

— «...проклятье — ночь!»
От-
до-
хни.

Мария усмехнулась.
Мария глазами страшно повела,
руками же — как во врага...
«Учитель мой,
что говоришь — ты сам не знаешь!
Спокойным разве можно быть,
когда решается всё...»
— «Ты говоришь о чем?»
— «О Колиивщине!
Учитель, разве не слыхал, что Украина вся
в огне?»

Я с хутора,
за Голосеевом встретилась я с генералом,
его любовницею стала...
Вы слышите: всю ночь я не ложила.
И с мужем вместе я повстанцев била,
одного в яру
просто руками задушила!

И теперь хочу оповестить своих.
Но за мною слезка.
Может, учитель передать бы взялся:
пусть не выступают —
боя не выдержат...»
— «Мария!»
И потемнело в глазах у Сквороды —
вот кто убил Маринкиного брата!
Мария, ученица его, защитника свободы!

Тишь пробежала.
Собралась из последних сил,
легла вокруг Киева,
дыханье затаила.
«Мария, скажи, что это не ты...
Ты ж первой из женщин
потянулась к свету, к науке, —
и это сделала ты?
Там — любовница,
здесь — предательница.
А я всё спал в пúстыне,
на слово свое уповал, —
надеялся: какие плоды у нас будут.
Вот плоды.
Собрал...

Трупы, трупы!
Дворянство видел — не народ.
Не бедноту я просвещал, а панство.
На села, на села скорей!
Пусть подымается земля.
Душу свою
с общественною слить!»
И, отступая от Марии,
руками ей проклятья посылал.
«Иди! Иди!» — хотел ей бросить,
а может, и кричал, да крик тот всё же
не слышен был.

Вместо него за Софиею закричало,
да так, что вздрогнула земля,

и содрогнулась Мария,
и зашептала страшно:
«Учитель мой, не проклинай,
вина ль моя, что философствовать не в силе,
к высотам руки простирая?!
Вина ль моя, что разошлась с тобою?!
Я разошлась с твоею степью
и с баснями, что еще более туманят.
Возможно, не виновен ты — виновна пасека.
Когда же мы покинем хутора?
Сонливость пчел и запах меда
над всею Україною!
Иль не проклятье?
Взяла я от тебя немало,
сама ж ушла далёко.
Ты весь во притчах, в созерцанье,
а я в работе,
коль хочешь — принимай!»
Сковорода
глаза зажмурил —
взвешивал что-то на сердце.
(Земля моя, где я стою,
земля моя, которую сквозь туман прозреваю,
всегда ты бунтуешь,
земля моя черная!)
М а р и я:
«Не с тобою, учитель мой,
я разошлась — с твоею степью
и с баснями, что еще более туманят.
Я понимаю: для нас, для женщин,
так мало света,
необходима нам борьба.
Матери сильной духом
сильных родить возможно».

.
Шумом небывалым Подол зашумел,
и стала гора в тыл заходить кому-то
и приготовилась к бою.
А среди деревьев бежали два повстанца —
прямо на них.
Мария вскрикнула, рванулась вниз —

но тут огонь из ружей двух
ее меж плеч ударил —
и под горою,
дважды перевернувшись,
под кустом
легла она на землю ниц
и пред смертью захрипела страшно.
А одна рука, словно выломана, —
она неловко содрогалась
и опадала.

И внял Сковорода:
разум
пронзило белым.
Пронзило и шумит,
пронзило и шумит.
Неужто безумство?
На сердце — рыданья —
чего ж он не плачет?
Прокрасться бы в лагерь —
чего ж не идет?
И только руки метались, всё еще жили,
всё еще напоминали, вот лишь забыл, о чем.
Пронзило и шумит,
пронзило и шумит!
«Под дерево скорей, не слышишь?
Кто ты? Какой будешь веры?
Вы слышите, он ведь с нею был!
Я видел!»
«Был! был!» — закричало кругом, заревело,
и всё смешалось в хаос.
«Был! был!» — ревело от Софии.
«Был!» — громами подымалось снизу,
сдидало стружки вверху
и воздух потрясало.
Хотя и не различал —
из пушек ли
гудит иль над ухом. . .

Но всё ж Сковороду узнали.
Волна подхватила и понесла,

и сам бежал,
а за Голосеевом каждый раз
бухало и разбухало. . .
Дух перевел возле Днепра,
куда его волна народная вынесла.
Всё около него студент стоял какой-то
и всеми святыми просил его не идти на гору.
Долго не мог разобрать ни слова
(такого могучего гнева
еще никогда не видел),
потом немного отошел.
«Учитель мой!
Когда б не я, то вас убили б.
Жена ж то офицерова,
он тот, что восстанье за Голосеевом подавил.
Случайно она с вами была иль нет?
Ну да суть-то не в этом. . .»
И снова зашумело над Подолом,
и в разных местах высекало огонь,
и подымало горы грома.
.



Природа всех краше красот —
и здесь, и у звездных высот —
природа всех краше красот.

Я сед и судьбой умудрен,
так много швырнул под уклон,
что ветер там бурю несет!
Что буря там бурю несет!

Путь барства — кривой и тупой,
идут угнетенные в бой —
а ветер там бурю несет!
А буря там бурю несет!

На высях, в далеком краю,
провижу я землю свою —
там ветер нам бурю несет!
Там буря нам бурю несет!

Пусть жертвы и смех на пути —
скорей бы к высотам дойти, —
туда пусть нас буря несет.
Природа всех краше красот!

1920—1923

265. СКОВОРОДА И БЕСНОВАТЫЙ

... Три месяца промчались,
как стая кораблей веселых,
во все цвета расцветенных,
добрым грузом переполненных.
Три месяца пúстынь блаженная и в ней Сковорода,
как по волнам,
среди садов неслись Китаевских,
сквозь родниковую дубраву,
по полю полному, где льет волна волну и не спешит
остановиться.

Под утро,
только небо начинает наливаться
и ветер зеленый отчалит в дальний край, —
уже Сковорода,
прервав предутреннюю дрему,
садится вновь писать.

Из-за того
что в келье полумрак,
иконы, стены, потолок,
гусиное перо, и даже руки,
и листики бумаги на столе —
это всё
каким-то грустным кажется, неверным,
фиолетово-дрожащим.

Фиолетово дрожит
и лик пропойцы Иустина,
что, выпроставши бороду из-под рядна,
спит на диване.

Поздно в ночи домой он приплелся,
и пьяно хохотал, и пустословил.
Хотелось плюнуть в мерзкое лицо
и, захвативши торбу свою с книжками,
скорей из монастыря бежать противного,
от ненавистного пристанища,
от родича безмозглого и грязного! ..

Да вот —

и как случилось это? —

до завтраго решил остаться.

На следы ж ведь Огении он вчера натолкнулся —
в беседе с крестьянами

случайно
где-то в поле.
Ее искать он должен только тут —
поблизости, в округе этой.
Боже мой — тут! тут!

«О любовь тугострунная, теплорукая!
Ты явилась внезапно, как буря,
раздула надо мною паруса
и помчала далеко, далеко...»

Мой челнок от бури наклоняется,
узнать, где буйный вал, где бездна, не пытается.
Из стороны в сторону бросается...»

О любовь тонкостанная, сероглазая!
Неужто вновь к тебе не прикоснусь?
Не прикоснусь устами к чаше я,
в которой сок,
сок животворный, сладкий, виноградный?»
...Сковорода тут, обмакнув перо в чернила,
скажет:

«Я назову трактат мой о натуре
«Мустум».

Mustum —
так по-латински молодое
названо вино.

Природа же, весь мир —
как выдавленный сок из винограда,
и этот сок мы пьем
и пьем...»

А вместе с ним
впускаем в наше сердце бога,
который растворен в природе». — «Бога?» — в раскрытое окно ворвется ветер.
«Бога?» — в саду насмешливо орешник зашумит.
«Бога?» —дохнув, из-за окна лукаво что-то
в белом залопочет.

Сковорода
всем существом потянется туда, откуда свежий дух,
но тут в него нежданно
таким жемчужнозубым смехом прыснет занавеска,

что он от удивления,
чуть не упав, откинется!
Со стола ж листки бумаги,
как будто сумасшедшие, слетят
на аналой,
на лавку, что служит Сквороде кроватью,
на ковш с водою. . .
И бросится Скворода их подбирать.
«Ах, этот мне ветер!
Молвит правду, бездельник, тень пустая,
а вытворяет вот такое».
А ветер, подхвативши занавеску
и локтями опершись о подоконник,
прозрачно головою покачает
(ветер, ведь прозрачный он):
«Ну как же говорить такое можно?
А еще философ.
Бездельником меня назвал,
однако ты пойми и то,
что раз я тень,
то, безусловно, где-то быть при мне должно
и тело?»

Философ,
прислушиваясь будто бы к чему-то,
на минуточку застынет,
а после с облегчением вздохнет
и удивится в голос:
«Так вот оно что!
Тень —
и та ведь имеет свое тело.
Значит, прав я был, да, и прав стократно,
вчера на диспуте сказавши господам:
«Материя вечна».
Почему ж тогда я вновь сегодня спотыкаюсь; —
бог?
Но ведь природа — бог для меня в таком лишь
пониманье,
как называет ее Спиноза, —
что она самой себе же есть причина
или
первопричина.

Что ж до бога с запахом, с бородою, с хитоном,
с благословляющей рукою —
неужели когда-либо я вот такое говорил?»
Мухи, проснувшись,
с гуденьем закружатся над столом.
И вот как бы еще сильнее
философские встанут неотвязно вопросы.
Тогда
начнет Сковорода расхаживать по келье,
свои же мысли оспаривать.
(А за окном без спросу зорька ранняя занималась.
Скрипнет калитка в саду, пташка где-то ответит.)

Сковорода

Едва мы господа признаем,
признаем этим же и то, что мир конечен?
И выйдет,
что мир когда-то кем-то сотворен?
А в то же время
всё это не так.
Абсолютно, философ мой милый, всё это не так!
Ведь начало и конец
в одной точке сходятся.
От зерна же колос
в зерно и возвращается!
И там, где мир будто бы заканчивается,
там он только заново нарождается, —
мир —
вечнотекущий,
мир —
как вода,
найди: где первой капле быть, а где последней?

..И Сковорода, жадно воды из ковша хлебнувши,
вновь начнет ходить по келье.

Ну вот, освежился.

Теперь дальше.

Иустин, прокряхтев, на бок повернется во сне
и носом, как пилой, взвизгнет...

(А за окном, никого не спрашивая, зорька ранняя
занялась.

К заутрене колоколом позовут
И в сад, откашливаясь, чернецы, как тени, выйдут.)

Сковорода

Если мы признаем бога,
так тотчас Дух увидим сверху, а не Материю?
Но нет: Материя как раз и есть та сила,
без которой Дух никак существовать не может.

В самом деле,
Чувства, Познание, Разум —
как же, откуда они возникнут,
если не будет тела?

Взять, скажем, такое вещество, казалось бы
бесплотное, как воздух,

и оно —

не тверже ль, не крепче ли,
чем камень и железо?

Будь иначе —

птицы в полете не могли б на воздух опираться.

О! Теперь я целиком тебя понимаю,

Генри Кавендиш:

открывши газ, что воздуха гораздо легче,

мы этот водород

машины мощные носить заставим над землею?

А что ж,

и поплывут в свое время, и поплывут!

...И, новою мыслью осиянный,
быстро Сковорода к столу присядет,
писать начнет он снова.

Но в этот миг

в саду орешник багрянцем вспыхнет как пламенем

и в келье неожиданно

огнистый знак окна на стенке отпечатается

и весело задрожит, заиграет,

как золотыми рыбками аквариум...

Сковорода, лучом позолоченный, воскликнет:

«Как! Уже?»

И вскинется от восклицания Иустин,

и, потянувшись, так зевнет он всласть — аж вззоет.

И, рот себе перекрестивши, без всякой цели

спросит:

«Пишешь?»

А Сковорода, свое преследуя,
с отчаяньем ответит:

«Да нет, ты подумай!

Такого ж не бывало, чтоб запоздал его когда-нибудь
я встретить!

А тут... случилось же —
взгляни в окно!»

Но Иустин

почмокает лишь ртом заросшим,
лениво спустит свои ноги с дивана
и так же вяло, безнадежно и тупо спросит:

«Встречать? А кого?»

Сковорода тут набросится на него, как на зверя:

«Как „кого“? Солнце!.. —

И вдруг,

высокий лоб схватив рукою,
самому себе же горько головою покачает: —

С кем разговор веду я?

зачем я так снижаюсь?

И в этот сонный монастырь зачем пришел?

От строжайших мер губернатора укрылся?

Да лучше весь век идти против стрел,

чем здесь, в елейной топи, день за днем

встречаться с мертвыми душою

и чувствовать, что с ними ты и сам

тонешь, тонешь...»

— «Ишь ты какой!» —

бросает ему с упреком Иустин,

яростно себе почесывая спину,

Сковорода

лишь поглядит на него, ненавистного,

и отвернется не спеша.

А после,

как будто вспомнит что-то,

быстро на столе рукописи свои накроет книгою тяжелой

и выбежит

стрелою в сад!

А там

птицы, утро возвестив,

клюют, клюют, не наклюются

и поют-распевают, снами делятся.

Солнце всюду, вдаль и вширь, как Архимедова
спираль,
расчертится,
горит, звенит, гудит
и светом землю наполняет
щедро-щедротно!
Сковорода протянет руки тут к светилу:
«О солнце, свет мой ясный,
полный ласки, любимый, прекрасный!
Не знать нам без тебя житья —
ни хлеба, ни воды, —
прими же слова привета от вечно юного
Сковороды!»

Вот тут-то Иустин
из кельи в клобуке и рясе
неторопливо выйдет,
четки перебирая на ходу,
с упреком на него посмотрит,
почмокает
и дубово выдавит сквозь зубы:

«Солнцу поклоняешься?
Пора бы и церковь как-нибудь проведать.
Ох, господи премилосердный,
и как еще таких ты терпишь?»
Но Сковорода
рукою только отмахнется
и еще сильнее запоет:
«О свет мой мелодичный,
славный, чудотворный, необычный!
Без тебя люди не жили б, не цвели сады, —
прими ж привет от Сковороды!»
И, трижды открестившись, Иустин,
будто бы от сумасшедшего, попятится в безмолвном
страхе.

А Сковорода
на землю упадет,
цветы целуя, травы глядя,
глаза росую, как бы слепые, протирая:
«Природа!
Как наполняешь ты всего меня кругом
щедро-щедротно!

Пролей душе моей силу,
и муст, и нектар, и любовь
и дай мне мудростью твоею преисполниться,
мята моя!»

И мята отзывно где-то вмиг запахнет —
и Сковороде

такой муст проникнет в сердце,
что он от радости и бегаёт и плачет,
приветствует кусты, деревья,
благодарит букашку, бабочку —
за всё, за всё!

Перышко птицы удода поднявши,
он в петлю сорочки себе его вденет
и нежно на него подует —
нарочно,

чтоб упало.

Но куда там!

Даже перевернувшись головою вниз,
висит себе на кончике и падать не хочет.

О натура!

Что может быть прекрасней
живой гармонии души!

В беспокойстве руки работы попросят —
и, под навесом в саду отыскав свой рубанок,
строгать начнет он доски (ясенем запахнет).

А запах ласкает душу,
и рубанок душу тешит —
сухопенистый шум.

Теснятся стружки в завитки —

душу тешит шум!

Бегут душистые кружки —

душу тешит шум!

«Гармония, ах гармония души!

Я для нее весь мир забыть спешу. . .

Я для нее. . .»

— «Да не смехи! —

тут за спиной раздастся чей-то голос,
надтреснутый,
простуженный,
густой. —

Не смехи, говорю:

кто сам в болото лезет, того ж и подтолкнут еще».

Слова ударят прямо в сердце,
вздрогнет Сковорода
и сердито перышко сдунет,
как будто оно лишь одно вызывало досаду.
Рубанок свой держа,
на голос обернется.
Перед ним — бесноватый,
чей взор всегда сверкает разумом.
А с пригорка ближнего сюда
идет солдат с ведерком, распевая,
и змеится за ним
по тропе
как живая веревка!

Сковорода

Что-то сказал ты?

Бесноватый

Хвиц-миц, из слов не выйдет ниц.

Сковорода

Ну, хорошо.

А всё ж мне любопытно про болото, —
ты повторить не смог бы?

Бесноватый

О боже мой! Доколе ж повторять-то?

Еще кому — тебе?

Тебе, что целый свет перевернуть сумел бы,
когда бы захотел?

Эх, и сказал бы я тебе...

(Пританцовывая.)

Ой, гуц-гуцы,
сорочечки куцы!
Дело мы знаем —
их дотачаем.

Сковорода

А это что уж означает?

Бесноватый

А то,

что ты у нас мудрый — по колена в Библии.

А надобно к твоей же философии
чего-то нового дотачать немножко.

Сковорода

А! Так ты и к философии причастен?
Любопытно, давай побеседуем — занятно.
Если ж моей коснемся,
здесь ты, верно, ошибаешься.
Ведь образы Библии
я беру себе как символы, не больше.
И, раскрывая их суть, я хочу одного:
чтобы люди
после всех блужданий самих себя poznали.

«Что? — усмехнулся Бесноватый. —
«Познай себя самого»?
Ох и напорол! . . . —
И тут же, схватившись за живот,
начнет дрожать от смеха, туда-сюда качаться. —
Слышите, горы, что он сказал?
Пусть нас тиран век терзает,
а мы —
«Познай себя самого».
Слышите, долины?
Пусть пухнет у помещика народ без хлеба,
а мы —
«Познай себя самого».
Сократ, мол, на завтрак,
Сократ на обед, да и на ужин —
куда как мудро!
Вот это напорол так напорол! . . .»
(Сам же, слезы смеха вытирая,
то раскроется,
то вновь закутается в лохмотья свои чудные,
а под ними — ярко, что иволга,
желтеет старье штанов военных,
обтянутых, в заплатках.)

Сковорода

Нахохотался всласть?
Ну вот и ладно.

Эх ты ж, младенец.

Однако, вижу, нисколько не разобрался в моей
ты философии.

Ведь «Познай себя самого» — это клич
всего нашего восемнадцатого века!

А направляешь ты ее в совсем иной, особый путь!

Бесноватый

Да в какой же особый, как только в тот,
которого давно б должны мы все —
ты понимаешь? —

все целиком держаться.

(Вслед за хмурым молчаньем
обросшую голову на шее, как жернов, повернувши,
в гудящую грудь бьет рукою
и сыплет пророчества,
к словам прерывистым своим
чужие, французские добавляя.)

Наш ход — как тигр — во весь разгон,

Земли-то тон — демократі.¹

Са ира! Са ира!²

А вы? Что вы? Кого вы лю...?

И землю длю... и люд давлю...

прокля... царя... тира...

(И вдруг засмеется.)

А Екатерина еще не сдохла?

«Ну, ну, ступай!» — подошедший к нему солдат
прикрикнет,

звонкое свое ведро спуская в колодец.

Ух! — испугается ведро

и, как бы за выступы хватаясь,

там,

в тишине глубокой, звучной,

то в один край глухо бухнет,

то в другой...

¹ Транскрипция французского слова *démocratie*, т. е. демократия. — *Ред.*

² Пойдет! Пойдет! (франц.) — *Ред.*

С о л д а т
(*вода веревкой ведро на глубине*)

Здравствуйте, Григорий Саввич!
Всё строгаете!
А у меня вот — видите? — какая служба:
два раза в день вожу его я на прогулку,
а после вновь на цепь сажаю.
Ну а что ж?
Пусть не плетет nepотpeбнoгo прoтив цapицы.
Вот вы сами скажите:
нeльзя ль нa свeтe тихo, мирнo житъ?
Так нет тебе...
Oх и люблю я ваши песни прo этo мирнoe житъe!
Приду eщe послушаю.
Вoдичкa, нaбирaйся, ну, скорей!

Б e с н o в a т ы й
(*к Сковороде*)

Так вот чем ты зачаровать сумел тюремщика?
Я и не знал.

(*Печально покачав головой.*)

В гармонии всё пребываешь?
Да расслабляешься молитвами к природе?
А я
все дни взамен молитвы проклятья шлю —
царям, тиранам и владыкам.
Хотя...

(*Он усмехнется горько.*)

Что могут поделать одни только слова проклятий?

(*И снова грозно прокричит.*)

Са ирá! Са ирá!

Сковорода,
левой рукой отбрасывая от рубанка жесткие стружки,
свои удивленные брови философа тут насторожит
и спросит, полный интереса:

«„Са ирá“ — то есть: „все вперед, исполнится,
к добру“,
и где же научился ты французскому?»

Бесноватый

В преследовании нужно ведать всякое,
и чтоб не спрашивать дорогу.

... Солдат, вытянув воды студеной,
ведерко на камень поставит
и, слегка наклонившись, станет пить.
А вода —
от неба синяя, тяжело расколыхавшись,
выплескивается мимо рта бисерными брызгами,
выплескивается на песок...

Бесноватый

(к Сковороде)

Воду философии разливаешь на песок сухой,
неплодоносный.
Время бы найти и добрый грунт — ты слышишь?

Солдат

(напившись)

Слышишь?

Идешь, скажи ты мне, иль нет?

Бесноватый

(с досадой)

Да иду! Лечу!

А всё ж... царей...

(К Сковороде.)

Сказать?

Я б первый их

заре-

заре-

Ух! зашевелиться народу только дайте...

Сковорода,
собравши меж бровей какой-то новой мысли глубину,
рубанок отложит,
долго смотрит вслед оборванному бесноватому

и вскинет руку свою так,
как будто вот-вот воротить его хочет...
А тот,
удаляясь,
то и дело обернется, поглядит
и, спотыкаясь, лишь плюется:
«Зашевелиться
только
дайте...»

1920, 1940

266. САБЛЯ КОТОВСКОГО

(Главы из поэмы)

Рабочие и крестьяне Украины под руководством партии, весь украинский народ с помощью русских рабочих, напрягли свои силы, освободился от польской оккупации. Особенно сокрушительный удар нанесла белополякам Первая конная армия во главе с красными полководцами К. Е. Ворошиловым и С. М. Буденным.

В поэме взят момент (осень 1920 года), когда кавбригада Котовского, брошенная против больших польских и петлюровских частей, пытавшихся захватить район Винницы, отразила наступление противника (у автора об этом во 2-й и 4-й главах). В то время в селах у нас идет укрепление органов Советской власти, тыла (у автора 1-я глава поэмы).

1. ГНЕВ НАШ РАЗВЕ НЕ ИЗ СТАЛНИ?

Действуют:

Кузь — коммунист, председатель сельсовета, учившийся еще до революции в Киеве; там же он работал на заводах.

Руденький — пасечник, заклятый враг Советской власти, член бандитского штаба в лесу.

Степан — середняк.

Председатель комбеда.

Тенча — бедняк, поляк.

В этой главе рассказывается, как Кузь со всем своим обозом возвращается из продпункта, где он сдал продналог. По дороге к нему на телегу подсел Руденький. Руденький, имея целью духовно разоружить Кузя, развивает теорию, по которой всякая вещь, а в том числе и продналог, будто бы существуют только в нашем представлении. А как только человек умирает, то умирает, дескать, вместе с ним и представление его, а значит, и вселенная, и все дела его, и продналог. Кузь прямо в глаза Руденькому смеется над такой его «философией». Слово за слово начинается между ними спор.

Кузь: «Ну и ловко ввернул: «Представленье»! Ишь как до дела — сейчас «представленье», сейчас

эта ширма!

Кто ж говорит: «Представление наше есть мерка»?

Руденький?

Пасечник? Тот, кто своим пчеловодством в уезде
известен?
Вот и работали б дальше — по совести, преданно,
честно,
честных честней! Но откуда же злоба, усталость,
неверье?

Вялость откуда взялась эта? Где вы скулить
научились?

В Киеве вы обучались? Как знать, до чего доучились?
Ваш идеал — это хутор, кулачество, церковь и гетман.
Вечно на что-то ворчите, Советскую власть критикуя.
Может, вас кто-то обидел? Иль вашу работу не ценят?
Глубже лежат этой гнилости корни. Молчите!

Я знаю —
страшно признаться? Из партии выгнали вас!

Признавайтесь!
Хватит вам, цыц, прекратите на партию ваши
поклепы!

Вы на себя оглянитесь!» — «А что там глядеть», —
воровато

хлопнул глазами Руденький. «А то, что всей
гнилости вашей
давние-давние корни вон где еще коренятся.

Помните вы? Не в четырнадцатом ли году это было?
Помните? В Киеве кто это был украинским эсдеком?
Кто приходил на завод, завод Греттера, часто

по делу. . .»
. . . Уши заткнул тут Руденький и так на возу
на трясучем
в страхе затрясся, как будто за локти подвешенный.

Охал.
«. . . По делу, — Кузь продолжал, — выборов
в Военно-промышленный комитет?»

Кони спускались с пригорка и вдруг во всю прыть
припустились.

Речка блеснула внизу, и плотина бежала навстречу.

«Тр-р! — натянул свои вожжи Степан. — Ишь
проклятая Душка!
Как угорелая с горки несется. . . смотри, брат. . . ударю!»

Кузь: «Вы тогда бешеную агитацию развивали среди фабрично-заводского пролетариата — а как же, оборонцы! И ваша организация была легальной, в то время как мы, большевики, пораженцы, вынуждены были каждый месяц новыми паспортами запасаться». — «Ну так что?» — уши ототкнув, нагло спросил Руденький.
Кузь: «Как „что“? А кто же это...»

...тень от коней, от телеги на землю откинулась
тускло:
где-то там солнце едва пробивалось сквозь сито.
С разбега
въехали вдруг на плотину — и загрохотали колеса.
Звонко кнутом тут по воздуху щелкнул Степан:
«Эй вы, птицы!
Ангелы! — и затянул широко, неожиданно вольно:

За Сибіром сонце сходить...
Хлопці, не зівайте:
ви на мене, Кармелюка,
всю надію майте!»¹

Кузь: «А кто же это выступал против единства украинских пролетариев с пролетариями великорусскими?» — «Мы против царя боролись», — буркнул Руденький. «О, конечно, против царя, — засмеялся Кузь. — Может, тем, что, будучи оборонцами, сами же отлынивали от мобилизации? По земским союзам самооборонялись? Нет! Вы против нас боролись. Ибо почему же тогда всем вам легально дышать давали, а нас, большевиков, в Енисейскую губернию ссылали?»

Так высоко взял, заливался Степан, что дубрава
стонала:

«Повернулся я з Сибіру,
та не маю долі.

¹ За Сибирью солнце всходит... Хлопцы, не зевайте: вы на меня, Кармелюка, всю надежду имейте! — *Ред.*

Хоч, здається, не в кайданах,
а все ж не на волі». ¹

«Дорогой Кузь Иванович, — сладеньким голоском протянул Руденький, — ну что вы вспоминаете? Во-первых, это было *когда-то* давно, а во-вторых... разве мы одни только?» — «Дорогой пасечник Руденький! — в тон ему Кузь ответил. — Вы хотите меня опутать? Не удастся! Всех, кто честно с нами идет, мы всех принимаем, помогаем перевоспитываться и не вспоминаем им старое, былое. А вот такие, как вы, — это совсем другое дело».

Так высоко заливался Степан, что березы дрожали:

«Куди піду, подивлюся —
скрізь багач панує,
у розкошах превеликих
і днює й ночує». ²

Кузь: «И как это хорошо, что вас (пальцем снял со своей кожанки комок грязи, которая как раз от колеса отлетела), что вас, говорю, от партии отколупнули!» — «Гм, — ехидно прищурил глаз Руденький. — Ну, ясно, что мы во многом с вами расходимся. Я этого и не скрываю. Например, вам сладко, что этот вот середняк во все горло поет, а фракция демократического централизма совершенно иначе об этом думает. То есть она не против, но всё же...» — «А! Так вы еще и сапроновец? — притворился Кузь, будто обрадовался. — Ну, так и приветствую, приветствую!»

Так высоко заливался Степан, даже листья
кружились:

«Убогому, нещасному —
тяжкая работа,
а ще гіршая неправда,
вічна скорбота!» ³

¹ Возвратился я из Сибири, да нет мне доли. Хоть, кажется, не в кандалах, а все ж не на воле. — *Ред.*

² Куда пойду, погляжу — везде богач владычит, в роскоши превеликой и днюет и ночует. — *Ред.*

³ Убогому, несчастному — тяжкая работа, а еще горшая неправда — вечная скорбь. — *Ред.*

Кузь: «Поет! И я понимаю! Лишь бы только *первое* руководство было в руках бедноты, в этом всё. Но я еще хочу немного назад вернуться. Вы вот сказали: не вспоминайте, мол, потому что это ведь было *когда-то*. Ну, хорошо! Ну, а позже, скажите мне, разве было с вами лучше?» — «А я не хочу об этом говорить!» — задрал нос Руденький.

Кузь: «Ну так вот, врете — но хоть немножко полегче!»

«Тр-р! — вожжи тугие Степан натянул. — Ну, полегче, полегче!

Зовут мене розбійником,
що людей вбиваю.
Я багатих убиваю,
бідних награждаю.¹

Кузь: «А ну, припомните, как вы, будучи уже независимыми, восстание против советской власти поднимали!

Куцо вы мыслили, в черных надеждах о синем
мечтали.

Что в вас сильнее: то ли синь, то ль куцынь —
я сказать затрудняюсь.

«...Синь иль куцынь!» — пролетела синичка; другая
с березы
желтой-прежелтой тихонечко: «Синь иль куцынь!» —
отозвалась.

«Синь иль куцынь!» — повторили синички, и дальше,
над яром,
дальше, над яром, а там еще в шелесте красном
другие.

Слышно: «Куцынь!» — потом желтой шелест березы
от ветра.

Ветер в осины ворвался: «Куцынь!» — и листва
разлетелась.

«Цынь!» — еле слышно сквозь трепет... А солнце
вот-вот да как выйдет!

Выйдет, померкнет — и снова...

Кузю никак не сиделось.

Он, отвернувшись, бровями обдумывал грозную
думу.

¹ Зовут меня разбойником, что людей убиваю. Я богатых убиваю, бедных награждаю. — *Ред.*

Мысли его напряженье в раздумье на миг
обратилось.
«Шума-то сколько! — подумал. — А будет больше!
Потеря
выцветший ватник Степана, а эта заплатка откуда?»
Кузь отмахнулся от мыслей нескладных и тут
осмотрелся.
Глина лысела вокруг да бурьян да чапыжник
склонялся.
Всюду лежали лужки, перелески, шумела дубрава.
Здесь она рядом стояла, певучая, словно бандура
(чаща — как дека, и в ней резонатор, а сосны —
как струны),
там, в отдаленье, сама откликалась на песню
Степана.
Кузю никак не сиделось. Он сбросил картуз
и сейчас же
снова надел. Расстегнул неизвестно зачем-то
кожанку,
вскинул глаза на дорогу, в простор, и тогда лишь
заметил:
слишком обоз далеко растянулся. Передней
подводой
он на вершину холма подымался, а самой последней
всё еще ехал в долине. И Кузь увидел: над конями,
вожжи свои натянув, подводчик по имени Тенча
весь перегнулся назад, а ему Председатель комбеда
что-то рукою высоко показывал в сторону яра.
«Слушайте, дядька! — встревожился Кузь. — Ну и
кто же так ездит?
Эх, и люблю я в карьер пролетать, как летает
Котовский,
мчатся стрелой, как Буденный или как сам
Ворошилов!»
Чмокнул Степан языком, замахнулся хлестнуть
по ногам ей!
«Н-но! Да понятно, что так не доедем, а что ж,
да понятно! —
И стал себе напевать, подергивая плечами: —

На баронов, на господ
Ворошилов нас ведет, гей!»

Ветер подул. И в березы ближайшие шумом ударил.
Листья понес золотые — к дороге и вкось
над возами.

Кузь пролетающий листочек поймал и
с наглядностью молвил:
«Мы утверждаем *материю* данным первичным,
затем уже
ставим вторичное: *мышление*, дух и сознание. А вы
как?»

Листья опять понеслись — золотые, густые — всё
выше.

Ветер ворону трепал в высоте, и она против воли
боком летела и каркала.

«Но! — стегнул кнутом Степан и, напевая дальше, всё
время будто поддразнивал плечами: —

Как Буденный появился,
пан от страха в бег пустился, гей!»

«Так: «Представление наше есть мерка». Нашелся
философ!

Это похоже на «Я ощущаю свои ощущения».

Как же, роса! Откровенье! Но это открытье побито.
Ленина книгу «Материализм и эмпириокритицизм» чи-
тали? Недавно вышла вторым изданием. (Откусил краешек
листочка.) Так вот. Там от Ленина здорово достается
лгунишке Маху, который, сам украв у епископа Беркли
вот это самое ваше «Я ощущаю свои ощущения»,
проповедовал, что без его собственного «я» и самого
мира не существует. Так, значит, и вы заодно с ним? За-
курлыкали, нечего сказать!»

— «Все-таки я им не сдамся! — тряхнул кулаками
Руденький. —

Что я им, право, насмешка?» — «Кому это «им»? —
удивился

Кузь и отплюнул листочек. Натужились кони и снова
вывезли их на пригорок. — Глуховка! — сразу
воскликнул

радостно Кузь, повернувшись к селу, что в долине
лежало. —

Вот и болото и мельницы! Вот и подводы, глядите,
в улицу весело въехали». — «Что это? Прямо
насмешка! —

крикнул Степан. — Будь ты проклято!» —

И, натянувши вожжи, коней задержал. «Что такое?» — спросил

Кузь. «Да упала постромка! — Степан пробурчал

Черт ее знает и как это вышло? Всё эта буланка!

(Хлопнул кнутом.) Про газеты едва услышала, поверьте, сердце ее не на месте. Теперь уж, пока не споткнется, будет водить она ухом! —

Степан подхватил кнутовищем снизу постромку (она же упала на дышло) и тихо нес, осторожно, но та, как змея, соскользнула —

и книзу. —

Стойте, я слезу, пожалуй! Ведь вот что ни день

возвращаюсь («Ногу!» — кричал на буланую.), вот, как из волости еду,

шляпу на голову ей надеваю всегда. Из бумаги.

Уши проткну сквозь газету, чтобы покренче держалась. Крепко привыкла! Куда там! Теперь не отучишь!»

— «Так вот где наши газеты!» — Кузь покачал головою и сразу прыгнул с подводы. Кожанку одернул свою

и на землю с болью ступил и, кривясь, захромал: отсидел одну ногу,

даже мурашки полезли... «Да ногу!» — кричал

на буланку с сердцем Степан, и другим уже голосом Кузь:

«Понятно, это, того... вы пройдитесь! Ведь тут завязать еще надо!

Стой ты, газета! У, черт!» — «А вы, дялька, — спросил у Степана

Кузь, — вы читать-то умеете? Нет? Так зачем эти шутки?

Что вы в газете смешного нашли? Темнота, что ли, тянет?

Часто к попу вы заходите? Что же, он вас против власти

крепко настроит!» — «Да где там! — Степан
огрызнулся. — Ходить я,
правда, хожу, только думаю все о *своем* я.
Ведь и правда — что мне в той его проповеди: хоть Абель
Кабеля убил, а хоть Кабель Абеля, то за всё, значит,
благодаренье богу? Дураков нет! В бога поверь — так
пан сам найдется».

— «Вот вам,
слышите? — Кузь обернулся. — Руденький! Когда-то
опора
ваша была еще в них, а теперь и они понимают:
власть их родная — советская власть». — «Ну чего
вы, ей-богу?

Я же сказал, что не сдамся! Не сдамся! Пойдите же!
Завтра, завтра вступлю в У КП». — И Руденький тут
начал тихонько
наземь слезать. И, рукой за мешок уцепившись,
ногами
встал на подножку и на землю сыргнуть хотел.

В этой позе
с ужасом замер на миг: голова его — вниз, а над нею
туловище (из пальто записная вдруг выпала
книжка).

«Ну же, скорей! Что вы тянете!» — Кузь закричал.
И от крика,
может, еще по какой-то причине, а только
Руденький
в воздухе вдруг пошатнулся всем телом и хлопнулся
тут же

на землю прямо. «Вот так вы в политике
шлепнулись!

Ловко!»

Кузь засмеялся, за ним и Степан: «Ну а что ж, ведь по-
нятно: был пан как яблочко, а в революцию как луко-
вница покотился». Затарахтела задняя подвода и, порав-
нявшись, остановилась. Две пары лошадей — буланые и
гнедые — с обеих сторон начали друг с другом заигры-
вать и легонько ржать. «А что там такое?» — крикнул
оттуда Председатель комбеда. Кузь: «Да вот в У КП
прыгнули да, бедные, ушиблись!» А Степан (будто са-
мому себе): «Как говорят, если б знал, где упал, то

соломки б подостлал. Ну как ехалось, Тенча?» — обратился он ко второму подводчику. Председатель комбеда слез с телеги и, широко ступая, в перешитой шинели, быстро подошел с винтовкой в руке — сам черный весь, круглобородый, да еще в шапке белой сибирской. «Куда, говорите, прыгнули? А! Это вы? Здравствуйте, Руденький!»

На ноги встал в это время Руденький и, пыль
отряхнувши,
мягко сказал как ни в чем не бывало: «Поляки
на Киев
снова идут. Очевидно, на срок перехода, вернее
срок отступленья Советов, всю власть отдадут-таки
нашим».

— «Вашим? Да, да (это Кузь), отдадут да и
всыплют, хотите?
Только с другого конца». (Засмеялся.) Руденький
(напыжась):

«Вот как дела принимать от вас буду, тогда
потолкуем!»
— «Что ж, потолкуем! Задаст вам Котовский,
да так, что надолго
вам не очухаться!»

Степан: «Не очухаться! Под самую, так сказать, под
нежненькую спинку дадут вам такого... Ого-го, — и на-
чал подергивать плечами: —

На баронов, на господ
Ворошилов нас ведет».

А его продолжил Тенча:

«Как Буденный появился,
пан от страху в бег пустился».

А всех их завершил Председатель комбеда:

«Как сюда шли паны,
понадевали жупаны,
а как бежали прочь паны,
поскидали и штаны».

И все трое расхохотались. Только Кузь, сложив руки на
груди, стоял и грозно смотрел на Руденького — дескать,
а что же их благородие будут дальше делать?

Хищно Руденький глаза тут прищурил:

«Пр-растите!»
Взял повернулся, пошел. Не вперед, не туда, куда
ехал.

Нет, он подался с дороги — левой, стороной,
через поле
к лесу. «Куда это?» — крикнул вослед Председатель
комбеда,
Молча рукой удержал его Кузь, посмотрел, головою
зло покачал, посмеясь, постоял, посмотрел да

и плюнул.
«Мещанин! Переутонченный интеллигент! Вот уж интеллигент несчастный!» — «Нет, меня интересует, — сказал Тенча по-польски, — со on u licha w lesie robi». ¹ — «А волчью натуру всегда в лес тянет», — из-под лошадей Степан отозвался. «Та-ак! — протянул задумчиво Кузь. — Ну, добре! — И вдруг встрепенулся: — Поехали?» Степан (вылезая из-под лошадей): «Да куда там ехать, товарищ Кузь! — И через минуту добавил: — Иванович! На небе вон, гляньте, что делается!» Кузь посмотрел на небо.

Тучи кругом облегли — и поле во мглу отступило.

Поле во мглу отступило: надвинулись темные тучи.
Кузь: «Ну, так заворачивайте, хлопцы, под дубы, и переждем ненастье!» Хотя среди «хлопцев» кое-кто уже был с сединой, однако на Кузя никто не обиделся. Весело бросились к лошадям.

Вверх подымались дубы — два дуба да два еще
рядом
верных дубка. Что ни дуб — в три обхвата, а может,
и больше.

Крепкие мшистые ветки в узлах суковатых покрыли
сверху поляну шатром; темно-бурые листья
держались,
прочно держались, привыкнув к злым на рассвете
морозам.

Вот уж стояли, так вправду стояли! И Кузь
обернулся
ясным лицом к тем дубам и в глубоком волнении
промолвил

¹ Что он, черт побери, делает в лесу (польск.). — *Ред.*

(хлопцы в то время с дороги подводы свои повернули),
молвил: «Дубы мои верные, мудрые в славе дубочки!
Вас на пути своей жизни встречаю (не раз я встречаю)
и удивляюсь я: в вас превеликая сила таится:
мужество, стойкость под ветром, отпор непогодам.
Молю вас:
дайте и мне этой силы великой! Пускай я могучим
стану, как вы, разрастусь во всю ширь и окрепну!
Голосом молвлю! Не так, как иссохшие те скудоумцы.
Молвлю устами! Не так, как вдали-хитроумцы иные.
Вас я беру словно образ великих людей, словно символ
Ленина мудрого!»

Кóней укрывши попонами, тесно
сбились гуртом под дубами. Дохнуло в вершинах,
и вот уж тучи кругом облегли, и поле во мглу отступило.
Смолкли печально синички, затихнул бурьян порыжелый.
Вздрогнули только березы. За ними и вербы качнулись.
Вынырнул ветер из леса и пыльной дорогой понесся,
словно тот конь, что в испуге бежит от пожара. Далеко!
Он забежал уж далеко, но кажется всё вороному:
вот великан догоняет, гривы огня распуская.
Так тот ветер безумный, предвестник и грома и ливня,
где-то в овраг забежал и упал, обессилев, на землю.
Следом за ним из дубравы ярко-багряные листья
кинулись, вихрем взыграли, кружась и мешаясь, как в танце.
Долго носилось круженье, оно с тишиною играло —
выше, всё выше, покуда не брызнули тяжкие капли
и шум приближаться не начал. Резнуло по тучам,
погасло.
Тут золотое мельканье пошло опускаться всё
ниже, —

вниз до земли оседало, кружась и мешаясь, как
в танце.
И, покрутясь напоследок, листья ложились
на землю,
каждый на месте своем, как будто на сон
вековечный.
Снова сверкнуло — грянул вверху, высоко где-то
хохот,
треснуло, вспыхнуло, стихло... Лишь шум всё шумел
полношумный,
шум, что его всё б и слушал. Стало свежо и так
ясно...
Брызгали струи, стекая с коры, а под дубом,
у корня,
в пену сбивались и лезли ручьем по земле, словно
черви,
черви слепые, что сами не знают, куда они лезут...
Тут вот канавка — свернут они вправо: а тут
бугорочек —
сделают лентой петлю и сейчас же уходят налево;
вьются и вдруг убегают в глубокую ямку, рокочит...
Степан с Тенчей под это пеннистое журчанье тихими-
тихими, как паутинка, голосами про себя запели:

«Долина, долинушка
да широкое раздольице!
Гей, гей, гей,
да широкое раздольице».

Брызгали струи, стекая с коры, а под дубом,
у корня,
в пену сбивались и лезли ручьем по земле, словно
черви...

«Что же ты, долинушка,
ничего не породила?
Гей, гей, гей,
ничего не породила?»

«Ну как так ничего не уродила? — переспрашивал себя мысленно Кузь. — Вот уже и продналог сдаем, напрягаем все силы, из разрухи выбираемся». А песня дальше, свое:

«Спородила долинушка
да грушицу кудрявую.
Кругом той ли грушицы

да всё месяц расхаживает.
Гей, гей, гей,
да всё звездочку расспрашивает:

„Скажи, скажи, звездочка,
да куда эта дороженька?“
— „До край синя моря идет!
Гей, гей, гей,
до край синя моря идет!“»

«Да, это правда! — продолжал свои мысли Кузь и глаза свои призакрыл так, что сквозь ресницы дрожащие танцевали перед ним все небесные потоки и, оплывая, стекали вниз, куда-то туда, в океан мира. — Это правда, — сквозь ресницы улыбался он, — эта дороженька наша ведет к морю-океану, в который вливаются реки всех земель, реки всех народов. Солнце социализма на них с высоты там сияет!»

Неожиданно раскрыл глаза Кузь и даже задрожал, очарованный:

Солнце пробилось! И вдруг радуга встала
над лесом!

Тихая, нежная радуга, в ней все цвета заиграли.

Каждый увидел ее из тех, кто сидел в дубраве,
каждый увязывал с мыслью своей это дивное диво.

Степан: «А вот и мой двор одним концом она достала!
В самом деле: ну что мне теперь еще нужно? Мне, середняку! Ведь по этой радуге я смогу дойти далеко-далеко, до самого Ленина!» — «А что ж, — кивнул головой Кузь, — если пойдешь вместе с беднотой, то дойдешь!»

Радуга ленинским сводом высоким и мудрым
стояла.

В ней все цвета красовались — в вершине
раскинулся красный,

снизу сплошной фиолетовый густо горел-поднимался.

Председатель комбеда: «А мне радуга эту мою дочку напомнила. Хорошая доченька. Докиечка! Ведь совсем еще недавно была она вот такая от земли, а теперь... Как эта радуга, цветет, растет всё вверх, выше! Со своими книжками у меня, ну, подумайте, всю хату заняла! Ведь Докиечка моя комсомолка.»

Радуга тихо стояла, а в ней все цвета красовались.

Выше, над ней, появилась вторая; была она тише, легче по краскам. Не так, как у первой: всё красное снизу

ровно взялось, наверху фиолетовый шел от вершины. «Тенчей прозывают меня, — отозвался второй подводчик, — а «Тенча» по-польски радугу означает. Ведь я и на самом деле радостный, радужный был, стройный да на песни цветастый. Да пришлось мне — и за ночь я, взгляните, поседел, калекой вот, инвалидом стал! (Остальные трое, что были под дубами, повернули свои головы к нему.) Так вот и приходят раз. Белополяки. С петлюровцами проклятыми. Весною. «А! Большевики? Не хочешь, чтоб Польша была от можа до можа? За хлопа стбишь? ¹ Признавайся!» А что ж мне говорить им, когда я и вправду большевик есть, незаможник, за бедных стбю? Били они меня, жену мою обесчестили! Били меня! Пытали! Руку крутили, пока не вывернули совсем. Ну, подождите ж теперь! Вы думаете, как одну руку скрутили, то уж я негоден другой бороться?»

— «Долго ли будем терпеть мы? — вырвалось криком у Кузя. — Пороху, пуль, что ли, мало? Иль силы людской недостача? Разве наш гнев не из стали? Сказано ведь было ясно: „Мы воюем не только с поляками, но со всей Антантой“».

Кузь: «Саблей прямо рубанем — Петлюру, Пилсудского, Врангеля! Саблею головы им отсечем! Саблею нашей карающей, великой-великой, через всё небо, как эта вот радуга!»

Радуга слушала это и всё разгоралась, манила.

Капли спадали с дубовой листвы — да на брови, за шею, и на коней, на их скудно попоной покрытые крупы ветер бросал их. И дрожь пробегала по конскому брюху...

Стало легко, как гроза отошла, — и сказать невозможно!

¹ А! Большевики! Не хочешь, чтобы Польша была от моря до моря? За крестьянина стоишь? (польск.). — Ред.

Сняли попоны с коней и опять на подводы садились. Сел Председатель комбеда к Кузю в телегу. У Кузя вырвалась песня раскрытием и утверждением гнева. Все подхватили, поехали звонко и гулко. За ними Тенча пустился: встал на телеге он, ноги расставив, сдерживал резвость коней, а сам выводил во всё горло то, что передние пели. Ой, вел он высоко, как будто голосом высь поднебесную вширь золотил и как будто там, на карнизах у радуг, ленил алебастром узоры.

ПЕСНЯ

А я шляхту перебью
на шляхах на львовских!
Как махнул же в том бою —
в жарком, августовском —
саблею да саблею,
саблею Котовский!

С песнею быстро летели, как будто хотели застигнуть радугу эту цветную при въезде в село и под нею с гордостью въехать — под нею и тою, другою, что выше.

ПЕСНЯ

Говорит Пилсудский: «Юж
естем круль кийовски!»¹
А его по шапке тут
полк Белоцерковский, —
саблею да саблею,
саблею Котовский!

С песнею быстро летели. Радуги будто ногами вдаль перед ними бежали — всё дальше бежали, всё дальше... Радуга в небе вторая недолго цвела-красовалась: блекнуть и чахнуть, сгорать и сама на глазах она стала — тихо, как сон, незаметно пропала. А та, что цветастей,

¹ Есть король киевский (польск.). — *Ред.*

всеми цветами взглянула, подумав, и всё написала
в небе, что думала, четко, в цвету, по порядку!

И скоро
стала тихонько сгорать и она, отцветая навеки.
След от нее лишь остался на небе высоком и свежем,
след, перегнутый дугою, как будто Котовского сабля.
Кузь: «А Котовский вошел уже в песни народа.

в легенды.
Эх и герой же!» С т е п а н: «И герой же!» — и вновь
подхватили.

П Е С Н Я

Эй, Пилсудский, не спасти
тебе матки-боски!¹
Не тебя ль перекрестил
да в «князь олуховский»
саблею да саблею,
саблею Котовский?

С песнею быстро летели; мельницы встали
навстречу,
легкие крылья свои (по четыре, по шесть) золотили
солнцем осенним да солнцем холодным, светлые
крылья —
досками латаны, ветром побиты. . .

П Е С Н Я

Топай, топай по домам
«от можа до можа»!²
Стукнет вас по черепам,
спутает прически
саблею да саблею,
саблею Котовский!

Почуяв жилище, .
кони заржали, высоким, как звон, металлическим
ржаньем,
эхо откликнулось им в освеженных просторах. . .
Далёко —
в просторах. . . Далёко — в просторах. . . Далёко. . .

¹ Божьей матери (польск.). — *Ред.*

² От моря до моря (польск.). — *Ред.*

2. КОМСОМОЛКА ПРИЕХАЛА

Соскочив с табуретки на пол, отец Христофор отошел с молотком в руке до самых дверей и оттуда еще раз, прищурившись, посмотрел:

«Вот! Вот теперь уж как раз. Хорошо. Вот теперь уже ровно»

Здесь, над окном, его всем будет видно. Присажие, скажем, если зайдут или кто из крестьян — так пожалуйста, Лении

и у меня в моем доме. Мы любим его, уважаем. Вот и портрет мы купили, и рамку уже смастерили, из кругляков из березовых сбили мы прочную рамку.

Пусть уж висит. Про себя же не раз посмеюсь: Украина —

это ведь самое главное. Я за свою Украину на преступление готов, на убийство. Ой, что говорю я? —

Поп Христофор повернулся. — Да нет же — он спит как убитый».

Носом сопел на лежанке Демид. Из-под серой дерюги ноги торчали. Внизу сапоги, разметав голенища, грустно смотрели на то, как желтели онучи,

на комья грязи, что за ночь засохла и прочь от сапог отлетела. Фронт перешли сапоги. Удалось в них Демиду

оттуда первый наказ от Петлюры сюда принести. И теперь он

там, у портрета, в одном кругляке в пробуравленной дырке ловко запрятан. «Да цыц ты! — он сам на себя же зацыкал. —

Как это можно, чтоб он проболтался. Ведь люди услышат, сразу дознаются, кто комсомолку... Да что в самом деле!

Вновь про убийство? А ну же, возьми-ка ты, пол, себя в руки,

больше нахрапа. Секлета, да где ты? Иди,
полюбуйся!
Матушка!» — стукнул опять молотком он
по запертой двери,
ахнул — и прочь отскочила щеколда, и дверь
отворилась.

В кухне не было никого. Только на лавке, на ворохе
капустных кочанов, листья которых, словно еще живые,
отходили и с еле слышным скрипом тихо шевелились,
сидела рыженькая белка и, быстро чмокая язычком, вы-
лущивала подсолнух.

«Значит, недавно была здесь, — подумал он вслух, —
и, как видно,
на огород возвратилась. Эй, что ты там делаешь,
Уэнэ?»

Белочка, в лапах подсолнух держа, словно книжку,
на голос
мордочку острую вдруг повернула. «А, может,
получше
что-нибудь ей предлагают?!» Нечесаный Поп,
усмехнувшись,
жалость отбросивши, резко ее молотком тут
погладил.

«А хитро придумал: «Уэнэ». Это ведь означает — Укра-
инская народная республика (только без последней
буквы «р»), — догадайся, х-ха!» Сорвал левой рукой ли-
сток со стенного календаря. «„Революции — локомотивы
истории“, — говорил Маркс», — прочитал на обороте.

«Вот! — смял в руке, но потом, спохватившись,
подумал: — Нет, спрячу
лучше в карман. Ну а может, когда-нибудь там
пригодится».

Только что он протянул свою правую руку, хотел он
в столник убрать молоток, когда вдруг во дворе
за окошком
сразу увидел такое, что кровь прилила и от злости
руки его задрожали. И так с молотком он из кухни
выбежал вон.

Во дворе через тропку, бурьян,
через астры,
дальше и дальше, плетень перепрыгнув, нахальный
до черта,

бегал, гонялся соседский петух по пятам
за поповским;
тот же, испуганный, хвост опустив, кудкудакал,
и раз от разу, его догоняя, долбил его клювом
злобный соседский петух, а поповский шатался
как пьяный.

«Ах ты проклятый!» Поп, крадучись и приседая, и сам
за ним в подрыснике — следом, следом! Улучив момент,
шарахнул молотком — и прямо в хвост соседскому уго-
дил.

Вскрикнул петух, и, от боли подпрыгнув, шатаясь
немного,
чуть пробежал, и крылом волоча, как-то дико,
нескладно
вдруг завертелся, и слепо в бурьян головою
уткнулся.

«Вечная память! — сказал отдышавшийся Поп. —
Вот и с ними
то же я сделаю. Ну-ка, Степан, может, скажешь —
неправда?»

— «Хм. Да чего же там неправда», — Степан
отвечал. На колене
он на одном возле тына стоял и, лозой заплетая
дырку старательно, всё это видел. А волосы ветер
тихо ему шевелил: его шапка облезлая рядом,
там, где топор, на отшибе, лежала (а изнанка
темная, с блеском от пота, смотрела на небо).

«Да что там! —
вновь отозвался, присел, поплевал на ладонь
и лозину
ловко загнул, ее кончик туда и сюда продевая. —
Что ж, и понятно, что вечная память, еще бы
понятно».

Громко одно говорилось, а в мыслях-то было
другое —
то, что он слышал от Кузя вчера о попах, об обмане:
Взял тут Степан и в плетень красно-сизую вставил
лозину
так, что она распрямилась, подобная нежной
прививке.

Руку Степан на нее положил, и лоза, перегнувшись,
чуть покачнулась, а он обернулся к попу и снискойно:

«Хорошо, батюшка, что вышли вы (кашлянул), а то я давно уже хотел (Поп вытаращил на него глаза: «ну?») ... да вот же, об этом (Поп подступил к нему: «ну-ну?») ... да о деньгах поговорить!» — «Что такое? И не стыдно тебе, а? — Поп еще ближе подступил к Степану, тот даже отшатнулся. — Это мне нравится! Нечего сказать!» — «А вы думаете, что мне нравится?» — переспросил Степан спокойно, но в этом спокойствии Поп уже почувствовал нарастающую угрозу. Однако, чтобы отвести недоброе, сделал вид, что он давно уже смотрит вон туда, мимо Степана, на тропинку, и деланным смехом звонко заржал: «А я думал что! А это ведь горлышко от бутылки и больше ничего» (и еще раз заржал). Степан оглянулся.

Верно, осколок бутылки сверкает на солнце
холодном,
солнце неверном, что светит и вдруг исчезает
за тучей.
Куручка, будто снестись ей хотелось, бочком
заглянула
в шапку. «Да, как же с деньгами?» — Степан свою
руку с лозины
снял, та, согнувшись, печально вверху закачалась.
Куручка прочь убежала, а Поп сделал вид, что
не слышит.

«Ф-фу! даже вспотел, бегая, — и, вынув платочек из кармана подрясника, несколько раз приложил его к своей шее (Степан заложил лозу за колышек влево). — Было бы что стоящее, а то петух несчастный!» (Степан залел теперь уже вправо; жестким пальцем кору шершавую с колышка счищал, чтобы не мешала.) «Нет, ты только подумай! — негодовал Поп. Расставив свои ноги в сапожищах, он широко раскинул полы подрясника и подтянул штаны: —

Только подумай! ведь вот у соседа, у ирода, черта, даже петух-то чертовский. Чертовский! — Степан
обернулся. —

Он еще смотрит, ах, господи боже! — и тут головою Поп покачал. — Там ведь всё и гнездо их такое.

Вот, право,
был бы я светским, я взял бы их всех да вот так их,
вот так их,

демонских! А наипаче бы дочь его». — «Батюшка,
это, —
молвил Степан тут, садясь, — та, что в Києве
учится? Слышал,
как же, Федора приехала». — «Ну их к диаволу-
черту! —

Поп как змея зашипел тут, на корточках сам
приседая, —
видишь, там что-то занять у меня ей хотелось.

Да только
дулю в ответ я ей дал». — «Не поповская это
работа», —

буркнул Степан. Поп в ответ помолчал, да и снова:
«Так что же,
значит, приехала? Только зачем же — спросить. Ты
не знаешь?

Хе, а мы знаем, ну, хочешь? — скажу. Только сам —
никому чтоб!

Слышал я, будто бы вечером нынче Федора
в комбеды
кровью записывать будет. Ведь сход объявили.

Пойдешь ты?
Надо б! Омельке скажи. Пусть придут миронисицы
тоже. —

Чуть помолчал, а потом: — Ну так что же, еще
повоюем?

Будем стоять за религию? Слушай, а вот
коммунисты. . .
(вдруг) и несет же их черт! видно, с голоду лезут
в деревню. —

Поп оглянулся, к Степану подлез, зашипел ему
в ухо: —

Церковь у нас украинская? Вот и хотят они церкви
позакрывать, вместо них же комбед — понимаешь? —
коммуну.

Всё это зло из Москвы. От рабочих вся эта зараза». «Пой, пой, чертов Поп, — подумал Степан, — может, кто сухарик подаст». И, помочив пучок лозы в корыте, что возле него на земле стояло, сказал: «Так-то оно так. А только: когда вы мне за работу заплатите, за прошлую?» — «Ладаном тебе заплачу или как? — огрызнулся на него Поп. — Мне самому теперь никто платить не

хочет. Чудак ты. Нам надо сначала коммунию побороть, а тогда уже и о деньгах говорить. Понял?»

— «Эх, и сказал бы я!» — в воздухе свистнул Степан тут лозою, целым пучком тут в сердцах он по тыну стегнул и отбросил, мелко рассыпал. «Чудак же ты, — Поп засмеялся, — рассыпать просто, а ты бы помог нам всё вместе собрать бы, как верно нас атаман собирает». «Так вот ты куда меня

ловишь? Стой же! — подумал Степан. — Атаман — это, значит, Петлюра?»

Тут он на чудище это взглянул, на Попа, и увидел кроличий, сине-коричневый цвет его глаз

из-под желтых выцветших век, кисти глинистых рук, что, упершись в колени, терли ладонью два рыжих, кустистых, свисающих уса,

нос теребили, потом опускались всё ниже, сминая бороду драную, схожую с войлоком (нижние зубы из-под оттянутой нижней губы будто в небо смеялись);

глянул на ноги его враскорячку и на голенища, глянул на бархат штанов — и тихо, уверенно, твердо молвил: «Петлюра — дура, а кто бедняков

защищает — Ленин, конечно!» — «Да что ты! — отдернув ладони от носа,

Поп удивленно воскликнул. — Где этому ты научился?

Может быть, скажешь, что Ленин отец твой родной и любимый?»

— «Да, и отец! — отрезал Степан. — А вы что — против него, выходит?» Поп, спохватившись, заблеял малиновым голоском: «Ну какой же ты, ей-богу! Разве ж я против Ленина? Он и у меня самого в хате над окном... — И вдруг, впадая в пророческий тон и потрясая руками перед собой (хотя и продолжал сидеть на корточках), Поп закрычал на Степана: — Да разве ж можно Ленина

не знать? Да ты понимаешь, кто такой Ленин? Ты слышал, что он сказал о революции?» Степан: «Ленин за бедных; одно я знаю: заплатите мне за работу!» Поп: «А ты потерпи немного, потерпи: в священном-то писании как сказано: претерпевый до конца спасется...» (И начал у себя на коленях пальцами марш выбивать.)

Вновь поплевав себе в руку, Степан за топор
ухватился
да и другой стороной, обухом тупорылым, с разгона
сверху пристукнул плетень — и как будто немного
осело;
стукнул еще и пригнулся, взглянул да и снова
ударил.

Тонко топор зазвенел, ударяясь, и сам он,
довольный,
крякнул. Вот так. А теперь и курнуть уже можно.

И вынул
трубку Степан, себе в рот ее сунул, а сам из кармана
вынул кисет. Размотал и причмокнул губами.

Не платят?
Что ж, погуляем. «А как там об этом в священном
писанье
пишется?»

Поп в это время встал на ноги и кверху
голову поднял. Над ним голуби в небе сверкали.
Белые голуби в небе кружились, как будто на туче
в небе цвела исполинская яблоня! Цвет облетевший
долго летал, осыпался и вдруг, на лету

развернувшись,
вниз упал кувырком на веселую хату соседа.

Поп: «Священное писание — это закон, данный самим
господом богом, и не нам его, грешным, изменять». (За-
барабанил пальцами в карманах.) — «Ну, так пускай сам
бог и работает! — накладывая трут на кремень, возму-
тился Степан. — А то что же выходит? Как говорят (при-
ловчившись, еще раз высек огонь): хоть Абель. Кабеля
убил, а хоть Кабель Абеля — за всё, дескать, благодар-
ение господу? А нет... (высек вторично) дураков нет, го-
ворю». (Высек еще раз — загорелось.) Поп помрачнел.

«Кузева это работа, — подумал, — вчера вот проехал
с Кузем Степан на продпункт — и вот уж его
не узнаешь».

Поп, повернувшись, к крыльцу зашагал. У крыльца
о железку
долго песок от подошв отчищал, хоть песку-то
примерно
горстка была. И всё думал он, думал: ну как бы
с дороги
Кузя убрать. Как бы Кузя убрать? Эх ты, господи
боже,
что ж тут думать: Демид для того и вернулся!
И в сердце
стало так сладко. За скобку он взялся — да тут-то
калитка...
звякнула вдруг — и к нему через двор напрямик,
через клумбы,
женка Руденького шла, Василина. В отставленной
левой
пухлой руке она трубку бумажную, ноты, держала
(в хоре церковном солисткой была), обещался
Руденький,
если случится в лесу что-нибудь неотложное, сразу
дать извещение. Так, значит, там что-то такое
случилось.
Стало тревожно, тем больше, что следом за нею
Федора,
дочь-то соседа (в платочке, но по-городскому одета),
с папкой решительно шла, и, как видно, она
торопилась,
только в обход, а не прямо, тропинкою, мимо
Степана.
Вот тебе раз! А зачем же Федора? Ужель
из-за петьки?
Видела, может быть? Скверно выходит.
Искал наудачу
пальцами пуговку, сверху подрясник застегивал
быстро,
спешно придумывал — что же он ей на вопросы
ответит,
сам же не знал, на какие. Вниманье его отвлекала
сучка Куфейка, что радостным визгом встречала
Федору.
Вот ведь проклятая! Целыми днями лежит
на соломе

в будке, а тут словно муха ее укусила.

«Куфейка» —
так он прозвал ее в день, когда гетман Павло
Скоропадский
должен был Киев оставить. Рушник Христофор
в это время
наспех погони свои посрывал и успел приютиться
в доме Демида, что жил на Соломенке. Только
ступил он
в дом этот, первое, что он увидел: Демид на диване,
взявши в два пальца свои за вершочек скуфейку,
с рычаньем
глупого ею щенка накрывал, и, неожиданно, с испуга
тот, очутившись в тюрьме — с головою,
с хвостом! — принимался
жалобно, глухо скулить, словно в темном подвале;
метался,
рвался скорей на свободу, пока со скуфейкою вместе
наземь волчком не катился. Демид же, к нему
подбегая,
ловко подхватывал с пола и снова щенка на диване
на ноги ставил — и всё начиналось сначала.

Без смеха
всё это делал он, только посматривая на Юстину,
матушку полную, что среди хаты стояла с кропилом
в правой руке и, всем хохоча животом, подгоняла
мокрым кропилом щенка. . .

Ох и помогли же тогда они ему — Рушнику Христофору, — а особенно Демид! В семинарии ведь учились вместе! «Знаю, знаю, что теперь творится, — отбрасывая от себя скуфейку, сказал Демид, — но нам, петлюровцам, надо продолжать свое». — «Да не вешать носа — это главное, — все еще не выпуская из своей руки кропила, подплыла к нему с животом Юстина. — Вот мы — да разве же мы на самом деле верим в бога? А вот пошли по религиозному делу, потому что и нам самим, и Украине гетманской. . .» — «А ведь она правду говорит, — подхватил Демид, — в рясе в наше время больше всего можно сделать. Сделаем попа и из тебя. Сучечку, которая так любит скуфейку, тебе в хозяйство отдам — да и начинай. Будем верить, что это поражение наше кратковременно. . .»

И за поражение это он проглотил бы, казалось, девчонку на месте

Куфейки, так отомстил бы! Она же ласкается, прыгает, лезет, словно к своей. Погоди ж, я тебя научу, поласкаюсь! «Благословите, батюшка!» — подойдя, сказала Василина. «Да иди ты, пошла к черту! — через ее голову крикнул на Куфейку разозлившийся Поп. — Вот уж привязывается, гадина! Ну, господь благословит, — и подал Василине ребром четыре пальца. —

Что, херувимскую мне принесли? (И потише.)

Прошу вас, вы говорите о нотах, чтоб эти (кивнул он направо, в сторону ту, где к Степану уже приближалась

Федора)... поосторожней прошу, ради бога! Так что ж

с херувимской?» — «Ох и трудна ж она! — в нос прогундосила тут

Василина — низкого роста была эта женщина, глазки смотрели плоско, а носик приплюснутый весь в рыжеватых веспушках. —

...Еот в этой альтовой партии сколько диезов.

Один лишь взять удалось, а другие на спевке еще хорошенько выучить надо. Тут нужен бы регент». — «Чудесно!

Пришлю я».

Поп повеселел. Да как же! Какой приятный язык! Диез, который удалось взять, — это обозначало убийство комсомолки. А регент нужен — Демида, значит, в лесу ждут с инструкциями от Петлюры. И Поп потирал от удовольствия руки: «Так я и думал, что спевка нужна, так я и знал».

«Вот не узнал же! — со смехом Федоре Степан. —

Подросла ты!

С воза вчера только глянул — подлец же я буду, — влюбился:

девушка прямо как груша, еще и кудрявою стала!

Хм, а была вот такой, прибежит иной раз

по соседству:

«Дядя, а вы мой жених?» — «Ну, понятно, жених!»

А теперь вот...»

Теперь Поп в свою очередь спросил: «Ну а тенор-то не сорвется?» Василина блаженно улыбнулась: она понимала — о сегодняшнем сходе отец Христофор ее спрашивал, вернее о том, будет ли кто сегодня из леса на этом сходе. И, собираясь ответить, она покосилась одним взглядом на Степана.

Тут, осторожно придвинув лозой, свою шапку надел он.

Сучка Куфейка, воды похлебав из корыта, к Федоре лапами лезла на грудь — всё лизнуть ей хотелось в губы! «Ну что? Почесать ли? Вот и ушко мы почешем».

— «Всё будет, батюшка, как полагается, вы только регента пришлите, а то им трудновато».

Поп от радости схватил Василинину руку и жал ее, и молча поздравлял, сжимая. А когда та нагнулась, чтобы поцеловать поповскую руку, тот даже размяк от удовольствия: «Зачем это? Ну не надо же, не целуйте».

С первых же дней, как пришла революция, вдруг перестали в руку попов целовать. И чтоб здесь в дураках не остаться, сам он здороваться за руку первым спешил.

Подавая пальцы, немного отдергивал: «Что вы, — пугаясь, — не надо, но ведь теперь революция?» — с хитростью спрашивал. Дальше

шло как по нотам, и если порой у кого-то срывалось: «Эх, революция!» — он, словно нехотя: «Да, это правда,

суетно очень. Что ж, комиссары, Чека... вот и бога стали уже забывать. Между прочим, вы будете в церкви завтра с семьей? Смотрите же, все непременно придите:

по-украински мы будем служить».

Так всё шло и сегодня. Только успела закончить секретную речь Василина, Поп ей: «Ну что вы! Да как же не знать?»

(И вздохнув с хитрецою, чтоб и другие услышали.) Да, тяжеленько, еще бы!

суетно очень, что ж делать? Когда-нибудь будет
лучше —

но ведь теперь революция?»

— «Здравствуйте! — подойдя, сказала Федора. — А если революция? Кому она мешает? Я к вам от комбеда».

8. А ОКСАНКА И ЯРИНКА ПОЛЮБИЛИ Котовского

Мать, подбросив соломы в печь, садится чистить картошку. В это время входит сын: «Мама! Вы опять? И когда вы перестанете, ей-богу!» (Недовольно пожал плечами.) А сестренки радостно: «А, Кузь пришел, а-ля-ля!» — «А, Кузь плисел, Кузь! Кузь!» (Захлопали в ладоши.)

Старшая — белая, носик курносый, бровей
и не видно,
глазки — совсем незабудки, нитка кораллов на шее.
Младшая — смуглая, тонкие рученьки, лобик
высокий,
строгая, видно по жилкам, как сердце трепещет
неровно.

Кузь: «Да в самом деле: слезы рекой! А почему — не понимаю. Тяжело? Так запишитесь в комбед, давно уж я вам советовал».

Мать поднялась тогда с пола,
хмуро надела платок, отвернулась от сына (тут
стали
вздрагивать плечи ее) и сморкалась в подол своей
юбки,
тихо, обиженно плача. И девочки сразу притихли.
«Что же я, нищая, что ли, — старая, слезы глотая,
сыну сказала, — чтоб стала просить: „Запишите“.
Буду голодной сидеть, а всё ж не пойду я
в комбеды!»

Кузь: «А это дело ваше, — как хотите, так и поступайте. Только тогда уж на меня...»

В чистой воде перемывши картошку, легко из-под
низу
в обе ладони брала. Держа в растопыренных
пальцах,
приподымала ее, чтоб водица стекала, и сразу

в чистый чугунок опускала, посыпавши крупную
солью.

После ведерко взяла, чугунок наполняя водою.

Кузь: «...только, говорю, на меня тогда не пеняйте, если беда какая придет. Вы слышите, мама?»

Ставила в печку картошку. Ловко широким
ухватом
снизу чугунок обхватила и глубже подвинула,
влево, —
вспыхнул соломы пучок, как из огненных проволок
скручен,
и затрещали дрова. «Да слышу, ведь я
не оглохла!»

— «С вами беда! — качая головой, сказал протяжно Кузь и немного отошел от порога. — Наша беда, мама, в чем? Да в том, что мы еще не можем старые свои привычки...»

Но не закончил: где-то в отдалении загремела глухая канонада.

«Гьём?» — удивилась меньшая сестричка. «А вот ты и врунья!» — старшая тут ей. «Ты выюнья сама, да ведь гьём же, послушай, слышишь?..» — и, пальчик свой кверху подняв, замерла в ожиданье.

«Гьём! — засмеялась сестра. — Говоришь, как беззубая баба».

Кузь же, снимавший картуз, чтоб повесить его на колочек, тоже застыл с картузом, словно здоровался с кем-то.

Кот, голоднющий, худющий, как тигр — полосатый, сонно мяукнул на печке и, мягко поднявшись на лапы, вздрогнул, косматый, как будто от холода, тут же верблюдом сгорбился кверху, дугой выгибаясь. «Ну что, уже можно?»

«Говорить, спрашиваю, можно уже?» — вешая картуз, нарушил тишину Кузь. «А вот и нет грома, Оксанка, ага? А ты что же это: гьём да гьём, — значит, вру-вру?»

— «Мама, чего она дразнится?» — в плач
протянула Оксанка.

Мать отозвалась: «Ох, эти мне дети, аж горько
на сердце!

Горюшко! Да перестаньте кричать, ну, сейчас же!
Яринка,

слышишь, что я сказала?»

— «А если она такая вредная!» — Яринка, огрызнувшись, на одной ноге повернулась.

М а т ь: «А сама-то зачем же
так на нас ты надулась? Мирно бы, мирно бы надо».

— «Пхи!» — вдруг накуксилась та. И, монистом
себя зануздавши,
резво, как конь, заплясала, запрыгала, шмыгая
носом.

Мать на нее оглянулась: «Не с горя ли, девка,
танцуешь?

Хватит, тебе говорят, уж и так мне досада! Вы
лучше б
спелую тыкву достали».

Ухват отодвинув, на лавке
стерла немного. Подумал тут Кузь: «Для меня,
чтобы сел я».

И отошел от скамьи. Мать подумала: «Сердится,
значит!» —

вслух же сказала — отрезала: «Что же, просить я
не стану
милости вашей».

Кузь: «К чему это — что комбед вам не по вкусу? Повторяете то, что поп болтал в церкви! Стыдились бы такое говорить. Тигрик и тот над вами смеется».

Тигрик, почуяв, что о нем идет речь, мяукнул еще раз, вытянув шею, чтоб прыгнуть вниз, но неожиданно откинулся назад, сел на хвост (блохи его допекали) и, подняв заднюю лапу над своей головой, как оглоблю над возом, начал вылизывать в самых чувствительных местах под шерсткой — и даже замурлыкал...

«Милости ихней просить? — с шелухой поднимая
корзину,
мать проворчала. — Ну как же! посмотрим, — поди,
не дождутся».

Вон, говорят, уж Петлюра опять... что там?

Слышишь, стреляют?»

Кузь (с сожалением качая головой): «Удивительно мне, мама, просто чудно, что вы такая как будто и рассудительная женщина, сын у вас ревкомом, а вы еще до сих пор за старые свои привычки цепляетесь... «Петлюра опять!» Хе! Да что Петлюра? Полетит он от нас так, что и не опомнится...» — «Мама! — подбежала тут Оксанка. — Яринка на Тигрика чихнула, а потом за лапку поздоровалась».

— «Ишь непоседа! Поди-ка сюда поскорее,
срамница!»

— «Пхи! Не хочу я! А вот не хочу...» — И Яринка
схватила

старую мамину кофту — на ней было Тигрик
пригрелся

(тот подскочил да и прыг на кровать) — и, стянув
эту

кофту, сунула быстро в ее рукава свои ножки
и важно

стала по хате ходить, подымать их высоко,
как цапля.

М а т ь: «О ты, господи боже! Ну что она там
вытворяет?

Что ты всё вертишься? В подпол бы лезла скорее.
Чего ж ты!..

Есть вы — так все, а как тыкву мне выкатить —
кланяться надо?» —

и бросилась веник из-под печки, обтрепанный веник, заложённый кочергами, вытаскивать. Яринка, оставив кофту, подбежала к Кузю, подлезла ему под руку и высунулась из-под нее головкой своей, — на черной кожанке Кузя как нарисованная из рамочки выглядывала: бленькая, носик курносенький, глаза — как забывудки...

«Ишь ты, нашла себе руку! Защитник какой
объявился!

Мать обижаешь? Ну, счастье твое, озорница,
а то бы

я показала тебе!..» Мать тут оставила веник, села на лавку, усталая, скорбная. Краем платочка слезы свои вытирая, жалобно так причитала:

«Господи боже, за что, за какие грехи я страдаю,
мучусь, караюсь так тяжело? Святые Антосий,
Федосий,

ты, Афанасий сидящий...»

Кузь: «Хм. А я до сих пор и не знал, что среди святых
есть сидящие, лежащие и подпрыгивающие. Эх, мама,
мама (вздыхнув тяжело), придется мне, пожалуй, к вам
совсем не ходить». А Оксанка тут как задрожит да как
закричит: «Не смей обижать мне мамку!»

К матери быстро она подбежала и в пояс вцепилась
ручками. Грустно головку свою положила

на колени,
строго оттуда смотрела. И на виске, наливаясь,
синяя жилочка билась... И мать, улыбнувшись
сквозь слезы,

низко склонилась над слабым ребенком и нежно
чуть отвернула косички ее, и на самом височке
жилку она целовала — смертельную, раннюю

жилку.

Но тут в печи зашипело, и мать вскочила. Оксанка ока-
залась ни в тех, ни в сих, осталась стоять одиноко — об-
целованная, и на височке мокро. А Кузь ей подмигнул:
«Споем?» — «Н-нет!» — недовольно качнула головкой Ок-
санка. «А может, все-таки споем?» — «Н-нет!» — повто-
рила она, но уже несколько мягче. Бочком-бочком подо-
шла тут Оксанка к Кузю да и сама под другую его руку
встала. И вышло теперь так: черненькая сестричка с од-
ной стороны, беленькая — с другой, а посредине брат.

Так и стояли. Сестрички, грозно взглянув друг на
друга,

в разные стороны вдруг отвернулись да как
засмеются!

Тихо руками толкнули друг друга. Ок с а н к а:

«Иди ты!

Ишь ты какая, всё только дразниться!» Я р и н к а:

«Да как же,

как я уйду? Вон и Кузь меня держит». Ок с а н к а

(надувши

губки): «Противная ты!» А Я р и н к а: «Нет, ты.

Я с тобою

и разговаривать больше не стану». — «Я тоже

не стану», —

топнула ножкою гневно Оксанка. «Не надо,
я тоже!» —

топнула тут и Яринка. И косо взглянула. Носами
стали сопеть они, будто бы ссору опять начиная,
сразу размякли потом, вдруг услышав протяжную
песню,

ту, что стал Кузь напевать им тихонько, и через
минуту
ссора забыта была и обиды забыты. А Кузь им...

Кузь, раскачиваясь с сестричками то в одну сторону, то
в другую, густым, словно шмель над цветами, голосом
запел:

Мей, шьобани, дила ой!

Мей, шьобани, мей!

А девочки нежными голосочками своими тоже за ним
повторяли, будто лесные колокольчики звонили:

Мей, шьобани, мей!

Кузь: Ту н'ай грижы ниж невой!

А потом снова все вместе:

Мей, шьобани, мей!

Мать: «Как ты хочешь, но не по душе мне
молдавская песня!»

— «А почему?» — «Так вот — не по душе, да и всё
тут». — «Ой, мама!

дяйя Котовский ведь пел эту песню! — сказала
Оксанка. —

Он говорил, что по-нашему так эта песня поется:

Гей, чабане молоденький,

Гей, чабане молоденький,

Ты без горя, без заботы,

Гей, чабане, гей!»

— «Не дяйя, а дядя, — поправила ее Яринка. — Баба
беззубая! А дядя Котовский еще раз приедет? Да? При-
едет к нам? — задрав головы к Кузю, допытывались се-
стрички. — И будет жить у нас, как и тогда?»

— «Ох же и сильный он, крепкий! — сказала

Яринка. — Он вышел
раз умываться на двор поутру. И стоял наш

теленочек
рядом с завалинкой. Взял его на ладони и поднял
до крыши,

поднял и снова поставил на землю. А тот только:
«ме!» — и умчался».

— «Эх, — загрустила Оксанка, — теленочка нету,
зачем же

надо его было резать?» — «А что ж бы вы ели? —
на это

мать отвечала тогда. — Может, есть приносил вам
Котовский?»

— «И приносил! — возмутился тут Кузь. — Вы же
знаете

сами, так для чего ж говорите?» Оксанка:

«А помните, дядя Котовский
есть нам давал». А Яринка: «На платяца он же

товару
всем нам привез и сказал, что от Ленина это

подарок.
Кузь, расскажи нам, а кто такой Ленин?» За нею

Оксанка:
«Кузь, а кто такой Ленин? А что — он к нам в гости

приедет?»

Кузь: «Ленин — это такой человек, что обо всех бедных
дни и ночи думает и заботится». Девочки: «И про нас
он думает?» Кузь: «Да, и про вас, ну а то как же?
(Матери.) Дети сами вот говорят, что Котовский помогал
нам, а вы что же это, нарочно? Только бы что-нибудь
против большевиков придумать?»

Мать ничего не сказала на это. Скрутивши солому,
бросила в печь, где уже потухать было стало.

Ухватом
там в глубине шевелила, покуда не вспыхнуло

снова
и светло-красным лицо озарилось. «А Ленин

может вернуть нам теленочка, а? Ведь такой он
был славный,

рыжий теленочек! ..» — так говорила Оксанка,
а Кузь ей:

«Ленин не только теленочка, двух он нам даст,
а в придачу

даст и бычка».

И замолкли сестрички, и к Кузю
прижались,

и принялись о живот его лбами тереться, и стали молча висками чесаться, как будто бычки молодые, те, у которых зудят-пррезаются, режутся рожки.

«Ах вы босоножки! — погладил их Кузь по головкам. — Давайте-ка лучше я расскажу вам о Котовском. Хотите?» — «Ой, хотим! Ну расскажи, Кузь, ну расскажи!» Кузь: «Ну так вот, как это всё было. Слушайте. Прилегла раз на нашу землю змея, да и говорит: «Давайте мне, говорит, все земли удобные, все земли плодородные, ржаные, пшеничные, тогда, может, еще я вас и не съем». А Ленин ей на это отвечает: «Земли плодородные? Так, может быть, тебе еще и речек захотелось? Горы и моря тебе отдать? А ты разве не знаешь, говорит, какой мой народ сильный? Вот мы тебе сейчас покажем, как за нас цепляться!.. А позовите мне Котовского!» И вот...»

...В это время вторично послышалась канонада. «И вот...» — еще раз, думая уже об ином, повторил Кузь. Девочки даже подпрыгнули от досады. «Ну, что же дальше, Кузь? Почему же ты молчишь? Говори: а что же дальше?» Но Кузь, тревожно прислушиваясь к канонаде, медленно снял свои руки с плеч сестричек и озабоченно стал ходить по хате.

А потом снял с гвоздя свой картуз и, позабыв надеть его, вышел...

4. ПОЕДИНОК КОТОВСКОГО С БЕЛОПОЛЯКОМ

Наскочили одни на других неожиданно. Днем. Там, где лес осенний, пожелтевший, прозрачный, порыжелый, оканчиваясь, как будто еще хотел себя продолжить кустарником, орешником, перелесками, — вдруг заголубело что-то. Кондрат: «Польские уланы? Цыц!.. Ого, да у них сабель шестьдесят будет, а нас всего ведь сорок». Оксен: «Принимать бой или нет?» Но тут вдруг, выхватив саблю, Котовский: «За мною!» А голубые уланы тоже с криком ринулись на котовцев. И впереди них летел долговязый всадник. Ох и столкнулись же! Аж сверкнуло во все стороны.

Не было в этом бою пулеметов, гранат и орудий —
чисто работали! Саблей всё только как хряснет,
как хрустнет,
саблею только по черепу чиркнет — и тупо
отдастся;
звякнет, у шеи скользнув, резанет — и навеки
отхватит
голову ту белопольскую, что и слетевши
с открытым
ртом (словно крикнуть пытаюсь) на землю
катилась,
низом скакала, еще и еще... наконец, докатившись,
шеею кверху, подрезанной тыквой, качнувшись,
вставала;
кровь только с шеи густая спешила ей в рот
незакрытый,
в ноздри, в глаза... А улан безголовый, похожий
на куклу,
вяло вдруг выронив саблю, всё ниже клонился
и ниже...

Конь его ржал и носился, а кукла валилась на землю.
Да нет! не только саблей тут врага донимали. Вон
сколько польских улан повернуло назад, убегая. Цок!
цок! цок! — взяв на темляк вынутую саблю, из нагана
выстрелил вдогонку по ним кучерявый Оксен. А за ним
и Лукьян длинноносый — цок! И уланы, в разные сто-
роны падая, тщетно искали опоры в воздухе. А кони
их — туда, вдаль, за перелески, перепуганным топотом
топотали. И там, на свои седла удивленно оглядываясь,
дико храпели, срывались в синие дали.

Слушали чутко далекие дали: а что там такое?

Что там, на той на полянке у леса, где звона
от сабель,
крика, хрипенья, стенания столько, что всё это
вместе
звуками кверху торчало под мягким, под облачным
небом,
словно соломенный сноп под щекою ребенка.

От тучи
хмурились дальние дали и вдруг прояснились.

То солнце
им из-за тучи весть подавало: отступят котовцы —

больше светило светить уж не хочет и в тучах
оконца
сплошь занавесками вдруг закрывает. А только
котовцы
выйдут вперед, как светило, раздвинув все
занавески,
прямо к окошку приплюснутым носом притиснется
плотно,
брызнет ликующим смехом-лучом и Котовского
шею,
плечи могучие сверху осветит, на саблях секучих,
сабельках острых, что всё себе чешут, солнце
заблещет,
солнце блеснет в них, по всем проблестит, да как
вдруг заблится,
на острие на холодное вскочит, и с ним заодно
во мгновение
в сердце врага оно резко вонзится!

А силы шляхетской
было побольше. Какой только силы? Не всяк из
улан
знал, за что бился. А наши котовцы, те твердо
знали, что бились они за советскую землю,

за землю,
где уж не видно панов и вовеки не будет. Уланы
саблюю места искали, куда бы кольнуть,
и словами,
руганью, криком кололи: «На пана идешь? ах ты
быдло!»

— «Н-на! — тут котовец ему. — Коли пан —
получай же за „быдло“!»
Мигом тут пан голубой на коне без руки
оставался.

Сбоку другой наседавал на котовца: «Бунтоваць?
Босота!»

— «Н-на! — тут котовец ему. — Коль ты пан —
получай за „босоту“!»
Мигом тут пан голубой стал пониже чуть-чуть,
безголовым.

«Господи боже, прими мою душу! — кричал,
растерявшись,
третий улан, когда саблю боец из руки его выбил. —

Матка боска, я гибну за Польшу от можа
до можа!»¹
— «Вот и дурак, что «от можа до можа», — кольнул
тут котовец
саблей врага. — Ну и жди... matka боска —
а как же! —
поможет! — Да и пырнул его так, что и сабли
не вынуть
обратно. — Душу ты к господу просишь отправить?
Изволь! Это можно!»
Ой и сражались на той на полянке у леса! Над
лесом
хриплые вороны с криком кружились. В лесу же
прозрачном
гулокое ухало эхо в деревьях; и дятлы сильнее
начали тукать; а белки хвостатые с ели высокой
на землю шишки бросали, следили ореховым
глазом;
что там за шум? и нельзя ли немного потише?
А ветер
снизу: «Нельзя!» — им ответил и так закачал
ту осину,
дуб и березу, что листья, как рваные перья,
кружились,
в страхе летели, всё ниже летели, на голую землю
падали с шумом! Но белки теперь сквозь кружение
листьев
видели всё: вдалеке на поляне как крикнет
Котовский:
«Смело за мною! Орлы! За Советы! Вперед
за свободу!»
Кинулись снова бойцы и чесали направо, налево.
Сам же Котовский как вихрь на коне
на серебряногривом
саблею — раз! — и уж враг словно спекся; и саблею
снова!
В страхе летели паны, отлетали на голую землю,
падали с шумом... И враг уж совсем поредел,
отступая.

¹ Матерь божья, я гибну за Польшу от моря до моря!
(польск.) — *Ред.*

Только вон тех бы еще одолеть, что пока
не сдаются.
Только вон тех бы еще опрокинуть, что в лес
отступили.
Кинулись в лес, налетели да врезались, в кашу
смешались! ..
Не было в этом бою пулеметов, гранат и орудий.
Чисто работали. Саблей всё только как хряснет,
как хрустнет,
саблею только по черепу чиркнет — и тупо отдастся.
«Дастся теперь вам от нас по заслугам!» — кричали
котовцы,
с хрустом рубая. И кости хрустели. Уланы ж
просились:
«Досць! Достатэчне! ¹ Сдаюся!» — «Сдаешься?» —
Оксен засмеялся.
Вдруг он увидел: Кондрат отбивался вдали
за дубами.
«Хлопцы! туда! — и, крича во всё горло: —
Кондрат, отбивайся!
Ну же, скорее!» — он врезался в самую гущу
как пуля. . .
Хлопцы же саблями тоже вперед себе путь
пробивали:
«Дастся теперь вам от нас по заслугам!» — и, в лес
загоняя,
саблей врага они секли, рубили, кололи, крошили. . .
«О! . . вот теперь уже добре как будто!» — тяжело дыша,
котовцы один на другого с гордостью поглядывали.
Лукьян: «А что, разве нет?» Оксен: «Да добре же,
говорю я, добре, да вот. . . Кондрата нигде не видно».
Лукьян: «Кондрата? Может, он за врагами погнался».
Оксен: «Да нет, вот и конь его за дубами бегаёт.
Что ж это такое? Куда это Кондрат запропастился? —
И вдруг крикнул на весь лес: — Кондра-ат! Слышишь?
Эгей! . .» И в минутной тишине, что наступила, откуда-то
издалека в ответ послышалось: «Ге-е-ей!» Оксен (ра-
достно): «Слышали?» Не щ а д н ы й: «Да что вы за него
беспокоитесь? Маленький он, что ли? Отыщется!» —
«И то правда», — сказал Мар ты н, утирая пот со лба

¹ Хватит! Достаточно! (польск.) — *Ред.*

правой рукой, в которой сабля невытертая медленно от крови густо темнела. И все они в отставленной руке далеконько от себя сабли свои держали (это чтоб коней не измазать), и густо-черное с их сабель стекало на землю, на желтую листву опавшую, по капле капало с острия...

Кони ж бойцов нипочем не стояли спокойно
на месте.

Будто играя, они подавались то вправо, то влево.

Кони с налитыми страхом глазами тревожно
косились:

нет ли еще где врага? или всех порубали? И, часто
ноздри свои раздувая, тяжело боками носили,
глухо храпели и ржали, о землю стучали копытом.

И каждый из котовцев коню своему: «Ну что, брат, умо-
рился?» Или же: «Эге! да я вижу, тебе еще мало! —
И сами себе отвечали: — Чего ж там мало — хватит!»
И каждый, поймав ветку над собою, обрывал сжатой
горстью листья ее, осенние, холодные. И с облегчением
сабли свои теми листьями обтирали. Да всё на кучу тру-
пов то один, то другой поглядывали, на землю, вокруг
притихшую, неподвижно заголубевшую. «Вот здорово-то,
сердце радуется... Да где же Котовский?»

Глянул Оксен, посмотрел и Лукьян, а Котовский
уж вон где:

конь его Орлик летит на того долговязого.

«Биться? —
пискнул тот всадник, панок долговязый. —

Пшепрáшам!¹ Но только
с равными биться могу я, — с тобою же, пхе!

с голодранцем,
и говорить не пристало мне. Я во дворце ведь
родился.

Сам я из гетманов родом». — «Ого! — засмеялся
Котовский, —
видно, до черта ты гордый. Твою эту гордость
пустую

я ж и собою с тебя. Ну, приготовься!»

Оксен кучерявый,

¹ Прошу прощения (польск.). — *Ред.*

следом Лукьян длинноносый, Нещадный, за ними
быстро как вихрь подлетели и снова схватились
за сабли.
Только Котовский: «Не надо! — строго на них
тут прикрикнул,
крикнул и, молча всех саблюю прочь от себя
отстраняя,
всаднику молвил седому: — Биться не хочется?
Может,
страшно вам, а? Да не бойтесь, ей-богу. Вот так вот
примерно
саблюю наставьте и... Черт побери! Уж пора,
начинайте!»

Но долговязый, заметив, что к Котовскому один за другим подъезжают бойцы его, а также вдруг почуяв тишину в лесу за спиной своей, догадался уж (а оглянуться было страшно), понял: видно, из всех улан он один-одинешенек остался! И со страху в цокот смертельный пошли танцевать зубы его. И сам побледнел весь, затрясся... И, не помня себя, он, высоченную ноту хватив, завизжал на Котовского:

«Стой ты мне тут, и ни с места! Не то я сейчас же... ты слышишь?»

— «Ну, я же стою, — спокойно ему Котовский, да еще и рукой, той, что с саблюю, в бок уперся. — Я стою, но позвольте узнать: отчего это ваша милость так ловко дробь на зубах вытанцовывает? Или, может, как раз вместо пулемета вас в Польше наняли?»

— «Что? — провизжал тут наш франт. — Ты меня оскорблять? Не позво́ляю! ¹

Смеешь ли ты надо мною смеяться? Я шляхтич!
А ты кто?

Хлеба, скота у меня, всех владений!.. Аж золото каплет!..»

— «Простите, ваше сиятельство, — смиренно сказал Котовский, — но мне кажется, что у вас вон из носа каплет немного, а? Ну да, не мешало бы вам сначала утереться, а тогда уж и говорить со мной. (И вдруг, меняя смиренный тон на гневный, властный.) Хлеба и скота, гово-

¹ Не позволяю! (польск.) — *Ред.*

ришь? Так чего ж вы тогда на наш хлеб заритесь, на наш скот? Эх вы... шляхта недорезанная!»

— «А! так ты вот как? — тут взвизгнул улан. —

Приготовься ж!» — и саблю поднял он кверху, застыл на минуту и часто нервно шеей подергивать стал, как из петли тугой вылезая. Злая напала икота; глотнет он слюну да и каркнет; сдержит себя, что как будто бы всё и прошло, да

и снова каркнет; уж Орлик, Котовского конь, да и тот засмеялся:

«Что это вправду, — заржал он, — противник мякины объелся?» —

стукнул копытом и ямку такую глубокую выбил, темную ямку, что набок с Котовским и сам

наклонился.

«Ну, ты! не балуй!» — ласково сказал Котовский коню. И, откинув свой корпус назад и натянув поводья, он ослабленными шенкелями осадил Орлика назад. И вновь долговязому спокойным, словно бы сочувствующим голосом: «Э-э! плохо ваше дело, я вижу. Почему плохо? Да ведь у вашей светлости еще и до сих пор, видно, судороги не проходят. Хм! Хорошо же я, значит, тебя, пан Пшесмыцкий, за горло когда-то подержал». — «Как! Котовский?» — ужаснулся Пшесмыцкий. «Да! он самый и есть, — отвечал Котовский, — а что, не узнал? Самый что ни на есть Котовский, тот, который у бессарабского помещика (помнишь, как я служил у твоего пана садовником еще до революции, а ты был правой рукой проклятого пана?); за то, что я заступился за бедных, ты хотел меня...» Пшесмыцкий (задыхаясь от злости): «Да, я хотел тебя убить и, дав объявление повсюду Котовского искать, оценил твою голову в десять тысяч. Так вот когда я ее наконец получил». Котовский: «Так вот когда и я твою голову получил — голову, что и копейки не стоит, но мне сейчас для расплаты надобна». — «Нет, еще не получил, — рванув за повод коня, простучал зубами долговязый. — «Для расплаты!» Хлоп ты неукойоны!»¹ И конь его, гарцуя, повернулся почему-то левым боком; повернул своего Орлика и Котов-

¹ Упрямый (польск.). — *Ред.*

ский, и стали они, как при разъезде: этот хвостом сюда, а тот хвостом туда. Пшесмыцкий: «Со мной биться — это тебе не песенку про хоца Кодряну петь». Котовский: «А ты только одного Кодряну и знаешь? А я еще и про хоца Воину с другом детства своего пел, с Кондратом. (Не поворачивая головы.) Кондрат, ты слышишь?» (Хлопцы переглянулись виновато, только теперь почувствовали: с Кондратом страшное что-то, и сразу же тихонько трое направились к лесу.) Котовский: «А Воину — это всё равно что украинский Кармелюк, он и своего молдавского пана хорошо бил, да лупил же и вашего! Понял? Где тебе, мрази такой, понять: ты ведь бессарабскому помещику Пуришкевичу всё время сапоги лизал».

— «Ах ты нещёнсны!»¹ — панок завизжал. И коня
вдруг налево
поводом он повернуться заставил, а сам изогнулся —
словно цепные собаки глаза — и зубами аж
лязгнул;
шеей всё дергал, как будто из петли тугой вылезая.
Саблею ж, словно как веничком где-то сметал
паутину,
лихо помахивал. «Вот! — верещал он. — А ну,
подступись-ка!»
— «Ах ты гадюка!» — Котовский вскричал. И коня
тут налево
внутренним шенкелем вдруг подтолкнул он, а сам
наклонился;
очи, как будто прожекторы, что на мгновенье
погасли,
вдруг раскрываются, в гневе сверкая, всего тебя
снижут,
мигом понижут, просветят, прорежут, до мозга
проколют.
Саблей блеснул он и прыснул презреньем: «Ну что,
испугался?»
— «Пан Пшесмыцкий, не сдавайтесь!» — захрипел, по
земле катаясь, недобитый улан. Котовцы кинулись было
туда, чтоб его. . . «Не надо! — остановил их Котовский. —
Разве не видите? И так уж сам он доходит». А рука ула-

¹ «Ах ты несчастный!» (польск.). — *Ред.*

на словно еще хотела что-то сказать: из-за трупа коня своего попробовала приветно пану своему помахать, да и сразу же упала, тяжелая, ненужная.

«Испугался? — панок подтянулся. — Чтоб я,
пан Пшесмыцкий,
хлопа боялся? — и он закричал петушонком. —
Ого! — кукарекнул,
зоб раздувая. — Пшепрáшам! ¹» — со зла
трепыхнулся,
плюнул, да сам себе только грудь оплевал.

Утереться ж —
заняты руки. «А разве не помнишь, — продолжал
Пшесмыцкий, —
как я ударил тебя, когда ты заступился за челядь?»
— «Что же! Я помню! — Котовский ему. — Это всё,
что ты вспомнил?

А ночью! В саду! Ты забыл, как тебя я поймал,
да вот эти
сдернул с тебя, да и всыпал горячих по голому?

Бил я
крышкой от ящика — в ней еще были гвоздики
да гвоздочки.
Ух и вертелся же ты у меня! и крутился ж!

А вскорее:
„Эй! — запищал. — Я не буду! Вовеки уж больше
не буду!“»

Словно буря сорвалась за спиною Котовского, даже над лесом воронье поднялось! Но Котовский не оглянулся, бровью не повел. Он знал: это его хлопцы, гордые за него перед врагом, вдруг хохотом разразились неистовым, а, посмеявшись немного, притихли. А солнце из-под облачных занавесок тоже, приплюснувшись носом к окошку, с любопытством поглядывало: а что-то еще будет?

«Будет такое, — тут снова Котовский, — что я тебя
кокну —
и разойдемся! А ну! Начинаем!» Пшесмыцкий:
«Убить ты
хочешь меня?» А Котовский: «Да ты не хитри!
Убивать я

¹ Извините (польск.). — *Ред.*

не убивал никого и нигде, а сражаться, бороться
всюду готов я. А в равном бою дело ясно
покажет —
кто упадет и не встанет, а кто победителем будет».
— «Что говорить с ним! — Оксен не стерпел
кучерявый. — Папаша,
дайте мне в руки его — я ремней из него понарежу,
теми ремнями коням я хвосты подвяжу, чтобы
легче
в бой против шляхты летелось!» И кони, оскаливши
зубы,
«начали все тут смеяться, а хлопцы — себе, да
и солнце
прыснуло сверху. Котовский: «А ну! дисциплина!
Забыли?»

Все сразу притихли. А Котовский (не спуская глаз с
Пшесмыцкого, говорит тому, кто у него за спиной): «Те-
бя я, Оксен, не раз уже одергивал, а ты всё еще свое?
Что мы, людоеды какие, что будем ремни спускать? Сты-
дился бы так говорить! Я понижаю тебя по службе —
Кондрат пускай заменит». (Хлопцы снова молча пере-
глянулись, и двое из них, тихо отделившись, помчались
к лесу.) Котовский: «С пленными мы обращаемся
по-человечески. Так и замечь себе! И ты, Пшесмыцкий,
тоже. Коли хочешь живым остаться — кидай честно саб-
лю, да и всё. Ну?» Но тут Пшесмыцкий неожиданно за-
махнулся... Звяк! — отбил его саблю Котовский. «А! так
ты вот как, обманом хочешь взять? Нет, обманом ничего
не выйдет».

— «Выйдет иль нет, — зашипел тут Пшесмыцкий, —
мы скоро увидим.
Будем мы биться, а нас окружают в это время
жолнеры.
Вон уж бегут они, глянь-ка правее!» На это
Котовский:
«Сам ты туда и смотри, а меня не надуешь:
обманом
тут не возьмешь!» Кучерявый Оксен повернулся
направо,
быстро отъехал и стал на дозоре; Лукьян же
налево.

Новое что-то придумал тогда долговязый.

Замолк он,
только помахивал саблей. Тогда замолчал
и Котовский,
стал как струна напряженный. Тихо! Лишь дятлы
из леса
тукали четко. Да солнце, как люстра, висящая
в небе,
словно подвесками искрилось, ясным играя
кристаллом...

Кони сшибались с разбега, храпя, на дыбы
подымались.
Звяк! — и скрестились сабли. Пшесмыцкий:
«Ты думал, боюсь я?
Стоит лишь мне только свистнуть — и враз из-за
леса Петлюра
выйдет». Котовский: «Петлюра твой храбрый
как заяц. Лупил я
крепко его, то уж видел... Ну, свистни ж!..» —
И, саблю отбивши,
рукою
с саблею двигать он стал, будто в воздухе доску
пилил он.

Словно люстра многоголосая стеклянная — брызнуло
что-то на разные голоса за спиной Котовского и тут же
подвесками кристаллическими нестройно раскатилось.
Но Котовский даже бровью не повел. Он знал: это его
хлопцы, меткий укол сабли его оценив, так весело брыз-
нули смехом раскатистым, а раскатившись, немного при-
тихли.

Кони сшибались с разбега, храпя, на дыбы
подымались.
«Хочешь, — похвастал Пшесмыцкий, — я крикну —
появится Врангель?»
— «Врангель, — ему тут Котовский, — свое
получил: Ворошилов,
Фрунзе, Буденный такую ему дали трепку, что
долго
будет он помнить, проклятый!» — И звяк его снова
по сабле,

звяк еще раз, чтобы зря он не хвастал, у нас чтоб
не шастал!

«Ну, так Антанту тогда позову я, — воскликнул
Пшесмыцкий, —
все буржуазные страны, и всех королей

да банкиров,
римского папу, бога против тебя я настрою!»

— «В бога, — ему тут Котовский, — совсем мы не
верим. А папы

с мамою вместе, с Антантой — тоже ничуть
не боимся.

Что ты пищишь тут, ну что ты воюешь? Червяк
ненасытный!

Жоржик несчастный! Ведь вы украинцев века
угнетали!

Вы белорусов живыми в землю, в могилу бросали!
Пададь проклятая! Вы, как Петлюра, евреев

громили!

Будете ж знать вы от нас и от вашего скоро народа!
В Польше растет большевистская партия. Скоро ты
будешь,

пан, вылетать из дворцов!» — Да и звяк его снова
по сабле!

«Будешь лететь, да еще как!» — не утерпел за спиною
Котовского Нещадный.

Кони слетались в упор и, храпя, на дыбы
подымались,

в воздухе словно боролись ногами друг с другом.
Застыли

хлопцы Котовского, зорко следили. «Ага!» —
только крикнет

радостно кто-нибудь или же: «Так его, так!»
Долговязый

лез наугад, как слепой, а Котовский берег
напоследок

меткий удар свой, и только наскоки врага отбивал
он...

Вот так, сражаясь на вздыбленных конях, незаметно
отошли они к тронутому морозом клену среди поляны.
Ветер дунул — листва с клена желтая, желтовато-золотая
полетела! Попав затем в ветровые потоки, она беззаботной
стайкой сначала покружила, повертелась над

единоборцами в высоте, а потом, ниже спустившись, посыпала им головы, плечи, за гривы коней позацепилась. А та листва, которая в сторону поотлетела, будто и кружиться разучилась: над самой землей, где ветра нет, густослитыми слитками золота падала...

Падала вяло рука долговязого; был он весь
потный.

Конь его стал оседать, захромал: он ослаб, как
и всадник.

«А? Уходился? — крикнули хлопцы. — Всё ждал, что на помощь кто-то придет?» Котовский: «А ну, дисциплина!» — И вдруг рубанул прорезающим ударом, ударом с оттяжкой, — и то, что называлось Пшесмыцким, квякнуло мокро-брызгуче, как по готовому, пополам от головы по черепу и глубже — распалось, отвалилось...

Будто слитки золота с серебряных звонких лопат вдруг сыпанул кто-то в воду за спиной Котовского. Это его хлопцы, гордые за него, так щедро смехом звенящим сыпанули!.. А обезглавленный долговязый, перед тем как упасть, еще немного покачался на коне, как будто раздумывая: в какую сторону клониться? И саблю выпустил вниз он, и сам брякнулся на землю. Конь его испугался и помчался — почему-то помчался в ту сторону, где стоял Оксен кучерявый. Оксен: «Тю на тебя, сатана! Ага, доигрался? (А подъехав к своим, радостно закричал.) Ой, папаша, красота! Одно только плохо: ну чтоб было мне его отдать еще тогда, когда я просил!.. Да я бы его...» А с другой стороны, подлетая на коне, Лукьян длинноносый не мог опомниться от восхищения: «Ой же и вправду роскошь!»

Но тут хлопцы: «Тс! тс! несут!..» Котовский (быстро обернувшись): «Кого несут?» Нещадный (ведя своего коня на поводу): «Ну, как тебе сказать, Григорий Иванович! Язык не поворачивается». Котовский: «Ну, что такое? Да ну же, скорей говори! И почему ты без шинели?» Нещадный: «Кондрату твоему шинель я отдал» (сказал и, заслонясь рукою, горько вдруг заплакал). Котовский: «Кондрату? (Шенкелем своего Орлика повернул.) Что такое? Когда и как это могло случиться? Чего же вы молчите? Почему раньше мне этого не говорили? Слышите, что я сказал?» Нещадный: «Ну, как можно, коли ты бился с этим вот...» (Плюнул

на труп Пшесмыцкого и снова закрылся рукой.) А Мартын (на коне): «Да и самого-то Кондрата мы долго не могли найти никак. А он был вон там, в самом низу под кучей белополяков.

Котовский уже не слушал. Орлик стрелой понес его туда, к лесу! Навстречу ему из леса четверо хлопцев на шинели, как на носилках, выносили Кондрата. «Кондрат! — крикнул Котовский и протянул к нему руку с саблей, которую еще и до сей поры не вкладывал в ножны. Но тут же нахмурился и отклонился, как от нестерпимого виденья. — Нет, нет... это не Кондрат... Не Кондрат? А кто же тогда! О-о!.. (Застонал и вдруг тихим, ласковым голосом заговорил.) Кондратонька! что же ты такой неосторожный? Они на тебя скопом надели? Чудак, так ты б меня позвал. Ты говоришь — звал? А как же так, что я не слышал, — ой, Кондратонька, Кондратик...» (Левой рукой снял с головы красную свою фуражку.)

Хлопцы тем временем молча положили Кондрата на мягкую листву опавшую, на красноватую, с осенними крапинами смертными, как парча, листву золотую... Подъехали и те, что были возле клена, снимали шапки свои, глянули на труп — и поняли, отчего это Котовский даже будто осел плечами. «Горем, Кондратик, нельзя шутить, — так же проникновенно и по-детски чисто продолжал Котовский, — скажи, что ж это ты сделал со мной? Ты встанешь снова, ну вправду же, скажи, ты встанешь? И мы побежим в тот яр, что за Кокорозинской школой, где мы с тобой еще в девятьсот третьем прокламации читали. А потом вечерами в село Биешти пойдем на «джок», и ты будешь танцевать, а во время танцев вербовать хлопцев в наш подпольный кружок. Ну почему же ты не встанешь, слышишь, Кондратик?»

На шинели же в вечном оцепенении лежало что-то такое — порубленное! — иссеченное! — что трудно было в нем человека узнать. «Разгневался на меня, Кондратик? Иль, может, загордился? — Котовский, подняв свою голову, медленно обвел всех тихими, ясными глазами, полными слез, и, как будто жалуясь, промолвил: — Что ж... не хочет говорить. Ой, тяжко мне, товарищи, тяжко!» (И сам закрыл лицо свое рукой.) Слезы душили и котовцев, и они, как тот клен, морозом тронутый, на ветру с непокрытыми головами стояли, глубоко, всем

существом своим чувствуя, что и у них вот листва опадет понемногу.

«Ну, хорошо, — обиженным, охрипшим от горя голосом промолвил Котовский. (Надел свою фуражку, за ним и все хлопцы головы свои покрыли.) — Хорошо! (И еще раз, только уж голосом более высоким.) Хорошо! Пусть и так! Мы еще покажем!» Осадил Орлика назад, хлопцы тоже в другую сторону с конями отступили. И осталось посередине между ними на шинели Нещадного то, что уже отошло от них, и отошло навеки. Котовский: «Так вот что! Героя (это он промолвил зычно) — орла (это он промолвил гордо) — славного борца за свободу (полным голосом воскликнул) — борца за счастье трудящихся почтим так, как того он достоин! Кондрата с честью схороните, да не где-нибудь, а вот здесь, под деревьями. Пусть ему летом солнце светит; пусть его птицы спозаранку будят; пусть ему листва денно и ночью шумит — великой славе его завидуя, своим шумом, шумом густомиллионным. Миллионы Кондрата будут помнить! А что касается вот этих (саблей в руке показал на голубые трупы), что касается панов и буржуазии, всемирной сволочи — клянемся, товарищи, вот сейчас же, здесь, над останками героя, что мы им (голос его еще выше зазвенел, глаза гневом налились), мы этого им никогда не забудем!» Все: «Клянемся тебе, Кондрат! Мы отомстим за тебя! Бить шляхту никогда не забудем!» (И начали копать могилу.)

А Орлик сердито заржал и топнул копытом в землю. И с одного раза ямку выбил в ней, да такую глубоконую, темную, провальную, что и сам Котовский набок наклонился. А Котовский хотел было сказать ему: «Не балуй!» — да так и не сказал ничего. Он всё еще держал в отставленной руке острую саблю свою. И густо-черное стекало с нее на землю, на листья, на слитки золота по капле капало...

267. ШЕВЧЕНКО И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Действие происходит в Петербурге 31 декабря 1859 года. Номер гостиницы. Казенная обстановка: скучно по части цветов и картин. Налево — дверь в коридор. Около двери вешалка и стул для одежды. Прямо перед зрителем два окна, между окнами рабочий письменный стол, кресло. С правой стороны в углу — этажерка с книгами, немного ближе к зрителю — пианино. На переднем плане другой стол, праздничный, уставленный холодными закусками, винами, приборами.

Вечер. В номере полумрак. Дверь раскрыта. Чуть мерцает свет в коридоре. За стеной звуки скрипки. Скрипка, сыграв несколько тактов мазурки, умолкает. В коридоре голос: «Захарка! Ты что, не слышишь? Захар!» Из коридора бережно, держа правой рукой, вносит лампу Костомаров. Он в черном сюртуке. Безбородый, в очках. На плече полотенце. Локтем правой руки прижимает рукоятку половой щетки, тянувшейся за ним по полу. А левой рукой старается всё время поддерживать стекло лампы, которая горит едва-едва. Костомаров: «Да разве дозовешься этого Захарку? Никогда в жизни!» Когда Костомарову удалось наконец донести лампу до письменного стола и бережно установить — тут, как назло, упала щетка, сползло полотенце, на пол посыпались книги. Костомаров: «Ах ты беда!» Подкрутив фитиль лампы, бросается подбирать упавшее и все это проделывает хотя и без досады, но энергично. . . Щетку приставляет к этажерке со стуком; полотенце откинул куда-то за спину; книги водворил на место, пристукнув их сверху кулаком, а сам в изнеможении упал в кресло.

Костомаров

Ух! Как устал. . . Сил просто не хватает! Этот вечер, предвижу, будет не из легких. Гостей много! А главное — что и Чернышевского я пригласил. С одной стороны, страшно рад. Ведь сколько встречались мы с ним в саратовском кружке. А с другой — боязно чего-то. . .

(С тревогой.)

А может быть — кого-то?

(Задумчиво повторяет.)

Чер-ны-шев-ского. . .

Снова начинает играть скрипка.

Да что же я сижу?

(Подбегает к двери и кричит в коридор.)

Захар! Да иди же сюда! Вот еще. . . со скрипкой расстаться не может.

(Немного послушав, затворяет дверь и подходит к праздничному столу: устанавливает стулья точно против приборов.)

Так, значит, здесь Тарас. . . А здесь Никола.
А Горбунов Иван на том краю.
С ним рядом за столом посадим Ольгу
Сократовну. Вот четверо. Да я —
нас будет пять. Но вот куда Данилу
я посажу?

Падает задетый им стул.

Данилу, черт возьми,
куда я дену?

(Подняв стул, сердито ставит на место.)

Мордовцев
(приоткрыв дверь)

Вот как! Слышу, слышу,
Данилу к черту посылаешь ты!
Я и не знал.

Он без пальто и без шляпы.

Костомаров
(оборачиваясь)

Да бог с тобою, что ты!

(Подбегает к Мордовцеву.)

Входи скорее. Здравствуй, здравствуй!

Мордовцев
(отводя его руку)

Нет,

скажи, зачем ты к черту посылал
Мордовцева Данилу? Может быть,
противен он тебе? Так я, пожалуй,
могу обратно повернуть.

Костомаров
Друг мой!

Ты вправду?

Мордовцев
(притворяясь обиженным)

Он чертыхается, а я
молчи! Так вот каков ты, Костомаров!

Костомаров
Да что ты, что ты... Доведешь до слез.
Не вместе ль мы с тобой ярмо тянули
в Саратове?

Мордовцев
Да, верно.

Костомаров
А теперь
соседи снова. Комната твоя
всего отсюда в четырех саженьях.
Живем мы в Балабановке здесь рядом —
лишь коридор пройти, наискосок.

Мордовцев
«Соседи». Правда. Хоть всего неделю
живу я здесь. Еще я новичок.
Но вот что ты на стук мой не ответил —
порядок это? Это как назвать?

(Насупливает обеими руками брови, придавая себе
грозный вид.)

Тебе задам сейчас за это! Слышишь!
Немедля, засучивши рукава,
начну с тобою биться! На кулачках!
Вот так, вот так...

(Наступает.)

Костомаров
(шутливо отмахиваясь)

Да ну тебя, постой!

(Объясняет.)

Стул опрокинулся — я не расслышал.

Мордовцев

Стул? Ну а я при чем? Всё черт да черт?

(Стал в грозную позу, но тут же не выдерживает сам и раздражается смехом, который сперва похож у него на частые удивленные стоны со всхлипыванием, а потом переходит в запоздалый басистый хохот.)

Костомаров, то и дело поправляя очки, тоже весь трясется от смеха.

Костомаров

А чертыхался я из-за того,
что холостяцкая моя судьбина
гостей принять и усадить прилично
мне не дает...

Мордовцев

(проходя от двери)

Что — тесно?

Костомаров

Погляди:

не стол — насест. Пожалуй, стульев хватит.
И вот беда — слугу не дозовусь...

(Вдруг бежит к двери и, приоткрыв ее, кричит.)

Захарка! Слышишь ты!

(Закрыв дверь.)

Вот так, ты видишь,
сегодня целый день я на ногах.

Мордовцев

(поднимая с полу полотенце)

А вот упало что-то.

Костомаров

Полотенце?

Ну, словом, катастрофа.

Стук в дверь.

Можно!

Входит Захар.

Захар

Я

к услугам вашим, барин.

Мордовцев
(*саясь в кресло*)

Значит, стал
ты барином?

Костомаров
(*пожав плечами*)

Как видишь...
(*Захару.*)

Ну так вот:
во-первых, Николай Иванович
зовут меня. Я для тебя не барин.
А во-вторых, никак, Захарка, нынче
в гостинице не дозовешься слуг!

(*Мордовцеву.*)

Оно понятно — перед Новым годом
по номерам разобраны.

(*Захару.*)

Так я
хотел бы... Только не сейчас!... А ближе
к двенадцати часам — чтоб самовар
был подан, хлеб... Ну, в общем, всё, что надо!

Захар

Так точно... Понял.

(*Хочет идти.*)

Костомаров

Этим я тебя
Не затрудняю? Ты свободен нынче?

Захар

Мой барин на всю ночь уехал. Он
вернется только утром.

Костомаров
И чудесно!

Захар уходит.

Чудесно!

(Схватил щетку и, подметая, напевает.)

Николай Иванович
зовут меня.

Мордовцев

А знаешь, как Данилу
зовут теперь?

(Достает из кармана портсигар.)

Костомаров

Данилой и зовут.

(Опирается на щетку возле праздничного стола.)

Ужасно тесно! Хоть бы как-нибудь
нам разместиться здесь.

Мордовцев

Не угадал.

Теперь зовут меня иначе, слушай...

Костомаров

(с ужасом)

Послушай, мелкие тарелки две
достанутся кому-то!

Мордовцев

Пережил

чудесные минуты я!

(Склеивает языком папироску.)

Костомаров

Тарелки

глубокой не хватает...

Мордовцев

Неглубокий

сам человек ты, коли так!

Костомаров

Не злись!

Я слушаю.

Мордовцев

(продолжая)

Так вот. Минуты эти
меня всего приподняли. Представь:
я поместил заметку в нашей прессе —
в саратовской, в губернской — и про что ж?..

Костомаров

А знаешь что? Обменивать не стану
тарелки я! А просто так. Я сам,
поскольку я хозяин, сяду, где
две мелкие...

Мордовцев

Да хоть на три тарелки
садись, а только слушай! Так о чем,
как думаешь, о чем я написал
в заметке той?

Костомаров

(рассеянно)

Не знаю.

Мордовцев

Так узнаешь!

(Зажигая спичку.)

Какой-то офицер...

Костомаров

(махнув рукой)

А, ты про это!

Рассказывал уже об этом ты.

Мордовцев

Так выслушай еще раз. Разве трудно?

Костомаров

(смеясь)

Да нет, оно нетрудно.

Мордовцев
(выпуская дым)

Ну так вот.

Какой-то офицерик ни за что ударил унтер-офицера. Я тут и подумал: если б... Ведь и Гоголь немало зла разоблачил. Тарас бичует барскую неправду. Герцен бьет в колокол. И Салтыков-Щедрин высмеивает самодуров. Пусть же и я кольну хоть чуточку, пускай. Хоть чуточку — послужит это тоже прогрессу.

Костомаров

Ну и растянул! А чем же это кончилось?

Мордовцев

Как чем? Хорошим.

(Самодовольно.)

Заступником обиженных, отцом меня уж называют.

Костомаров

Ну, положим, тебе далеко до заступника обиженных и до отца далеко.

Мордовцев

(вспыхнув)

Ну да! Отец у нас один — Тарас?

Костомаров

О, друг мой, не об этом я... А впрочем... Минутку...

(Относит щетку к дверям, напевая.)

Николай Иванович зовут меня.

(Мордовцеву.)

О чем хочу сказать?

А вот о чем. Буфетчики, солдаты,

и дворники, и слуги, и швеи,
уже не говоря про поселян,
про крепостных несчастных, — для Тараса
первейшие друзья. И если впрямь
за нижнего ты чина заступился,
за унтер-офицера, — этим ты
походишь на Тараса. Ну, а прочим. . .

Мордовцев

Что значит «прочим»? Нет, я вижу, ты
ко мне с предубеждением подходишь.
Поступок благородный, смелый мой
чужд, безразличен для тебя. . .

Костомаров

Неправда!

Я знаю, как тебя за этот шаг
в России судят. Знаю — за границей
возносят до небес. . .

Мордовцев

Ну, а про что
не знаешь — доскажи.

Костомаров

Спокойней, друг!

Не горячись, прошу тебя, спокойней!

В приоткрытую дверь просовывается мужская голова в шапке, а за
ней женская.

Не знаю — из протеста написал
заметку ты, а может. . . по расчету?

Мордовцев

Как ты сказал — я просто не пойму?!

(Ходит по комнате.)

Никак не понимаю! Что Тарас
ни сделает — одно, а что Данила —
другое!

Костомаров

(нетерпеливо)

Погоди. . .

Мордовцев

Что «погоди»?

А если Чернышевский с кучерами
беседует часами — ты ему
в заслугу это ставишь?

Костомаров

Чернышевский

и кучер? Продумал это он,
и в этом я не нахожу плохого,
хоть кое в чем и не согласен с ним.
Ну вот — порою просто расхожусь!

Мордовцев

(радостно)

Ага! Вот видишь! К слову, будет он
сегодня?

Костомаров

А тебе бы как хотелось?

Мордовцев, гася папиросу в пепельнице, молчит.

Костомаров

(озабоченно)

Пока нейдут они... Уже пора...
(Кладет руку Мордовцеву на плечо.)

Пора, заступник? Ты не досказал,
чем кончилось с солдатом.

Мордовцев

Он публично
избит был — обличаю это я.

Костомаров

А стало быть, в казарме, не при людях,
лупи солдата чем попало?

Мордовцев

(в замешательстве)

Ты

неправильно мою толкуешь мысль...
Зачем же так?

Костомаров
Вот это то другое,
что позволяет резко различить
Тараса и тебя.

Старческий голос
(из-за приоткрытой двери)

Луи солдата!
Муштруй его! Дубьем по голове!
Затяжной кашель.

Мордовцев
Что там за шутки?

Костомаров
(в сторону двери)

Генерал Дитятин?
Пожалуйста! Прошу! Ну где ж вы там?

Бежит, растворяет дверь. Чей-то голос: «Спрячься». Женская фигура метнулась в сторону. Волоча ноги и непрерывно кашляя, входит скрюченный Горбунов с палкой.

Горбунов
(строго)

Ну, представляюсь. Генерал Дитятин.
В отставке. В штатском платье я хожу.
(Приветственно машет шапкой.)

Изволите беседовать? Похвально.

Костомаров
(напевает)

Я в штатском, в штатском платье я хожу.
Мордовцев смотрит на него удивленно.

Горбунов
(Мордовцеву)

Ну, а теперь скажите мне, прошу,
вы здесь не говорили ненароком
чего-нибудь крамольного... Да, да...
чего-нибудь такого...

Мордовцев
(Костомарову)

Непонятно!
Что за вопрос! Никак я не пойму.

Костомаров
(в тон Горбунову)

О, что вы, успокойтесь, генерал.
Ей-богу, никакой крамолы. Мельком
коснулись, правда, мы солдатской жизни,
тяжелой, нестерпимой жизни. Вот
позвольте мне представить, кстати, вам
Мордовцева Данилу. Он публично
вступился за солдата.

(Незаметно подмигивает ему.)

Горбунов
(Мордовцеву)

Что ж, приятно.

(Приветственно машет шапкой.)

Но не вполне. Гордиться нечем вам.
То, что солдату вы поблажку дали,
похвально не весьма... А? Не весьма!

(Стучит палкой об пол.)

В это время женская фигура появляется в дверях и, не замеченная никем, стоит, мимикой принимая участие в разговоре.

Мордовцев

Да нет... Я, видите... Как вам сказать...
Ну вот: когда солдата бьют публично,
стрепеть я не могу. Ну, а когда...

Костомаров
(подсказывает)

Когда в полку?..

(Подмигнул Горбунову.)

Горбунов
(Мордовцеву)

Юноша! Неверно!

Солдата нужно бить на людях и в полку,
на то он и солдат.

Мордовцев
Ну, если старший
так говорит — я с ним согласен.

Костомаров
(с ужасом)
Согласен с этим, значит?
(Напеваает.)

Бить велели
на людях и в полку, да и в полку.

Мордовцев снова поднял удивленно на Костомарова брови, но тот
как ни в чем не бывало чистит ногти.

Мордовцев
(в недоумении)
Да что такое?..

Костомаров
(Горбунову)
Он не спорит? Ладно.
Запишем.

(Отвернувшись, трясется от смеха.)

Женщина делает реверанс и исчезает.

Горбунов
(стучит палкой)
Да, запишем.

Мордовцев
(обеспокоенный)
А что не так сказал я? Снова непонятно?

Горбунов
Так что ж тут непонятного? Солдат
на то и создан, чтоб его лупили.

Костомаров

(в притворном гневе)

Лупить до смерти!

Горбунов

Юноша! А вы...

Костомаров прыскает со смеху.

Мордовцев

О господи! Я шутки новогодней
не понял. Принимал всерьез.

Горбунов

(собственным голосом)

Курьез.

Ну, словом, вы вели себя «отлично».

(Выпрямившись, широко расшаркивается.)

Представиться позвольте. Горбунов
Иван. Артист, писатель, декламатор!

Костомаров

Эх, ты! Данила!

(Обняв Мордовцева за плечи, так и повис на нем, трясясь
от смеха.)

Горбунов

(о Костомарове)

Ра-зо-шелся!

Мордовцев

Брось!

Вцепился в плечи. Ты меня повалишь.

А ведь действительно смешно?

(Начинает смеяться — как будто всхлипнув сначала,
стонет удивленно, все чаще, почти задыхаясь, а потом
сразу прорывается басистым хохотом.)

Женская фигура снова незаметно возникает.

Мордовцев

А я

сам шутку предугадывал, признаться,

Да он тут с панталыку сбил меня:
пожалуйте, мол, генерал Дитятин!

Костомаров
(умоляя, сквозь смех)

Молчи!

Мордовцев
Так вот какой вы генерал?
(Еще раз жмет руку.)

Рад познакомиться. Ну, отдохнем.

Горбунов
(раздевается)

Нет, все-таки сперва запишем. Так?
А, Николай? Да он почти что плачет.
(Перебрасывает через руку пальто.)

Костомаров
(вытирая под очками слезы)
А разве, скажешь, не смешно? Да я...

Мордовцев
Ну, погоди! Смеешься, что Данилу
так подвели? Спасибо!
(Качает головой.)

Горбунов
Каково
разыграно?

Все трое смеются.

Женщина
(обиженно)
Они себе смеются,
а как же я?

Все оборачиваются на голос.

Горбунов
(спохватившись)
Ах, извините, я
забыл, что не один пришел...

Женщина
(Горбунову)

«Забыл».

Нет, извиняться поздно.

Костомаров
Так его!

Женщина

Сказал мне: «На минутку спрячься». Ладно.
Я спряталась и жду. Уж генерал
Дитятин перестал быть генералом,
а я всё жду. Так скучно ж стало мне!

Общий взрыв смеха.

Я не прощаю этого!

Горбунов
Изольда!

Изольда

И не просите! Нет!

(Топает ножкой.)

Горбунов
(покаянным тоном)

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я, нищий...

(Кладет на свою склоненную голову пальто.)

Общий взрыв смеха.

Изольда

«Забыл». Слыхали?

Я познакомлюсь и без вас!

(Здоровается.)

Горбунов
(представляя ее)

Изоль

Кретьеновна!

(Вешает свое пальто.)

Костомаров
Чудесно ваше имя.
Вы разрешите вам помочь?
(Снимает с нее пальто, несет к вешалке.)

Изольда
А вы
так и поверили?
(Снимает шапочку.)

Мордовцев
А как не верить,
когда прекрасно имя?
(Относит шапочку к этажерке.)

Изольда
(Костомарову)
Вы читали
«Тристана и Изольду» в изложении
Кретьена де Труа?

Костомаров
(придвигая ей кресло)
Такой роман
нельзя не помнить!

Изольда
Ну так вот. Ужасно
люблю его.

Горбунов
И я люблю.
(Становится перед ней на одно колено.)
Люблю.

Изольда
Вы перестанете?
(Подчеркнуто.)
Люблю Кретьена.
(Костомарову)

Поэтому Кретьеновна, хотя
меня совсем иначе называют.

Горбунов
(встает с колен)

Да что там говорить. Есть у нее
два имени. Смотрите: с молодыми
людьми Изоль Кретьеновна она,
ну, а со старыми она Изольда
Труановна.

Мордовцев
Труановна?

Горбунов

Ну да!

Роман же напечатан в изложение
Кретьена де Труа!
(Играя пальцами, как на кларнете.)

Труа-Труа —
Труановна Изоль!

Общий взрыв смеха.

Изольда
Вот я задам
сейчас же вам!
(Бьет его перчаткой.)

Горбунов

Сегодня признаем
лишь имя ваше первое, поскольку
мы все тут... Понимаете меня?

(Щупает рукой свои бритые усы, покашливает молодецки.)

Костомаров и Мордовцев тоже бодрятся — то приподымаются, то опускаются на носках.

Костомаров и Мордовцев
А что ж! Тут молодые! Старых нету!
(Весело покашливают.)

Горбунов

Поэтому — хотите или нет —
Изольда вы.

(Подымает ее за руки с кресла.)

Костомаров и Мордовцев
Изольда! О! Изольда!

(Хлопают в ладоши.)

Горбунов и Изольда

(танцуют)

А ну, за руки!

Гóй-да!

Дай свои уста!

Идут с горы Изольда,

Изольда и Тристан.

Костомаров

(грустно)

Идут с горы Изольда,

Изольда и Тристан.

О, что б я дал, чтобы свою Изольду
сейчас увидеть!

(В задумчивости опустил на стул.)

Изольда

А ее зовут

Кретьеновной, как и меня?

Костомаров

О нет,

ее зовут Леонтьевной.

Горбунов

(недовольно)

Изольда!

Костомаров

(грустно, сам с собой)

Она уж замужем, моя Алина

Леонтьевна. Есть дети. Я ж остался...

(Закрывается руками.)

Изольда

(подбежав к нему)

Я глупо пошутила. Извините.

Костомаров

Ах, нет, ни в чем не виноваты вы.

(Отводит руки от лица, встает, целует ей руку.)

Так. Это просто так. Былые годы припомнились. Уж не вернуться им. С моей Изольдой собирался я тогда венчаться. И уже боярин спешил на свадьбу к нам издалека, да и какой боярин! Сам Шевченко, Тарас Григорьевич. И вот...

В окно справа — слышно — кто-то стучит.

Взгляни,

Данила, кто там?

Мордовцев

(глядя в окно)

Там стоит мужчина,
а кто — не разберу.

Костомаров

(вставая)

Давай я сам.

Горбунов и Изольда

И я! И я!

Все, обступив окно справа, замолкают.

Голос за окном

(щедрует)

Касатушка

щебетала,

к окошечку

подлетала,

хозяйина

пробуждала.

Костомаров

(радостно в окно)

О друг мой!

(Обращаясь ко всем.)

Это ведь щедрует сам

Тарас!

Горбунов и Изольда

Тарас! Тарас!

(Бегут к двери.)

Костомаров

(следуя за ними)

Раскроем дверь пошире. Подойди сюда, Данила! Лишь только он войдет — все нападём мы на него, да и закружим.

Изольда

Тише!

Все, встав в два ряда по бокам распахнутой двери, ждут. Слышно, как хлопает входная дверь где-то далеко, в конце коридора, и Шевченко, приближаясь, щедрует.

Шевченко

Ой, вставай, вставай,

господарь наш;

засвети свечу

восковую;

разбуди челядь

молодую.

Костомаров

(ко всем)

Смотрите ж — разом!

Изольда

(восхищенно)

Ой, занятно как!

Шевченко

(появляясь в дверях)

Щедрый вечер! Добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!

Все

(хлопая в ладоши)

Тарас! Тарас Григорьевич! Кобзарь!

Бросаются к нему и танцуют вокруг, кружат его в тесном кольце, продолжая щедровать.

Касатушка
щебетала,
к окошечку
подлетала.

Шевченко
(вырываясь)

Задуйте! Пустите! Ей же богу,
задушите! Сказал вам: «Добрый вечер» —
а вы напали...

Все
Добрый вечер!

Горбунов
(притворясь возмущенным)

Как!
Напали? Кто осмелился на это?
Ребята, признавайтесь!

Все
(по очереди отрекаясь)

Нет! Не я!
Не я! Не я!

Шевченко
Так, может, я?
(Смеется.)

О боже!
Какая радость быть среди друзей!
А главное — на воле, на свободе!
(Кладет шапку на стул.)

Кругом кипенье жизни, шутки, смех...
Порой не верится! Степей киргизских
пустыня. Бесконечная муштра,
проклятого царя опека... Здесь же
в семье родной я чувствую себя.

Костомаров
Ну, а зачем кричал тогда, что душим?

Шевченко
Попробуй — может, ты не крикнешь?

Костомаров

А!
Тебе не приглянулась наша встреча?
А ну, ребята, снова! . . . Только я
прикрою крепче дверь. Так. Заходите
со всех сторон. Готовы?

Кружатся снова.

Шевченко

(отстраняет всех руками) . . .

Да хватит вам!
Позвольте мне раздеться? Даже душно
мне стало. . .

Костомаров

Должен я тебя обнять,
а уж потом ты раздеваться будешь.
Хоть после ссылки не впервые здесь
встречаемся уже с тобой, но всё же
нарадоваться не могу я. Друг!
Так редко мы видаемся с тобой.
Ты ласточкою прилетел!

Шевченко

Летел!

Костомаров

Дай погляжу в глаза. Ты изменился?
Совсем другой. Раскаялся?

Шевченко

О нет!
Я мучаюсь, терзаюсь, но не каюсь.
Не изменился ни на каплю. Царь
хотел меня сожрать, да подавился
и сам с досады сдох. . .

Костомаров

Ну, про царя
еще успеем. Дай с тобой обняться.

(Целуется с ним трижды.)

Горбунов

И я!

(Целуется также.)

Изольда

И я!

(Ужаснувшись.)

Ах нет! О боже мой!

Что это я сказала!

Шевченко

Не стыдитесь
того, что сказано от всей души.
Ведь жизнь так жестока! Спасибо
вам, уважаемая... Извините,
не знаю, как вас называть.

(Подходит и целует ей руку.)

Горбунов

Имя — Изольда.

А отчество...

(Играет пальцами, как на кларнете.)

Шевченко

Я знаю: Горбунов
любитель пошутить.

Костомаров

Нет, правильно.

Изольда.

Шевченко

А по батюшке?

Горбунов

Труа́-

Труа́новна.

Шевченко

Ах, вот ведь как!

Ну, я уж догадался.

Изо ль да .

Можно звать
Меня Изольдой-просто. Суть не в этом.

(К Шевченко)

Суть в том, что почитательница я
таланта вашего. Давно стремилась
сказать об этом, только не была
знакома с вами.

Шевченко

От души спасибо.
Огромная награда это мне
за все мои страдания и муки.

Изо ль да

Как заступаете за женщин вы!
Ах, ваша «Катерина»! Я не знаю
поэзии правдивей и светлей.
Она мне так понятна и близка —
ведь я сама из бедного семейства.
И хоть природная великороска,
но с гордостью сейчас я говорю:
люблю я вашу Украину, песню,
народ. Люблю. Всё вам благодаря.
Что вам еще скажу? Я не оратор, —
заступник за обиженных вы. Я
вас поздравляю.

(Жмет Шевченко руку.)

Шевченко

Счастлив я, друзья!
Как никогда я счастлив. Вы слышали?
Спасибо женское! А, Николай!
Заступником она меня зовет.
Данила!

Мордовцев

Слышал я...

Шевченко

О боже правый!
Я, значит, мучился не даром. Есть
на свете люди — подлинные люди! —
друзья, сторонники мои, и я
могу ковать оружие вместе с ними,
чтоб волю разбудить.

Мордовцев

Зачем же? Царь
сам думает об этом уж. Поможем
ему в раскрепощении крестьян.
Кого еще нам пробуждать? И чем?

Шевченко

Чем? Топором! Разбудим топором
господ проклятых!

Костомаров

Не кричи, Тарас! Тут стены
тоношенькие, — могут услышать...

Изольда

Ах, то, что вы о топоре сказали,
так ново и так страшно для меня!
Не потому, чтобы его боялась
я в руки взять. О нет! Я с топором
не знаю что могла б наделать!

За окном слышен свисток квартального.

Костомаров

Тише,
прошу я вас!

Горбунов

Вот-вот.

Изольда

(К Шевченко)

Простите, я...

я вся дрожу...

Костомаров идет к двери и, приоткрыв ее, смотрит — не подслушивает ли кто.

Шевченко
(Изольде)

Спасибо вам. Спасибо
великое! О! С думами моими
не одинок я. Вот уж Николай
Гаврилович обрадуется. Боже!
Вот будет рад!

(Костомарову)

А где же Николай?
Его ты пригласил? Мне так хотелось
увидеться с ним! Именно сегодня!

Костомаров
(машет руками)

Да он придет, придет, напрасно ты
нахмурился.

Мордовцев

А может, по пути
ко мне он в номер завернул. Давайте
схожу, взгляну.

Костомаров

Тогда уж кстати стулья
с собою прихвати сюда. А то
все не разместимся.

Мордовцев уходит.

Друзья, садитесь, —
Что же мы стоим?
Все рассаживаются около письменного стола.

Изольда
(К Шевченко)

Так, значит, с вами я
теперь знакома!

Шевченко

Ваше имя мне
напоминает Вагнера как будто...

Горбунов
(перебивает)

Изольду? Ха-ха! Она ж сама Изольда.

Изольда
(К Шевченко)

Так Вагнера вы любите, я вижу?
Ах, Вагнер, Вагнер!..

Костомаров

Я прошу Изольду
сыграть нам про Изольду!
Все аплодируют.

Изольда
(К Шевченко)

Так сыграть?

Ну, хорошо.

Изольда садится за пианино и, полуобернувшись к слушателям, говорит куда-то в пространство, поверх их голов.

Ночь летняя. В саду
деревья шепчут. Вышла на свиданье
Изольда. Ждет... Тристан!.. Случайно ветка
во мраке хрустнула. «Нет, это я!» —
тихонько откликается Брангена.
«Следи, следи же, няня! Чтоб никто
нас не увидел». И опять Тристана
Изольда тихо кличет. Никого!
«Тристана нет. Так, может быть, не любит?
Или, сраженный вражеской рукой,
лежит далеко от меня... о горе!

Смертельна если рана —
знаю, как мне быть:
лишь себя убить.

Кого ж, как не Тристана,
кого же мне любить?»

Но чу!.. Уже Тристан тихонько кличет:
«Изольдочка! Я здесь!» И побежала
в глубь сада темного. Ночь. Тишина.

Изольда, вновь повернувшись к пианино, выдерживает — для
настроения — паузу перед началом игры.
В этот момент за стеной слышны звуки скрипки.

Костомаров

(Изольде)

Ну что ж, мы слушаем.

Изольда

Да как играть!

Я пережду.

(Обернувшись к Шевченко.)

Как будто это скрипка.

Шевченко

(прислушиваясь)

Вы слышите? Шопен!

Мордовцев

(входит со стульями)

Туда ж! Играть!

Буфетчик!

Шевченко

(вспыхнув)

А не человек буфетчик?

Костомаров

Да ну же, перестаньте! Мы, друзья, собрались Новый год встречать — и сразу поссоримся?

(Мордовцеву)

Гаврилыч не пришел?

Придет еще.

(Нараспев.)

Изольду просим мы сыграть нам про Изольду.

Изольда

(прислушиваясь к скрипке)

Да, Шопен.

Шопена вещь. И хорошо играет.

Горбунов
(*восторженно*)
Заправский музыкант.

Шевченко
(*вскакивает со стула*)

Я выбегу,
послушаю: мотив такой знакомый.

Костомаров
Да что с тобою! Сядь!
(*Обращаясь ко всем.*)

Дня три назад
в гостинице помещик поселился,
здесь рядом, через стенку. Крепостной
его, когда в отлучке барин,
смычком, бедняга, изливает грусть.

Шевченко
Артист — и крепостной? Тем интересней
становится мне это. Вы, друзья,
меня простите — я с ним познакомлюсь.
Я приведу его сюда. Я с ним
сойтись сумею тотчас...

Костомаров
(*не пуская*)

Ну, Тарас!
Зачем тебе! Послушай, милый, сядь!
Он сам придет.

Горбунов
(*напевая, как в опере*)

Он сам придет!

Шевченко

Придет он?
Ну, будьте же свидетелями все.

Все весело кивают.

Шевченко

Тогда... тогда я сяду. Ладно.

(Задумывается.)

Изольда

(будто рассказывая сказку)

...Ну, а скрипка
немного поиграла и замолкла.

Горбунов

(строго)

Изольда, снова!

Изольда

(пожав плечами)

Нет, я ничего.

Шевченко

(думая о своем)

«Замолкла»?

Костомаров

Ну и что ж такого...

Неловкая пауза. За окном слышен свист.

Шевченко

(сам с собою)

Ладно.

Но где я слышал этого Шопена?

Нет, не припомню.

Костомаров

(вставая)

Может быть, пора
начать нам всё же?

(Нараспев.)

Просим мы Изольду
сыграть нам про Изольду.

Мордовцев
(пытаясь оживить разговор)

Стало быть,
на чем мы, бишь, остановились?

Изольда

Вагнер
несыгранным остался.

Костомаров
(Изольде)

Всё же мы
послушаем «Тристана»?

Изольда

Я не знаю.

Играть?

(*Вопросительно смотрит на Шевченко.*)

Шевченко
(*как бы пробуждаясь*)

«Тристана» Вагнера? Конечно.
Конечно же играйте. Будем слушать.

Изольда садится за пианино. Играет. Потом, обернувшись, видит, что Шевченко отошел к окну, и перестала играть.

Костомаров

И где родился этот Вагнер? Мощь!
Искристость! Глубина!

Мордовцев

А уж прозрачность
такая, словно камешек любой
на дне потока виден... И ты знаешь,
ты ясно видишь: перейти поток
вот только *тут* возможно, а иначе...

Горбунов
(*с грациозной игривостью*)

...о камешек споткнешься.

Шевченко
(саркастически)

«Только тут
переходить».

Мордовцев
Ты с этим не согласен?

Изольда
(встав из-за пианино)

Вам не понравился «Тристан», а я...
я так старалась! Что же — извините...

(Надув губы, топает ножкой.)

Теперь играть нарочно разучусь!
А может, топодем и с горя стану,
как эта девушка в балладе вашей:
«По дубраве ветер веет,
по полю гуляет,
тополь на краю дороги
к земле пригибает».

(Грустно склоняется из стороны в сторону, как тополь
под ветром.)

Шевченко
(очарованный этим)

О боже мой, какой ребенок вы!
Неоценимый, ласковый ребенок!
С восторгом слушал вашу я игру,
внимательно!

Изольда
(радостно)

Внимательно? А правда,
у «Тополя» с «Тристаном» сходство есть?
И там и здесь — мотив любви извечной.

(Переходя с ребяческого тона на серьезный.)

Вся разница — влюбленные в «Тристане»,
не зная, по ошибке, зелье пьют,
а в «Тополе» сознательно дивчина
решилась на поступок этот.

Костомаров

А!
Так вы и критик, вижу я?

Горбунов
(подтверждает)

И критик!
Еще какой!

Изольда
(К Шевченко)
Вам, значит, мой «Тристан»
понравился?

Шевченко
Какой же вы ребенок —
прекрасный, солнечный, глубокий. Да —
понравился «Тристан» мне. Даже очень.

Мордовцев
(бурчит)
«Тристан» ему понравился, зато
сам Вагнер не по нраву. Это странно...

Шевченко
Ты угадал. Я Вагнера люблю,
но лишь того, кто говорил отважно
про революцию.

Изольда
Его слова
об этом — прямо в душу западают.

Мордовцев
(К Шевченко)
Ну-ну, так что?

Шевченко
Но Вагнера потом увлек
другой период творчества — неверный,
мистический, запутанный. В людей,
он думает, величие вдыхает

религия. С подобным взглядом я,
конечно, не согласен: с отрицанием
реального, земного мира.

Мордовцев

Гм!

А что дает земля нам кроме грязи?

Шевченко

Смотри, какой чистюля! Он земли
боится! Неба дай ему! Ну как же!
Монархии опоры нужно дать!

Костомаров

Друзья! Неужто вам не надоело!

Изольда

Спор интересный: небо иль земля?

Горбунов

(недовольно)

Изольда!

Шевченко

Философия различна —
вот в чем беда.

Костомаров

Беда! Беда! И ладно!
Довольно говорить уже! Конец!
Давайте лучше стол мы передвинем.

Костомаров, Горбунов, Изольда начинают передвигать стол.
Шевченко же снова отходит к окну.

Горбунов

Сюда поставим?

Изольда

Нет, на середину.

Установив стол, двигают его туда и сюда, проверяют, не качается ли.

Костомаров

Спасибо. Стол качается... Как Вагнер.
Прекрасен Вагнер?

Горбунов

О! Его «Тристан»!
Изольда! О возлюбленном рыдает
она, зачем он не идет?

Шевченко
(тревожно)

Зачем
и вправду не идет он?

Костомаров

Про кого ты?

Шевченко

Жду вдохновителя я моего
и брата.

Мордовцев

Удивляюсь я, что «брата»,
к тому же «вдохновителя».

Шевченко
(полуобернувшись)

Данила!

Я поражен, что ты так говоришь!
Я удивлен тобой безмерно!.. Царь —
палач жестокий, ненасытный, лютый —
разъединил народы, чтоб душисть.
Его манеру ты перенимаешь?
Ты не хотел бы, чтобы братом звал
Шевченко Чернышевского?

Мордовцев

Зови
не только Чернышевского тогда,
а всех, кого так сильно полюбил,
ну, всяких там...

Шевченко
(обернувшись всем лицом)

О нет, прости меня:
не «всяких там», а лишь наичестнейших,
прекраснейших людей, что за народ
отдать свои не побоятся жизни!

Мордовцев
Кто? Добролюбов и Некрасов?

Шевченко
Да!
Некрасов с Добролюбовым, и Герцен,
и Огарев, и Салтыков-Щедрин!
Чтоб с ними не дружил я? Так не будет!
Недаром породнились мы: народ
прославленный российский с украинским,
с прославленным за мужество народом.

Мордовцев
Так... Опять я виноват!
Да ведь я сам не за царя, я сам
с министрами борюсь...

Шевченко
Наполовину?

Костомаров
Друзья, довольно! Вот ведь завели!

Горбунов
К тому же перед самым Новым годом, —
зачем вы?

Шевченко
(Мордовцеву)
Потому и душат нас,
что делаем мы всё наполовину.

Мордовцев
А что? Мне Чернышевского в пример
прикажешь брать? А может быть, Тараса?

Изольда
(Мордовцеву)

Не смейте обижать вы Кобзаря!
Он — наш! Принадлежит всему народу!

Мордовцев

А что же он уперся на одном:
всё «Чернышевский», «Чернышевский».

Отворяется дверь — входит Чернышевский с женой.

Чернышевский

Кстати

пришел и Чернышевский.

Шевченко
(радостно)

О мой брат!

Чернышевский

Тарас! Родной мой!

Кидаются в объятия друг другу.

Костомаров
(К Шевченко)

Ну, дождался?

(Чернышевскому)

Только

и разговору было, что о вас.

Шевченко

Да как же рад я! Как я рад! О боже!
Еще, еще обнимемся!..

Чернышевский

Тарас!

Оба, взявшись за руки, от радости плачут. Другие смеются от радости. Только Мордовцев отходит к окну.

Ольга Сократовна

Так дайте поздороваться и мне!

(Костомарову)

Стоят... и плачут. А за ними вслед
слез удержать и я не в силах.

Шевченко

Ольга

Сократовна! Простите! Я ж себя
сейчас не помню! Это слезы счастья.

(Бессчетно целует ей руки.)

Ольга Сократовна
Григорьевич, не объясняйте мне!
Я обнимаю вас... Как дорогого,
как славного, родного брата. Мы
узнали вас давно.

(Покосившись на Мордовцева.)

Вы всё такой же —
непримиримый, настороженный
славянский Гарибальди?

Шевченко

Не меняю
своих воззрений. И не буду... да!

Ольга Сократовна

Так как же рада я, что внозь вас вижу,
правдивая и чистая душа.

Шевченко

Безмерно благодарен я, безмерно
и вам и Николаю — вам двоим —
за всё, за всё. Ты слышишь ли, Никола?

Горбунов

Вот я сперва пальто сниму,
а уж потом...

Чернышевский

Я слышу, брат мой, слышу!

(Жене)

А ты уж сразу в слезы?

Ольга Сократовна

На земле
так и бывает: радость — друг на воле,

а вот глаза не спрашивают нас,
как им встречать счастливую минуту:
сухими или мокрыми...

(Хочет расстегнуться.)

Горбунов

(к ней)

Позвольте?

Здесь душно...

Шевченко

Нет, Иван, стой!

Иван сын Федоров, ты погоди!

А разве я без рук? Ты хочешь вместе?

Ну так давай вдвоем: один рукав

тебе, другой же...

Все столпились возле них, смеются.

Ольга Сократовна

Словно малолетку,

они меня решили раздевать.

(Садится на стул.)

Костомаров

Ну вот и хорошо.

(Садится тоже.)

Прекрасно. Значит,
уже все собрались.

(Вдруг вскакивает.)

Я на минуту

уйду — Захарку нужно разыскать.

Мордовцев

(быстро обернувшись)

Захарку? Так давайте я схожу.

А что здесь трудного: схожу — и только.

(Уходит.)

Чернышевский
(вопросительно посмотрел на всех)

В плохом он настроенье или что?
А ты и вправду, Оля, как малютка.

(К Шевченко)

Ведь дома вся напряжена была:
сорвется с места и опять застынет,
задумавшись, и «Ой, зійди, зійди»
тихонько мурлычет.

Шевченко

Правда, Ольга
Сократовна? Иль нет?

(Вновь целует ей руки.)

Ольга Сократовна

Да, оба мы —
и Николай и я — мы в равной мере
на волю, на свободу выход ваш
переживали. Мы ведь с давних пор,
с давнишних лет и знаем вас и любим.
И каждый шаг ваш...

Чернышевский

И любое слово,
замолвленное за несчастный люд,
и клич, на бой вздымающий...

Ольга Сократовна

И песню,
способную смягчать сердца...

Чернышевский

И гнев
на Тормоза верховного...

Горбунов

Сатиру и сарказм...

Изольда

(вдруг)

И как секиру

точить...

Костомаров

Ну что вы! Я же вас просил...

(Подходит к двери и, приоткрыв ее, смотрит — не подслушивает ли кто-нибудь.)

Чернышевский, повернувшись к Изольде, почтительно ей кланяется.

Шевченко

Да, кстати, познакомьтесь прошу:
землячка ваша.

Чернышевский

(знакомясь)

Про секиру вы
где слышали?

Шевченко

Я удивляюсь сам.

Ольга Сократовна.

(Горбунову)

У Герцена узнали?

Горбунов

(загадочно)

Может быть.

А то еще...

Изольда

(ко всем и ни к кому)

У бога за дверьми
лежал топор. Секира.

(Обращаясь к Шевченко.)

Человек,
услышавший, как это вы читали,
стихотворенье мне пересказал.

(Чернышевскому)

Какая удивительная вещь!
Чудесная!

(Прищурилась, припоминая.)

И вот кайзак приметил
секиру ту — подкрался и украл —
и сразу в лес — дровец чтоб наготовить.

(Нахмурившись, сурово-приглушенно.)

Вот дерево сухое перед ним.
Кайзак с размаху — тюк! С размаху снова...

(Тоном отчаяния.)

Вдруг вырвалась из рук секира. Стой!
Секирочка! Егей! Не хочет слушать,
хоть он за ней и гонится. «Беда!» —
кричит кайзак. Она же, как назло,
не только сухостойные стволы —
живые ветви стала обрубать,
а тут вдруг пламя хлынуло из яра.
И затрещали в пламени листья,
и зелень веток, и стволы живые,
и солнце затянулось дымом. Горе
на две ноги костлявых поднялось,
заковыляло по лесам округи,
по всем садам и хатам. Стоны, плач
детей и матерей взметнулись к небу,
а вслед за ними братья и мужья
грозить могучим криком стали богу,
который злобным взглядом озирает
людей с небесной высоты. О боже!
О идол! Ты зачем наслал на нас
губительный топор! Он всюду скачет,
чтоб уничтожить весь родной наш край.
Останови его. Не дай погибнуть
 народам, что имеют все права
дышать свободно и творить в расцвете...

(После паузы.)

Взгляни: ведь совесть у него — хрусталь.
Послушай, как звучит язык народный —
звнящий, солнечный, как многоцвет.

А песня, песня... Что за роскошь песня!

(Ни к кому не обращаясь.)

Ты скажешь — грустью отдает. Пускай!
Ведь в песне этой, словно в колыбели,
баюкалось младенчество отцов,
чьи сыновья из колыбели встали,
чтоб уж сегодня завершить дела
души дозревшей и самоуваженья
народа вашего. Но и отцы
владели самоуваженьем. Только
сил не было, какие есть теперь.

(Обращаясь к Шевченко.)

О, правда! Силы не совсем созрели.
В своем творенье говорите вы
лишь про кайзаков. Я же здесь под этим
и весь народ ваш разумею. Да!
Благодаря волшебной вашей речи
теперь узнал об этом целый свет.
Какой он славой, силой обладает,
родной многострадальный наш народ.
Его Богдан сумел сдружить навеки
с Москвою. Кое-кто еще у нас
не признает той дружбы. И напрасно!
Они, секирой острой завладев,
хотят под самый корень эту дружбу —
тюк! — чтобы реки крови полились...

К о с т о м а р о в

Постойте, слишком мы заговорились,
а время движется...

Входит с салфеткой под рукой З а х а р.

Г о р б у н о в

(предупреждающе поднял в его сторону палец)

Тс!

И з о л ь д а

(продолжая)

Под корень — тюк! —
еще. А мы как будто онемели,

стоим и смотрим только. А ведь нам...
Остановить нам нужно ту секиру
и на другое повернуть...

К о с т о м а р о в
(недовольно)

Ну вот —
конца не будет этому.

Ч е р н ы ш е в с к и й
А правда!
Конца не будет... Но чему? Страданиям
порабощенного народа!

(Пройдясь по комнате.)

Если
секиру сами в руки не возьмем...

Ш е в ч е н к о
Что значит «если не возьмем»? Нам нужно,
нам безусловно нужно взять ее!

Ч е р н ы ш е в с к и й
И хорошенько наточить!

И з о л ь д а
Да и приняться всех будить...

В это время в дверях появляется Мордовцев, несущий стул.
Захар бросается забрать стул из его рук. Дверь остается раскрытой.
Ясно слышно, как в коридоре часы бьют двенадцать.

1939, 1964

268. ПОХОРОНЫ ДРУГА

(Поэма)

Угрюмый вечер в тишине окрестной
багряный тон на сизый тон менял.
Я синий снег лопатой поднимал,
бросал — и вдруг... далекий плач оркестра
послышался. Всё приближаясь, он
захлебывался на морозе. К елям
(вершины их еще слегка алели)
волною льнул. И плыл зеленый звон.
Глухое эхо ударяло в сад,
и сад громовым отзвуком шатало.
Не в лад, не в тон, как будто наугад
там сто оркестров в этот миг играло
и путало мотивы...

Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь тревожно бьет,
песком заносится и пылью обдается,
земле сырой всего себя передает...

О ком те трубы плакали?
Зачем тарелки звякали?
Бил барабан как будто в грудь, —
кто завершил свой путь?

...Потухал
багряный цвет. С ним вместе постепенно
сгорала туча. Смутный мир стоял,
как бы насквозь просвеченный рентгеном...
И я сорвался, псбежал! Такой,
такой же вечер был назад два года:
прощался с другом я. Конь вороной
помчал тогда, исчез... И непогода
пришла: война ударила! И друг
прислал нам весть: он жив! он жив! Повсюду
гордятся им, он, словно в землю плуг,
вонзился во врага! Он мстит, он судит —
и вражья кровь, чернея, потекла...

Да, имя Ярослава — на скрижалях
нерукотворной памяти... Была

борьба за Харьков. Наши окружили
его кольцом тугим со всех сторон.
Неравны были силы. Ярославу
пришлось пройти огонь терпенья. Он
один против восьми стоял! И славу
тотчас его отвага обрела:
он спас людей, которым казнь грозила.
Врагов он смело выбил из села
и сам погиб. . .

Печали злая сила
взяла меня! . . Вдруг из воздушных волн
по радио приплыло имя друга.
Перед глазами гроба черный челн
заколыхался. . . Сердце сжалось туго,
и захотелось в этой тишине
тебя увидеть! . .

Всё обновляется, меняется и рвется. . .

Катафалк качался
на медленных волнах, как в страшном сне.
Процессию догнал я и пробрался
поближе к гробу. Друг! Хотя я знал,
что Ярослав не здесь: его хоронят
там. . . без меня. . . на фронте! Зарыдал
опять оркестр.

Всё обновляется, меняется и рвется,
на свете в новые всё формы переходит. . .

Фанфара стонет, стонет,
Процессия идет, и с нею — я
(раздвоенность меня не покидает!).
Гляжу, как свекловичная струя
течет за горизонт. . . Никто не знает —
о ком те трубы плакали?
Зачем тарелки звякали?
Бил барабан как будто в грудь, —
кто завершил свой путь?

Да кто же? Воин. Друг наш близкий, воин!
Один из тех, кто рядом с нами жил,
с врагами дрался из последних сил. . .

Вот он лежит, бессмертия достоин.
Он молод был. Какой широкий путь
был для него открыт! Он рос на воле,
в семье народов. С каждым днем всё боле
светило солнце нам. Но посягнуть
на нашу жизнь, святое наше дело
фашистская Германия посмела,
и рукава уж засучил палач
и ухмыльнулся. . . Горестно играют
в оркестре, мне же кажется — то плач
с Украйны. . . Трубы! Трубы пусть рыдают!
Пусть вдовье горе выплачут, пускай
поют о тех, кто следует за гробом,
заламывая руки к небу. . . Знай,
проклятый враг: твоя бессильна злоба
на наш народ! Свирепствуешь? Дрожи:
никто не победит народ! Быть может,
считаешь благородством грабежи?
Собаке «благородство» не поможет,
и волку — тоже. . .

. . . Как на лапах волк,
на западе, оскалась, встала туча.
Упали сумерки. Оркестр замолк,
и стало тихо. Рота всевобуча
навстречу нам прошла. Вот повезли
белье для госпиталя. Мимо дети
с собакой прошмыгнули. А вдали
завод гудел и стих. И вместе с этим
темнело всё вокруг. И снег лежал.
И перед гробом по дороге белой
от фонаря дрожащий луч бежал. . .
И я сильнее вдруг затосковал —
и реквием душа моя запела.

Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь тревожно бьет,
песком заносится и пылью обдаётся,
земле сырой всего себя передает.

Всё в новые на свете формы переходит,
всё движется, течет, не хочет ждать.

И человек по землям бродит, бродит,
чтоб снова вечность под землей лежать.

И каждый день, и каждую минуту
то разверзается, то закрывается земля.
И человек судьбою схвачен, будто
его опутывает кольцами змея.

Но нет, есть в жизни распорядок строгий,
и что казалось хаосом — есть умный строй.
Всё чередуется: и счастье и тревоги, —
историю, как книгу, приоткрой.

Есть счастье победить в сраженье за свободу,
к оружию она зовет раба.
И если хочешь ты пройти к свободе бродом —
пойми, что этот брод всегда — борьба.

Земля — как мать, как солнца дар бесценный,
она тебя и носит и живит.
Законы материнства и борьбы — священны,
ни смерть, ни горе их не победит.

Всё движется рывками, трудно, туго,
наш путь вперед! Шаги бойцов тверды.
Орда фашистская, пьешь кровь, воруя!
Дождешься — не допросишься воды.

Подохнешь без воды. Народ твой вострепнется —
ведь он не раб, — потянется к борьбе.
Всё обновляется, меняется и рвется
к свободе — к истинной своей судьбе.

Ты зарвалась — да отвечать придется,
тебя настигнем мы, пиши пропало — крах.
Всё изменяется, и лепится, и мнется,
как глина мягкая у скульптора в руках.

А скульптор — сам народ, и он стоит, не гнется.
Он хочет жить. На воле хочет жить.

Всё поднимается, встает, растет, смеется,
ведь ты мертва, тебе — живых нас — не убить.

...Оркестр играл. В соседний переулок
процессия печально повернула,
сверкнули заводские окна... Высь
приподнялась, стремительные сабли
прожекторов скрестились, обнялись
и в облаках тревожно шарить стали...
С еловых веток лапчатых свисали
обрывки снежной пены...

Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь тревожно бьет,
песком заносится, и пылью обдается,
и зелеными из земли опять встает.

Вот и ров
и кладбище. Коней остановили.
И приподняли гроб. Тогда с дерев
посыпалась вдруг ледяная крупка,
позванивая. И от льдышек хрупких
стонала тишина. И я под гроб
плечо подставил. Медленно, неловко
скользили мы с сугроба на сугроб.
Нас обгоняли люди — кто с веревкой,
кто с заступом (спешила жизнь сама!), —
их догоняла хлопьями зима.
А люди шли, подолгу застревая
в снегу, точь-в-точь как мы. За темнотой —
кресты. Мы с нашей ношею святой
пришли на пустошь. Стали мы у края
глубокой ямы. Гроб опустили с плеч
и осторожно на сырую глину
поставили его...

«Возмездья меч, —
так начал речь оратор, — Украину
и всех нас спас! (И загудела даль.
Упала мать у края темной ямы:
«Откройте гроб! Сыночек, ручку дай!

Зачем заколотили гроб гвоздями?»
... За ней жена — не плачем начала,
а хохотом рыдания: «Мой сокол,
Степан, проснись!»)

Мы будем мстить жестоко! —
сказал оратор. — За деянья зла
ответит враг. В бой! Нет, никто не в силе
нас побороть. Непобедим народ!
Вот партизан нам руку подает
из Югославии! Ряды сплотили
повстанцы в Польше, острые ножи
уж наготове! Встало Закарпатье.
Кипит и Чехия... Бой не на жизнь,
а на смерть! Всех тиранов без изъятья
казнить и всех, кто с ними заодно...
Тот будет жить, кто был отважным сыном
страны родной! —

Мгновение одно
молчал оратор. — Он за Украину
замучен был — товарищ твой и мой... .

(Жена и мать рыдали. Крики, стоны —
смешалось всё. Окутанные тьмой,
стояли мы как тени. И каленой
сухой иглой мороз нам душу жег.)
Герой не умирает! Свято дело
Степана и бессмертня залог!
И после смерти он зозет нас смело!»

... Раздался залп. Он воздух так качнул,
как будто буря в землю нас вдавила.
Тут плач, и крик, и стон... И тяжкий гул
громовый прокатился. Поглотила
земля Степана. Стали засыпать
забитый гроб. И глухо отвечал он.
И стон родных вновь начал повторять
рыдание оркестра. Лишь сияла
звезда вверху...

А трубы скорбно плакали.
Тарелки звонко звякали.

Бил барабан как будто в грудь:
ты славно завершил свой путь.

... Уж выплакался я!
Не знаю, с кем и как я возвращался.
Сияла в снежных звездах вся земля...
И реквием в душе моей раздался:

«Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь тревожно бьет,
песком заносится, и пылью обдается,
и зелеными из земли опять встает».

Домой пришел я, во дворе
в снегу еще торчит моя лопата.
И в страшной высоте,
как на горе, —
какая тишина! —
зеленоватый
далекий звездный свет...
Сияй, свети! Мы горе перебором;
священной мести мы верны законам
и заступом в могилу вместе с горем
врагов загоним...

Всё поднимается, встает, растет, смеется.

Мы живы. День победы недалек!
Слова: «Войны окончен срок» —
нет, не произнесут уста,
пока не захрустит последний позвонок
фашистского хребта.

Хотя и тяжело нам!
У каждого семья — жена иль мать.
Но не дадим себя врагам
сожрать!

Я дома лег на жесткую кровать,
закрыв глаза. Вокруг всё тихо... тише.. ,

И катафалк передо мной поплыл опять,
и я услышал:

«Всё поднимается, встает, растет, смеется»,

и я услышал:

«Всё в новые на свете формы переходит.
Ведь ты мертва, тебе — живых нас — не убить».

И видится: Степан поднялся, ходит
бок о бок с Ярославом. Жить нам! Жить!
И в поле тракторы гудят. И вьется
над полем жаворонок. И летит
на конях молодое поколение —
сюда, сюда. . . Ведущий говорит:
«В руках у нас великое уменье —
бороться до победы. И не раз
потомки в песнях будут славить нас.
Мы победители. Страданьем, горем
болел народ. Мы горе перебором!»
Мать Ярослава и Степана мать
им вынесли воды. И люди пили.
И вдруг ряды сомкнули: побеждать!
И полетели в бой на крепких крыльях
отваги. И в небесной глубине
гудели эскадрильи. . .

Тут в испуге
проснулся я. Темно! И в тишине
по окнам зачастили когти вьюги.
Она скреблась по стеклам. Со всех ног
бежала по сугробам. Стойте! Где я?
И вдруг припомнил всё. И я не мог
заснуть: непобедимая идея
свободы, человечности, тепла
меня, словно дитя, приподняла —
и стало видно всё как на ладони.
Еще мы будем жить — и ты и я!
Взовьёмся вверх плющом мы по колонне!
Мы города отстроим! И сады
насадим! Жизнь всё лучше будет, краше.

А Гитлера кровавые следы
бурьяном зарастут. И совесть наша
заявит: суд идет! палач — с пути!
Мы живы! Наше бытие нетленно!
Среди живых — ты мертв!
Ты мертв!

И вдруг буран как засвистит,
буран — неугомонная сирена...

Я вслушивался. Захотелось мне
на берега Днепра — всё дальше, выше!
И снег по стеклам скребся в тишине...
И я услышал —

как трубы где-то плакали,
тарелки тихо звякали,
бил барабан как будто в грудь:
«Ты славно

завершил

свой путь...»

1942

269. АЛЛА ТАРАСОВА «АННУ КАРЕНИНУ» ЧИТАЕТ

Осенью 1955 года в Праге делегация Верховного Совета СССР устроила прием чехословацким артистам и писателям. В конце приема наши друзья попросили члена делегации народную артистку СССР Аллу Константиновну Тарасову прочитать им отрывки из «Анны Карениной».

— Ой, не откажите! — бросились они к ней. — Мы ведь так хотим вас послушать, — все обступили ее.

«Ну что ж, — сказала
Алла Константиновна
покорно, —
если участь моя такая
(и зал весь словно замер),
тогда я
давайте отойду в сторону
и стану там».
Тут наступила
такая тишина,
словно передавалась она
мирам...

И вот уже
как волна —
сначала горячо-нежна,
потом
прозрачно-родникова —
речь,
то радостна, то страшна,
как глубина океана.
... Слово Тарасовой раскрыло нам
Анны Карениной душевную рану —
всю до дна.
Речь лилась
сначала горячо-нежна,
а потом
беспощадно-сурова.

Тишина.

И в каждое слово
мы жадно вникали.
Я ж снова и снова
сквозь раскрытое окно

охватывал слухом и взором,
как
там через кварталы,
воробы, летая над стрельчатым собором,
чудно
каркали да кричали,
крякали да цокотали,
суетливы, неугомонны...
Кричали...
Ох эта им осень,
ох эта слякоть, что с неба плывет!
А может, пустить меж людей какие-нибудь
забобоны?

На чистую неба просинь? . .
Ты знай одно — поругивай,
покаркивай, запугивай
их всех войною.

И видно мне,
сколько же гноя
плывет с чужого моря и суши
и словно бы окна уже заливает,
и дни,
и ночи... . .

Но слушай:
Алла Тарасова
дальше читает.
. . . Выпала на долю Карениной
нежданная радость —

как сон:

Вронский на нее у входа в вагон
глянул влюбленными глазами,
на него взглянула в тот миг и она,
а душа запламенела цветами,
сердце пьянело,

как от вина... . .

Сердце счастья хотело! —
даже ценой самоотречений,
но только без яда, без жала,
без домостроевских воспрещений.
Анна всюду его искала —
так не сейчас ли оно прилетело?

Продолжала
Алла
и далее. . .
. . .Слушали мы —
шевелинуться не в силе:
как ужасна была жизнь и зла и тьмы
в царской России!
Подавшись вперед,
мы слушали Аллу,
захвачены
 искусства красотой.
Воображали
 своими сердцами,
что с нами
 и Лев Толстой.
Это же он,
повернувшись чуть боком,
в творческой печали
с нами Алле
 внимает.
А ветер ему вперекор
бороду, что у пророка,
на весь мировой простор
 раздувает. . .
И хотя Толстой не был пророком, —
не уставая,
 оком
 художника
всматривался в темное море зол,
он глубоко распознал,
что на одной стороне —
 массы народные,
их жизнь трудовая, святая,
а на другой —
 императорский произвол.
Толстой знал:
разве одна только Анна,
женщина высшего круга, страдала?
Беда непрерывно,
извечно беда
 посильней угнетала
женщину простонародья.

Но уже
не как жертву семейного срама и стыда,
а как рабыню труда,
рабыню труда.
Где ж для нее это счастье, любовь?
Царская рука
 не жалела любого
рабочего,
 крестьянина-бедняка.
Ох и дикие времена.
Жизнь будто ночь темна.
Дни беспросветны, серы;
непроходимы, безрадостны дали...
Под пятою бездушной морали,
под вуалью лживого света
распутники, святоши, лицемеры
сломить хотели навек
женскую душу, счастьем не согретую.
О! с каким вождельем
терзали они
ее, непокорную,
и со злобой —
 безвинно опозоренную —
бросили
сухому извергу
на суд...
...Тут
 скрипнула дверь,
что с боку,
 и я поглядел направо.
Откинувшись на спинку стула,
рядом с дедом кудластым
поэтесса — восторженно-глазаста,
 краснощека —
вся
 в рассказ Тарасовой погружалась...
Подавшись вперед,
слушали и соседи слева,
 захвачены искусства красотой.
А мне интересно, право,
 куда это делся
Лев Толстой?

Вон только дверь зияет

темным проемом

в коридор...

Да еще в окне

(видно мне)

вороны,

обсев стрельчатый собор,

накаркивают угрозы всем упорным,

кто хочет в мире жить свободным, непокорным.

...И нежданно — крик!

Предсмертный крик!

Анна Каренина бросилась под колеса вагона!

«Где я? — в ней мысль пролетела. —

Что творю? Для чего?»

И так же тревожно звучало у Льва Толстого:

неужель не могла дать отпор достойно

жестокому закону?

Тишина у меня в ушах зазвенела.

Звенела она полминуты? полвека?

Ах этот крик...

Одинокого человека

в этот миг

жизнь побежденная...

Что за век? Что за ночь без границ?

Ни начал, ни концов...

Но тут загремел аплодисментов гром.

И над всем

расцветом просветленных

лиц —

одухотворенное

Аллы Константиновны

лицо...

«Мы вам безгранично признательны!» —

все бросились к ней.

«Вы прекрасны, вы замечательны!» —

ее окружили.

И первая среди них

Майерова Мария славная,

и второй среди них

Незвал Витезслав.

«Послушать вас —
мечта наша
давняя».

Лавиной приветные клики, лавиною. . .

А меня
словно вихри могучие подхватили,
высоко подкинули
и на горé поставили.

. . . Там тучи идут, небо темня.

От берега чуждого грома всё ближе. . .

Мы же —

и молодые и старые —
радостно обнимались
и словно брат сестре,
и словно сестра брату
друг другу душой признавались.

Праздник наш увенчан братскою славой.
С нами слово русское, величавое.

Славен человек, весело в доме новом.
С нами богатейшее чешское слово.

Всеедина дружба наша старинная.
С нами и словацкая речь глубинная.

А еще украинского слова звучанье:
то братству народов звучит величанье!

Небо с Запада тучами крылось.

А у нас

сил всё больше копилось
в нашем дружном дому!

Никому не сдаемся на милость,
никому, никому!

Недруг

мир не измытарит.

Молния самому

в голову ему ударит.

Поле наше раздольное
всегда к посеву готово.

Только покличь —
и победоносное племя вольное,
миллионовольное

перед силою злою
разом пойдет за тобою
когортой отважных бойцов...
Нашей вечной дружбы

неразрывно кольцо!
А поле взлелеем обновленное —
только покличь.

...И среди всех
радостных лиц
одухотворенное
Аллы Константиновны
лицо...

1955—1956

270. МОЕ ДЕТСТВО

О годы детства, из дальней дали
зачем вы в гости к себе позвали?

Зачем зовете, зачем томите?
О чем у сердца спросить хотите?

В гостях у вас же дают любому
да не по кубку по золотому —

там хлеб водицей лишь запивают,
да по спине там ремень стегает.

Ой мир жестокий, мир изуверский,
елейно-тихий и тут же зверский!

Псалмы приелись и перезвоны,
а ты смирайся да пой «каноны».

Целуй ты образ — он «чудотворен»,
хотя замызган, как уголь черен.

Попрыгать хочешь и порезвиться?
А бог вон с неба перстом грозитя.

Тот бородатый отец небесный
идти велит нам дорогой крестной.

Он что-то ткнет вам, он что-то кинет, —
кто жив молитвой, тот, мол, не сгинет.

Чтоб мы, под крестной, тяжелой ношей
согнувшись, жили скотины плоше,

чтоб на царя мы не поднимались,
чтоб век рабами мы оставались.

Пой, о березе, о дубе грезя,
но позабудь ты о «Марсельезе» —

о той горячей, о той рабочей,
что раскрывает на правду очи.

Ее узнал я от дяди Кости
(он приходил к нам обычно в гости):

«А ну, поддай-ка
напева ярого
на страх златым кумирам!
„Отречемся
от старого
мира!“»

1

В тот день, когда, уставши от тревог,
с отцом мы исходили весь Чернигов,
мы в «Странный дом» зашли. Чтоб ночевать.
То ль странники, то ль, может, шаромыги
сидели там. Горел огонь. Из книги
читал один из них: «„И аз рекох. . .“
Ну вот же неразборчива печать!
„И аз. . .“» (На нас он поглядел.) Вериги
с себя снимал другой там. «Господь бох», —
он с болью повторял. Кряхтел, стонал.
Въедались в плечи ржавые оковы,
он мазал язвы со следами крови.
О боже, эти муки стариковы
есть подвиг! Я на нары лег. Устал.

Устал! Но всё ж не сразу я заснул.
Мое шальное сердце билось, билось. . .
И так же к подвигу оно стремилось,
чтоб землю всю тот подвиг всколыхнул! . .

На нарах стали нищие шептать
друг другу тихо: «Глянь. . . святой. . .
подвижник!»
А кто-то молча сплюнул: «Шаромыжник!
Еще б на шею нацепил булыжник. . .»
Последних слов не мог я разобрать.

За кухню, в чулане без окна,
я стал квартировать с альтом Алешей,
одолеваем гнидою и вошью.
Кругом же юродивые, святоши
да чернецы с походкой кабана.

Дверь из чулана — прямо в коридор.
Окно слепое в узенькие сени
с сортиром. А еще вчера в селенье
резвился я. Сейчас нельзя: смиренье!
Ведь монастырь. Архирейский хор.

Еще вчера, когда я наконец
был принят в хор, мы пели ирмосы!
А в ирмосах Мойсея, Аарона
хвалили, проклиная фараона.

И выделялись тут басы.
Мой лоб отведал тут же камертона —
вертелся я. «Эх ты... дискант! Малец!»

Одно — крестись да пой, псалмы тверди.
Бурчит в тебе живот голодным тоном.
Насыться ладаном, насыться звоном.
Щипнет тут руку регент камертоном,
аж зашипит: «Ну ты мне там... г-гляди!»

Я и гляжу. Ведь было всё впервой:
и херувимы в белом одеянье,
и хоров переменное звучанье,
монашье в руку чинное зеванье,
и самый воздух, мертвый, неживой.

Монахи били нас в монастыре.
Мы впроголодь на голых спали досках.
И ночью мне рассказывал Алешка,
что к чернецам приходят дамы в брошках...
Мы засыпали только на заре...

Приходит ночь. В чулане — как в гробу.
Уже я к новой жизни привыкаю,
но всё же, какова она, не знаю.

Как только мать с отцом припоминаю,
так снова кошки на душе скребут.

Приходит ночь. Вдруг — грохот, кавардак, —
то лезет пьяный октавист Нетяпа
и начинает нашу дверь царапать,
о богородице срамное ляпать. . .
«Алеша, — я шепчу, — ты спишь? . . .»

Всегда

из умывальника всё каплет в таз.
Нетяпа нашу дверь ногой пинает
и с коек на пол тащит нас, икает
и тычет носом в темноте, копает
да кулаками по-медвежьи — р-раз!

«Я гибну сам, — кричит, — в грязи проклятой!
Так хоть на вас я злость сорву в отплату.
А! . . Ты кусаться? Получай же в дар!» —
Еще удар, еще, еще удар —
и чую крови вкус солоноватой.

Из умывальника всё кап. . . да кап. . .
А пьяный у себя уж за стеною —
то крикнет, то икнет, а то густою
октавой прогрохочет глубиною. . .
А дальше — с присвистами конский храп. . .

И снова тихо. . . Непроглядна тьма!
Сквозь стекла двери ясно различимы,
в ночи огнем сияют негасимым
одни глаза звезды моей любимой. . .
«Алеша! . . Спишь? Ну что тут за тюрьма!»

На своих твердых лежаках мы лежим в темноте. По-
тихоньку течет наша беседа, пока и сон не сморит.

Алеша рассказывает, бывало, мне:

— Под водою лодка плавает — закрытая лодка! —
ты понимаешь?

— Ну, и где ты взял?

— Читал, Жюль Верн.

Алеша рассказывал, как черт в канун праздника пе-
ребрасывал из рук в руки горячий месяц.

— Ну, и где же ты вычитал такое?

— Читал... Гоголь!

Я:

— А! Так и Поля, сестра моя, читала нам Гоголя — «Тараса Бульбу».

А то еще начнет о том, как промеж звездами — ковер-самолет...

Тогда я начинаю свои знания ему выкладывать. Тогда и я начинаю ему рассказывать, как под землею долбят каменный уголь...

— А песня Лихача Кудрявича!

— А «По синим волнам океана...»

— А Исаакиевский собор и не знаешь. Ага! А вот и не знаешь!

— А большой кулак! А у каждого в подошвах не гвоздики, а ухнали. Ага!

*

В ночи на кладбище меня пугал
огонь... Шел кто-то засветить лампы.
Вот Милорадовича-графа чада.
А там вон князь лежит. Камней громада
мое не грела сердце — я бежал.

Чтоб монастырь берег их вечный сон,
они еще при жизни заплатили
большие деньги. Рай себе купили.
Чтобы на Страшный суд их подхватили
архангелы — и к богу на поклон...

Архангелы... Я их боялся всех!
Они понарисованы с мечами.
Я меж могил ходил, как между пнями,
чтоб их не зацепить! Хотя б речами
своими не ввести себя во грех!

*

...Одно всё — бурса, хор.
Я встретил раз Овсия и Мокрину
и так им рад был. «Что ж, учись, хлопчина», —

вздыхнул Овсий. Мокрина ж половину дала коржа мне. И пошла в собор.

Бывало так. Пробьют часы зари — идем молиться в церковь, как ведется, а в голове чудное заснуется, смешное что-то. Или запоется:

«Вышли в поле косари
косить утром... Ти-ри-ри...»

в

Когда из бурсы я, чуть опоздав, входил в трапезную, то мне обеда послушник не давал уже. Ехиду я эту не любил. В слезах обиду скрыл — и во двор!.. Алешу поджидал.

А во дворе Евпраксий-эконом ругался с дровосеками завзято. Просили те: «По пять какая плата? Прибавьте же!» — «Однако супостата и не проси: он весь пропах вином!» —

сказал один из них. И вдруг схватил топор и так ударил им в обрубок, что тот весь разлетелся!.. «Возле грубок пусть греются. Пускай своих... там... любок... А ты не слушай!» — мне он пригрозил.

«А кто отец твой? Говоришь ты — дьяк? Ну что он в нашем деле разумеет: как тяжек труд, что наш мужик имеет... Уж разве только деньги драть умеет? Да что ты? Что за слезы? Ведь я... так...»

Другой тут: «Хлопца ты не обижай. Он вырастет и сам всю суть узнает: что бог, что царь, что церковь означает. Евпраксий ведь монах... А выпивает... Ему же кланяйся и угождай...»

Так, словно мы. . . рабы. А кто они?
Ну что ж, мы мужики. Без просвещения.
А дать могли б такое обученье
отцам всем этим. . .» — «Но молчок! Терпенье! —
сказал тот, первый. — Тише! Не бубни!

Тут есть монахи — помянуть добром
еще их можно, трутни — остальные.
Припадочные любят их шальные.
Давно мне омерзительны такие.
Пусть разразит их молния и гром».

Слова, которых я и не слышал,
до моего тут слуха долетали
(тихонько дровосеки зашептали):
«Помещика. . . наемни. . . зарубили. . .
А тех, его убийц, — и след пропал. . .»

А вот идет Алеша, поспешил
к нему я: «Не обедал? Да? Голодный?»
А он: «В трапезную — канал обводный:
в окно я влез. Хотя неблагородный
поступок, — глянь, какой пирог стащил! —

И подмигнул: — Да и тебе я дам, —
бегом! . . .» И мы под звонницей проходим
на улицу, а дальше ходом-ходом
да в лопухи, что под пивным заводом
владельца Вондрака. Напополам

пирог большой переломив, мы тут
уже нисколько не дали оплошки. . .
В ладони глянули — а нет ни крошки!
И засмеялись: ох, еще б немножко. . .
Вишь. . . для монахов. Знатно как живут!

4

И я стою и ангелу дивлюсь,
что на меня поглядывает чинно
с дверей, из алтаря. В грехах невинна,
идет ко мне босая Магдалина
с иконы, со стены. . . И я страшусь,

с собою я борюсь, чтобы унять
припевочки, что лезут в уши сами.
«...Ой, за гаем, гаем, ой да за лесами,
там пахала дивчиночка черными
волами...»

О господи! То грех... А тут опять,

опять из песни катятся слова —
и снова память песню выдавала:
«Пахала, пахала, погонять устала,
да наняла козаченька...»

Скрипочка, играйся!»

А сверху ангел мне кричит: покайся!
А левый клирос грустно подпевал:
«...Хоть бы ты в пекле да не побывал!»

Но регент тихо цокал языком:
внимание! Хоть в голове мутилось,
а пой! Паникадило засветилось.
Закончил уж гнусавить левый клирос,
из алтаря пошли попы гуськом.

В глаза же словно сыплет кто песком.
В парчовых ризах, в черных клобуках,
как две стены посреди церкви стали —
плечами к алтарю — да озирали
друг друга, а потом понаклоняли
все разом головы свои (аж страх

меня тут пронял): шел архиерей.
На голове — серебряная митра.
(Я шепот слышу тенора: «Макитра!»
Ну, а под ней — лицо в усмешке хитрой.)
Меня тут регент ущипнул: «Ей-ей, —

он тихо зашипел, — опять Павлú
да всыпать надо — не терял бы слуха!»
Нам задал тон — и хор хвалу заушал,
я почесал ущипнутое ухо
и господу в слезах запел хвалу.

А две стены косматых чернецов
(как будто ветром лебеду клонило)

все кланялись. Между людьми ходило
вдыханье покаянное. Кадило
им стряхивало звоны бубенцов. . .

И пел наш хор. А близ входных дверей
припадочная падала и выла.
Приспела братия — перекрестила,
за двери потянула. И застыло,
весь в золоте стоял архиерей.

Посреди церкви в ризах дорогих
стоял. А рядом — черноризцы. Свечи
горели. И под гул церковной речи
я всё никак не мог забыть о встрече
с той нищенкой. Ах, сердца нет у них!

Как вспоминаю — снова стыдно мне
за чернецов «святых». У них несмело
просила бабка: «Дайте престарелой!»
Они ей: «Братия сама не ела.
Голубушка, нет подаянья, нет!»

Протянутая в воздухе рука
повисла. Тут в трапезную звонили —
пошли монахи. Животы набили
и, отрыгая сыто, говорили:
«На даровщинку нищенка падка».

А, может, им велел так делать бог?
Еще ведь был я мал — и всё боялся,
чтоб бог меня не погубил. . . «Прославься! —
ему наш хор гремел. — Ты нам являлся
в грозе, в огне, в следах священных ног».

Когда ж на смену левый хор взывал,
мы к алтарю лицом тут обращались,
и я слышал, как тенора шептались:
они с Максимом Горьким, вишь, спознались
и вместе побыли. . . на дне. Я знал:

как раз в Чернигове тех давних дней
про Горького Максима говорили,

что человек он небывалой силы,
в Москву по дну к нему все приходили.
Однако... можно ли дышать... на дне?

Кадило звякало... Рядом икон
всё кланялся старик монах и дымом
от ладана чадил... Под херувимом
тенор шептал: «С тупым борись режимом!
Народ страдает. Где ж такой закон?

Тут собственное сердце вопрошай:
зачем донныне нас бесправье косит?
Зачем темны мы, голодны и босы?
Поможет нам святитель Феодосий?
О нет! Максима Горького читай».

А что читать — не всё я разумел.
И если верить — Горький с босяками, —
то, значит, он со дна того руками
выводит, что ли, их? Пусть дно песками
затянуто, а он-то ведь сумел!..

«А „Искру“ -то успел ты... прочитал?
...Ты незаметно дай... Внизу... Рукою...»
Как сон: девятьсот первый год. Зимой.
Архангел бдительно следил за мною —
меня от искры словно сберегал... .

Узнал потом: один из теноров —
то был семинарист Подвойский. В серой
тужурке. Глаз теплень. Был дружбе верен
он до конца. С царями полумеры
в борьбе не знал. За правду был горой!

Как стал он репетитором у нас,
всегда учил быть совестливым, чистым.
И сам он был и ладным, и огнистым.
Монахов ненавидел: те с «пречистым
смиреньем» пили водку всякий час.

И что-то передал он тайно
кому-то в руки да в карманы, —

я чувствовал, хоть не глядел,
как ловко передать сумел.
А хор наш пел про херувимов,
и я внимательно смотрел
за регентовым камертоном,
чтобы опять он не ударил,
а то не удержусь и гляну
на херувима, что висел над нами
с мечом на расписном плафоне.
Тот херувим смотрел так грозно —
ведь он же непременно видел
Миколы Ильича поступок.
Хотя б не грянул гром небесный.
Пою — и грезится мне что-то,
да вдруг — разбужен камертоном:

«Не спи, а пой про херувимов».
. . . Потом я думал: «Горюшко мое!
Я слышал сам — про искру ведь шептали.
Из рук да в руки шла. . . Куда ж девали —
не видел я: хор загремел в хорале:
„Хвалите господа на небесах!“».

Ведь был я мал, и в толк не мог я взять:
как это искру передать возможно?
Я спрашивал его неосторожно,
а он: «Ты что! Молчи. . . птенец ничтожный. . .
Из хора, может, вздумал вылетать?»

Доволен будь, что регент не слышал,
а то тебе изрядно бы досталось.
Ишь ты, в мальце пытливость разыгралась. . .
Беги — помалкивай, что б ни случилось».
Тут повернулся я и деру дал. . .

Потом сомненья дух терзал меня.
Я сам слышал: про искру ведь шептали,
из рук да в руки взяв. Куда ж девали?
Иль силы темные им помогали?
Но не было ведь треска и огня. . .

Подвойского Миколу Ильича
не раз добром я в жизни вспоминаю.
Не раз над ним я в песне зарыдаю.
Любовь к нему я в сердце сберегаю.
В моей душе горит он как свеча.

И память продолжает всё хранить. . .
Родителей я вижу молодыми.
Детей у них! Девятый я меж ними!
Совета Морачевской Серафимы,
наставницы, просили: «Как учить?»

Давно то было — как не вспоминать!
Начало века. . . Я из сельской школы
взят в монастырь. Днем — неокрепший,
квёлый —
хожу я в бурсу. Ночью — невеселый
чулан убогий. Что я мог там знать?

Подвойский семинарию кончал,
а я лишь в бурсе начинал ученье.
В смиренно-овчьем душном окруженье
(верней: в чернечье-волчьем) без смиренья
и страха прямо он себя держал.

Не знал я, чей он, как и где он рос.
Лишь знал — не сетовал на долю злую.
Имел в натуре доброту живую!
Заметил как-то он, что я рисую,
и мне все краски в ящичке принес.

Всю жизнь подарок в сердце тот несую.
О как в душе моей те краски пели!
Глаза впервые цвет понять сумели,
впервые кистью руки овладели.
И я вбирал всю бытня красу!

О нет, Миколу Ильича
всегда добром я вспоминаю.
Еще не раз я в песне зарыдаю
над ним. Люблю его без края!
В моей душе он как свеча. . .

Ильич тогда меня включил
и в светский хор. Я вечерами
в Народном доме пел — не в храме
за монастырскими стенами.
Я не забуду Ильича.

*

Над жизнью сумрак нависал. . .
Мне было нелегко — годами
молитвы петь над мертвецами.
Вдруг. . . словно я приник руками
к напеву: «Звездочка-краса».

Год девятьсот второй. Как раз
тогда полвека отмечали
с дня смерти Гоголя. И в зале —
наш хор. Возвышенной печалью
тот вечер душу мне потряс!

Всё чаще стало воскресать
в душе: вот я в Народном доме,
и, ясной памятью влекомы,
слова,
что так близки, знакомы:
«Откуда, звездочка-краса?»

Я говорил: «Ой, звездочка, свети!
Отныне будь надеждою моею,
что сделать много доброго успею,
что новой жизни песню спеть сумею
и счастье в этом я смогу найти».

Немало песен русских хор наш знал
и украинских. Публика шумела.
В антракте пили чай мы с булкой белой.
И сила новая во мне вскипела,
когда «фонарь волшебный» засиял.

Меж стульев мы пристроились в тиши,
из «фонаря» лучом широким било,
являлось Плюшкиным, Кувшинным Рылом, —

оно смешно о чем-то говорило,
и мы над ним смеялись от души.

Такое неизвестно было мне
в монастыре и в бурсе. Там чадили
вонючим керосином — тут светили
электролампы. Сам с такой я силой
светиться стал, как месяц в вышине!

Когда наш хор с эстрады загремел:

«Богачу-дураку
И с казной не спится.
Бобыль гол как сокол
Поет, веселится!» —

я в первый ряд взглянул, а там сидел
сам губернатор. Рот его кривился.
У губернаторши на голове белел
хвост страуса — он был пушист,
и под ее он кашель-свист
от злости колотился. . .

«Откуда, звездочка-краса?
Что рано так на небеса
В одежде праздничной твоей,
В огне блистающих кудрей,
В красе воздушно-голубой,
Умывшись утренней росой? . . .»

Моя кружилась голова,
как в монастырь я возвращался, —
из тьмы уж выход открывался;
я Гоголю о том признался,
Жуковскому — чьи пел слова.

*

Ну что ж, возможны чудеса —
но вот такие, как со мною. . .
Пойдем, звезда, мы вышиною,
чтоб наша цель была святою,
была бы чистой как роса!

В тебе и свет и доброта.
Меня ты утешала в хоре,
еще ребенка. В смраде, в горе
жил одинок я, беспризорен
в мои мальчишечьи лета.

Была ты властна потрясать
и полнить сердце жизни током.
Не зря мне в возрасте глубоком
напев припомнился высокий:
«Откуда, звездочка-краса?»

И чаще стало воскресать
в душе: вот я в Народном доме,
и, ясной памятью влекомы,
слова, что так близки, знакомы:
«Откуда, звездочка-краса?»

1958—1960

271. В СЕРЕБРЯНУЮ НОЧЬ

*Памяти
Александра Ивановича
Белецкого*

Здесь мама спит. . . Так дышит в спальне,
как будто бы в степи кузнечик. . .

Трамваев дальних

звон последний.

В распахнутом окне сияют звезды.

Пахнуло свежестью ночной.

Я тихо встал. Спать? Невозможно!

В квартире темень. Нет, не спится.

В душе тревожно.

Звезды светят.

А листья словно бы вздыхают,

а листья сонно шелестят. . .

Два голоса во мне звучали.

«Ему бы жить! — промолвил первый. —

Но исчерпались

силы сердца,

и вот — упал. Как будто в бездну».

Второй был голос: «Ты молчи!

Упасть дано нам всё равно —

лицом ли вверх, лицом ли вниз.

Каких там благ нам ждать, каких?

Без разрешенья и без виз

натянешь в лодке полотно —

и в вечность выйдешь на тугих

волнах — наперерез, —

и лодку с морем заодно

баюкать будет свежий бриз. . .»

Вдруг слышу голос: «С каждым может. . . —

жена отозвалась с постели. —

И ты тревожен? . . —

вдруг спросила. —

А мне приснилось. . . будто в доме,

здесь, рядом, в кресле оң сидит. . .

Грядущее прочтет тебя
и подвиг твой поймет, любя.
Хоть времени и дерзок бег,
но в мысли вечен человек,
живет он, время торопя.
Стремителен и молод век,
но твой запечатленный труд
ни смерть, ни годы не сотрут.

Созвездья гроздьями сдвигались,
и ударялись, и дробились,
и разделялись

на соцветья. . .

О добрый друг наш, что с тобой?
Так тонок жизненный рубеж?

Что значит — встать на рубеже?
Расстаться с тем, что прочь ушло?
Всю жизнь гуманности тепло
ты сохранял в своей душе,
и в новом пламени идей
ты возвратишься в круг людей.
Пусть встретят в солнечном краю
всю душу ясную твою.

Далеко в небе речка тлела,
и полночь отошла, поблекла,
и побелела

ночь тревоги.

«И ты не спишь?» — жену спросил я.
Печален был ее ответ:

«А как же там его семья?
Могла бы жизнь им дорожить?
Да как тому и не пожить,
кто ценит корни бытия,
в ком человека прямота?»
А он (о ночь! о боль моя!) —
уснул, его не разбудить.
. . . Молчала грозно темнота.

Машина поздняя промчалась.
Взметнулась где-то песнь. . . и смолкла.

272. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИХТИМАК

...Только небо посветлело
и клубиться стал туман,
мы отправились в машине
из Софии в Ихтиман.

Едем вместе не впервые,
мы друзья с недавних пор —
я, и Пенчо, и Методий,
и четвертый друг — шофер.

Оживленная беседа
не стихала ни на миг,
крепко дружба побратала
за неделю четверых.

Настроенье было свежим,
точно утренняя синь.
Стекла в окнах опустили, —
в сентябре еще теплынь.

Не прохладно и без шапки,
хорошо и без плаща.
Ветерок врывался в окна,
что-то тихо вереща.

Пахнул дым хлебопекарен,
и во вздыбленной пыли
тротуар за тротуаром
дружно дворники мели.

Миновали чьи-то склады,
промелькнул последний дом,
на базар прошли крестьяне, —
город кончился на том.

...А мне

всё мерещится

снова и снова...

Что это?

Я еще во власти недавнего сна...

И мне всё еще кажется...
Я сознаю,
я понимаю,
что это во сне,
но хочу
до мельчайшей подробности
сохранить то,
что сейчас снится
и надо мной
свивается
в спирали,
в тончайшие спирали
дыма голубого...
...А что-то знакомое и родное
мерещится снова и снова.
Не говори,
что в жизни всё исчезает,
тает,
отплывает...
Миг —
и передо мною
осенние дали звенят,
точно емкое слово...
И мне вся природа себя раскрывает...
Солнце —
раскрасневшееся,
рыжее,
как в предбаннике.
То полотенцем обмахивается,
то переводит дыхание
в тени, в прохладе.
Лениво шмель гудит
на лету.
Здравствуй,
шмель,
давно не виделись!
Встретились
так ли,
иначе ли...
А прозрачность!

Вон, за дорогой,
у села, раскорячились
ветряки —
 как жуки
 за стеклом в спирту...
О чем-то задумался аист,
 подобрав под себя ногу.
Ветерок из сада
 станет
 ласкать
нежным цветением вишни,
и лето,
 медвяными сотами сыто,
на плечи природы
 руки положит опять
домовито.
И слышно
 (да тише вы, тсс! . .),
как
 далеко-далеко,
где
 за Киевом
 звонкий
 лесок,
меж ветвей
 трепещет
моей милой голосок:
«Кто ж присмотрит
 за тобою,
отведет
 в пути
 беду?
Милый,
 данный
 мне
 судьбою,
я к тебе иду!»
А дорога вдаль бежала,
как струна пряма, туга...
Склоны Витоши — направо,
слева — пашни и луга.

Тучки еле намечались,
лишь туман густел внизу.
...Ах, друзья, когда б вы знали,
что в душе своей везу!

На обочинах — плакаты,
смотрят весело на мир:
«Да живее наша дружба!»
«Дружба! Дружба значи¹ мир!»

...А далеко-далеко,
где
 за Киевом
 звонкий
 лесок,
меж ветвей
 трепещет
моей милой голосок:
«Кто ж присмотрит
 за тобою,
отведет
 в пути
 беду?
Милый,
 данный
 мне
 судьбою,
я к тебе иду...»
— «Приходи
 (кричу),
встречаю!
Приходи
сквозь дали ранние,
и помчимся
 вместе...
Хочешь услышать
от меня вести?
Солнцем явись из-за окоема,
неотцветающая весна моя,

¹ Означает (болг.). — Ред.

и всю природу
и мое настроение позолоти! . . .
Кругом, кругом,
кругом позолоти! . . .»
И я,
точно очнувшись от дремы,
бросился,
чтобы навстречу идти,
и глаза разомкнул . . .

А над миром — тихо-тихо,
даль недвижна, даль ясна . . .
А дорога всё прямая
и тугая как струна.

Пенчо был косая сажень,
пожилой, а сдать не сдал,
мысль в глазах его светилась,
отливала как металл.

Рокотал у Пенчо голос,
протодьяконовский бас.
Молвит слово, супит брови,
точно сердится на нас . . .

У него была привычка
ус жевать — положит в рот,
думу думает
и кончик
по привычке, знай, жует.

А Методий не плечистый,
да и ростом тоже мал.
Он лирично всё на свете,
близко к сердцу принимал.

Что там критика, отчеты,
если песня есть и смех?
Всех равно встречал Методий,
перещеловал бы всех!

Пел, однако, с перескоком —
то сопранил, то басил.
А усы едва пробились,
будто мак припорошил.

Молчаливей всех в машине
был четвертый друг — шофер:
жмет педаль и лишь порою
вставит слово в разговор.

Он в спецовке — в синей блузе,
а на голове — берет.
Димитрова из газеты
прикрепил к щитку портрет.

Приколол к нему гвоздики,
полыхавшие как жар.
Кто дороже Димитрова,
кто любимей для болгар?!

Вновь София предо мною...
В Мавзолее виден мне
Димитров во гробе красном,
изнутри — молочно-белом,
неподвижный в тихом сне.

И припомнился мне день его похорон,
как с болгарами нес этот гроб Ворошилов,
как, прощаясь, до боли, до слез потрясен,
пал народ на колени (оркестры и стон!),
как меня самого от рыданий душило...

О, прощальные слезы в порыве святом!
С Ковпаком я стоял в карауле и, помню,
о Болгарии думал. Я думал о том,
как она в историческом смысле огромна,
хоть совсем небольшая на шаре земном.

Сколько знала Болгария горя и зла!
В ней отпор, в ней железная стойкость
народа.

О болгарский народ! Ты стоял как скала,
ты веками отстаивал в битвах свободу,
и в столетьях твои незабвенны дела!

В счастье, в братстве теперь ты живешь
без оков...
«Друг, прощай! Ты почил, но, как прежде,
живое
сердце бьется твое под цветами венков.
Ты покрыл себя славой борца и героя,
ты бессмертье в народе обрел, Димитров!»

Дремлет тихонько земля,
поля
 розовато-нагие...
Тьма внезапно всколыхнулась...
Вспомнилась,
будто дальняя,
ночь недавняя,
последняя...
София
 предрассветная...
(Серая мгла
 небосвода,
 как электрический ток,
сквозь окна синие
 ко мне помалу
 в номер отеля вливалась...)

Хриплый гудок
 завода,
 одинокий в безмолвии,
 из соседнего квартала
прозвучал, как слова:
 «Вставай, вставай!»
Ждут тебя,
 не забудь!
Спешу к побратимам.
Пробил час...
Какой увлекательный путь!
Какое великое время!

Песней
о мире любимом
сей плодоносное семя!»)

А из-за дверей
донеслось:
«Эй!»
— «Да тише вы, тсс. . .»

О, как рано я проснулся!
Что же видел я во сне?
Снилось, будто дорогая
напевает песню мне.

Снилось, будто вижу Киев,
вижу кручи, солнце, высь. . .
. . . Где же я? Гудок завода. . .
Дорогая, отзовись!

Вмиг всё то, что сердцу мило,
отступило, отступило,
всё смешалось вдруг — и нет.
Только в окнах тусклый свет. . .

Вставай, вставай!
Слышишь — пробуждаются
в тебе
голоса?!

А из-за дверей:
«Да ведь даже еще не светает,
а вы уже. . . еще разбудите».
— «Тише вы».
— «Тсс. . .»

Снова сны. . . да жаль — иные.
Где я? В номере, в пути? . .
Что-то снится, не доснится —
весь я в смутном забытии.

(И я
словно не здесь,
не в Болгарии
на ранней заре,
а дома, в саду,
среди цветов и трав...
Синий-синий полумрак,
синий вечер на дворе
сумерничает,
звезды разбросав...)

И я сижу
на скамье.
Тишина и мгла.
А моя милая
головкой
мне на руки легла.

И я гляжу
в глаза ее серые,
всматриваюсь в улыбку детских уст,
обеими руками
головку поддерживаю
и укачиваю,
что-то напевая
ко сну...)

А над миром — тихо-тихо,
даль недвижна, даль ясна...
А дорога всё прямая
и тугая как струна.

(— Кто там шум поднимает?
— Эй ты!
— Кому это не сидится?
— Не тебе ли, неслух?
— Проходи стороною!
— Что ты всё вертишься —
вьюном?
— Замолчи!
— Не говори,
— что в жизни будто
— всё преходяще и бренно...)

И я
себя
на мысли ловлю,
что надо,
надо строить мосты
к вершинам истинной чистоты.

(— Чуждой идеологии
— душит тебя
— гниль и труха...
— Мысли твои убогие,
— сухие, как шелуха...)

Дышу высотой...
Даль летит
звонко
дальше
и дальше...
И думается мне
о моей Украине милой,
гей, там, в далекой стороне...

Где время колобродило,
но прошлого не скрыло,
где и Мефодий памятен,
где помнят и Кирилла,
премудрого Мефодия,
преславного Кирилла.

Над кручами, над плавнями
и в тополиной сини
шумят с ветрами аисты
о них на Украине,
навек они прославлены
на вечной Украине.

А небо в легком мареве,
голубизна без края...
У моря,
моря Черного
долинная
и горная
раскинулась родная

славянщина — Болгария,
сестра родная.

Миг —
и передо мною
вновь осенние дали звенят
как хрусталь...
А ветер всё вдаль, всё выше — в зенит,
и звонок, звонок над ухом звенит.

Будто мчится буйный ветер,
рвет, срывает первоцвет...
Кто-то за морем грохочет,
нас ножом ударить хочет,
черной тучей застит свет...
Сквозь звонок я слышу голос:
«Спишь? Отважно в бой вступаешь?»
Или гнешься точно колос?
Будь тугою тетивою —
понимаешь?»
— «По-ни-ма-ю!»
— «Не добудешь мир без боя».
— «Знаю!»

А ветер всё вдаль, всё выше — в зенит,
и звонок тревоги над ухом звенит.
А дальше —
всё, что сейчас приснилось,
изменилось.

(— Вот река на солнце играет...
— Коростель в осоке скрипит...
— Пастушка в лугах распевает
— и песня высоко звенит...
— А солнце...)

Звенит?!
Телефон?!
Ну да, телефон! Схватился я:
«Слушаю!»
Что, уже рассвет?

Это вы, Пенчо?
Доброе утро!
Через минуту
буду одет.

Погодите, Пенчо, а откуда вы звоните — снизу? Значит, все уже здесь? Ага, говорите, Методия еще нет? Вот вот подойдет? А быть может, зайдем к нему? Ну конечно, зайдем к нему, это ведь рядом. Ну вот и хорошо. Спрашиваете, как спалось? Благодарю... Ну а вам что приснилось?.. Знакомая девушка? О-о-о! Это приятный сон. Грудной голос? — слышу, слышу... А сама точно по-детски надутая... и ожерелье на шее. Гм... Как, как? Ступай, говорит, на восток с чистым сердцем, там родники воды живой... Так и сказала? Ну, это прекрасно! Чудесно! Видите, вечером вы говорили мне о ней — вот она вам и приснилась... Глядите же, теперь всё мне рассказываете — и оно непременно приснится...

А заря-то...
А заря-то
в темно-синий небосвод
над туманом
розоватый
первый отблеск солнца
шлет...

Темень
тьмою
не осталась:
всколыхнулась,
всколыхалась,
и, прихрамывая,
разбежались тени...
Свет
прорвался,
и в его свечении
снова
вспомнилось
недавнее.

(— Сердце в груди
— мучается
— бесконечностью
— мировую.
— Сколько неизведанного впереди!
— И ведь так хочется жить!
— С сердечностью...
С живою...)

...Чиркнул спичкою Методий,
закурил он, и на миг
вся машина осветилась,
на стекле зажегся блик.

А дорога всё прямая
и тугая как струна.
А над миром — тихо-тихо...
Даль недвижна, даль ясна...

Мне собрать хотелось мысли,
да некстати, не с руки
потревожил их Методий,
разлетелись голубки...

«Не закурите?» — спросил он
и меня от дум отвлек.
Догорела спичка, только
тлел с минуту уголек.

(— Да ведь мир —
он такой
— необъятный,
— просторный...
А тут еще раз:
«Тук-тук...»
— «Это я, коридорный...
Вы просили...»
Но на мои ресницы,
веки, в которых бессилие,
мягко чья-то рука —
— тихая,
— добрая,

— женская
ложится:
«Спи! . . .»)

А дорога вдаль бежала,
как струна пряма, туга. . .
Склоны Витоши — направо,
слева — пашни и луга.

Ах, Болгария,
я собрал для тебя пригоршни
драгоценных слов
и не знаю, какое из них
тебе отдать.

Где волны с перекатами,
где сторона Невьяна,
там сложены сказания
про Христо и Ивана,
героев — Христо Ботева
и Вазова Ивана.
Ты не раба тиранова,
ты предана свободе.
Поэзия Тарасова
живет в твоём народе,
и помнят Драгоманова
признательно в народе.

А небо в легком мареве,
голубизна без края. . .
У моря,
моря Черного
долинная
и горная
раскинулась родная
славянщина — Болгария,
сестра родная.

Берем подъем. . .
Нам вверх, туда, где как пожар
в горах рассвет.
Что это Пенчо рассказывает?

(«Там, наверху,
где Славкин Чукар,
Революционный комитет
постановил:
на отряды разделиться,
сделать бросок
на вершины Высок!
И вот нас повел
Милчев Димитр.
„Ну-ка, дай руку!
Держись
 за выступы камней!
Лазать по скалам умей —
и ты
 раздавишь гадюку!
Снесешь, снесешь
 голова гидр.
И если ты держишь нож,
 держи и брусок.
Взбирайся, взбирайся, взбирайся
 на вершины Высок!“»)

В гору, в гору, в гору, в гору!
Что там взору
в вышине
вновь открылось в колыханье,
в сизо-ранней пелене?

(Распахнул окно... Пахнуло
ранней свежестью... Туман...
Долетело снизу — кто-то
рассмеялся: «Ихтиман?»)

И с насмешкой тот же голос,
продолжая, произнес:
«Он давно зарос бурьяном,
он крапивою порос».

А другой сказал с укором:
«Ты такие шутки брось!
Сколько революционных
там традиций сбереглось!»

Кашлянул смущенно кто-то,
проворчал: «Не всё ль равно?..»
Тут слова рассыпал ветер,
лишь слышалось: э-о...

Кто-то дверцею машины
хлопнул, видимо, в сердцах...
Ветер пальцами коснулся
сизых тучек в небесах.

Начал мять... легко... как скульптор —
форму их менять слегка,
и, зардевшись, улыбались,
хорошая, облака.

Плыли понизу неспешно,
а вверху, лаская глаз,
нимб круглился, колыхался,
нежно-светлый в этот час.

Что же это за нимб,
который
тихо,
знакомо
сияет?
То любимая моя
звездочка одна,
что никак поутру
гаснуть не желает.
Я молча у окна застыл.
Молчала звездочка. Сияла.
«Чего ты от меня желала?
Скажи!» — я звездочку спросил.

«Откуда звездочка-краса?»
Хранят безмолвье небеса.
«Что ж ты молчишь в немом просторе?»

Ты не лукава, ты добра...
Я пел в Народном доме в хоре
давно, а кажется — вчера:
„Откуда звездочка-краса?“»)

А звезда смежала веки,
в небесах светя добром.
Может, Киев этой ночью
осыпала серебром.

А сейчас она бросала
сонный взгляд из-под ресниц,
от усталости качалась
с боку на бок, вверх и вниз...

И качался пряный воздух,
синий-синий аромат...
Кто посмел сказать, что осень —
это мертвый листопад?

Ветерок едва повеет,
всё шумит-поет кругом...
Быстро утро приближалось,
чуб рассыпав надо лбом...

Эта встрепанность заметна
там, где в зареве восток,
где на тучке рдеет прядка —
на гребенке рыжий клочок...

(А София просыпалась, —
окна, точно маяки,
загорались у реки,
и швырял с вокзала ветер
клочковатые гудки...)

«Ох и рассвет сегодня!» —
сказал шофер,
на мгновенье обернувшись
и стрельнув глазами в зарю.

А дорога всё бежала,
как струна пряма, туга...
Горы гордые — направо,
слева — пашни и луга.

Раскалялись на востоке
тучки, тлевшие едва,
а поближе — брызги сини. . .
День вступал в свои права.

«Ох и рассвет сегодня!» — опять восхищенно воскликнул шофер, ни к кому не адресуясь, и просигналил трижды, словно встречной машине. А меня так и потянуло повернуться к Пенчо! И я не сдержался, произнес тоном сказителя: «„Ступай, — говорит, — на восток, там найдешь родники воды живой“». А грудной голос! А носик — чуть-чуть вздернутый!» — «О! — откликнулся Пенчо. — Да еще, заметьте, ожерелье на шее». И я увидел, как Методий уставился на Пенчо и задумался — о чем? — глаз его я не видел. . .

А сиянье между тучек,
нимб, померкший в вышине,
всё качался, колыхался
в полудреме, в полусне.

Утомленно,
сонно
мигал он,
однотонно. . .
А, по нему расплываясь,
тучек пелена
мутно-белая
превращала его, ухмыляясь,
в пятно
неясное. . .
То звезда моя любимая,
оставшись одна,
всё никак
не хотела
погаснуть. . .

А я всё еще не отрывал от нее глаз. Но она поднялась выше и исчезла. И тогда я начал следить за тучками, которые ни на миг не оставались в покое, а всё громоздились, перестраивались, всякий раз являя глазам причуд-

ливые архитектурные ансамбли, воздвигая дворцы, вознося в небо соборы и башни, подобные московским кремлевским.

Тлел восход и разгорался
у земли, совсем внизу. . .
. . . Ах, друзья, когда б вы знали,
что в душе своей везу!

Я всё еще любовался изменчивым нагромождением облаков. Что за движение шло там, на востоке! Как ловко одна из тучек наплывала на другую, хитро вытесняя ее и становясь на ее место! Однако эта, последняя, давая отпор той, первой, точно от яростного гнева, багровела, а затем изо всех сил вонзалась в ненавистную обидчицу и острием наносила ей рану, наносила безжалостно — в сердце. . . Багровые брызги крупными каплями сыпались вокруг — там и сям — и тотчас расплывались, подобно крови убитой в океане акулы.

И тут шофер дал гудок — гудок протяжный, дал и проворчал: «Что за неосторожные люди! Чуть под машину не угодил!»

— «Да это все в Софию на рынок спешат», — откликнулся Пенчо.

Вот сторожка и шлагбаум.
Куры жмутся: ветерок!
А Методий: «Ну-ка, петька,
покажи свой тенорок!»

(Ветер с веток сбросил капли
и лицо обрызгал мне. . .

— Кто же на лугу
— чудился во сне?

В этот миг шаги любимой
я услышал в тишине.

Мимо нас по тротуару,
вижу, девушка идет.
«Цок, цок, цок. . .» — под каблучками
гулко улица поет.

Может, шла она на смену,
ждет ее в цеху станок.
Долго-долго до машины
долетало: «Цок, цок, цок...»

Ну, чего я дал осечку?
Вот машина... Грезить брось!
«С добрым утром! Извините,
вам долгонько ждать пришлось».

«С добрым утром!» — отвечаем.
...Зорька, зорюшка-краса!..
Отошел, стою поодаль,
только слышу голоса.

Настежь дверцы у машины,
и оттуда донеслось:
«...Ой, не оступись, девчонка,
чтоб лежать не довелось...»

«Боже, что ж это такое?!
Что ж не едем?.. Вот беда!..»
А в машине слышу снова:
«...Ой, тебе бы, молода,
под кустом в твои года...»

«Черт!.. Далась же парню песня! —
плюнул Пенчо. — Ну и ну!»
А Методий рассмеялся:
«Что ж, другую затяну:
„Без подошвы сапоги,
да еще не с той ноги...“»)

Странно, эти краски, эта ранняя прохлада... И перестук каблучков... «Цок, цок!» — и исчезло навеки...
Только ритм... Только цвет... Только музыка...

Только мчался нам навстречу
каждый столбик, каждый куст.
Под колесами машины
только шорох, только хруст.

ведь это вчера нашей делегации в Обществе болгаро-советской дружбы после обеда такой же чудесный, зеленополосый и смуглый, на куски разрезанный арбуз подали!

А сегодня
утром
делегация наша разъезжается на митинги за мир
по всей Болгарии — далеко! —
кто в Габрово,
кто в Плевен и Русе,
кто в Бургас, Шумен и Сливен.

А мы —
в Ихтиман.

С огромной радостью я вызвался ехать в Ихтиман.

Пенчо. Я вижу, вы любите этот город. Верно, бывали в нем не раз?

Я. Да нет. Еду впервые. Но знаю, как велико его место в революционных событиях двадцать третьего и сорок четвертого годов.

Пенчо. О! Это правда. Мы рады, что вам это известно.

...За горою-высотой
вновь и вновь голубизна.
А дорога всё прямая
и тугая как струна.

Настроенье было свежим,
как на зорьке лен в росе,
но клонила и усталость,
ясно — недоспали все.

И беседу обрывала
полудрема-тишина.
...А дорога всё прямая
и тугая как струна.

У шоссе туман на кленах
сизоватостью повис.
Белый голубь над туманом
в голубую взвился высь.

Лишь порою сигарета
тлела жарким угольком,
плыл дымок над нею сизый,
исчезая за окном.

Следом за дымком
незаметно и легко
я унесся мыслями
далеко,
далеко...

Снова девушку припомнил,
а с чего бы — невдомек...
...Долго-долго до машины
долетало: «Цок, цок, цок...»

Затянул опять Methodий:
«Спотыкнешься — не беда!
Очень просто оступиться,
да еще в твои года.

Ох, да разве ты святая,
разве милый твой — монах?
Витоша — гора крутая,
вся в деревьях и кустах.

Витоша — гора крутая,
ты ж девчонка молодая,
как оступишься, смотри,
никому не говори!»

Пенчо бросил: «Что ж это такое?!
Снова этот ваш канкан в дыму...»
А Methodий: «Вот как! Почему?»
— «Потому что песня с желтизною...»

С желтизною, с плесенью, с гнильцой...
Вы совсем, по-моему, иной,
так на что вам песенка-урод,
злостная подделка под народ?»

И светло в машине стало
от косых лучей в окне.
Мы невольно отшатнулись,
наши лица — как в огне.

На востоке плавилось,
плавилось-горело.
Солнце в блеске славилось
и метало стрелы.

Ветерок клочки тумана
принялся сметать с пути.
И запел Methodий: «Солнце!
Каждый день гори-свети!»

А огня прибавилось,
ярче, жарче плавилось,
плавилось-горело.
Солнце в блеске славилось
и метало стрелы. . .

Мы минутку помолчали,
а машина мчала нас,
и от Витоши остались
позади ряды террас.

А туман уже растаял.
Вон ягнята на лужке. . .
Пастушок читает книжку,
примостившись на пеньке.

Я воскликнул: «Гляньте, чудо!
Там — взгляните на лужок —
стих из Вазова Ивана:
„Да читай же, пастушок!“»

Самолет скользнул по тучке,
как по взлетной полосе.
Опадая, листья кленов
опускались на шоссе. . .

Гирляндой ало-розовой,
голубизны питомцы,
по небу тучки тянутся,
плывут навстречу солнцу.
Раскрывшеюся розою
вовсю смеется солнце.

Оно в горах раскинуло
на елях пламя-зареву. . .
В веках перекликаются:
«Украина!»
— «Болгария!»
С предивной Украиною
предивная Болгария.

. . . А небо в легком мареве,
а синева — без края. . .
У моря,
моря Черного
долинная
и горная
раскинулась родная
славянщина — Болгария,
сестра родная.

«Черт возьми! — в сердцах воскликнул,
тормозя, шофер. — Прокол!»
Грузовик, чадя соляркой,
нас неспешно обошел.

А в полях уже народу! . .
Всё убрать спешит народ,
что за лето уродилось,
чтобы жить в достатке год.

Ах, чудесная сторонка,
как ты сердцу дорога!
Горы гордые — направо,
слева — пашни и луга.

Все мы вышли из машины,
хоть никто и не был зван,
на меже остановились
недалеко от крестьян.

Солнце грело, как бывает
и осеннею порой.
Вот болгарин... нараспашку...
с непокрытой головой...

Улыбнулся. Крикнул: «Блага!
Гости к нам! Не видишь? Вот...»
Оглянулись мы — болгарка
из кувшина воду пьет.

«Гости!» — вскрикнула. Зарделась,
точно маленькой была.
А вода на грудь плеснула
и монисто облила.

Подскочила и нагнулась:
ведь и в пазухе вода...
И отряхиваться стала,
и смеяться: вот беда!

Ей смешно, а нам подавно...
Вышел дед из шалаша,
вывел за руку мальчонку,
верно внука-малыша.

«Стойте, воды голубые! —
крикнул мальчик. — Вас в канал...»
Тут, заметив нас, осекся,
оробел и замолчал.

Мы совсем развеселились:
«Что кричал он?»
А малыш
тотчас спрятался за деда.
«Ну чего же ты молчишь?»

Продолжай, сыночек. Помнишь:
„Где лесов сосновый дух. . .“»
И болгарка пояснила:
«Заучил стихи на слух.

А стихи-то о канале,
том, что имени Москвы.
Не из той ли вы сторонки,
не советские ли вы?

Мы Россию очень любим».
— «Ну, сынок, — сказал отец, —
почитай нам!» И мальчонка
стал читать, что истый чтец. . .

Мы знакомимся. Друг другу
каждый крепко руку жмет.
По-осеннему чудесен
был привядший огород.

А болгарка, отряхая
блестки капелек с груди,
позвала к себе мальчонку:
«Ну иди, сынок, иди!»

Подняла сына на руки,
стала целовать его:
«А не хочешь ли к Невьяне
прокатиться? Как „чего“? —

Мне же молвила: — Невьяной
и мою сестру зовут,
в вашем Киеве кончает
медицинский институт».

Тут и дед, седой, высокий,
Витоше под стать,
произнес: «А я хотел бы
вот что вам сказать.

Как вернетесь, передайте
от болгар привет.
Мы желаем вам, родные,
долгих мирных лет!

И о нас не забывайте,
возвратясь домой.
Пусть царят покой и счастье
на Руси святой!»

«Всё в порядке! Гей, по коням!» —
крикнул издали шофер.
Снова сели мы в машину,
понеслись во весь опор.

Ах, страна неустрашимых,
дорогая ты моя! ..
Ты у моря — Черноморья —
светишь миру как маяк.

Работящая сестрица,
поклониться разреши
и руки твоей коснуться
поцелуем от души.

Ах, Болгария! Чудесны
горы в синей вышине. . .
Слышу, как славянским сердцем
ты сейчас стучишь во мне.

Неуемна и кипуча,
ты бессмертна, дочь Балкан! ..
Все в машине оживились.
Слышу: «Скоро Ихтиман».

Знаю,
течет
река Марица
здесь,
поблизости где-то. . .
Я в памяти что-то ищу —
и никак не найду.

Огоньком трепещут листья
на осинах впереворот. . .

«Торопись, — тихонько шепчут, —
шире шаг (ведь путь далек!),
чтобы в жизни всё увидеть,
чтобы всё услышать мог».

.. Дорогие, родные мои!
Болгары и болгарки!
Я гляжу в ваши глаза
и вижу — дружбу,
вижу — любовь.
Я вижу в них
те родники
воды живой,
прозрачной,
святой,
о которых говорил мне Пенчо сегодня. . .

«На восток пойдешь,
где восходит солнце. . .
Там воды живой
светятся озерца. . .»

А солнце светит ясно-жарко,
словно тянет его
на праздник народный,
словно хочет
услышать смех. . .
А солнце лучи стелет-стелет. . .
Гей, не сбейся в пути,
к солнцу,
к солнцу
лети!

Кто отстал — над тем смеются
реки, горы и леса.
Ты лови тревожным сердцем
всей планеты голоса!

Не страшись дорожной пыли,
подставляй под ветер грудь,
до последнего дыханья
будь в движенье — в этом суть!

Скоро листья потемнеют
и пожухнут от дождей.
«Торопись, — тихонько шепчут, —
непогоду одолей!»

Всё, что тихо шепчут листья,
есть на дне моей души:
«Не старей, забудь седины,
в Завтра светлое спеши!»

Гей, лети
с душой вечнозеленой,
с юным сердцем
за юным солнцем!

Ах, какой в народе щедрый,
замечательный талант!
Ах, язык, язык болгарский —
в искрах солнца бриллиант!

Льются песни. Долетают
лишь отдельные слова.
Ах, болгары, ваши песни —
это неба синева!

Вливаемся в общий певучий поток.
Выходим за город. Помост деревянный.
За этим высоким помостом — лесок,
а перед помостом — большая поляна.

А далеко-далеко,
там,
где
за Киевом
звонкий
лесок,

А в Хиросиме,
а в Нагасаки
умирают люди —
через много лет после взрыва.
И не может быть на земле покоя,
пока могут повториться
Хиросима и Нагасаки...

А где-то кто-то свастику
примеривает впрок
и вторит эхо топоту
подкованных сапог.
И снова над Европою
попахивает кровью.
«Мы пепел ваш в освенцимах
развеем, как полу!»
И вновь блестит развенчанной
надеждою на «блиц»
орел тупоголовый
на головах тупиц.

...Крохотная болгарочка
сидит у отца на плечах
и глядит на меня:
«Ну гляди же, гляди
на меня и на землю мою!
Ну скажи, ну скажи:
„Слу-ша-ю!“»

И казалось, замер,
вслушиваясь, мир.
Слушай же, другарочка,
о борьбе за мир!

Ласточкою дружбы мы сюда летели
через горы, реки, степи и леса,
чтоб в защиту мира громом прогремели,
слившись воедино, наши голоса.

Не хотим, чтоб снова гром сражений грянул.
О народ болгарский, брат и верный друг!
Ты, познав свободу, наконец воспрянул,
досыта хлебнувши горечь тяжких мук.

Да! Свобода в муках рождена-зачата,
как и всё на свете, чем земля жива,
как и день Сентябрьский, светлый день Девятый,
ваш великий праздник, праздник торжества.

Не забыть вовеки, как бесчеловечен,
как безмерно тяжек был фашистский гнет.
Ваш народ поднялся и расправил плечи.
Димитров Георгий в бой повел народ.

Братья дорогие, другари родные!
Уж свободы солнце светит нам в окно.
Так могучи силы наши молодые
оттого, что все мы с вами заодно.

Ласточкою дружбы мы сюда летели
через горы, реки, степи и леса,
чтоб в защиту мира громом прогремели,
слившись воедино, наши голоса.

Мы хотим, чтоб небо вечно было чистым,
чтоб никто не отнял у детей весны.
Так чего же надо вновь от нас фашистам,
всем, кто снова сеет семена войны?

Грохотом и ревом в иступленье диком
нас они пугают, нам грозят мечом,
мы ж своим единством, истинно великим,
замысел кровавый в корне пресечем.

Пусть живут народы — каждый под звездою,
под звездою счастья, мирного труда!
Что ж в огне Корея? Что ж пришел грозою
из-за океана злобный враг труда?

Мы в боях познали братской дружбе цену.
Ты цветы, Болгария, вольная страна!
Нерушим вовеки наш союз священный!
Наша дружба вечна и судьба — одна!

Я гляжу, я гляжу
и дивлюсь красоте.
Я твержу, я твержу:
«Слы-ши-те?!»

Льются песни. Долетают
лишь отдельные слова.
Ах, болгары, ваши песни —
это неба синева!

Ваши песни неизменно
с юных лет всегда со мной,
и твержу я: «Слава, слава
нашей дружбе золотой!»

Ах как чисто ваше слово!
Я ему душою рад.
Точно хлеб, оно прекрасно,
как вода и виноград.

Всё таким чудесным было:
зелень трав и синь небес,
красный цвет вина. . . А яства —
просто чудо из чудес!

Сбоку двое кларнетистов,
чуть поближе к сосняку,
ожидали — не пора ли
приложиться к мундштуку.

Но о них пока забыли —
смаковали за столом
чудеса болгарской кухни,
запивая их вином.

Вдруг сверкнул — да так неожиданно! —
на кларнетах звонкий смех,
и танцующие звуки
подхватили сразу всех.

Может, хмель ударил в ноги? ..
Все сплелись руками: стоп!
И с притопом — влево, вправо,
снова влево и — притоп!

Да еще с веселой песней
про родной счастливый край.
Эй, резвее, ноги, ноги,
эй, быстрее, ну поддай!

В пляс пустились и болгары —
пожилые, молодежь, —
в пляс и русские пустились,
украинцы... Гей! Даешь!

По соседству под свирели
роют землю каблуки,
а вокруг и смех и хохот:
ишь как чешут старики!

А другарок закружила,
в пляску песня повела.
То ли юбки, то ли юбки,
то ли то колокола?!

Рукава у женщин — крылья,
унесут того гляди.
Даже бусы заплясали
у девчонок на груди...

Гей, девчонка озорная,
гей ты, парень, ну-ка, стоп!
И с притопом — влево, вправо,
снова влево и — притоп!

Эй, резвее, ноги, ноги,
эй, быстрее, ну поддай!
Не смолкая лейся песня
про родной счастливый край!

Пел и я. Взлетала песня
выше леса, выше гор.
Пел и Пенчо, и Методий,
и Эммануил — шофер.

А болгарочка крохотная

ножками по земле

топ-топ! —

да как ударит в ладошки,
да как засмеется,
точно воды живой

напилась. . .

«Ну гляди же, гляди
на меня и на землю мою!
Вместе с нами спой:»

„Слу-ша-ю!“»

И звенит, и летит
на весь мир, на весь мир. . .
Слушай же, другарочка,
слушай:

«Мы за мир!»

- Гирляндой ало-розовой,
- голубизны питомцы,
- по небу тучки тянутся,
- плывут навстречу солнцу.
- Раскрывшеюся розою
- всюю
- смеется
- солнце. . .

*София — Киев
1950—1967*

ПРИМЕЧАНИЯ

В литературном наследии П. Г. Тычины — оригинальные стихотворные произведения разнообразнейших жанров, в том числе и большой формы, переводы произведений поэтов братских республик Советского Союза и многих стран мира.

На украинском языке издано около 80 книг поэта, среди них 70 книг стихотворений и поэм. Выходили из печати и многотомные собрания произведений Тычины (так, например, в 1946—1947 гг. были опубликованы «Вибрані твори» в 3-х томах), а также однотомники избранных произведений — в 1939, 1949, 1954, 1960, 1966 гг. и др. Самым полным изданием сочинений Тычины на украинском языке является шеститомник: Павло Тичина, Твори в 6-ти томах (Київ, 1961—1962), где оригинальные произведения помещены в трех первых томах, стихотворные переводы — в четвертом, литературно-критические статьи и публицистика — в пятом и шестом. Помимо полноты материалов, шеститомник очень важен и структурными принципами, положенными в его основу, так как они отражают последнюю волю поэта, при непосредственном участии которого это издание было осуществлено.

Много раз издавались произведения поэта в переводе на русский язык. Всего вышло около 30 книг, в том числе такие издания, как «Избранные произведения» 1927 г. (под редакцией А. Гатова со вступ. статьей А. И. Белецкого), однотомные издания избранных произведений 1940, 1946, 1951, 1965 гг., издания двухтомные 1960 и 1971 гг. Последнее издание (М., 1971, составление, вступ. статья и общая редакция Л. Озерова) отличается от всех предыдущих тем, что оно включает в себя еще переводы значительного количества произведений, обнаруженных после смерти поэта в его личном архиве и ранее не публиковавшихся.¹

Настоящее издание — одно из наиболее полных собраний избранных стихотворных произведений Тычины. Переводы для него в основном выполнены по текстам украинского шеститомного собрания сочинений. Из существующих переводов предпочтению отдавалось тем, которые вернее других передают содержание и колорит оригинала.

¹ На украинском языке эти произведения были напечатаны в сборнике «В серці у моїм...» («В сердце моем...»), К., 1970, а частично в издании: П а в л о Т и ч и н а, «Сковорода» (Симфонія), К., 1971.

Исправления в них вносились тогда, когда необходимо было устранить сколько-нибудь заметные отступления от украинского текста. Стихотворения, не имевшие достаточно точных переводов, переводились заново. Многие произведения Тычины, как ранние, так и написанные позднее, в настоящем издании появляются на русском языке впервые.

Структура этого издания полностью отвечает тому композиционному решению, которое поэт неоднократно осуществлял в целом ряде своих собраний, в том числе и в шеститомнике. Распределению произведений по сборникам Тычина придавал особо принципиальное значение, так как почти каждый его сборник представлял собой своеобразное идейно-художественное единство, отражал известный этап творческого пути поэта.

При перепечатке своих сборников Тычина оставлял неизменной их общую первоначальную композицию, ту последовательность в размещении материала, которая была призвана с наибольшей полнотой выявить внутреннюю логику развития его творчества.

В данном издании после вступительной статьи и автобиографии П. Г. Тычины публикуются стихотворения из его первой книги стихов «Соняшні кларнети» («Солнечные кларнеты»), которая, по словам А. И. Белецкого, «была результатом сурового отбора из всего написанного поэтом к тому времени. Она не была книгой дебютанта. Это была книга зрелого мастера, с чертами большого своеобразия в форме и содержании».¹

Сборник «Солнечные кларнеты» вышел тремя изданиями — в 1918, 1920, 1925 гг. В 1920 г. появились сборники: «Замість сонетів і октав» («Взамен сонетов и октав») и «Плуг». За ними последовали: «Вітер з України» («Ветер с Украины»), «Чернігів» («Чернигов»), «Партія веде» («Партия ведет»), «Чуття Ёдиної родини» («Чувство семьи единой»), «Сталь і ніжність» («Сталь и нежность»), «Перемагати і жити» («Побеждать и жить»), «І рості, і діяти» («Жить, трудиться и расти»), «Могутність нам дана» («Могущество дано нам»), «Ми свідомість людства» («Мы совесть человечества»), «Зростає, пречудовний світе» («Расти, наш мир светоносный»), «Комунізму далі видно» («Коммунизма дали видно»), «Срібної ночі» («В серебряную ночь»). Все перечисленные сборники с той или иной степенью полноты представлены в настоящем издании. В разделе «Из стихотворений, не вошедших в сборники» помещены стихи из посмертно вышедшей книги поэта «В серці у моїм» («В сердце моем»).

Вторую половину настоящего издания составляют избранные стихотворные и полустихотворные произведения большой формы: лирические поэмы, эпико-драматические сочинения, отрывки из симфонии «Сковорода» и др.

В тех случаях, когда циклы публикуются не полностью, их названиям предшествуют слова: «Из цикла...», и весь заголовок берется в угловые скобки.

Принадлежность подстрочных примечаний автору не оговаривается.

¹ Олександр Білецький. Павло Тичина. — Вступ. стаття к изд.: Павло Тичина, «Твори в 6-ти томах», т. 1, К., 1961, с. 12.

Даты написания произведений, как правило, принадлежат самому поэту. Даты, заключенные в угловые скобки, являются датами первых публикаций.

В примечаниях в некоторых особо показательных случаях дается не только реальный, но и историко-литературный комментарий — сведения об истории написания и общественном резонансе произведения.

Ссылки на шеститомное издание сочинений П. Г. Тычины приводятся в примечаниях таким образом: римская цифра обозначает том, арабская — страницу. Ссылки на книгу «Павлові Тичині» (К., 1961) — сборник статей, заметок, выступлений и других документов, посвященных поэту, — даются сокращенно, в виде аббревиатуры: ПТ.

АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиография была написана П. Г. Тычиной в 1959 г. на русском языке специально для изд.: «Советские писатели. Автобиографии в двух томах» (т. 2, М., 1959, с. 494—511). Печ. по указанному изд. с учетом внесенных позднее добавлений и уточнений. Текст автобиографии, в котором осуществлены эти уточнения, напечатан на украинском языке в кн.: Павло Тичина, 3 минулого в майбутне. (Из прошлого в будущее), К., 1973, с. 6—26.

Верболоз — кустарник или небольшое деревце из породы всерб. *Епархия* — церковно-административный округ. *Троицкий хор* — хор при черниговском Троицко-Ильинском монастыре, основанном в 1069 г. «*Хуторок*» — песня А. В. Кольцова. «*По синим волнам океана*» — песня на текст стих. Лермонтова «Воздушный корабль». *Моричевская С. Н.* — первая учительница поэта, которой он посвятил поэму «Серафима Морачевская» (1967). *Синод* — высший орган управления русской православной церковью в дореволюционной России. *Победоносцев К. П.* (1827—1907) — приближенный Александра III, один из главных вдохновителей реакционного политического курса в стране. *Броварской лес* — лес неподалеку от Броваров, районного центра Киевской области, расположенного в 29 км. к востоку от Кисва. *Архиерейский хор* — хор епархии, управляемой архиепископом. *Регент* — дирижер хора, в данном случае — церковного. *Странноприимный дом* — ночлежка для странников-богомольцев при монастырях. *Аналой* — столик, род пюпитра в церкви для книг и икон. *Вериги* — оковы, железные цепи, которые носили на теле верующие для истязания и смирения плоти. *Лютриновый* — полушерстяной или из шерстяной ткани с глянцем. *Скуфия* — бархатный, обычно фиолетового цвета, головной убор православного священника. *Четки* — шнурок с нанизанными на нем шариками, палочками, пластинками из стекла, дерева, кости, янтаря; служили для отсчета молитв и поклонов. *Послушник* — прислужник в монастыре, готовящийся стать монахом. *Фисгармония* — популярный в начале XIX в. музыкальный инструмент, напоминающий по форме фортепиано, а по звучанию орган. «*Явление Христа Марии Магдалине*» — картина русского художника Иванова А. А. (1806—1858), в данном случае подразумевается репродукция с нее. Мария Магдалина — по Евангелию, исцеленная Христом от тяжкого недуга грешница, ставшая ревностной его последовательницей. *Свитка* — старинная верхняя долгополая одежда на Украине. *Бортнянский Д. С.* (1751—1825) — украинский и русский

композитор. *Иеромонах* — монах-священник. *Подвойский Н. И.* (1880—1948) — профессиональный революционер, позднее советский партийный и военный деятель, сыгравший большую роль в жизни поэта. О Подвойском Тычина вспоминает в статье 1960 г. «А. П. Чехов» (см. VI, 350—351), ему он посвящает стихотворение «И от царей, и от вельмож...» (№ 116), образ Подвойского появляется в стих. «Чтоб Украине твердо стать» (№ 182), а также в поэме «Мое детство» (№ 270). *Дуров А. А.* (1865—1916) — родоначальник династии русских цирковых актеров и дрессировщиков. *Журнал «Світло»* («Свет») — киевский журнал для семьи и школы. *Статистическое бюро губернского земства* — созданное в Чернигове в 1895 г. одно из первых на Украине бюро для собирания и обработки социально-экономических сведений о пореформенном селе. О своем поступлении на работу в бюро вспоминает поэт в стих. «Глубокие следы» (№ 258). *Садовский* (Тобилевич Н. К., 1856—1933) — украинский актер и режиссер, один из основоположников дооктябрьского украинского театра. «*Субботы*» — по субботним дням в доме украинского писателя М. М. Коцюбинского (1864—1913) собирались прогрессивные литераторы и художники Чернигова. Тычина описал эти «субботы» в стих. «На „субботах“ М. Коцюбинского» (№ 124). *Жук М. И.* (1883—1964) — украинский художник и поэт, был дружен с М. Коцюбинским, писал его портрет. *Элланский В. М.* (1894—1925, один из литературных псевдонимов — Эллан Василь) — младший товарищ Тычины по семинарии, позднее украинский советский писатель. Тычина писал о нем в статье 1957 г. «Наш славный предшественник» (VI, 305—308). *Письмо Коцюбинскому*. В 1938 г. в стих. «Как мы писали письмо М. Коцюбинскому» (№ 125) поэт воссоздает обстановку и настроения семинаристов, послужившие поводом для написания коллективного письма Горькому и Коцюбинскому на Капри. *Ипполитов-Иванов М. М.* (1859—1935), *Гречанинов А. Т.* (1864—1956), *Кастальский А. Д.* (1856—1926), *Чеснокъв П. Г.* (1877—1944) — русские композиторы. *Три письма: из Австро-Венгрии, из Киева и из Италии*. Из упоминаемого поэтом письма Коцюбинского из Галиции (входившей тогда в состав Австро-Венгрии) видно, что Коцюбинский знакомил редакцию периодических изданий со стихами молодого Тычины (письмо Павлу Тычине от 12 июля 1911 г. — Михайло Коцюбинський, Твори в 6-ти томах, т. 6, К., 1962, с. 272). В последнем адресованном Тычине письме от 13 декабря 1912 г. из киевской университетской клиники смертельно больной Коцюбинский благодарит студентов-семинаристов за их письмо (под которым стояла и фамилия Тычины) и сообщает о состоянии своего здоровья (там же, с. 430). *Стеценко К. Г.* (1882—1922) — украинский композитор и дирижер. Поездке по Правобережной Украине с руководимой Стеценко хоровой капеллой Губсоюза кооперативных обществ поэт посвятил стих. «Путешествие с капеллой Стеценко» (№ 254) и подробный дневник под тем же названием, главы из которого впервые были опубликованы в журнале «Вітчизна» («Отчизна»), 1971, № 1, с. 146—165; № 2, с. 179—192; № 3, с. 157—178; № 4, с. 166—182. *Всевидаг* — так в 1919 г. называлось издательство, переименованное впоследствии в Государственное издательство Украины (ДВУ). *Леонтович Н. Д.* (1877—1921) — украинский композитор. *Тульчин* — районный центр Винницкой области УССР; созданная

в 1818 г. П. И. Пестелем Главная управа Южного общества декабристов находилась в Тульчине. *Довженко А. П.* (1894—1956) — украинский советский писатель, сценарист и кинорежиссер. *Веревка Г. Г.* (1895—1964) — украинский советский композитор, хоровой дирижер, давний друг поэта. В годы учебы в черниговской семинарии, вспоминает композитор, «...сам играл за одним с ним пультом» (Григорій Верьовка. Слово про друга. — ПТ, с. 20). *«Червоний шлях»* («Красный путь») — общественно-политический и литературно-художественный журнал, выходивший в Харькове в 1923—1936 гг. *«Партия веде»* — см. примеч. к этому стих. (№ 113). *Лисовой П. А.* (1892—1943) — украинский советский писатель, журналист. *«Песня трактористки»* — стих. Тычины (см. № 114). *Барбюс А.* (1873—1935) — французский писатель и общественный деятель, борец за идеалы прогресса и коммунизма. *Димитров Г. М.* (1882—1949) — выдающийся деятель болгарского и международного коммунистического движения. *«Вітчизна»* («Отчизна») — журнал Союза писателей Украины, основанный в 1933 г. в Харькове под названием «Радянська література» («Советская литература»). Название «Вітчизна» было присвоено журналу в 1946 г.

I

СОЛНЕЧНЫЕ КЛАРНЕТЫ

(1918)

1. Перевод стих. «Не Зевс, не Пан...». «Стихотворение это, — писал академик А. Белецкий в статье «Павло Тычина», — художественно-философская декларация категорического разрыва с религиозным восприятием мира. Для поэта канули в вечность старые боги человечества — Зевс, Пан, Голубь-дух. Будто только что пробудившись, он открыл глаза на мир и основное начало вселенной увидел в ритмическом движении, гармоническом звуке, музыке. Этот ритм вселенной и есть „солнечные кларнеты“» (Олександр Білецький, Зібрання праць у 5 томах, т. 3, К., 1966, с. 128). *Пан* (греч. миф.) — бог лесов и рощ, покровитель живой природы. *Голубь-дух* — в христианской религии третья «лицо» св. Троицы, наряду с богом-отцом и богом-сыном. *Хитон* — одежда древних греков, кусок ткани, закрепленный на левом плече.

2. Перевод стих. «Закучерявилися хмари...».

3. Перевод стих. «Гаї шумлять...».

4. Перевод стих. «Арфами, арфами...».

5. Перевод стих. «Десь надходила весна...».

6. Перевод стих. «Цвіт в моему серці...».

7. Перевод стих. «Не дивися так привітно...».

8. Перевод стих. «Подивилась ясно...».

9. Перевод стих. «З кохання плакав я...».

10. Перевод стих. «О любя Іншо...».

11. Перевод стих. «Я стою на кручі». *Стожары* — народное название одного из созвездий (в зависимости от местности): Большая и Малая Медведицы с Полярной звездой, созвездия Плеяд, Тельца и т. д.

12. Перевод стих. «Там тополі у полі...».

13. Перевод стих. «Гаптує дівчина...». *Мальва* — растение с высоким стеблем и крупными белыми, розовыми, фиолетовыми или пурпурными соцветиями.

14. Перевод стих. «Квітчастий луг...».

15. Перевод стих. «Ой не крийся, природо...». *Купало* — Иван Купало, персонаж славянской языческой мифологии; в ночь на Ивана Купала (с 6 на 7 июля) праздновалось наступление лета — зажигались костры, пелись песни, устраивались хороводы; девушки плели венки и пускали их по течению реки, загадывая свою судьбу.

16—19. Перевод цикла «Енгармонійне» (стих. «Туман», «Сонце», «Вітер», «Дош»). *Энгармонизм* в прямом своем значении — отождествление звуков, имеющих одинаковую высоту, но разные названия (например, до-диез — ре-бемоль). В переносном смысле — сопряжение далеких или разнородных понятий и явлений. 3. *Вика* — растение из семейства бобовых, горошек. *Братина* — сосуд для меда или вина в виде горшка с крышкой, из которого черпали ковшом.

20. Перевод стих. «Ходять по квітах...». *Присноблаженные* — всенблаженные (присно — всегда).

21—22. Перевод цикла «У собор» (стих. «По один бік верби...», «Співає стежка...»). 1. *Аналой* — см. примеч. к автобиографии. *Кадило* — металлический сосуд для курения ладаном (благонной смолой) во время богослужения. *Херувим* — ангел высшего чина, на иконах изображается четырехкрылым.

23. Перевод стих. «А я у гай ходила».

24. Перевод стих. «Хтось гладив ниви...».

25—28. Перевод цикла «Пастелі» (стих. «Пробіг зайчик...», «Випив доброго вина...», «Коливалося флейтами...», «Укрийте мене, укрийте...»). *Пастель* — живопись мягких полутонов, выполняемая специальной сухой краской — пастельными карандашами.

29. Перевод стих. «На стрімчастих скелях...».

30. Перевод стих. «Одчиняйте двері. . .».

31—34. Перевод цикла «Скорбна мати» (1—4), каждое из стих. которого начинается одной и той же строкой: «Проходила по полю» (анафорический принцип). Цикл восходит к мотивам запрещенной христианской церковью апокрифической литературы, в частности — к одной из древнейших религиозных легенд — «Хождению богородицы по мукам», первые списки которой на Руси появились в XI—XII вв. 2. *Еммаус* — местечко вблизи Иерусалима, где, по евангельской легенде, будто бы видели воскресшего Христа. *Галилея* — область Палестины; здесь, как рассказывает Евангелие, жил и проповедовал Христос.

35. Перевод стих. «По блакитному степу».

36. Перевод стих. «Дума про трьох вітрів». В стих. использованы композиционные приемы и ритмомелодика образцов украинского героического эпоса — народных дум. *Перелог* — незасеянные поля или участки полей.

ВЗАМЕН СОНЕТОВ И ОКТАВ

(1920)

Сборник вышел с посвящением: «Григорию Саввичу Сковороде посвящаю». Книгу эту прочел М. Горький, о чем написал поэту 10 августа 1927 г. из Сорренто (см.: ПТ, с. 3). *Сковорода* Г. С. (1722—1794) — украинский просветитель-гуманист, философ и писатель. В 1919 г. Тычина начал работать над поэмой о Сковороде, время от времени возвращаясь к ней в течение всей своей последующей жизни.

37. Перевод стих. «Уже світає, а ще іма. . .». Испытывая в известной мере влияние распространенных в 1920-е годы левацких воззрений на искусство, поэт считал устаревшими, недемократическими такие традиционные формы классической поэзии, как сонет и октава. *Хмара* — облако.

38. Перевод стих. «Лю». *Марсель Этьен* (ум. 1358) — вождь оппозиции горожан власти короля, предводитель парижского восстания 1357—1358 гг. *Легато* (итал.) — музыкальный термин, обозначающий плавный переход одного звука в другой. *Триоль* — три ритмически одинаковые ноты, равные по общей длительности двум нотам того же написания в их обычном ритмическом значении. *Энгармоническое* — см. примеч. 16. *Консонанс* — музыкальный термин, обозначающий согласованное звучание. В поэзии — совпадение в неполной рифме согласных при несовпадающих гласных. Здесь — выражение внутренней гармонии и единства мира, которое поэт пытался уловить даже в период острого столкновения антагонистических сил. *Диез* — нотный знак, повышающий звук на полутон.

39. Перевод стих. «Антистрофа» («Іще й тоді, як над безмежною водою. . .»). *Антистрофа* — парная строфа в античной лирике и трагедии. В данном случае деление на строфу и антистрофу — прием,

позволяющий рассматривать одно и то же явление в разных, порой противоположных аспектах.

40. Перевод стих. «Ритм».

41. Перевод стих. «Антистрофа» («Налила голодным дітям молока. . .»).

42. Перевод стих. «Эвое!». *Эвое* — ликующий возглас на празднествах древних греков.

43. Перевод стих. «Хто скаже».

44. Перевод стих. «Испит». *Сковорода* Г. С. — см. с. 663.

45. Перевод стих. «Антистрофа» («Найглибший, найвеличній. . .»).

46. Перевод стих. «Порожнеча». *Металлофоны* — общее наименование группы музыкальных инструментов (преимущественно ударных), у которых источником звука является металл.

ПЛУГ

(1920)

Сборник посвящен брату поэта — *Евгению* Григорьевичу *Тычине* (1895—1955).

47. Перевод стих. «Плуг».

48. Перевод стих. «Сійте. . .». *«Марсельеза»* — французская революционная песня, ставшая государственным гимном Франции. На Украине широко известна в переводе украинского поэта Н. Вороного. *Диез* — см. примеч. 38. *Вёдро* — теплая, ясная погода.

49. Перевод стих. «І Бѣлий, і Блок. . .». *Белый* Андрей — псевдоним Б. Н. Бугаева (1880—1934), русского поэта-символиста, автора ряда теоретических трудов о символизме. Стих. Тычины перекликается со стих. А. Белого «Родине» (1917), заканчивающимся такими строками: «Россия, Россия, Россия — Мессия грядущего дня». Тычина высоко ценит поэзию С. А. *Есенина* (1895—1925). Так, к 70-летию со дня рождения поэта он опубликовал в «Правде» (от 3 октября 1965 г.) статью, где охарактеризовал Есенина как высокоодаренного, самобытного певца России, который искренне и взволнованно выразил свою любовь к родной земле, к своему народу. Тычина обращал внимание на созвучность поэзии Есенина и В. Сосюры. *Клюев* Н. А. (1887—1937) — русский поэт, одно время стоявший во главе так называемого новокрестьянского направления, у представителей которого признание завоеваний Октябрьской революции сочеталось с идеализацией патриархального религиозного уклада старорусского быта. Есенин, некоторое время примыкавший к этому направлению, вскоре отмежевался от него ввиду его идейной и эсте-

тической несостоятельности. *Мессия* — в иудаизме и христианской религии посланник бога, спаситель людей, который призван уничтожить зло на земле. *Моисей* — библейский пророк, законодатель гражданского и религиозного быта древних евреев.

50. Перевод стих. «На майдані». В архиве поэта сохранилась запись, свидетельствующая о том, что в основу стих. лег реальный эпизод из жизни родного села Тычины. Об этом же сообщает и земляк поэта Андрей Евенко в своих воспоминаниях (Андрей Евенко, Близький, як Шевченко. — ПТ, с. 47—49).

51. Перевод стих. «Як упав же він. . .».

52. Перевод стих. «І буде так».

53. Перевод стих. «Зразу ж за селом. . .».

54—55. Перевод цикла «На могилі Шевченка» (стих. «І, уклонившись праху. . .», «Спились ми на „Чайці“»). Тычина многие свои творческие замыслы соотносил с духовным опытом Т. Г. Шевченко (1814—1861). О революционном пафосе и всемирном резонансе его творчества говорит Тычина в статьях «Любим гневного Шевченко» и «Великий патриот», в докладе на научной сессии Института литературы АН УССР, посвященной столетию со дня выхода «Кобзаря», в выступлении на шевченковской сессии АН УССР в 1943 г., в речи на митинге в Каневе (1948 г.) и во многих других выступлениях. 1. *Поклонившись праху*. Имеется в виду могила Шевченко на Чернечьей горе (теперь — гора Тараса) вблизи Канева. В 1925 г. здесь основан каневский музей-заповедник «Могила Т. Г. Шевченко. И вновь тиран — гетман Скоропадский (см. ниже). 2. *«Чайка»* — плавающая гостиница в Каневе. *Васильченко* — псевдоним Панасенко С. В. (1879—1932) — украинского писателя, работавшего в то время над произведением, посвященным вождю антикрепостнического крестьянского движения на Украине в 1813—1835 гг. Устиму *Кармелюку*. *Сковорода* Г. С. — см. с. 663. *Скоропадский* П. П. (1873—1945) — помещик-монархист, царский генерал, с апреля по декабрь 1918 г. гетман Украины, глава буржуазно-помещичьего правительства, сметенного революцией.

56—58. Перевод цикла «Сотворіння світу» (стих. «Спервовіку не було нічого. . .», «Вже бй заснув сиз вечір. . .», «Пустили бідних на поталу. . .»). 2. *Бысть* — одна из форм архаического спряжения глагола «быть» (3-е лицо, ед. число, прошедшего времени). 3. *«Марсельеза»* — см. примеч. 48.

59—61. Перевод цикла «Листи до поета» (стих. «Еллади карта, Коцюбинський. . .», «Ви десь, мабуть, не з наших сел. . .», «Я комуністка, ходжу в чужому. . .»). 1. *Коцюбинский* — см. примеч. к автобиографии. 2. *Тарас* — Шевченко. 3. *Триолет* — восьмистрочное стих., в котором первая строка повторяется трижды, а вторая дважды и, соответственно, имеются всего две рифмы.

62—65. Перевод цикла «Мадонно моя» (стих. «Мадонно моя, пренспорочна Маріє...», «Вже славлять, співають...», «Мадонно моя, мати пречиста...», «Не з каменю, не з мармуру...»). 1. *Омофор* — длинная и широкая одежда с изображением креста, одеваемая поверх других одежд архиерея и символизирующая спасение Христом рода человеческого. *Псалом* — песня или гимн из ветхозаветной книги «Псалтырь»; музыку на тексты псалмов писали как духовные, так и светские композиторы. 2. *Ave, Maria* — «Славься, Мария», начальные слова католической молитвы. 3. *Как Петр от Христа, от тебя я отречься бессилен*. Имеется в виду апостол Петр, один из наиболее близких к Христу учеников, который клялся ему в своей преданности, но отрекся от него, как и предсказывал Христос. 4. *Хитон* — см. примеч. 1. *Осанна* — молитвенный возглас, славословие в Библии.

66—69. Перевод цикла «Псалом залізу» (стих. «Ненавидим прокляту мідь...», «Десь тут в кайданах право, честь...», «Минув, як сон, блаженний час...», «На чорта нам здалася власть?..»). *Псалом* — см. примеч. 62. 1. *Гунны* — воинственные племена, совершившие в V в. ряд опустошительных походов в Европу. 3. *Готика* — художественный стиль средневековья, наиболее яркое проявление нашедший в архитектуре соборов, в системе устремленных ввысь стрельчатых арок. *Барокко* — художественный стиль, распространенный в искусстве XVI — сер. XVIII в., отличающийся торжественностью, изощренной декоративностью и пышностью форм. *Ренессанс*, или Возрождение, — эпоха перелома в истории европейской культуры от средних веков к новому времени (XIV—XVI вв.), связанная с вытеснением капиталистического уклада в недрах феодального строя; характеризуется расцветом наук, литературы и искусства. В стих. Тычины смена художественных стилей символизирует смену исторических эпох, а в образе «чугунного Ренессанса» воплощена уверенность в невиданном подъеме культуры и искусства в эпоху пролетарских революций.

70—71. Перевод цикла «Ронделі» (стих. «Іду з роботи я, з завода...», «Мобілізуються тополі...»). *Рондель* — популярная в средневековой французской лирике 13-строчная строфическая форма, имеющая две рифмы и повторяющиеся строки (1, 7, 13 и 2, 8).

72. Перевод стих. «Я знаю...». Стих., как и два последующих (№ 73, 74), направлено против поэзии украинского декаданса, связанного в своих истоках с политической идеологией буржуазного национализма.

73. Перевод стих. «Один в любов...».

74. Перевод стих. «Плюсклим пророкам». *Скальды* — древнескандинавские поэты-певцы.

ВЕТЕР С УКРАИНЫ

(1924)

75. Перевод стих. «Вітер з України». *Бенгалия* — северо-восточная часть Индии (по обеим сторонам от реки Ганг). Тагор *Рабиндранат* (1861—1941) — индийский писатель и общественный деятель,

внесший ценнейший вклад в развитие бенгальской литературы. Тагору посвятил Тычина стих. «Рабиндранат Тагор (После возвращения из Москвы в 1930 году)» (№ 194).

76. Перевод стих. «Плач Ярославни». Печаталось вместе с № 77 под единым загл. «Плач Ярославны», в качестве первого стих. цикла. Позднее цикл был расформирован, что и нашло отражение в шеститомнике. *Панарук* — девичья фамилия Лидии Петровны Тычины, жены поэта. Кроме этого стих. Тычина посвятил ей стих. «Лидка» (№ 138), «Ну как без улыбки твоей смог бы жить я...» (№ 251), «Не нагляжусь. Не отведу я взгляда...» (№ 253), «Мы с тобой, любимая, идем...». В «Плаче Ярославны» переосмыслены мотивы «Слова о полку Игореве» — древнейшего литературного памятника Киевской Руси, посвященного походу новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев в 1185 г. В частности, переосмыслен плач княгини Ярославны — ее обращение к ветру, мольба о помощи князю в этом неудачном походе. *Стреха* — нижний свисающий край крыши.

77. Перевод стих. «Дивный флот». См. примеч. 76. *Лада* — славянское старинное ласкательное слово, часто встречавшееся в фольклоре; в поэзии XVIII — нач. XIX в. слово это употреблялось в ином значении — как имя древней богини любви, культ которой будто бы существовал в эпоху языческой Руси.

78. Перевод стих. «Надходить літо...».

79. Перевод стих. «Кожум'яка». В стих. использована легенда о Кожемяке, известная в летописной и фольклорной обработках. О том, как воспринимала стих. широкая читательская аудитория, писал украинский поэт П. Усенко: «...я вспоминаю Полтаву 23-го года, сельбуд, переполненный увлеченными тычининским стихотворением полтавчанами, и тишину... немислимую тишину аудитории, и впервые услышанный мною голос поэта, и его „Думу о Никите Кожемяке“» (П. Усенко, Кілька слів. — ПТ, с. 131—132).

80. Перевод стих. «Три сини».

81. Перевод стих. «Ходить Фауст...». *Фауст* Иоганн — герой немецкой народной книги о волшебнике и чернокнижнике (XVI в.), который ради богатства и власти продал свою душу дьяволу. Легенда о Фаусте легла в основу драматической поэмы Гете «Фауст», одной из наиболее ярких в мировой литературе многочисленных интерпретаций ее. В стих. Тычины в образе современного западноевропейского Фауста воплощено духовное оскудение буржуазной культуры. *Прометей* (греч. миф.) — титан, похитивший у богов огонь и давший его людям. В стих. Тычины поборник человеческой свободы и счастья Прометей олицетворяет революционный пролетариат. *Вериги* — см. примеч. к автобиографии.

82. Перевод стих. «Відповідь землякам», которое является отповедью представителям украинской буржуазно-националистической

эмиграции, травившим поэта. *Как Дант в глубинах ада*. В первой части «Божественной комедии» (носящей название «Ад») итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321) описываются странствия героя по аду, где перед ним разворачивается мрачная картина чудовищных злодеяний. В докладе, прочитанном 28 августа 1956 г. на юбилейном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения украинского писателя И. Я. Франко (1856—1916), Тычина говорил о том, что неспроста Франко свою обработку одной народной легенды начинает реминисценцией из дантовского «Ада»: «Наш поэт этим хотел сказать, что, так же как Данте в лесу угрожали звери и гады, так и ему в жизни угрожали реакционеры, шпионы, националисты» (VI, 296). Такую же функцию выполняет упоминание о «Божественной комедии» и в стих. Тычины.

83. Перевод стих. «За всіх скажу. . .».

84. Перевод стих. «Великим брехунам». Имевшее подзаголовок «Ответ кое-кому», стих. было направлено против эстетствующих буржуазных националистов.

85. Перевод стих. «Перед пам'ятником Пушкіну в Одесі». Написано во время поездки Тычины с хоровой капеллой по Украине (см. примеч. к автобиографии).

86. Перевод стих. «Осінь така мила. . .».

87. Перевод стих. «Повітряний флот».

88. Перевод стих. «Ми кажемо. . .».

89. Перевод стих. «La bella Fornarina». *Форнарина* — по преданию, возлюбленная итальянского художника *Рафаэля Санти* (1483—1520).

90. Перевод стих. «Повстанці». *Концнопольский С.* (1591—1646) — польский магнат, коронный гетман, пытавшийся осуществить польскую экспансию на Украине, с 1623 г. возглавлявший польско-шляхетское войско на украинских землях. *Трясило* — Федорович Тарас, предводитель крестьянско-казацкого национально-освободительного восстания в Правобережной Украине против польской шляхты. *Во Корсуне-граде*. В апреле 1630 г. участники восстания под руководством Трясило разбили в Корсуне польско-шляхетское войско. *Китайка* — бумажная ткань мутно-желтого цвета.

91—100. Перевод цикла «Живем комуною» (стих. «Живем комуною, працюєм. . .», «На капусті жовті метелики. . .», «Вночі фаланги сніяться, господарства. . .», «Іще в нас музики не досить. . .», «Посивів, Дніпре мій. . .», «Хочеш, Дніпре, я прочитаю тобі? . . .», «Дихнуло з півночі і з півдня. . .», «Вигулюється там, а тут іще загнуто. . .», «А іноді — немов джентльмен. . .», «Живем комуною, працюєм. . .»).
1. *Между горами — монастырь* — Межигорский Спасо-Преображен-

ский монастырь вблизи Киева, основанный в 988 г. 2. *Ветрило* — парус. 3. *Фаланги* — общественно-производственные объединения; из них, по учению французского социалиста-утописта Ш. Фурье (1772—1837), должно быть построено идеальное гармоническое общество будущего. *Канон* — правило. 6. *Стародуб* — ныне город Брянской области РСФСР; был центром Стародубского полка, созданного в 1663 г. из десяти казацких сотен Нежинского полка. Стародубский полк принимал участие в борьбе против польских, шведских и турецко-татарских захватчиков. 9. *Центральная рада* — буржуазно-националистическая контрреволюционная организация, временно в 1917 г. захватившая власть на Украине. Одним из руководителей Центральной рады был Петлюра С. В. (1877—1926). Изгнанная революционным народом, Центральная рада обратилась за помощью к немецким империалистам, которые оккупировали Украину; в 1918 г. оккупанты сменили ее правительством гетмана Скоропадского.

101—105. Перевод цикла «Вулиця Кузнечна» («Захід І», «Захід ІІ», «Охляло сонце», «Великдень», «Перше травня на Великдень»). 2. *Барбюс* А. — см. примеч. к автобиографии. *Роллан* Ромен (1866—1944) — французский писатель-гуманист, горячо приветствовавший Октябрьскую революцию.

106—107. Перевод цикла «Харків» («Харків, Харків, де твоє обличчя? . . .», «Котяться вулиці. . .»). Третье и четвертое стихотворения цикла, появившиеся в печати в 1923 г. в № 9 журнала «Червоний шлях» («Красный путь»), поэт в дальнейшем не перепечатывал. Одно из них см. под № 227.

108. Перевод стих. «Шуми, епохо наша. . .». Под загл. «Фуга» печаталось в журнале «Червоний шлях» (1923, № 9, с. 4) и в сб. «Ветер с Украины». Впоследствии это название выносится в подзаголовок. *Фуга* — один из основных жанров полифонической музыки, сочетающий многоголосие с целестремленным и последовательным проведением темы во всех голосах. *Погост* — кладбище возле сельской церкви.

109. Перевод детской стихотворной сказки «Івасик-Телесик». В основу произведения положен осозревший сюжет украинской народной сказки. В сб. «Ветер с Украины» не печаталось, но было включено поэтом в первый том шеститомника. *Явор* — белый клен.

ЧЕРНИГОВ

(1981)

В хранящихся в личном архиве П. Г. Тычины заметках по поводу его произведений и сборников поэт назвал эту книгу «очерком в стихах». В выборе жанра сказалось типичное для советской поэзии начала 30-х годов увлечение документализмом.

110. Перевод стих. «Ленін». *Нэпачи* (или *нэпманы*) — представители частнопредпринимательской прослойки населения, активизи-

ровавшиеся в 1921 г., когда по решению X съезда партии была временно введена новая экономическая политика (нэп).

111. Перевод стих. «Мій друг робітник водить мене по місту й хвалиться...».

112. Перевод стих. «Стара Україна змінитись мусить».

ПАРТИЯ ВЕДЕТ

(1934)

113. Перевод стих. «Партія веде». Решив посвятить целый номер Украине, редакция газеты «Правда» организовала специальную бригаду, выехавшую в Харьков. По инициативе М. Е. Кольцова, поддержанной первым секретарем ЦК КП(б)У С. В. Косиором, журналисты обратились к Тычине, который предложил уже написанное им стих. Редакция «Правды» высоко оценила его, и оно было напечатано на украинском языке, а передовая статья газеты вышла под загл. «Партия ведет». Подробно об этом рассказывает С. Гершберг (см. его кн.: Работа у нас такая, М., 1971, с. 388—395, см. также автобиографию, с. 75). *Не на Рейне, не на Марне* — т. е. не в Германии и не во Франции.

114. Перевод стих. «Пісня трактористки (Як Олеся Кулик тікала на курсі 1930 р.)». Воспоминания трактористки Олеси Кулик о встрече с поэтом, положившим в основу стих. эпизод из ее жизни, приводит Д. Косарик в своих дневниковых заметках «Незабываемые встречи» («Незабутні зустрічі». — ПТ, с. 72—73). *Хорол* — река в Сумской и Полтавской областях УССР. *Мадаполам* — белая хлопчатобумажная ткань.

115. Перевод стих. «Друга пісня трактористки (Як Олеся Кулик бачи землю обкидали)». *Керменщина* — название сельского урочища, принадлежащего селу участка земли. *Не брано* — не вспахано.

116. Перевод стих. «І од царів, і од вельмож...». *Подвойский Н. И.* — см. примеч. к автобиографии.

117. Перевод стих. «Пісня про Кірова». В 1935 г. подытоживая, с чем он приходит к двадцатилетию Октября, поэт писал: «В двадцатилетие Октября войду не сам, а с теми, кого в герои возьму. Бесстрашный Киров! Я с тобой: в боях, походах, в разведке!» (V, 24—25). В том же году поэт высоко оценил «Ночь перед боем» М. Бажана — главу из посвященной Кирову поэмы «Бесмертные». «Это, — писал он, — подлинное густое политональное письмо, это попытка монументального произведения, это попытка настоящему, реальным языком заговорить» (V, 37). *Нивастрой* — строительная организация, создание которой осуществлялось под непосредственным руководством С. М. Кирова, в ее задачу входило

использование гидроэнергетических ресурсов реки Нива (в Мурманской области). *Свирьстрой* — строительная организация, соорудившая гидроэлектростанцию на реке Свирь для обеспечения электроэнергией Ленинграда.

118. Перевод стих. «Пісня про гармонію». *Рута* — многолетняя полукустарниковая трава с зеленовато-желтыми цветами и приятным запахом.

ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ

(1938)

В 1941 г. за сборник «Чувство семьи единой» Тычина был удостоен Государственной премии. Идея дружбы народов всегда волновала поэта. Еще в 1929 г. он писал: «Когда сходятся народы — что может быть лучше? Когда встречаются культуры — какой же там высекается огонь? Высекается приязнь, и на давних надеждах и мечтах вырастает дружба» (После первой недели украинской культуры в Москве. — V, 7). «Чувство семьи единой» — эти слова стали поэтической формулой дружбы народов Советского Союза.

119. Перевод стих. «Чуття єдиної родини».

120. Перевод стих. «Конгрес оборони культури». С конгрессом защиты культуры, состоявшимся в 1935 г. в Париже, связан также прозаический памфлет Тычины «Три победы» (1935), направленный против реакционных кругов, пытавшихся сорвать работу конгресса. О конгрессе поэт вспоминает и в своей статье «День мира второй» (1960). *Барбюс А.* — см. примеч. к автобиографии. *Сюрреализм* — одно из течений буржуазного искусства, характеризующееся обращением к сфере интуитивного и принижающее роль разума. *Аполлинер Г.* — псевдоним В.-А. Костровицкого (1880—1918), французского поэта и художника. *Тамтамы* — ритуальные барабаны у негритянских народов Африки. *Барбье А.-О.* (1805—1882) — французский поэт, автор популярного сборника сатир «Ямбы», клеймивших трусливое и предательское поведение буржуазии в период Июльской революции 1830 г. *Па* (франц.) — танцевальная фигура. *Вайян-Кутюрье П.* (1892—1937) — французский писатель, один из основателей французской Компартии. с 1921 г. — член ЦК ФКП. *Блок Жан-Ришар* (1884—1947) — французский писатель, коммунист; в 1949 г. был награжден Золотой медалью Мира. *Арагон Л.* (р. 1897) — французский писатель, коммунист; в 1957 г. награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

121. Перевод стих. «На олімпіаду хорів». *Водомер* — фонтан.

122. Перевод стих. «Давид Гурамішвілі читає Григорію Сковороді „Витязя в тигровій шкурі“». *Сковорода* — см. с. 663. *Гурамишвили Давид* (1705—1792) — грузинский поэт; в 1760 г. поселился на Украине, в Миргороде. Замысел стих. основан на предположении, что пути Гурамишвили и Сковороды могли скреститься. Тычина прочитал стих. 25 декабря 1937 г. в Тбилиси на юбилей Руставели.

«Витязь в тигровой шкуре» — поэма грузинского поэта Шота Руставели (вторая пол. XII — нач. XIII в.). В своей речи на руставелинском пленуме Союза советских писателей СССР в декабре 1937 г. в Тбилиси Тычина обратил внимание на то, что Украиной с творчеством Руставели ознакомил Давид Гурамишвили, который жил 16 лет в Миргороде и в лучших своих произведениях, написанных там, с уважением упоминал имя Руставели. «Таким образом, — говорил Тычина, — о Руставели в XVIII в. могли уже знать те украинские писатели и деятели культуры, которые были знакомы с Гурамишвили. А о том, что они были знакомы с ним, свидетельствует тот факт, что Давид Гурамишвили переводил песни украинские на грузинский язык. Перлами руставелинскими хотел за эти песни отблагодарить Украину Давид Гурамишвили» (V, 88—89). *С Библией я прожил долго*. Библия неизменно привлекала внимание Сковороды, с ней связаны многие его произведения. Переход к рационалистической критике, к аллегорическому истолкованию библейских легенд явился важным этапом в формировании его философского учения. *От Изюма до Полтавы*. Изюм — город на реке Донец. Сковорода родился на Полтавщине, а за время своей страннической жизни повидал немало городов и сел Украины; путь его пролегал и через названные города.

123. Перевод стих. «Перше знайомство (Чернівці, 1910 р.)». *К Валу зашагал*. Вал — высокая земляная насыпь в Чернигове на берегу Десны. *Стрижень* — приток Десны. *Крапак* — красная краска с легким фиолетовым оттенком. *Цитра* — старинный струнный музыкальный инструмент. *Фриз* — архитектурное оформление наружных и внутренних стен здания: орнаментальная полоса, окаймляющая верх стены. *Жорж Санд* — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876), в романах которой проводились социально-утопические идеи. «*Fata*» — повесть М. М. Коцюбинского (см. о нем примеч. к автобиографии) «*Fata morgana*» (1910). *Капельмейстер* — дирижер. *Триолли* — см. примеч. 38. «*Жаворонок*» — романс М. И. Глинка на слова Н. В. Кукольника.

124. Перевод стих. «На „суботах“ М. Коцюбинського (В Чернівці 1910 року, як я ще вчився в середній школі)». О «суботах» у Коцюбинского Тычина подробно рассказывает в автобиографии (см. с. 72). С творчеством юного поэта Коцюбинский связывал немало надежд. В своей статье «Золота сторінка української поезії» («Золотая страница украинской поэзии») востоковед, писатель, академик АН УССР А. Е. Крымский (1871—1942) вспоминает о том, как Коцюбинский «нежно, с отцовской любовью говорил ... о молодом тогда поэте — Тычине. Больной, измученный тяжелой жизнью, Михаил Михайлович высказывал глубокую уверенность, что молодая генерация украинских писателей и поэтов в недалеком будущем будет творить в условиях, когда народ разобьет цепи рабства, а украинское слово прозвучит свободно» (ПТ, с. 88). *Всенощная* — христианское церковное богослужение в воскресные дни и по большим праздникам, длящегося всю ночь. «*Расскажи, расскажи ты мне, поле...*» — стих. Тычины (см. № 205).

125. Перевод стих. «Як ми писали листа М. Коцюбинському (1911 року в Чернігові)». Об обстоятельствах, побудивших семинаристов написать письмо Горькому и Коцюбинскому на Капри, подробно рассказывает поэт в автобиографии (см. с. 72). *На Иоакима и Анну*. Речь идет о посещении Тычиной Коцюбинского в сентябре — за неделю до Воздвиженья, в дни церковных праздников святых Иоакима и Анны (Иоаким, по Евангелию, — муж Анны, отец девы Марии). *Синод* — см. примеч. к автобиографии. *Синклит* — в Древней Греции собрания высших сановников; ныне слово это имеет иронический оттенок, употребляясь в значении: претенциозное собрание в полном составе. *«Мать»* — повесть Горького; была изъята из семинарской библиотеки. *Искры сумрак режут* — эти слова намекают на деятельность социал-демократических организаций на Украине, которые руководствовались принципами, изложенными в ленинской газете «Искра». *«Смех», «Он идет», «Неизвестный»* — повести Коцюбинского, посвященные событиям первой русской революции 1905—1907 гг. *Выхостов* — село Городнянского уезда Черниговской губернии, где в ноябре 1905 г. кулаки учинили кровавую расправу над участниками крестьянского восстания. Выхостовская трагедия нашла отражение в повести М. Коцюбинского «*Fata morgana*». *Рамена* — плечи. *Буревестник косо сверкает там разогнутым крылом* — подразумевается «Песня о Буревестнике», которой Горький приветствовал подъем революционного движения в России. *На острове Капри*. В 1912 г. на острове Капри жили Коцюбинский и Горький.

126. Перевод стих. «Моїм выборцям». *Джамбул* Джабаев (1846—1945) — казахский народный поэт. Устный рассказ Тычины о посещении Джамбула и об эпизоде, описанном в стих., воспроизводит в своих воспоминаниях А. Шиян: «Узнал он, что меня выдвинули кандидатом в депутаты, и сразу засучивает рукава: «подайте, мол, мне домбру». Заиграл о том, как царь душил народ, как загнали Шевченко в эти края, а вот теперь съехались к Джамбулу не изгнанники, а свободные сыновья свободных народов» (А. Шиян, «Крихти» («Крохи»). — В кн. «Співець нового світу» («Певец нового мира»), К., 1971, с. 395). В конце своей статьи «Джамбул» (1938) Тычина пишет: «Предки Джамбула, отцы и деды его, тут же, на вашей земле, когда-то заходили в походный шатер к Тарасу Шевченко и слушали песни его. А теперь мы, потомки Шевченко, приходим к Джамбулу и говорим ему: благословен голос твой и умение быстро откликаться на темы сегодняшнего! Научи же и нас этому, сверкающий, будто снега Алатау, Джамбул! Тем более что твой язык, язык казахского народа, в некотором смысле не чужд нам, а из-за исторической судьбы даже близок: ведь Шевченко записывал слова его, выражения и пословицы, а потом все это переносил в свои произведения в «Кобзарь», в которых также отразился блеск вершин снегами покрытого Алатау» (V, 98). *Акын* — народный певец-сказитель у казахов. *Тарасова могила* — см. примеч. 54.

127. Перевод стих. «В Хараксі». В стих. говорится о беспосадочном перелете Валерия Чкалова в июне 1937 г. через Северный полюс в США. *Харакс* — курортная местность в Крыму, неподалеку от Ялты.

128. Перевод стих. «Ай-Петрі». *Ай-Петри* — одна из главных вершин Крымских гор. *Дафнис* (греч. миф.) — сын Гермеса, бога торговли, покровителя путешественников, и нимфы; пастух и охотник, отличавшийся необычайной красотой. Этот миф использовал римский поэт Вергилий, а в III в. н. э. в своей идиллической повести «Дафнис и Хлоя» — древнегреческий писатель Лонг.

129. Перевод стих. «Прорив».

130. Перевод стих. «Курінь». *Сколопендра* — животное из класса многоножек, его укусы ядовиты.

СТАЛЬ И НЕЖНОСТЬ

(1941)

131. Перевод стих. «На одержання ордена». В феврале 1939 г. П. Г. Тычина был награжден орденом Ленина.

132. Перевод стих. «Рум'яна та руса». Опубликовано 9 октября 1939 г. в газете «Комуніст», стих. посвящено знаменательному событию: 17 сентября 1939 г. советские войска перешли польскую границу и взяли под защиту население Западной Украины. *От Сана по Донец*. Рски Сан и Донец — западные и восточные границы территории УССР. *Федькович* Ю. А. (1834—1888) — украинский писатель. *Франко* И. Я. (1856—1916) — украинский писатель, ученый и общественный деятель революционно-демократического направления.

133. Перевод стих. «Федькович у повстанця Кобилиці». «В связи с освобождением Буковины появилась поэма „Федькович у повстанця Кобылиця“, я с увлечением проиллюстрировал ее для „Дитвидаву“ („Детиздата“), — вспоминает народный художник СССР В. Касиян (Василь Касян, Павло Тичина. — ПТ, с. 66). *Кобылиця* Лукьян (1812—1851) — крепостной крестьянин, возглавивший в 1843—1844 гг. крестьянское антикрепостническое восстание на Буковине. *Федькович* (см. примеч. 132) посвятил ему поэму «Лукьян Кобылиця». *Буковина* — территория, входившая в состав Киевской Руси (Галицко-Волынского княжества); впоследствии была захвачена Турцией, а затем Австро-Венгрией и Румынией. В 1940 г. после воссоединения с УССР на территории Буковины была создана Черновицкая область. *Довбуш* А. В. (Олекса, 1700—1745) — руководитель антифеодального крестьянского движения в 1730—1740-х гг. в Западной Украине, Закарпатье и Буковине. Федькович посвятил ему поэму «Довбуш».

134. Перевод стих. «Юнь».

135. Перевод стих. «Максиму Рильському». Первый сборник стихотворений украинского поэта М. Ф. Рильского (1895—1964) — «На білих островах» («На белых островах») — вышел из печати в 1910 г. «*Позор, позор и стыд нам!*» — цитата из вошедшего в сб. «На белых островах» стих. Рильского «Після похорону» («После похорон»). *Тесленко* А. Е. (1882—1911) — украинский писатель.

136. Перевод стих. «В ім'я людей». *Тарас* — Т. Г. Шевченко. *Вандалы* — древнегерманские племена, совершавшие опустошительные набеги на Римскую империю; слово «вандалы» стало синонимом варварства и жестокости. *За Испанию и за Китай*. Имеется в виду подавление в 1939 г. фашистскими войсками народной революции в Испании и активизация японского империализма в 1937—1938 гг. в Китае, его наступление на национально-освободительные китайские армии. *Носила рота поэта имя*. Одна из рот республиканских войск в Испании носила имя Т. Г. Шевченко.

137. Перевод стих. «Амвросій Бучма». *Бучма* А. М. (1891—1957) — украинский советский актер, народный артист СССР. *Сердечность Энея*. Имеется в виду герой поэмы «Энеида» первого классика новой украинской литературы Котляревского И. П. (1769—1838); Эней в ней трактуется как воплощение лучших черт украинского народа. *Танеев* С. И. (1856—1915) — русский композитор, музыковед, автор теоретической работы «Подвижной контрапункт строгого письма». *Среди образов, Бучмой взлелеянных* и т. д. Роль Ленина Бучма в 1937 г. сыграл в спектакле «Правда» А. Корнейчука в Украинском драматическом театре им. И. Франко.

138. Перевод стих. «Лідка». Стих. посвящено Л. П. Тычине, жене поэта.

139. Перевод стих. «Пам'яті Оксани Петрусенко». *Петрусенко* О. А. (1900—1940) — украинская певица, народная артистка УССР. *Осана* — см. примеч. 65. *И Бессарабии, и Буковине, что потянулись к нам*. Речь идет о воссоединении Бессарабии с Советским Союзом (28 июня 1940 г.) и образовании Молдавской Советской Социалистической Республики (2 августа 1940 г.). *Буковина* — см. примеч. 133.

140. Перевод стих. «Ідемо з Великої Багачки (Після ювілею кобзаря Ф. Д. Кушнерика)»: 15 декабря 1940 г. в с. *Большая Багачка* Полтавской области состоялась сессия Института фольклора АН УССР, посвященная юбилею украинского советского кобзаря Федора Даниловича *Кушнерика* (1875—1941). В своем вступительном слове Тычина подчеркнул, что творчество юбиляра является как бы связующим звеном между фольклорной традицией и современным искусством (V, 181—188). В стих. цитируются строки 1 и 4 из стих. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...». *Яреськи* — село Полтавской области.

141. Перевод стих. «З мого дитинства». В стих. рассказывается о второй попытке отца поэта осенью 1901 г. определить сына в хор Елецкого монастыря в Чернигове и о первых впечатлениях, оттолкнувших мальчика от новой среды. О событиях, связанных с предыдущей поездкой Тычины и его отца в Чернигов, подробно говорится в автобиографии (см. с. 65—66). *Ксения, Костя, Евгений* — сестра и братья поэта. *Паломники* — богомольцы, путешествующие по святым местам. *Регент* — см. примеч. к автобиографии. «*Господи воззвах*» — начальные слова религиозного гимна (на церковнославянском языке). «*Тече річка*», «*Ой, за гаєм, гаєм*» — украинские народные песни.

«Спи, младенец мой прекрасный» — имеется в виду «Казачья колыбельная песня» Лермонтова. *Дискант* — высокий певческий голос мальчиков.

142. Перевод стих. «А. Е. Кримський (яким він уявлявся авторові строф оцих)». *Крымский А. Е.* — см. примеч. 124. *Стиль рококо* — стиль искусства XVIII в., наиболее полно проявивший себя во Франции; отразил вкусы придворно-аристократической среды; характеризуется капризной игривостью и утонченностью форм. *Франко* — см. примеч. 132. *Леся Украинка* — псевдоним украинской поэтессы Косач-Квитко Ларисы Петровны (1871—1913). Обстановка политического гнета подтачивала слабое здоровье поэтессы, которая, как писала в своем некрологе «Правда» (выходившая тогда под названием «Рабочая правда»), была близка к освободительному общественному движению, в частности — пролетарскому, отдавала ему все силы. *Ивана сжил австрийский трон со света.* Имеются в виду преследования, которым подвергался на Западной Украине, входившей тогда в состав Австро-Венгрии, Иван Франко. За революционную деятельность его трижды заточили в тюрьмы, не дали возможности быть избранным в депутаты австрийского парламента и галицкого сейма, не допустили его и до университетской кафедры. *Хафиз* (ок. 1300—1389) — поэт, классик персo-таджикской литературы. Крымский переводил его стихи, изучал его творчество. «*Экзотики*» — подразумевается сб. Крымского «Пальмове гілля» («Пальмовые ветви»), который имел подзаг. «Экзотические стихи» (первое изд. — 1901 г.). В этом сб. были помещены переводы произведений поэтов Востока, а также оригинальные стихи, навеянные ими. *Низами* (1141—1203) — азербайджанский поэт. *Коро К.* (1796—1875) — французский живописец, прославившийся своими пейзажами.

ПОВЕЖДАТЬ И ЖИТЬ

(1944)

143. Перевод стих. «Тобі, народе любий мій». *Аустенитовая сталь* — сталь аустенитного класса, с большим процентом содержания углерода, отличающаяся твердостью и значительной вязкостью.

144. Перевод стих. «Голос матері».

145. Перевод стих. «В безсонну ніч».

146. Перевод стих. «Мій народ». *Добрыня* — герой ряда былин, в частности быliny «Добрыня и Змей», где могучий богатырь побеждает чудовищного *Змея*, угрожавшего Киеву и князю Владимиру. *Канев* — см. примеч. 54. «*Берта*» — тяжелое, крупнокалиберное немецкое орудие.

147. Перевод стих. «Весна». *Тевтоны* — наименование древнегерманского племени, в данном случае — фашистские агрессоры. *Плач Иеремии* — плач библейского пророка Иеремии по поводу разрушения Иерусалима.

148. Перевод стих. «Матері забуть не можу». *Тевтон* — см. примеч. 147. *Пантеист* — сторонник пантеистического взгляда на мир, отождествляющего природу с богом и отрицающего самостоятельное бытие бога.

149. Перевод стих. «Правдивим будь. . .».

150. Перевод стих. «Саратов». *Здесь бывое вспоминается*. В Саратове родился Н. Г. Чернышевский, сюда он вернулся в 1889 г. из сибирской ссылки; в этом городе побывал после своего освобождения из ссылки Т. Г. Шевченко. Земля бывшей Саратовской губернии была дважды охвачена мощными народными восстаниями. *Разин С.* (ум. 1671) — донской казак, вождь крестьянского антифеодального движения 1670—1671 гг. *Пугачев Е. И.* (ок. 1742—1775) — вождь крестьянской антикрепостнической войны в 1773—1775 гг. *Каин* — по Библии, первый убийца среди людей, погубивший своего брата Авеля из зависти к нему.

151. Перевод стих. «Сайфи Кудашу». *Кудаш С.* (Кудашев С. Ф., р. 1894) — башкирский советский поэт. В один из осенних дней 1941 г. в Уфе состоялась первая встреча Сайфи Кудаша и Тычины, положившая начало дружбе двух поэтов. В Уфе Тычина стал изучать башкирскую литературу, читал ее в оригинале. В 1942 г. в Уфе по инициативе и при участии Тычины издательство Союза советских писателей Украины в серии «Фронт и тыл» издает на украинском языке сб. стихов Сайфи Кудаша «Слово матери». В день оглашения Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Сайфи Кудаша орденом Трудового Красного Знамени (к 30-летию его творческой деятельности) и появилось стих. Тычины «Сайфи Кудашу». В своей статье «Настоящий человек, поэт и друг» башкирский поэт пишет: «Автограф стихотворения «Сайфи Кудашу» я сохраняю и поныне, как дорогую для меня реликвию» (ПТ, с. 226). *Гафури М.* (1880—1934) — башкирский и татарский советский писатель. Приехав летом 1941 г. в Уфу, Тычина за короткий срок настолько освоил башкирский язык, что смог читать Гафури в оригинале; не прошло и года, как он опубликовал работу «Патриотизм в творчестве Мажита Гафури». *Добрыня* — см. примеч. 146. *Батыр* (татарск.) — богатырь. *Кобза* — старинный украинский струнный музыкальный инструмент. *Кураисты* — музыканты, играющие на башкирском духовом музыкальном инструменте, представляющем собой род флейты. *Ах-Идель* — см. примеч. 152.

152. Перевод стих. «Гроза». В июне 1943 г. группа писателей и художников Украины побывала в горных районах Башкирии. По каменистым дорогам машины поднялись на вершину Ямантау. «Какой простор, какая роскошь! — вспоминает Баязит Бикбай. — На зубчатых крышах скал и лесов играют лучи солнца, которые уже над западом, а дальше, касаясь горных вершин, плывут тучи, там идет дождь. Мы остановились. Кто знает, может, у Павла Тычины впервые тут зародилось его трогательное стихотворение „Гроза“? . . .» (Баязит Бикбай, О человеке и поэте. — ПТ, с. 177—178). *Ультрамарин* — краска ярко-синего цвета. *Кахим-туре* — легендарный герой башкирского народа, которому посвящено одноименное предание

(«Кахим-туря»), отразившее высокий патриотический подъем народа Башкирии во время войны 1812 г. (см. «Башкирские народные сказки», Уфа, 1939). *Ишимбай, Стерлитамак* — города Башкирской АССР: первый — один из центров нефтеперерабатывающей промышленности, второй — машиностроения и обработки металла. *Заводы Белорецка. Авзян*. Белорецкие и авзянские заводы — крупные горноталлургические предприятия Урала. *Ак-Идель* — башкирское название реки Белой, на берегах которой стоит столица Башкирской АССР г. Уфа. *Ямантау* — обособленный горный массив на Южном Урале в Башкирской АССР. *Ирандык* — горный хребет в Башкирии.

153. Перевод стих. «Я утверждаюсь». *Тевтония* — см. примеч. 147

154. Перевод стих. «За тучами, за хмарами. . .».

155. Перевод стих. «Ірландському письменникові Шон О'Кейсі». Стих. является откликом Тычины на статью ирландского писателя Шона О'Кейси (1884—1964), помещенную в № 4 «Нового мира» за 1943 г. Автор статьи приветствовал укрепление дружбы народов Великобритании и СССР. На стихи Тычины Шон О'Кейси ответил письмом, в котором благодарил за послание и горячо желал советскому народу победы. Полностью письмо Шона О'Кейси опубликовано в сб.: ПТ, с. 217—218. *Славута* — древнее название Днепра. *Цимбалы* — музыкальный инструмент, род ящика с натянутыми на нем струнами, по которым ударяют специальными молоточками. *Кобза* — см. примеч. 151.

ЖИТЬ, ТРУДИТЬСЯ И РАСТИ

(1949)

156. Перевод стих. «І ростн, і діятн. . .».

157. Перевод стих. «Слово».

158. Перевод стих. «Герої Дніпра». *Буй тур* — т. е. буйный тур выражение, встречающееся в «Слове о полку Игореве» и означающее ярко выраженные бойцовские качества воина, его богатырскую силу и доблесть. *Нам на правый надо*, т. е. на правый берег Днепра. *Славута* — см. примеч. 155. *Муромец Илья* — герой русского былевого эпоса. *Добрыня* — см. примеч. 146. *Тарасова могила* — см. примеч. 54. *Содружество Богдана и Москвы*. Имеется в виду воссоединение Украины с Россией, провозглашенное на Переяславской раде (в г. Переяславе) в январе 1654 г. по инициативе гетмана Украины Хмельницкого Б. М. (ок. 1595—1657).

159. Перевод стих. «Океан повен». *Пеан* — в древнегреческой поэзии гимн в честь бога солнца Аполлона и других богов.

160. Перевод стих. «На співанці». О трагических событиях, которые легли в основу стих., поэт говорит также в статье «День мира

второй»: «...С портрета Оля смотрит на меня, Олюня, дочка моего брата Михаила, молодая учительница! Гитлеровские звери убили ее во время нашествия на нашу землю, с малыми детьми ее убили — Ниной и Тамарой — в селе Песках на Черниговщине. Оля с детьми несколько дней и ночей лежала на снегу непохороненной. Как и другие мои односельчане. Зарубленные. Повешенные. Убитые» (VI, 368). «*Рано-рано та калинонька цвіте*» — фольклорный запев, встречающийся в украинских бытовых и обрядовых песнях. «*Та дубова скриня...*» — мотив, варьирующийся преимущественно в украинских песнях свадебного цикла. Скрыня — большой, часто окованный железом сундук, куда пряталось семейное добро. *Квинта* — музыкальный термин, означающий интервал величиной в пять ступеней диатонического звукоряда.

161. Перевод стих. «Збудження весни». «*Запрягайте, хлопцы, коней*» — начальные слова народной украинской песни. *Княжий вал* — укрепленная деревянными срубами насыпь древнего Киева, прилегавшая к территории, на которой были построены Десятинная и Андреевская церкви.

162. Перевод стих. «Мій травню золотий». *Бандура* — украинский музыкальный струнный инструмент.

163. Перевод стих. «Море говорить». *Триест* — порт на Адриатическом море; в 1947 г. по договору с Италией был выделен вместе с прилегающими к нему землями и объявлен нейтральной «Вольной территорией Триест». *Хузистан* (или Арабистан) — провинция в юго-западном Иране, граничащая с Ираком. *Нюрнберг* — город в Баварии (ФРГ), где с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 г. проходил Международный судебный процесс над главными немецкими военными преступниками.

164. Перевод стих. «Москва».

МОГУЩЕСТВО ДАНО НАМ

(1953)

165. Перевод стих. «Вийшла мати з дітьми в поле».

166. Перевод стих. «Над Брянськими лісами». *Ковпак С. А.* (1887—1967) — один из организаторов партизанского движения на Украине, командир партизанского соединения, осуществившего рейд из Брянских лесов на Правобережную Украину (1941) и знаменитый карпатский рейд (1943). *У гроба Калініна стояли ми*. В июне 1946 г. Тычина присутствовал на похоронах выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства М. И. Калинина (1875—1946). *Руднев С. В.* (1899—1943) — комиссар партизанского соединения, которым командовал Ковпак.

167. Перевод стих. «При читанні листів від початкуючих».

168. Перевод стих. «Олександрю Пушкіну». *Каменка* — город на реке Тясмин, где было именован декабрист Давыдов В. Л. (1792—1855) и где происходили встречи членов Южного тайного общества. *Тулчин* — см. примеч. к автобиографии. *Клеветники России*. Имеется в виду стих. Пушкина «Клеветникам России» (1831), отклик на призывы во французской палате депутатов к вооруженному вмешательству в русско-польские отношения. *Твой кинжал* — стих. Пушкина «Кинжал» (1821).

169. Перевод стих. «Пушкін в сім'ї декабристів». Вопрос о влиянии декабристов на Пушкина вызывал особый интерес Тычины. В статье «Родной, любимый наш», упоминая о том, что поэт бывал и в Тульчине, и в Каменке, где «сияют аметистами следы бесед, свиданий с декабристами», Тычина пишет: «Вот почему у нас так огромна нежность к Пушкину: сверканье бесед с декабристами. Вот почему у нас так глубока любовь к Пушкину: смелость свиданий с декабристами. Своей нежностью и любовью мы тут как раз прикасаемся к наименеешему у курчавого титана поэта, к мировоззрению его». Очень важно понять, подчеркивал Тычина, «его революционные построения, его связи с дворянскими революционерами» (V, 78—79). К той же мысли возвращается Тычина в посвященной Пушкину статье «Гениальный сын великого народа» (1949). *Каменка* — см. примеч. 168. *Тясмин* — правый приток Днепра на территории Кировоградской и Черкасской областей; на берегу Тясмина, в именован *Давыдова* (см. о нем примеч. 168), гостил Пушкин. *Пестель* П. И. (1793—1826) — глава Южного общества декабристов. *Тулчин* — см. примеч. 168. *Солнце, солнце!* — *молвит Пушкин* и т. п. — парафразы из «Вакхической песни» Пушкина (1825). *Якушкин* И. Д. (1793—1857) — видный деятель раннедекабристских тайных обществ — «Союза спасения» и «Союза благоденствия». *Раевский* В. Ф. (1795—1872) — поэт-декабрист, друг Пушкина. *Орлов* М. Ф. (1788—1842) — генерал-майор, декабрист.

170. Перевод стих. «Танці на мечі». В связи с празднованием 25-летия Английского общества культурной связи с СССР Тычина осенью 1949 г. посетил Англию и Шотландию. *Абердин* — город в Шотландии, на берегу Северного моря. *Вольтка* — народный шотландский духовой музыкальный инструмент, состоящий из нескольких трубок, вделанных в кожаный мешок (или пузырь), в который нагнетается воздух.

171. Перевод стих. «Ти живий і тепер, Леонардо да Вінчі». *Леонардо да Винчи* (1452—1519) — итальянский художник, скульптор, архитектор, инженер. Отрицал геоцентрическую систему мира, созданную древнегреческим ученым II в. *Птолемеем*, утверждавшим, что в центре мироздания находится Земля, а все небесные светила двигаются вокруг нее. *Машин чертежи*. Леонардо да Винчи обосновал возможность полета человека на летательном аппарате в воздухе и разрабатывал проект такого полета. *Океанский*, т. е. Северо-Атлантический блок — агрессивный военно-политический блок капиталистических государств, к которому в 1949 г. присоединилась Италия.

Тольятти П. (1893—1964) — деятель итальянского и международного коммунистического и рабочего движения; с 1927 г. — генеральный секретарь Коммунистической партии Италии. *В Модене расстрел* — расстрел полицией 9 января 1950 г. демонстрации трудящихся в итальянском городе Модене. *«Джиоконда»* — известный под таким названием портрет Монны Лизы, который Леонардо да Винчи писал четыре года (ок. 1503—1507). *Вир* — водоворот.

172. Перевод стих. «На Переяславській Раді». *Богдан* — Хмельницкий, см. примеч. 158. *Бутурлин В. В.* (ум. 1656) — боярин, дипломат и военный деятель, возглавлял русское посольство на Переяславской Раде. *Альта* — правый приток р. Трубеж (Киевской области), на которой стоит г. Переяслав-Хмельницкий.

173. Перевод стих. «Тамара Абакелия працює над пам'ятником Лесі Українці». *Абакелия Т. Г.* (1905—1953) — грузинская советская художница и скульптор. В 1952 г. завершила работу над памятником *Лесе Украинке* (см. о ней примеч. 142), который был поставлен в грузинском селении *Сурами*, где скончалась поэтесса и где был создан дом-музей ее памяти. *К поэме Руставели. «Давид Сасунский»*. Абакелия иллюстрировала поэму грузинского поэта Шота Руставели (вторая пол. XII — нач. XIII в.) «Витязь в тигровой шкуре», а также армянский народный эпос «Давид Сасунский», относящийся к VII—X вв. *Прав Франко: ведь слово Леси по-мужски звучало.* И. Франко (см. о нем примеч. 132) писал о Лесе Украинке: «...Эта больная, слабосильная девушка — едва ли не единственный мужчина на всю современную соборную Украину» (Ив. Франко, «Лесья Украинка». — Твори в 20-ти томах, т. 17, К., 1955, с. 252—253).

МЫ СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

(1957)

174. Перевод стих. «І дививсь Ілліч на мене».

175. Перевод стих. «Ми свідомість людства». Отклик на борьбу, которую выдержала Объединенная Арабская Республика с эксплуатировавшими Суэцкий канал капиталистическими странами. В 1956 г. правительство Египта национализировало канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, что вызвало вооруженные акции этих держав. *Порт-Саид* — порт у входа в Суэцкий канал из Средиземного моря, подвергшийся бомбардировкам с воздуха. *Вы тогда «вопрос венгерский» в ООН тащили.* Во время контрреволюционного мятежа 1956 г. в Венгрии представители некоторых государств, принадлежащих к агрессивному Северо-Атлантическому блоку, потребовали с провокационной целью обсуждения в Организации Объединенных Наций «венгерского вопроса».

176. Перевод стих. «В Чорнобилі». *Чернобыль* — город в Киевской области на реке Припять. *Осокорь* — черный тополь. *Ковш Медведицы* — созвездие Большой Медведицы.

177. Перевод стих. «Горобницю золотий». *Тагил* — река в Свердловской области, правый приток реки Туры (бассейн Оки).

178. Перевод стих. «Іній».

179. Перевод стих. «А легко ж быть чудесним, молодым». И. Сельвинский в статье «Сила поэта» вспоминал, что в 1921 г. Маяковский, пересчитав по пальцам имена поэтов, которых он считал настоящими, включил в их число и Тычину («Литературная газета», 1961, 28 января). В своем выступлении на одном из заседаний, посвященных Неделе украинской литературы в Москве, Маяковский говорил о том, что писатели столицы лучше знают зарубежную литературу, чем творчество соратников по борьбе за коммунистическую культуру. Почему в спорах, охотно ссылаясь на Дюамеля или Вильдрака (современных французских писателей), не ссылаются на стихи Тычины, Сосюры, спрашивал поэт и, желая убедить аудиторию, что он знает украинскую поэзию, процитировал на языке оригинала строфу из поэмы Тычины «В космическом оркестре» (В. Кузьмич, «Брат», — харьковская газ. «Большевистское знамя», 1940, 12 апреля). Он говорил о дружбе двух сестер. Тычина передает содержание своего разговора с Маяковским.

180. Перевод стих. «Над Дніпром».

181. Перевод стих. «Про юного Василя». *Эллан В.* — см. примеч. к автобиографии. *Яловщина* — лес в окрестностях Чернигова. *Путиловский завод* — завод в Петербурге (ныне — Кировский); в 1910-х гг. еще свежи были воспоминания о знаменитой январской Путиловской стачке 1905 г. и шло революционное брожение среди рабочих, которое В. Эллан связывает с агитационно-пропагандистской деятельностью Н. И. Подвойского (см. примеч. к автобиографии). *Виталий* — Примаков В. М. (1898—1937), герой гражданской войны, организатор красного казачества, доблестно сражавшегося против врагов Советской Украины. *Вера* — Лапина В. Н., участница социал-демократических кружков Чернигова. *Юрий* — Коцюбинский Ю. М. (1895—1937), сын М. М. Коцюбинского, государственный, партийный и военный деятель УССР. Входил в состав первого правительства советской Украины, был главнокомандующим ее вооруженными силами, дипломатическим ее представителем за границей, членом ЦК КП(б)У. *Подвойский вышел из тюрьмы.* Подвойский был освобожден из петербургской тюрьмы после трехлетнего заключения (1908—1910).

182. Перевод стих. «Щоб Україні твердо стать (Київ 1919 р.)». *Подвойский* — см. примеч. к автобиографии. *Кумач* — ярко-красная бумажная ткань; здесь: красный цвет — символ революции. *Тьстон* — см. примеч. 147. *Центральная рада, Петлюра* — см. примеч. 99. *Гетман* — Скоропадский (см. примеч. 55).

183. Перевод стих. «І сказав Богдан». *Богдан, Переяслав* — см. примеч. 158.

184. Перевод стих. «В міжпланетні простори вікно». Посвящено запуску в СССР первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957). *Циолковский К. Э.* (1857—1935) — русский ученый, впервые в мире разработавший теорию полета в космическом пространстве с применением ракетной техники.

РАСТИ, НАШ МИР СВЕТОНОСНЫЙ

(1960)

185. Перевод стих. «Революції мотиви». «Мазовше» — польский национальный ансамбль песни и пляски им. Т. Сигединского, организованный этим композитором в 1948 г. В состав ансамбля вошли народные певцы и танцовщики одной из областей Польши — Мазовии.

186. Перевод стих. «До знатної ланкової». *Залесьє* — село Чернобыльского района, Киевской области, в котором живет героиня стих. Тычины. *Осокорь* — см. примеч. 176. *Бурты* — земляные насыпи, под которыми хранятся свежие овощи. *Чернобривці* — растения семейства сложноцветных; выращиваются как декоративные.

187. Перевод стих. «В Анкарі (1929)». Тычина посетил столицу Турции зимой 1928—1929 г.: он был послан туда с делегацией востоковедов от Наркомпроса УССР. *Революція... до половини*. Имеется в виду турецкая буржуазно-национальная, так называемая кемалистская революция 1920 г., направленная против господства иностранного капитала и султанского феодально-клерикального строя; революция эта имела непоследовательный и ограниченный характер из-за слабости пролетариата и отсутствия в стране сильного крестьянского движения. *Унеслась столица из Стамбула*. 13 октября 1923 г. столицей Турции вместо Стамбула была объявлена Анкара. *Пантюркизм* — возникшая в начале XX в. шовинистическая теория, отразившая гегемонистские стремления турецкой буржуазии, желавшей подчинить себе все тюркские народы. *Назым* — Назым Хикмет (1902—1963), турецкий писатель, коммунист. *Выстрел был — султан остался жив*. Речь идет о так называемом младотурецком буржуазно-революционном движении, о стихийных восстаниях, которые в 1906—1907 гг. вспыхнули в Турции. Однако, ограничив власть султана конституцией, младотурки, занявшие видные посты в правительстве, не облегчили положения народных масс. *Ататюрк Кемаль* (1880—1938) — государственный и политический деятель Турции, возглавивший в 1923 г. буржуазную революцию, которая изгнала англо-греческих оккупантов и утвердила в стране республику. В 1923—1938 гг. Ататюрк был президентом республики. *Паранджа* — длинный халат с волосистой черной сеткой, закрывающей лицо, обязательная одежда мусульманских женщин.

188. Перевод стих. «Де одна думка, а тисячі рук». *Кременчугская ГЭС* — гидроэлектростанция вблизи г. Кременчуга (Полтавской области), построенная в 1954—1960 гг. и входящая в систему гидроэлектростанций Днепровского каскада. *Павлыш* — поселок вблизи Кременчуга. *Крюков* — бывший Крюковский посад, еще в 1796 г. слившийся с г. Кременчугом; Крюковским называется вагоностроительный завод, выросший в этой части города.

189. Перевод стих. «Зростай, предчудовний світе». *Кибальчич* Н. И. (1853—1881) русский революционер-народоволец, казненный за участие в убийстве Александра II. В 1881 г. в тюрьме разработал систему реактивного летательного аппарата. *Циолковский* — см. примеч. 184.

190. Перевод стих. «Коли творцем ти називаєшся».

КОММУНИЗМА ДАЛИ ВИДНО

(1961)

191. Перевод стих. «Ленін іде на шевченківський вечір». Слова, взятые эпиграфом к стих., — из приписки Ленина в письме Н. К. Крупской от 16 февраля 1914 г., посланном из Кракова в Вологду М. А. Ульяновой — матери В. И. Ленина. Вечер, о котором пишет Ленин, был посвящен столетнему юбилею Шевченко. В стих. идет речь о запрещении в 1914 г. празднования юбилея Шевченко. По поводу этого запрещения выступил Ленин в своем проекте речи «К вопросу о национальной политике» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, с. 64—72). Речь эту должен был произнести в Государственной думе депутат-большевик Г. И. Петровский, но в связи с тем, что 22 апреля (5 мая) 1914 г. левые депутаты были исключены из Думы на 15 заседаний, с речью выступить не удалось. *Злыденко* — слово с пренебрежительным оттенком (от «злыдни» — бедность, нищета). *Савенко и К^о* — слова Ленина из работы «О праве наций на самоопределение» (1914). Савенко А. И. (р. 1874) — украинский националист, крупный помещик, сотрудник черносотенных газет, депутат IV Государственной думы от Киевской губернии, враг советской власти, белоэмигрант.

192. Перевод стих. «Приходь, героїчне! Прекрасне, явись!...». *Львов И. П.* (ум. 1971) — преподаватель философии в Черниговской семинарии, где учился поэт; впоследствии Львов был доцентом Черниговского пединститута. *Вёдренных дней*. Вёдро — см. примеч. 48.

193. Перевод стих. «Я радий, що тобі сьогодні бачу». *Капелла Стеценко* — см. примеч. к автобиографии. *Тебя увидал я в годах двадцатых*. Одессу Тычина впервые увидел в 1920 г. во время поездки с капеллой Стеценко по Украине. Этой встрече посвятил он датированное 1920 г. стих. «Перед памятником Пушкину в Одессе» (см. № 85). *Памятник Пушкину* — см. примеч. 85. *Лысенко Н. В.* (1842—1912) — украинский композитор; в музыкальной школе, которую он открыл в Киеве, воспитались выдающиеся украинские композиторы. *Глизер Р. М.* (1875—1956) — русский советский композитор. *Степовой Я. С.* (1883—1921) — украинский советский композитор. *Леонтович* — см. примеч. к автобиографии. *У Пушкина Барбюса повстречал*. Встреча Тычины с Анри Барбюсом (см. о нем примеч. к автобиографии) в Одессе, вероятно, состоялась в январе 1929 г., когда поэт вернулся из поездки в Турцию, а Барбюс во время своего пребывания в СССР посетил Одессу.

194. Перевод стих. «Рабіндранат Тагор (Після повернення з Москви 1930 р.)». *Тагор Р.* — см. примеч. 75. В 1930 г. Тагор посетил Советский Союз, в 1931 г. издал книгу «Письма о России», вызвавшую взрыв гнева у английских реакционеров. *Бенгалия* — см. примеч. 75. *Грей оф Фалладон Эдуард, виконт (1862—1933)* — английский государственный деятель, в 1905—1916 гг. министр иностранных дел Великобритании, сторонник колониальной экспансии. *Восстание в Шолапуре* — восстание в индийском городе Шолапуре в 1930 г. против английских колонизаторов.

В СЕРЕБРЯНУЮ НОЧЬ

(1964)

195. Перевод стих. «І заспівав я радо». *Коцюбинский* — см. примеч. к автобиографии.

196. Перевод стих. «До молодих поетів».

197. Перевод стих. «У Асеева в гостях». *Асеев Н. Н. (1889—1963)* — русский советский поэт, друг Тычины. Асеев переводил стихи Тычины, писал статьи о его творчестве. В свою очередь Тычина с большим интересом и любовью следил за творчеством Асеева и популяризировал его на Украине. *Курянин ты*. Асеев родился в г. Льгове Курской области, а учился в Курске. *Оксана* — К. М. Асеева (Снижкова), жена поэта. *Лидя* — Л. П. Тычина, см. примеч. 76. «*Дума*» — переведенное Асеевым произведение украинского фольклора.

198. Перевод стих. «Напровесні». *Тороватый* — щедрый. *В музеях Ленина, Тараса*. Подразумеваются филиал Центрального музея Ленина в Киеве и открытый в 1949 г. литературно-мемориальный музей Т. Г. Шевченко. «*Арсенал*» — Киевский завод «Арсенал» им. В. И. Ленина. С историей этого завода связаны важнейшие вехи классовой борьбы киевского пролетариата. *Аскольдова могила* — павильон в Киевском парке над Днепром, перестроенный из церкви, возведенной в 1810 г. на месте, где, по преданию, в 862 г. киевский князь Аскольд был убит Олегом. *Дарница* — индустриальный район Киева на берегу Днепра. *Мост Патона* — мост через Днепр в Киеве, построенный по проекту украинского ученого, специалиста в области мостостроения, академика АН УССР Патона Е. О. (1870—1953).

199. Перевод стих. «Як ти за мир — мобілізує же сили». *Гать* — здесь: болото, топкое место. *Цунами* — гигантского размера волны, образующиеся в Тихом океане; представляют огромную опасность для населения прибрежных районов стран, омываемых Тихим океаном, в особенности для Японии. *Хиросима* и *Нагасаки* — портовые города в Японии, разрушенные атомными бомбами, сброшенными в августе 1945 г. с военных самолетов США. В результате погибло 225 тысяч жителей. *Стронций* — один из продуктов распада урана; представляет огромную опасность для людей.

200. Перевод стих. «Розростатись дружбі вшир».

ІЗ СТИХОТВОРЕНЬ, НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

201. Перевод стих. «Блакить мою душу обвіяла...».

202. Перевод стих. «Під моїм вікном...». О возникавших в семье из-за тяжелого материнского положения неладах поэт упоминает в автобиографии, см. с. 60.

203. Перевод стих. «Що місяцю зіроньки кажуть...».

204. Перевод стих. «Молодий я, молодий...».

205. Перевод стих. «Розкажи, розкажи мені, поле...».

206. Перевод стих. «Ви знаєте, як липа шелестить...».

207. Перевод стих. «Де тополя росте...».

208. Перевод стих. «Не бував ти у наших краях...».

209. Перевод стих. «Коли в твої очі дивлюся...».

210. Перевод стих. «Десь на дні мого серця...».

211. Перевод стих. «Дух народів горить...». *Маккавей Іуда* — один из вождей народного восстания в Иудее во II в. до н. э., направленного против политического гнета династии Селевкидов. *Леонирдо да Винчи* — см. примеч. 171.

212. Перевод стих. «Як не горю...».

213. Перевод стих. «Зоставайся, ніч настала...».

214. Перевод стих. «О, я не невільник...». *Гай* — лес.

215. Перевод стих. «Вийду, вийду за ворота...». *То ли Рада, то ли немцы* — см. примеч. 99. *Гетман* — Скоропадский (см. примеч. 55). *Сотня с Дона генеральських псов*. В окружении гетмана было немало белых офицеров с Дона.

216. Перевод стих. «В гаю, в маю...».

217. Перевод стих. «Застебнулось на всі гудзики небо...».

218. Перевод стих. «Прийшли до мене гості...». *Шевченко* — см. примеч. 54. *Франко* — см. примеч. 132.

219. Перевод стих. «Із Білої Церкви, мов з чорної ночі...». *Белая Церковь* — город Киевской области. *Леся Украинка* — см. примеч. 142.

220. Перевод стих. «Трохи не доспиш...».

221. Перевод стих. «Напував коня. . .».

222. Перевод стих. «Револуційний гімн». В статье 1960 г. «К. Г. Стеценко» (VI, с. 352—365) Тычина вспоминает о том, что после объявления конкурса, посвященного созданию гимна Советской Украины, комиссия, работавшая в 1919 г. в Киеве при Всевидате, где поэт заведовал литературным подотделом, обратилась к Стеценко с просьбой написать музыку на один из проектов гимна. Далее Тычина пишет о том, что следы работы над гимном остались в творчестве украинских поэтов Чумака В. Г. (1901—1919), Эллана (см. примеч. к автобиографии), Терещенко Н. И. (1903—1963), Григорука Е. М. (1899—1922), Загула Д. Ю. (1890—1938), а также в его собственном творчестве. *Скрижали* — упоминаемые в Библии священные заповеди, высеченные на каменных досках.

223. Перевод стих. «Скільки тих було імперій. . .».

224. Перевод стих. «Микола Леонтович говорить. . .». *Леонтович* — см. примеч. к автобиографии. В стих. приводятся строки народной песни «Пряля» в обработке Леонтовича.

225. Перевод стих. «Прометей». *Прометей* — см. примеч. 81. *Ко мне орлов да коршунов со смехом насылал*. Согласно древнегреческому мифу, тело прикованного к скале Прометея терзал свирепый коршун. *Двуглавый (черный) орел* — государственный герб царской России; *одноглавый (белый)* — польский государственный герб.

226. Перевод стих. «Люблю. . .».

227. Перевод стих. «Мадонни, Ундіни, Гудруни. . .», входившего в расформированный поэтом цикл «Харьков» (см. примеч. 106). *Ундіна* — героиня одноименной повести немецкого писателя-романтика Ф. де ла Мотт Фуке (1777—1843), в основу которой легли мотивы германских народных поверий. «Ундину» Фуке на русский язык перевел В. А. Жуковский. *Гудруна* — героиня одноименного средневекового немецкого эпоса, возникшего около 1240 г. и сохранившегося в рукописи начала XVI в. *Изольда* — героиня средневекового рыцарского романа XII в. «Тристан и Изольда».

228—229. Перевод стих. «За хмарами обвали» и «Слався», первоначально входивших в «Крымский цикл» (см. №№ 128—130).

230. Перевод стих. «Гора Ельбрус». *Сакко Н.* (1891—1927) и *Ванцетти Б.* (1887—1927) — американские рабочие-революционеры; по ложному обвинению в убийстве, совершенном другим лицом, были 27 августа 1927 г. казнены на электрическом стуле.

231. Перевод стих. «На вбивство Сакко и Ванцетті». См. предыдущее примеч.

232. Перевод стих. «Я ж не винец, що Анжела. . .».

233. Перевод стих. «Люди не вертаються. . .». *Ирпень* — дачный городок неподалеку от Києва.

234. Перевод стих. «Мені сниться. . .».

235. Перевод стих. «В'їжджаємо! . . .».

236. Перевод стих. «Природо моя! Що ти хочеш від мене? . . .».

237. Перевод стих. «Поміж Волгою і Сожем. . .». *Сож* — левый приток Днепра, протекающий по Смоленской, Могилевской и Гомельской областям, на границе с УССР.

238. Перевод стих. «Як ізнизу вгору дивиться. . .».

239. Перевод стих. «Нічого не вдієш, не звариш. . .».

240. Перевод стих. «А зоря на сході. . .».

241. Перевод стих. «Осокорі. . .». *Осокорь* — см. примеч. 176.

242. Перевод стих. «. . .Ще не раз колись розквітну! . . .».

243. Перевод стих. «Навіщо нам дискутувать. . .».

244. Перевод стих. «. . .А що ж. . .».

245. Перевод стих. «Зазеленіє, завітнує жито».

246. Перевод стих. «На те я лірик. . .».

247. Перевод стих. «Зустріч з Верьовкою в Тампере». *Веревка*: Г. Г. — см. примеч. к автобиографни. *Тампере* — город в Финляндии.

248. Перевод стих. «Я завше там, де труд, де людно. . .».

249. Перевод стих. «Радощі і чорну днину. . .».

250. Перевод стих. «До молодих поетів».

251. Перевод стих. «Ну, як би я міг без твоєї усмішки? . . .». Об адресате стих, см. примеч. 76. *Конча-Заспа* — дачная местность вблизи Києва.

252. Перевод. стих. «Муса Джалиль у Києві (1939)». *Джалиль* М. (Залилов М. М., 1906—1944) — татарский советский поэт. Казнен гитлеровцами в Моабитской тюрьме. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. В предсмертных записках, вспоминая самых дорогих людей, Джалиль назвал и имя Тычины. Хетагуров *Коста* (1859—1906) — осетинский писатель; жил на Украи-

не, популяризовал творчество украинских писателей. *Цадаса Г.* (1877—1951) — аварский советский поэт, отец Расула Гамзатова. *Тукай Г.* (1886—1913) — татарский поэт.

253. Перевод стих. «Дивлюсь на тебе я, не надивлюся...». Об адресате стих. см. примеч. 76. *Кузнечная* — улица в Киеве, впоследствии переименованная в улицу Горького; здесь поэт жил с 1917 по 1923 г.

254. Перевод стих. из цикла «Подорож з капелю Стеценка». *Стеценко, Элан* — см. примеч. к автобиографии. *Юра И. П.* (1888—1966) — украинский советский режиссер и актер, народный артист УССР. *Курбас Л.* (1887—1942) — украинский режиссер и актер. *Глиэр Р. М.* — см. примеч. 193. *Мережковский Д. С.* (1866—1941) — русский писатель, идеолог декаданса; враждебно встретил Октябрьскую революцию и в 1920 г. эмигрировал. *Леонтович* — см. примеч. к автобиографии. Упоминание о г. *Тульчине*, в котором жил Леонтович, связывается здесь со славными страницами истории этого города, с декабризмом (см. также примеч. к автобиографии). «*Пряля*» — см. примеч. 224. *Шуберт Ф.* (1797—1828) — австрийский композитор. *Казка А.* (1890—1929) — поэт, товарищ Тычины. «*Заповіт*» («Завещание») — стих. Шевченко.

255. Перевод стих. «О Космосе великий наш...».

256. Перевод стих. «Два ковалі».

257. Перевод стих. «Перед картиннами Олекси Шовкуненка». *Шовкуненко А. А.* (1884—1974) — украинский живописец, народный художник СССР. *Белорецк* — см. примеч. 152. *Пастель* — см. примеч. 25. *Колер* — цвет.

258. Перевод стих. «Глибокі сліди». *Край деснянских вод*. Чернигов расположен на правом берегу реки Десны. *Подвойский* — см. примеч. к автобиографии. *Коцюбинский Юрий* — см. примеч. 181. *Примаков В.* — см. примеч. 181. *Дядиченко А. Н.* (1868—1919) — статистик губернской земской управы в Чернигове, куда был выслан за участие в революционном движении; находился там под наблюдением полиции. В статистическом бюро работал до 1914 г. Библиотекой Дядиченко, где было собрано немало марксистских изданий, широко пользовались его сотрудники и знакомые. *На Валу* — см. примеч. 123. «*Субботы*» — «субботы» у М. М. Коцюбинского, см. примеч. к автобиографии и стих. № 124. *Зажоры* — вода под тающим снегом.

259. Перевод стих. «В серці у моїм...».

II

260. Перевод поэмы «Дзвінокблагитне». Рукопись поэмы сохранилась не полностью; потеряны страницы 3—5 (утраченные строки обозначены отточиями). Кроме отрывка «Хор лісових дзвіночків» («Хор лесных колокольчиков»), поэма при жизни Тычины не печаталась.

талась. «... По жанру, — пишет Л. Н. Новиченко в статье „Из потока десятилетия“, — это поэма-феерия, отмеченная известным влиянием „Лесной песни“ Леси Украинки» (Леонід Новиченко, 3 потоку десятиліть. — В кн.: П. Тичина, В серці у моїм, К., 1970, с. 13). Г л. 2. *Ряст* — первоцвет. *Пан* — см. примеч. 1.

261. Перевод поэмы «Золотий го́мін». *Лавра* — Киево-Печерская Лавра, существующая с 1598 г., бывший православный монастырь, ныне государственный заповедник. *Софія* — Софийский собор в Киеве, возведенный в 1037 г. во времена Ярослава Мудрого и достроенный в начале XII в., выдающийся памятник архитектуры Киевской Руси. *Андрей Первозванный* — церковные легенды и русские летописи говорят о нем как об одном из апостолов Христа, первом проповеднике христианства на Руси. Его именем названа Андреевская церковь, построенная в Киеве над Днепром в 1747—1753 гг. по проекту В. Растрелли архитектором И. Мичуринным. *Хоруговки* — церковные знамена, используемые в религиозно-обрядовых процессиях.

262. Перевод поэмы «Розкол поетів». *Майдан* — площадь. *Вильде Лиль Адан* (1838—1889) — французский писатель, в произведении которого антибуржуазный гротеск сочетается с пессимистическими и мистическими настроениями. *Парнасцы* — возникшая во Франции во второй половине XIX в. группа сторонников «чистого» искусства, куда входили Леконт де Лиль, Готье, Эредиа; в данном случае парнасец — приверженец антинародного искусства. *Печенеги* — тюркские племена, кочевавшие в IX—XI вв. в Северном Причерноморье (до Дуная). *Хозары* — народ, образовавший в VIII—X вв. государство, простиравшееся от нижней Волги до Кавказа и Северного Причерноморья. *УНР* — Украинская народная республика, образованная в 1918 г. Центральной радой (см. примеч. 99). *Шарм* (франц.) — обаяние, очарование. *Кресало* — металлическая планка для высекания огня. «*Отче наш, иже еси*» — христианская молитва. *Так молвил Заратустра*. «Так говорил Заратустра» — сочинение немецкого философа-идеалиста Ф. Ницше (1844—1900), делившего человечество на касту сильных и на рабов, которые должны находиться в их подчинении; взгляды Ницше были использованы идеологами фашизма в Германии. *Горний* — небесный. *Парнас* (греч. миф.) — гора, считавшаяся местопребыванием бога Аполлона и муз; в данном случае — синоним отрешенной от жизни поэзии. *Тарас* — Шевченко. *Футиризм* — формалистическое модернистское течение в искусстве начала XX в.; мелкобуржуазное бунтарство футуристов находило проявление в испровержении традиций прошлого, в отказе от художественного анализа действительности, в отрицании красоты. *И быша хаос, быша тьма* — цитата из библейской книги «Бытия», посвященной «сотворению мира». *Коран* — священная религиозная книга мусульман; здесь Коран в значении: новое учение. *Полова* — шелуха хлебных зерен. Это слово приобретает особый смысл: здесь имеет место переключка с интродукцией И. Франко к поэме «Лесная идиллия» (под названием «Посвящение Николаю Вороному»), в которой дано противопоставление истинной поэзии («огонь в одежде слова») безыдейной — словесной «полове». *Фари́сеи* — представители зажиточных слоев древней Иудеи, враги христианства, приверженцы внешних правил благочестия; в переносном

значении — лицемеры, ханжи. *Фимиам* — благовонное вещество для курения; здесь в переносном значении: хвала, лесть.

263. Перевод поэмы «В космічному оркестрі». Гл. 1. *Пюпитр* — подставка для нот. *Тромбон* — духовой оркестровый инструмент. Гл. 2. *Сатурновым венцам*. Подразумеваются так называемые «кольца» планеты Сатурн, состоящие из небольших твердых небесных тел. *Свобода, равенство и братство* — лозунг, провозглашенный французской революцией конца XVIII в. Гл. 4. *Прометей* — см. примеч. 81. *Кресало* — см. примеч. 262. Гл. 6. *Монокль* — улучшающее зрение оптическое стекло; употреблялось в виде одного очка. *Декады* — имеются в виду декады, принятые во время французской революции конца XVIII в., когда неделя состояла из десяти дней, а месяц был разделен на три декады. Гл. 7. *Тайная вечеря* — последняя перед казнью тайная встреча Христа со своими учениками, о которой рассказывает в Евангелии. *Гильотинные дни*. Гильотина — машина для свершения казни, отсекавшая голову; впервые была применена во времена французской буржуазной революции конца XVIII в. *Робеспьер М.* (1758—1794) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., вождь якобинцев. *Михайличенко Г. В.* (1892—1919) — украинский писатель и общественный деятель; член мелкобуржуазной националистической партии боротьбистов. Ведя с нею принципиальную идейную борьбу, В. И. Ленин и Коммунистическая партия стремились вместе с тем привлечь на свою сторону ту часть трудового крестьянства, которая шла за боротьбистами. В начале 1920 г., окончательно утратив свое политическое влияние, партия боротьбистов вынуждена была самоликвидироваться. Лучшие из бывших боротьбистов, согласно решению IV конференции КП(б)У, были приняты в ряды Коммунистической партии. С мая 1919 г. Михайличенко был наркомом просвещения Украины. Расстрелян денкинцами. *Чумак В. Г.* (1901—1919) — украинский советский поэт, автор ярких произведений, проникнутых пафосом революционной борьбы; расстрелян денкинцами. Гл. 8. *Уитмен У.* (1819—1892) — американский поэт. *Верхарн Э.* (1855—1916) — бельгийский поэт. *Оседедец* — чуб на бритой голове, который в XVI—XVIII вв. носили запорожцы. Гл. 9. *Семирамида* — легендарная царица Ассирии, с именем которой связано предание о «висячих садах» в Вавилоне и Мидии.

264. Перевод отдельных глав поэмы-симфонии «Сковорода». Личность и творчество *Сковороды* (см. о нем примеч. на с. 663) глубоко интересовали Тычину. Многие части и отрывки симфонии печатались в разных сборниках поэта и в периодической печати. Наиболее полным является издание: Павло Тычина, Сковорода (симфония), К., 1971. Сюда вошел весь опубликованный текст, а также обнаруженные в архиве поэта и при его жизни не увидевшие света фрагменты. Три части поэмы — «Allegro giocoso», «Grave», и «Risoluto» — были опубликованы в 1923 г. Увидевший свет в 1940 г. фрагмент «Сковорода и Бесноватый» не вошел в поэму и помещается в настоящем издании под самостоятельным номером. С поэмой фрагмент этот роднит не только общая тема и образ главного героя, но и прямая текстуальная близость (ср., например, начало главы «Allegro giocoso» и первые строки фрагмента «Сковорода и Беснова-

тый»). Названия глав свидетельствуют о том, что Тычина соотносил их замысел с жанровыми особенностями музыкальных произведений.

Allegro giocoso. Сады Китаевские — сады монастырского урочища под Киевом, впоследствии ставшие кладбищем для монахов Лавры. *Там пташки утро окружают, клюют, клюют, не наклюются* — живописный мотив украинского народного орнамента. *Как над главою Моисея, роза сияющие шлет*. Имеется в виду статуя «Моисей», созданная Микеланджело. *Паперть* — крытая площадка или крыльцо перед входом в церковь. *Иустин* — прототипом для этого образа послужил родственник Сквороды Иустин Звирака, начальник лаврской типографии, впоследствии управитель монастырского урочища Китаевская пустынь. *Познай самого себя*. В статье «Григорий Скворода» Тычина пишет по поводу этого важнейшего положения в учении украинского философа, что оно было чрезвычайно актуальным в XVIII в. лозунгом: «Жан-Жак Руссо, например, в своей известной работе «Содействовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов» рекомендует «войти в самого себя и прислушаться к голосу совести». Робеспьер, вождь якобинцев, благодарил Жан-Жака Руссо за то, что тот научил его познавать самого себя. Встречается этот лозунг также и у Клопштока, и у Франклина, и у Гете... Таким образом, учение Сквороды о самопознании было передовым, так как связано же оно с исканием счастья для людей, связано с освобождением их от рабства, с любовью к своей отчизне» (Павло Тычина, Скворода, К., 1971, с. 362). *Тын* — забор. *Сократ* (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, призывавший к самопознанию и внутреннему самоусовершенствованию.

Gave. В основу главы положен эпизод, описанный первым биографом Сквороды М. Ковалинским. «Многие из соучеников его бывших, — пишет Ковалинский, — из знакомых, из родственников, будучи тогда монахами в Печерской Лавре, напали на него неотступно, говоря кругом:

«Полно бродить по свету! Пора пристать к гавани, нам известны твои таланты, святая Лавра примет тебя как мать свое чадо, ты будешь столб церкви и украшение обители».

«Ах, преподобные! — возразил он с горячностью, — я столботворения умножать собою не хочу, довольно и вас, столбов неотесанных во храме божием». За сим приветствием старцы замолчали, а Скворода, смотря на них, продолжал: „Риза, риза! Коль немногих ты опреподобила! Коль многих окаянствовала, очаровала. Мир ловит людей разными сетями, покрывая оныя богатствами, честями, славою, друзьями, знакомствами, покровительством, выгодами, утехами и святыею, но всех нещастнее есть последняя“» (М. Ковалинский, Жизнь Григория Сквороды. — Григорий Скворода, Твори в 2-х томах, т. 2, К., 1961, с. 510). *Лавра* — см. примеч. 261. *Саваоф* — одно из имен бога в Библии. «*Спаси, господи, люди твоя*» — церковная величальная молитва, славящая русского царя. «*Блаженны милостивы, яко ти помилованны будут*» — из нагорной проповеди Христа («Евангелие от Матфея», V, 7). *Антиминс* — четырехугольник из льняной или шелковой ткани, на котором изображены Христос и евангелисты и который кладется на престол под Евангелие.

Risoluto. Лес Голосеевский — лес под Киевом. *Хлоп* — холоп. *Свитка* — см. примеч. к автобиографии. *Лыбедь* — приток Днепра,

протскающий в Киеве и названный именем сестры основателей Киева (Кня, Щека, Хорива), как об этом гласит летописная легенда в «Повести временных лет». *Подол* — расположенный в прибрежной местности старейший район Киева, в XIV—XVII вв. — его административный центр. *К Екатерине... Малороссии любительнице*. Екатерина II (1729—1796) в 1783 г. ввела на Украине крепостное право. *София* — см. примеч. 261. *Десятинная* — возведенная в 989—996 гг. в Киеве русскими и византийскими мастерами первая каменная церковь Древней Руси, на постройку которой князь Владимир Святославич выделил десятую часть княжеских доходов. *Лавра* — см. примеч. 261. *Барокко* — см. примеч. 68. *Фолиант* — толстая книга большого формата. *Нимб* — иконографический символ божественности в виде блестящего диска, на фоне которого изображается голова бога, богородицы, некоторых святых и ангелов. *Своды церквей пещерных*. Имеются в виду церквушки, сооруженные монахами в пещерах Лавры. *Андреевская церковь* — см. примеч. 261.

Finale. Коливицина — великое народно-освободительное антифеодальное восстание против польско-шляхетского гнета на Правобережной Украине в 1768 г.

265. Перевод фрагмента «Сковорода і Біснுவатий». *Сады Китаевские* — см. примеч. 264. *Иустин* — см. примеч. 264. *Рядно* — грубый деревенский холст. Образ *ветра* и связанные с ним размышления о духе и материи восходят к басне Сковороды «Ветер и философ». *Аналой* — см. примеч. к автобиографии. *Материя вечна*. В своем трактате «Потоп Змін» Сковорода писал: «Давно уже просвещенные сказали весть сию: «*Materia aeterna* — вещество вечно есть», спречь все места и времена наполнила» (Г. Сковорода, Повне зібрання творів у 2-х томах, т. 2, К., 1973, с. 148). *Спиноза Б.* (1632—1677) — голландский философ-материалист. Выступая против религиозных догматов, трактовал бога как вечное, объективно существующее начало самой природы. *Хитон* — см. примеч. 1. *Кавендиш Г.* (1731—1810) — английский физик и химик, исследователь электрических явлений и химии газов. *Архимедова спираль* — кривая, описываемая точкой, равномерно движущейся по прямой, которая равномерно вращается на плоскости вокруг одной из своих точек. *Клобук* — высокий монашеский головной убор с покрывалом. *Четки* — см. примеч. к автобиографии. *Муст* — виноградный напиток, перебродившее мелодное вино. *Ведь образы Библии я беру себе как символы*. Выступая против буквального понимания библейских сюжетов, Сковорода истолковывал библейские предания иносказательно, вкладывая в них символический смысл. *Сократ* — см. примеч. 264. *Са ура* (т. е. Ça ira) — название и припев популярной агитационной песни времен французской революции конца XVIII в.

266. Перевод четырех глав из поэмы «Шабля Котовського». Поэма не закончена, отдельные фрагменты ее были утрачены в дни Великой Отечественной войны.

Гл. 1. Гнев наш разве не из стали? *Комбеды* — созданные по инициативе В. И. Ленина декретом ВЦИК и СНК РСФСР в 1918 г. комитеты бедноты, которые организовывали сельскую бед-

моту в 1918—1920 гг. На Украине они появились в начале 1919 г. *Продналог* — натуральный налог с крестьянского хозяйства, введенный весной 1921 г. вместо продразверстки. *Эсдек* — член партии украинских буржуазных националистов, руководимой С. Петлюрой и называвшей себя партией социал-демократов (сокращенно: эс-де). *Завод Греттера* — дореволюционное название киевского завода «Большевик». *Военно-промышленные комитеты* — буржуазные организации в период первой мировой войны. Созданы в 1915 г. с целью мобилизации промышленности для военных нужд, политического давления на царское правительство и подчинения рабочего класса влиянию буржуазии. В июле 1918 г. были ликвидированы Советским правительством. *Оборонцы* — так называли сторонников продолжения войны с Германией до победного конца. Эту позицию заняли меньшевики, а также эсеры и др. партии. Только большевики, выступавшие за превращение войны империалистической в войну гражданскую, отстаивали лозунг поражения своего правительства и разоблачали антинародную сущность оборончества. «*За Сибиром солнце сходить*» — песня, которую народное предание приписывает Кармелюку (см. примеч. 55), отбывавшему каторгу в Сибири. Котовский очень любил эту песню и часто ее пел. *Фракция демократического централизма* — антипартийная группа, которая в начале восстановительного периода выступала против единоначалия и личной ответственности руководителей предприятий и пыталась подорвать основы управления промышленностью. В 1920 г. на IX съезде РКП(б) Ленин дал решительный отпор этой группе. *Сапроновец* — участник группы демократического централизма, которую в 1920—1921 гг. возглавлял Сапронов Т. В. В 1927 г. XV съездом ВКП(б) Сапронов был исключен из партии за антипартийную деятельность. *Незалежники* — так называли украинских националистов, выступавших в годы революции против согласованных действий украинских и русских трудящихся масс, за отрыв украинского народа от революционной России. *Дека* — верхняя и нижняя доски музыкального инструмента, выполняющие роль резонатора. «*Материализм и эмпириокритицизм*» — опубликованная в 1909 г. книга Ленина, ознаменовавшая новый этап в истории развития диалектического материализма. Дав сокрушительный отпор ревизионистским попыткам в философии примирить материализм с идеализмом, Ленин с особой непримиримостью выступил против взглядов австрийского физика и философа Э. Маха (1838—1916), субъективно-идеалистически трактовавшего новые данные естествознания и признававшего реальными лишь «комплексы ощущений». В своей книге Ленин доказал, что «открытия» эмпириокритиков являются переделом субъективно-идеалистической философии английского епископа Д. Беркли (1684—1753), отрицавшего не зависимое от воспринимающего субъекта существование материального мира. Второе издание книги Ленина вышло в 1920 г. тиражом 30 000 экземпляров и способствовало широкому распространению философских идей марксизма. *Хоть Абель Кабеля убил* и т. д. Имеется в виду библейская легенда об убийстве Каином его брата Авеля. *УКП* — Украинская Коммунистическая партия. В январе 1920 г. это название присвоили себе члены украинской мелкобуржуазной националистической партии. В 1925 г. Президиум Исполкома Коминтерна распустил УКП.

Белополяки. С петлюровцами проклятыми. Весною. В интервенции белополяков на Украине приняли участие украинские буржуазные националисты, главарь которых *Петлюра* (см. примеч. 99) в апреле 1920 г. подписал Варшавское соглашение Директории с *Пилсудским* Ю. (1867—1935), диктатором Польши в 1918—1922 гг., осуществлявшим политические планы помещиков и буржуазии; Пилсудский был организатором антисоветского похода белополяков в 1920 г. *Незаметник* — неимущий, бедняк. *Врангель* П. Н. (1878—1928) — генерал-лейтенант царской армии, в годы гражданской войны — командующий белыми войсками на Юге.

Гл. 2. Комсомолка приехала. *Революции — локомотивы истории.* Выражение из статьи К. Маркса «Последствия 13 июня 1849 г.» из цикла очерков «Классовая борьба во Франции» (1850). *Тын* — забор. *Гетман Павло Скоропадский* — см. примеч. 55. *Скуфайка* — см.: скуфья в примеч. к автобиографии. *Херувимская* — церковная песнь, начинающаяся словами: «Иже херувимы». *Диез* — см. примеч. 38. *Регент* — см. примеч. к автобиографии.

Гл. 4. Поединок Котовского с белополяком. *Темляк* — тесьма с кистью на эфесе сабли. *Шенкель* — обращенная к лошади часть ноги всадника (от колена до щиколотки), помогающая управлять лошастью. *Песенка про хоца Кодряну* — народная баллада о легендарном герое Кодряну, защищавшем бедняков, руководителе повстанцев-гайдуков; широко распространена в Молдавии и имеет ряд вариантов. Один из них, записанный в марте 1938 г. в Тираспольском районе, опубликован в книге «Молдавский фольклор. Песни и баллады», М., 1953, с. 305—316. *Кармелюк* У. Я. (1878—1835) — выдающийся борец против крепостничества на Подоллии, народный герой Украины. *Пуришкевич* В. М. (1870—1920) — бессарабский помещик, русский реакционный политический деятель, монархист, один из основателей черносотенного «Союза русского народа», в 1917 г. — участник контрреволюционного заговора в Петрограде. *Жолнеры* (польск.) — солдаты. *Антанта* — империалистический блок Англии, Франции и царской России, сформировавшийся в 1907 г. для борьбы за передел мира. В годы первой мировой войны Антантой называли союз всех стран, воевавших против Германии и ее союзников. С 1917 г. Антанта вела вооруженную интервенцию против советских республик. *Кокорозинская школа* — сельскохозяйственная школа, готовившая агрономов для помещичьих имений Бессарабии; Котовский поступил в эту школу в 1896 г., окончил ее в 1900 г. Именно в этот период он познакомился с революционной подпольной литературой. *«Джок»* — молдавский танец.

267. Перевод поэмы «Шевченко і Чернышевський». В подстрочном примеч. к первой части поэмы, напечатанной во втором томе шеститомника, редколлегия сообщила: «Вторая часть поэмы погибла во время фашистского нашествия в начале Великой Отечественной войны». Утраченная часть все же была восстановлена автором, и полностью поэма опубликована в сб. «В серебряную ночь» (1964). Восстановленный текст идет после возгласа Чернышевского «Тарас!» и последующей ремарки. *Костомаров* Н. И. (1817—1885) — украинский историк, писатель, публицист. Поднимаясь в оценке отдельных этапов исторического пути украинского народа до прогрессивных

позиций, Костомаров в основном придерживался либеральных взглядов. Арестованный в 1847 г. вместе с Шевченко по делу о Кирилло-Мефодиевском братстве и сосланный в Саратов, Костомаров там входил в состав «саратовского кружка» Чернышевского. *Горбунов И. Ф.* (1831—1896) — русский писатель, актер, автор «Сцен из народного быта», которые исполнял сам. *Ольга Сократовна* — Васильева О. С. (1833—1918), жена Чернышевского. *Данила* — Мордовцев Д. Л. (1830—1905) — украинский и русский писатель; в 50—70-е годы сотрудничал в демократических журналах; в 80-е годы перешел на консервативные позиции. В 1902 г. напечатал воспоминания о встречах с Шевченко и Чернышевским «3 минувлого та пережитого» («Из прошлого и пережитого»). В *Балабановке*, т. е. в номерах петербургской гостиницы Балабина, где в 1858—1859 гг. жил Костомаров. *Тарас бичует барскую неправду*. Речь идет прежде всего о таких обличительных произведениях Шевченко, как поэмы «Сон» (1844), «Кавказ» (1845), «Княжна» (1847), «Марина» (1848), как цикл «Цари» (1848), «Завещание» и др. стих., как повести на русском языке «Музыкант» (1854—1855) и «Художник» (1856). *Герцен бьет в колокол*. Имеется в виду революционно-демократическая, антикрепостническая газета «Колокол», которую в 1857—1867 гг. в Лондоне издавали Герцен А. И. (1812—1870) и его друг поэт Огарев Н. П. (1813—1877). *Генерал Дитятин* — созданный Горбуновым образ военного в отставке, консерватора и реакционера генерала Дитятина. *Посылал пеплом я главу* и т. д. Цитата из стих. Лермонтова «Пророк». *Тристан и Изольда* — персонажи известного во многих вариантах французского рыцарского романа; особенно удачна переработка Кретьена де Труа (вторая пол. XII в.). *Алина Леонтьевна* — А. Л. Крагельская (1830—1908), невеста Костомарова, брак с которой в 1847 г. не состоялся в связи с его арестом. Пожилились они в 1875 г. *Щедрует* — исполняет украинские обрядовые величальные новогодние песни-щедрилки. *Степей киргизских пустыня* и т. д. О десятилетней ссылке (1847—1857) Шевченко в Оренбургский корпус, в степи Казахстана с запрещением писать и рисовать. *Я мучаюсь, терзаюсь, но не каюсь* — реминисценция из стих. Шевченко «О думы мои! О слава злая!..» (1847). *«Катерина»* — поэма Шевченко. *Вагнер Р.* (1813—1883) — немецкий композитор, автор многих опер, в том числе «Тристана и Изольды» (1859). Раннее его творчество развивалось под влиянием бунтарских настроений. В дни майского восстания 1849 г. в Дрездене Вагнер был в лагере восставших. Вторая же половина его творческого пути ознаменована увлечением мистикой и переходом на реакционные позиции. *По дубраве ветер веет* и т. д. — цитата из баллады Шевченко «Тополя». *Гарибальди Д.* (1807—1882) — революционер, вождь демократического и национально-освободительного движения в Италии. *«Ой, зійди, зійди»* — любимая Шевченко украинская народная песня. *У бога за дверьми лежал топор* и т. д. — пересказ содержания стих. Шевченко «У бога за дверьми лежала сокира» (1848). В своем пересказе Изольда как бы обнажает символический смысл этого стих. *Кайзак* — казах. *Богдан* — Богдан Хмельницкий (см. примеч. 158).

268. Перевод поэмы «Похорон друга». *Скрижаль* — см. примеч. 222. *Всеобуч* — всеобщее военное обучение.

289. Перевод поэмы «Тарасова „Анну Каренину“ читает». *Тарасова* А. К. (1898—1973) — русская советская актриса, народная артистка СССР. К лучшим ее работам принадлежит роль Анны Карениной. *Заболонь* — предрассудки. *Домостроевских воспрещений*. «Домострой» — памятник русской письменности XV—XVI вв., где изложены правила, отражающие феодальные консервативные нормы семейного быта. *Майерова* М. (1882—1967) — чешская писательница. *Незвал* В. (1900—1958) — чешский писатель.

270. Перевод поэмы «Моё дитинство». *Каноны* — богослужебные песнопения, исполняемые в заутреню. «*Марсельеза*» — см. примеч. 48. «*Отречемся от старого мира!*» — стих. П. Л. Лаврова, известное под несколькими заглавиями: «Рабочая марсельеза», «Марсельеза». Одна из наиболее популярных революционных песен в России. Гл. 1. *Аз рекох* — я сказал (церковнослав.). *Вериги* — см. примеч. к автобиографии. Гл. 2. *Альт* — низкий детский или женский голос. *Чернец — монах*. *Ирмос* — богослужебная песнь, исполняющаяся в заутреню. *Мойсея, Аарона хвалили, проклиная фараона*. Имеется в виду изложенная в библейской книге «Исход» и упоминаемая в ирмосах легенда о бедах, ниспосланных богом на египтян за отказ фараона отпустить из плена иудеев. Аарон — брат Моисея (см. примеч. 49). *Камертон* — прибор, являющийся измерителем высоты звука в пении и при настройке музыкальных инструментов. *Дискант* — высокий певческий голос мальчиков. *Псалом* — см. примеч. 62. *Регент* — см. примеч. к автобиографии. *Херувим* — см. примеч. 21. *Октавист* — очень низкий бас, берущий октаву. *Под водою лодка* — речь идет о романе «20 000 лье под водой» Жюль Верна (1828—1905), где описывается подводная лодка «Наутилус». *Гоголь* упомянут в связи с его повестью «Ночь перед Рождеством». *Песня Лихача Кудрявича* — одно из двух стих. А. В. Кольцова (1809—1842): «Первая песня Лихача Кудрявича» или «Вторая песня Лихача Кудрявича». «*По синим волнам океана*» — см. примеч. к автобиографии. *Исаакиевский собор* — собор в Петербурге. *Ухнали* — подковные гвозди. *Милорадович* М. А. (1771—1825) — граф, генерал, участник Отечественной войны 1812 г.; с 1818 г. — генерал-губернатор Петербурга; убит в день восстания декабристов. *Архангел* — один из трех высших чинов ангелов (после серафима и херувима). «*Вышли в поле косари...*» — украинская народная песня. Гл. 3. *Трапезная* — монастырская столовая. *Возле гробок* — возле печек. Гл. 4. *Мария Магдалина* — см. примеч. к автобиографии. «*Ой, за гаєм, гаєм...*» и «*Пахала, пахала...*» — украинские народные песни. *Клирос* — в церкви место на возвышении (по обеим сторонам от алтаря) для певчих; в данном случае — хор. *Паникадило* — церковная люстра. *Клубук* — см. примеч. 265. *Макири* — большой глиняный горшок. *Кадило* — см. примеч. 21. «*Прославься! — ему наш хор гремел. — Ты нам являлся в грозе...*» и т. д. — импровизация на мотивы церковных молитв. *На дне*. Речь идет о детском восприятии названия пьесы Горького «На дне». «*Искра*» — первая общерусская политическая марксистская нелегальная газета, созданная В. И. Лениным в 1900 г. для организации революционной марксистской партии России. Пути доставки «Искры» часто проходили через Украину, отдельные номера газеты перепечатывались в типографиях Украины; в 1900—1901 гг. здесь возникла

целая сеть искровских организаций. *Микола Ильич Подвойский* — см. примеч. к автобиографии. Гл. 5. *Морачевская* — см. примеч. к автобиографии. *Я вечерами в Народном доме пел.* В Народный дом, который организовала в Чернигове демократически настроенная интеллигенция и где проводились чтения, устраивались концерты, впервые привел Тычину Подвойский. «Откуда, звездочка-краса» — строка из стих. В. А. Жуковского «Утренняя звезда» (1818). «Фонарь волшебный» — проекционный фонарь. *Плюшкин, Кувшинное Рыло* — персонажи «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. «*Богачу-дураку*» и т. д. — песня на текст И. С. Никитина «Песня бобыля» (1858).

271. Перевод поэмы «Срібної ночі». Написана под впечатлением известия о смерти украинского советского литературоведа, академика А. И. Белецкого (1884—1961), с которым поэт связывала многолетняя дружба.

272. Перевод поэмы «Подорож до Іхтіману». Болгария, ее история, ее культура прочно вошли в круг интересов Тычины. Своими переводами поэт знакомил украинских читателей с болгарской поэзией, а некоторые его собственные произведения (например, «Вазов в Одессе») являются поэтическими раздумьями над судьбами славянской страны. И в дневнике, который вел Тычина во время четвертого посещения им Болгарии — в 1951 г., на четвертом конгрессе Союза болгаро-советской дружбы, и в статье «Нерушимая братская дружба», написанной 11 лет спустя, — поэт говорит об общности культур, языка, прослеживает становление братских отношений между славянскими народами. Форма, избранная поэтом для упомянутого дневника, — свободная лирическая композиция, включающая описания пейзажей, встреч, сливающая воедино воспоминания и впечатления текущего дня, в какой-то степени предвосхищает композицию поэмы «Путешествие в Ихтиман». В поэме Болгария раскрывается панорамно — в смене ее пейзажей и бытовых картин, на протяженности ее истории, в частности — от времени основания центра Софийского округа города *Ихтимана*, возраст которого исчисляется шестью столетиями, до героической борьбы ихтиманцев против фашизма и до мирной, современной жизни этого города. *Витоша* — гора в юго-западной Болгарии, у ее подножья расположен г. София. *Окоем* — пространство, охватываемое одним взглядом, горизонт. *Димитров Г. М.* — см. примеч. к автобиографии; похоронен в мавзолее г. Софии. *Ковпак* — см. примеч. 166. *Методий* (ок. 815—885) и *Кирилл* (наст. имя Константин, 827—869) — братья, родом из Македонии, проповедники православия и просветители южных славян, с деятельностью братьев связано развитие письменности большинства славянских народов. *Невьяна* — болгарское женское имя, которому Тычина придает расширительный и метафорический смысл, ассоциируемый с представлением о неуязвимой молодости. *Ботев Х.* (1849—1876) — болгарский поэт, философ, революционер-демократ. *Вазов И.* (1850—1921) — болгарский писатель и общественный деятель. В 1887—1888 гг. жил в Одессе. Этому периоду его жизни Тычина посвятил стих. «Иван Вазов в Одессе». *Поэзия Тарасова* — поэзия Шевченко. *Драгоманов М. П.* (1841—1895) — украинский публицист либерально-буржуазного направления, ученый, общественный деятель; последние

годы жизни и деятельности Драгоманова были связаны с Болгарией, с 1889 г. он — профессор кафедры общей истории Софийского университета. *Я пел в Народном доме в хоре...* «Откуда звездочка-краса?» — см. примеч. 270. *Вёдро* — см. примеч. 48. *Пловдив, Пасарел, Самоков* — города в Болгарии. «*Да читай же, пастушок*» — строка из стих. И. Вазова «Читай, пастушок!». *Марица* — река в Болгарии. *Мы — хористы Троицкого хора в Чернигове* — см. автобиографию Тычины. «*Шуми, Марица окрѣвавлена!*» — строка первого болгарского гимна. *Дюкло Ж.* (1896—1975) — деятель французского и международного коммунистического и рабочего движения, с 1931 г. — секретарь ЦК Компартии Франции. *Ляо Ж.* (1884—1950) — деятель бельгийского рабочего движения, с 1924 г. — член ЦК и Политбюро ЦК Компартии Бельгии, организатор движения Сопротивления; с 1945 г. — председатель Компартии. 18 августа 1950 г. убит бельгийскими фашистами. *Хиросима и Нагасаки* — см. примеч. 199. *Освенцим* — фашистский концентрационный лагерь в польском городе Освенциме, место убийств и пыток десятков тысяч узников; после войны — мемориальный музей. *Орел тупоголовый.* Орел — одна из фашистских эмблем. *Сентябрьский, светлый день Девятый.* Имеется в виду 9 сентября 1944 г. — день, когда в Болгарии вспыхнуло антифашистское вооруженное восстание, установившее народную власть.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Фото 1961 г.
2. *Между с. 128 и 129*. Фото 1913 г.
3. *На обороте*. Автопортрет. Рисунок карандашом, датированный: 27.V.1922.
4. *Между с. 160 и 161*. Фото 1962 г.
5. *На обороте*. Фото 1964 г.
6. С. 180. Автограф стихотворения «Чувство семьи единой» (1938).
7. С. 260. Автограф стихотворения «Слово» (1945).

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия Павло Тычины. <i>Вступительная статья Л. Новиченко</i> . . .	5
Автобиография	58

I

СОЛНЕЧНЫЕ КЛАРNETЫ

(1918)

1. «Не Зевс, не Пан, не Голубь-дух...» <i>Перевод Ю. Полетики</i>	81
2. Курчавясь, пробегают тучи... <i>Перевод Л. Пеньковского</i>	81
3. Леса шумят. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	82
4. Арфами, арфами... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	83
5. Где-то в даях шла весна... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	84
6. Цвет ты в моем сердце... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	85
7. Не смотри же так приветно... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	85
8. Посмотрела ясно... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	86
9. Я плакал от любви... <i>Перевод Н. Ушакова</i>	86
10. О радость Инна! <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	87
11. Я стою на круче... <i>Перевод Н. Ушакова</i>	87
12. Тополя над полями... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	88
13. Шьет девушка... <i>Перевод А. Дейча</i>	89
14. Весь луг в цветах... <i>Перевод А. Гатова</i>	89
15. Ой, не кройся, природа... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	90

16—19. Эпигармоническое	
1. Туман. Перевод Ф. Сологуба	91
2. Солнце. Перевод П. Карабана	91
3. Ветер. Перевод П. Карабана	91
4. Дождь. Перевод Вс. Рождественского	92
20. Ходят по травам... (Поэтам-упадочникам). Перевод В. Звягинцевой	92
21—22. В собор	
1. «Нищие и вербы...» Перевод П. Панченко	93
2. «Поет дорожка...» Перевод А. Дейча	93
23. А я в лесу гуляла... Перевод Н. Ушакова	94
24. Там кто-то гладил, всё гладил швы... Перевод М. Комиссаровой	94
25—28. Пастели	
1. «Мелькнул зайчик...» Перевод Н. Брауна	95
2. «Выпил доброго вина...» Перевод Н. Брауна	95
3. «Кольхалось флейтами...» Перевод Н. Брауна	95
4. «Укройте меня, укройте...» Перевод А. Дейча	96
29. На отвесных скалах... Перевод Б. Турганова	96
30. Распахните двери... Перевод В. Звягинцевой	97
31—34. Мать скорбящая. Перевод А. Дейча	
1. «По нивам проходила не пашнями — межамн...»	98
2. «По нивам проходила — побегн молодые...»	98
3. «По нивам проходила. Могила всё далече...»	99
4. «По нивам проходила... „И как погибнуть краю...“»	99
35. Вдоль по степи... Перевод А. Дейча	100
36. Дума о трех ветрах. Перевод М. Комиссаровой	100

ВЗАМЕН СОНЕТОВ И ОКТАВ

(1920)

37. «Уже светает, а всё же мгла...» Перевод Л. Озерова	104
38. Лю. Перевод П. Жура	104
39. Антистрофа («Еще и тогда, когда над безбрежной водой паслись табуны ветров...»). Перевод М. Комиссаровой	105
40. Ритм. Перевод М. Комиссаровой	106
41. Антистрофа («Налила голодным детям молока — сама села да и задумалась...»). Перевод М. Комиссаровой	106
42. Эвон! Перевод Л. Озерова	106
43. Кто скажет. Перевод Л. Озерова	107
44. Экзамен. Перевод Л. Озерова	107
45. Антистрофа («Глубочайшее, величественнейшее и вместе с тем...»). Перевод Л. Озерова	107
46. Пустота. Перевод Ив. Ильенко	108

ПЛУГ

(1920)

47.	«Ветер...»	Перевод М. Комиссаровой	109
48.	Сейте...	Перевод В. Звягинцевой	110
49.	И Белый, и Блок...	Перевод Е. Новской	110
50.	На площади.	Перевод Н. Ушакова	111
51.	Ой, упал боец с коня...	Перевод А. Прокофьева	111
52.	А будет так...	Перевод Вс. Рождественского	112
53.	Тут же, за селом...	Перевод П. Панченко	112
54—55.	На могиле Шевченко		
	1.	«И, поклонившись праху...»	Перевод Н. Ушакова 113
	2.	«Остановились мы на „Чайке“...»	Перевод Н. Ушакова 113
56—58.	(Из цикла «Сотворение мира»)		
	1.	«Изначала — в пустоте истоков...»	Перевод Е. Новской 114
	2.	«И бысть: склонился вечер...»	Перевод Е. Новской 115
	3.	«Швырнули бедноту добычей...»	Перевод П. Карабана 115
59—61.	Письма поэту.	Перевод Вс. Рождественского	
	1.	«Элады карта, Коцюбинский...»	116
	2.	«Вы, может, не из наших сел...»	116
	3.	«Я коммунистка, я в гимнастерке...»	117
62—65.	Мадонна моя...	Перевод Е. Новской	
	1.	«Мадонна моя, Мария пресвятая...»	117
	2.	«Уж повое имя...»	118
	3.	«Мадонна моя, мать пречистая...»	118
	4.	«Не камень и не мраморы...»	119
66—69.	Псалом железу.	Перевод П. Карабана	
	1.	«Клянем и ненавидим медь...»	119
	2.	«За океаном совесть, честь...»	120
	3.	«Прошел как сон блаженный час...»	120
	4.	«Нам власть на черта? Был бы хлеб...»	121
70—71.	Рондели		
	1.	«Иду с работы я, с завода...»	Перевод А. Прокофьева 122
	2.	«Мобилизуются на круче...»	Перевод Л. Озерова 122
72.	Я знаю...	Перевод П. Панченко	123
73.	«Тому — любовь, другому — мистика...»	Перевод И. Поступальского	123
74.	Плоским пророкам.	Перевод П. Карабана	124

ВЕТЕР С УКРАИНЫ

(1924)

75.	Ветер с Украины.	Перевод Н. Брауна	125
76.	Плач Ярославны.	Перевод М. Комиссаровой	126
77.	Дивный флот.	Перевод М. Комиссаровой	128
78.	Подходит лето.	Перевод М. Комиссаровой	129
79.	Кожемяка.	Перевод И. Рукавишниковой	130

80. Три сына. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	132
81. Ходит Фауст... <i>Перевод А. Гатова</i>	133
82. Ответ землякам. <i>Перевод А. Гатова</i>	134
83. За всех скажу... <i>Перевод А. Гатова</i>	135
84. Великим лжецам (<i>Отповедь кое-кому</i>). <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	136
85. Перед памятником Пушкину в Одессе. <i>Перевод А. Гатова</i>	136
86. Славная такая, милая осень... (<i>В голодный год</i>). <i>Перевод Н. Ушакова</i>	137
87. Воздушный флот. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	138
88. Мы говорим... <i>Перевод Е. Новской</i>	139
89. La bella Forgarina. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	139
90. Повстанцы (<i>Отрывок</i>). <i>Перевод Н. Брауна</i>	140
91—100. Живем, работаем коммуной. <i>Перевод П. Панченко:</i>	
1. «Живем, работаем коммуной. Между горами — монастырь...»	142
2. «На капусте желтый рой бабочек, а на Днепре — белый...»	142
3. «Фаланги снятся нам в ночи, хозяйства. А днем, случается...»	143
4. «Еще сердца у нас глухие. В них музыки недостает...»	143
5. «Ты поседел, мой Днепр. Широкий — обмелел. О, где ж...»	144
6. «Хочешь, Днепр мой, я почитаю тебе? Бурлила порой...»	144
7. «Дохнуло с севера и с юга, с запада, с востока. Куда...»	144
8. «Там распогодилось, а тут еще завеса. Блеснет — и на...»	145
9. «А иногда — что твой джентльмен. Весь в синем...»	145
10. «Живем, работаем коммуной. Кругом леса, глухие села...»	145
101—105. Улица Кузнечная	
1. Запад I («Иду вперед...») <i>Перевод А. Гатова</i>	146
2. Запад II («Не стерплю я, оглянусь...») <i>Перевод Н. Брауна</i>	147
3. Слабеет солнце... <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	147
4. Пасха. <i>Перевод А. Гатова</i>	148
5. Первое мая на Пасху. <i>Перевод Ф. Сологуба</i>	149
106—107. Харьков	
1. «Харьков, Харьков, что в твоём обличье...» <i>Перевод Е. Новской</i>	150
2. «Двигаются улицы, стучит в темноте тротуар...» <i>Перевод И. Поступальского</i>	151
108. Шумн, эпоха наша (<i>Фуга</i>). <i>Перевод В. Бурича</i>	152
109. Ивасик-Телесик (<i>Сказка</i>). <i>Перевод С. Маршака</i>	155

ЧЕРНИГОВ

(1981)

110. Ленин. *Перевод П. Карабана* 163
111. Мой друг рабочий водит меня по городу и радуется...
Перевод А. Гатова 164
112. Старая Украина измениться должна. *Перевод П. Карабана* 165

ПАРТНЯ ВЕДЕТ

(1984)

113. Партия ведет. *Перевод Н. Ушакова* 167
114. Песня трактористки (Как Олеся Кулик уехала на курсы
в 1930 году). *Перевод Н. Асеева* 169
115. Вторая песня трактористки (Как Олеся Кулик бабы землей
забросать хотели). *Перевод Н. Ушакова* 171
116. «И от царей, и от вельмож...» *Перевод Н. Ушакова* 174
117. Песня про Кинова. *Перевод Н. Ушакова* 175
118. Песня под гармонь. *Перевод М. Комиссаровой* 177

ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ

(1988)

119. Чувство семьи единой. *Перевод Н. Брауна* 179
120. Конгресс защиты культуры. *Перевод Н. Ушакова* 181
121. На олимпиаду хоров. *Перевод Н. Ушакова* 184
122. Давид Гурамишвили читает Григорию Сковороде «Витязя
в тигровой шкуре». *Перевод Л. Озерова* 184
123. Первое знакомство (Чернигов, 1910 г.). *Перевод Б. Пастернака*
. 186
124. На «субботах» М. Коцюбинского (В Чернигове, в 1910 году,
когда я учился еще в средней школе). *Перевод М. Зенкевича* 190
125. Как мы писали письмо М. Коцюбинскому (В 1911 году,
в Чернигове). *Перевод Н. Асеева* 192
126. Мое избирателям. *Перевод Н. Асеева* 197
127. В Хараксе. *Перевод Л. Озерова* 199
128—130. (Из «Крымского цикла»)
1. Ай-Петри. *Перевод Н. Ушакова* 199
2. Прорыв. *Перевод М. Фромана* 200
3. Шалаш. *Перевод Л. Пеньковского* 201

СТАЛЬ И НЕЖНОСТЬ

(1941)

131. На вручение ордена. *Перевод Е. Благиной* 204
132. Румяная да русая. *Перевод В. Звягинцевой* 205
133. Федькович у повстанца Кобыльщи. *Перевод В. Звягинцевой* 207
134. Юнь. *Перевод С. Кирсанова* 211

135. Максиму Рыльскому. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	215
136. Во имя людей. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	218
137. Амвросий Бучма. <i>Перевод П. Жура</i>	219
138. Лидка. <i>Перевод Е. Благиной</i>	220
139. Памяти Оксаны Петрусенко. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	222
140. Едем из Большой Богачки. (<i>После юбилея kobзря Ф. Д. Кушнерика</i>). <i>Перевод Н. Ушакова</i>	223
141. Из моего детства. <i>Перевод А. Глобы</i>	224
142. А. Е. Крымский (<i>Каким он представляется автору этих строк</i>). <i>Перевод М. Замаховской</i>	228

ПОБЕЖДАТЬ И ЖИТЬ

(1944)

143. Тебе, народ любимый мой. <i>Перевод Л. Озерова</i>	231
144. Голос матери. <i>Перевод Д. Кедрина</i>	232
145. В бессонную ночь (<i>Думы про Украину</i>). <i>Перевод П. Карабана</i>	235
146. Мой народ. <i>Перевод О. Колычева</i>	237
147. Весна (1942). <i>Перевод В. Дынник</i>	239
148. Матери забыть не в силе. . . <i>Перевод О. Колычева</i>	242
149. Правдивым будь. . . <i>Перевод П. Карабана</i>	244
150. Саратов. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	245
151. Сайфи Кудашу. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	247
152. Гроза. <i>Перевод Л. Озерова</i>	248
153. Я утверждаюсь. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	252
154. За тучами, за ливнями. . . <i>Перевод Б. Кежуна</i>	253
155. Ирландскому писателю Шону О'Кейси. <i>Перевод Б. Турганова</i>	255

ЖИТЬ, ТРУДИТЬСЯ И РАСТИ

(1949)

156. Жить, трудиться и расти. . . <i>Перевод Л. Озерова</i>	258
157. Слово. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	259
158. Герои Днепра. <i>Перевод Б. Турганова</i>	261
159. Океан полон. <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	265
160. На спевке. <i>Перевод Л. Озерова</i>	266
161. Пробуждение весны. <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	269
162. Май ненаглядный. <i>Перевод Л. Озерова</i>	272
163. Море повествует. <i>Перевод Л. Озерова</i>	273
164. Москва. <i>Перевод Н. Брауна</i>	276

МОГУЩЕСТВО ДАНО НАМ

(1953)

165. Мать с детьми выходит в поле. <i>Перевод С. Маршака</i>	277
166. Над Брянскими лесами. <i>Перевод Л. Озерова</i>	278
167. При чтении писем начинающих поэтов. <i>Перевод Л. Озерова</i>	281

168. Александру Пушкину. <i>Перевод Л. Озерова</i>	282
169. Пушкин в семье декабристов. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	284
170. Танцы на мече (<i>Из стихов о Шотландии</i>). <i>Перевод Л. Озерова</i>	286
171. Ты жив до сих пор, Леонардо да Винчи. <i>Перевод П. Жура</i>	288
172. На Переяславской раде. <i>Перевод Л. Озерова</i>	291
173. Тамара Абакелия работает над памятником Лесе Украинке. <i>Перевод Л. Озерова</i>	293

МЫ СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

(1957)

174. На меня Ильич глядел (<i>Из поэмы</i>). <i>Перевод Д. Седых</i>	296
175. Мы совесть человечества. <i>Перевод А. Гатова</i>	298
176. В Чернобыле (<i>Из дневника</i>). <i>Перевод В. Бурича</i>	301
177. Рябинка золотая. <i>Перевод Н. Сидоренко</i>	304
178. Иней. <i>Перевод Л. Озерова</i>	306
179. А быть легко чудесным, молодым. <i>Перевод Н. Асанова</i>	308
180. Над Днепром. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	310
181. О юном Василе (<i>В дореволюционном Чернигове</i>). <i>Перевод А. Гатова</i>	312
182. Чтоб Украине твердо стать (<i>Киев 1919 года</i>). <i>Перевод Д. Седых</i>	316
183. И сказал Богдан. <i>Перевод В. Державина</i>	317
184. В межпланетные дали окно. <i>Перевод А. Гатова</i>	319

РАСТИ, НАШ МИР СВЕТОПОСНЫЙ

(1960)

185. На концерте хора «Мазовше». <i>Перевод Н. Асанова</i>	320
186. К знатной звеньевой. <i>Перевод П. Панченко</i>	321
187. В Анкаре (1929 г.). <i>Перевод Л. Хаустова</i>	327
188. Где одна дума, а тысячи рук (<i>Из цикла «На стройке Кременчугской ГЭС»</i>). <i>Перевод С. Ботвинника</i>	330
189. Расти, наш мир светопосный. <i>Перевод Л. Вышеславского</i>	334
190. Уж раз творцом ты называешься (<i>Отрывок из поэмы</i>). <i>Перевод С. Ботвинника</i>	338

КОМУНИЗМА ДАЛИ ВИДНО

(1961)

191. Ленин идет на шевченковский вечер. (<i>В Кракове 1914 года</i>). <i>Перевод П. Жура</i>	340
192. «Непрошленно годы идут и идут. . .». <i>Перевод Л. Озерова</i>	342
193. Так рад я, что тебя сегодня вижу. <i>Перевод П. Жура</i>	343
194. Рабиндранат Тагор. После возвращения из Москвы в 1930 году. <i>Перевод П. Жура</i>	344

В СЕРЕБРЯНУЮ НОЧЬ

(1964)

195.	И я запел раскованно, открыто... <i>Перевод Л. Озерова</i>	348
196.	К молодым поэтам. <i>Перевод Б. Кежуна</i>	349
197.	У Асеева в гостях. <i>Перевод Л. Озерова</i>	350
198.	Ранней весной. <i>Перевод Ю. Саенко</i>	351
199.	Тот, кто за мир, шагай с друзьями в ногу. <i>Перевод Б. Кежуна</i>	356
200.	Разрастаться дружбе вширь. <i>Перевод Ю. Саенко</i>	358

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

201.	«Лазурь мою душу возвысила...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	359
202.	«Под окном моим...» <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	359
203.	«Что месяцу звездочки ясные шепчут?» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	362
204.	Молодой я, молодой... <i>Перевод Н. Асеева</i>	363
205.	Расскажи, расскажи ты мне, поле... <i>Перевод А. Глобы</i>	364
206.	Вы знаете, как липа шелестит... <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	364
207.	Там, где тополь растет... <i>Перевод Л. Озерова</i>	365
208.	Не бывал ты в наших краях... <i>Перевод Л. Озерова</i>	366
209.	Когда я смотрю в твои очи... <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	366
210.	Где-то в глубине сердечной... <i>Перевод Л. Озерова</i>	367
211.	Дух народов горит... <i>Перевод П. Жура</i>	367
212.	«Когда горю...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	368
213.	«Оставайся, ночь настала...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	368
214.	«О, я не невольник...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	369
215.	«Выйду, выйду за ворота...» <i>Перевод Л. Хаустова</i>	370
216.	«В гае, в мае...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	371
217.	«Застегнулось на все пуговки небо...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	372
218.	«Пришли ко мне соседи...» <i>Перевод В. Россельса</i>	372
219.	«Из Белой я Церкви, как в полночь из мрака...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	373
220.	«Слегка недоспишь...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	374
221.	«Поил коня...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	374
222.	Революционный гимн. <i>Перевод Л. Шерешевского</i>	375
223.	«Сколько было их, империй...» <i>Перевод П. Жура</i>	376
224.	«Микола Леонтович говорит...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	376
225.	Прометей. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	378
226.	«Люблю астрономню, музыку, женщину...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	379
227.	«Мадонны, Уидины, Гудруны...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	379
228.	За тучами обвалы. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	380
229.	Славься. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	381
230.	Гора Эльбрус. <i>Перевод Б. Кежуна</i>	382
231.	На убийство Сакко и Ванцетти. <i>Перевод Б. Кежуна</i>	383
232.	«Я ль виновца, что Апжела...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	384
233.	«Люди не возвращаются...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	384

234.	«Всё мне снится...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	385
235.	«Въезжаем мы...» <i>Перевод С. Ботвинника</i>	385
236.	«Природа, скажи мне, чего тебе надо?» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	386
237.	«Между Волгою и Сожем...» <i>Перевод Л. Хаустова</i>	386
238.	«Всё снизу смотреть бы, дивиться...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	386
239.	«Не сделаешь дело, не сварись...» <i>Перевод С. Ботвинника</i>	386
240.	«А заря с востока...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	386
241.	«Осокори...» <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	387
242.	«. . . Мне не раз еще придется...» <i>Перевод А. Голембы</i>	387
243.	«Зачем в дискуссиях решать...» <i>Перевод С. Ботвинника</i>	388
244.	«. . . И что же — сквозь зажмуренные веки...» <i>Перевод Л. Хаустова</i>	388
245.	Предвесеннее. <i>Перевод Л. Озерова</i>	388
246.	«На то я лирик, чтобы спрашивать...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	389
247.	Встреча с Верекою в Тампере. <i>Перевод Л. Хаустова</i>	389
248.	«Всегда я там, где труд, где людно...» <i>Перевод П. Жура</i>	391
249.	«Радость жизни и кручину...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	391
250.	Молодым поэтам. <i>Перевод Ю. Саенко</i>	391
251.	«Ну как без улыбки твоей смог бы жить я?» <i>Перевод Л. Озерова</i>	392
252.	Муса Джалиль в Кневе (1939). <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	393
253.	«Не нагляжусь. Не отведу я взгляда...» <i>Перевод Л. Озерова</i>	394
254.	С капеллой Стеценко по Украине (1920 год, сентябрь). <i>Перевод А. Голембы</i>	395
255.	О космос ты великий наш... <i>Перевод Ю. Саенко</i>	397
256.	Два кузнеца. <i>Перевод Л. Озерова</i>	398
257.	Перед картинами Олексы Шовкуненко. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	399
258.	Глубокне следы (С товарищами своими посетил я Чернигов в 1966 г.). <i>Перевод А. Голембы</i>	401
259.	В сердце моем. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	402

II

260.	Звонколазурное (Отрывок из поэмы). <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	407
261.	Звон золотой. <i>Перевод Л. Озерова</i>	417
262.	Раскол поэтов. <i>Перевод А. Голембы</i>	422
263.	В космическом оркестре. <i>Перевод А. Гатова</i>	434
264.	Сковорода (Отрывки из симфонии). <i>Перевод П. Панченко и Л. Вышеславского</i>	
	Allegro giocoso	444
	Grave	450
	Risoluto	455
	Finale	464
265.	Сковорода и Бесноватый. <i>Перевод П. Панченко</i>	471

266. Сабля Котовского (Главы из поэмы). Перевод Н. Брауна	
1. Гнев наш разве не из стали	485
2. Комсомолка приехала	502
3. А Оксанка и Яринка полюбили Котовского	513
4. Поединок Котовского с белополяком	520
267. Шевченко и Чернышевский. Перевод Н. Панова	536
268. Похороны друга (Поэма). Перевод Л. Озерова	581
269. Алла Тарасова «Анну Каренину» читает. Перевод П. Жура	590
270. Мое детство. Перевод П. Жура	597
271. В серебряную почь. Перевод Л. Озерова	612
272. Путешествие в Ихтиман. Перевод Д. Седых	617
Примечания	655
К иллюстрациям	700

Тычина Павел Григорьевич
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1975.
712 стр. План выпуска 1975, № 359

Редактор *В. С. Киселев*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор. *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *И. Г. Клейнер*

Сдано в набор 20/XII 1974 г. Подписано
в печать 22/IV 1975 г. М 21266. Бумага
80×108¹/₃₂, типогр. № 1. Печ. л. 22¹/₄+3 вкл.
(37,69). Уч.-изд. л. 33,46. Тираж 40 000 экз.
Заказ № 1247. Цена 3 р. 30 к.

Издательство «Советский писатель»,
Ленинградское отделение, Ленинград,
Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ле-
нинградская типография № 5 Союзполи-
графпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли.
Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

